



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

P Slav 381.60 (12-13)

The gift of

Library of the
University of Petrograd

HARVARD COLLEGE LIBRARY

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ

СБОРНИКЪ

Историческаго Общества при Императорскомъ С.-Петербургскомъ Университетѣ,

ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

Н. И. КАРѢВА.

(1901 г.).

ТОМЪ ДВѢНАДЦАТЫЙ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 л., 28.

1901.

P Slav 381.60 (12-13)

~~Slav 25.20~~

HARVARD
JUL 17 1924

Library of
University of Petrograd



3102

Печатается по постановленію Комитета Историческаго Общества при
Императорскомъ С.-Петербургскомъ Университетѣ. Спб., 25 октября 1901 года.
Предсѣдатель *Н. Кареевъ*.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	СТРАН.
<i>Н. И. Кареев.</i> „Теорія личности“ П. Л. Лаврова	1—52
<i>Н. Н. Булич.</i> Очерки по исторія русской литературы и просвѣщенія съ начала XIX в.	161—381

„Теорія личности“ П. Л. Лаврова.

(Къ исторіи соціологіи въ Россіи).

Н. И. Барѣва.

Недавно мы присутствовали при зрѣлищѣ, поражавшемъ многихъ своею странностью и неожиданностью. Проповѣдовалось учение, которое заявляло себя самымъ прогрессивнымъ, но боевымъ лозунгомъ котораго было отрицаніе за личностью всякаго значенія, какъ дѣятельной силы въ исторіи. И этому ученію внимали цѣлыя сотни, можетъ быть, даже и тысячи молодыхъ человѣческихъ существъ, какъ будто радовавшихся тому, что личность оказалась „величиною, соціологически ничтожною“, а „роль ея въ исторіи—неимѣющею никакого самостоятельнаго значенія“. У многихъ, по крайней мѣрѣ, такіа заявленія вызывали бурю восторга — и взрывъ смѣха надъ теоріей, на смѣну которой приходило новое ученіе. Впрочемъ, можно было и не смѣяться, когда проповѣдники новаго „научнаго взгляда“ представляли старую теорію, какъ нѣчто совершенно нелѣпое? „Личность, — такъ буквально передавалась суть этой теоріи, — *личность все можетъ* въ томъ смыслѣ, что для нея не существуетъ соціологической необходимости“, ибо она есть-де нѣкая „самопроизвольная, творческая сила, ничѣмъ не обусловленная“. Не то было странно, что смѣялись надъ нелѣпой идеей, которой, прибавимъ, никто и никогда, однако, не высказывалъ, — а то было удивительно, что радовались ученію о ничтожности личности сотни и тысячи человѣческихъ личностей и притомъ болѣею частью такихъ, у которыхъ полагалось бы ожидать скорѣе преувеличенныя представленія о силахъ человѣческой личности, нежели склонность къ ея отрицанію.

Это явленіе было бы даже совсѣмъ непонятно, если бы новое ученіе не представляло безличный, стихійный и роковой процессъ

исторіи, какъ могучую и непреодолимую силу, имѣющую собственными своими средствами, безъ особыхъ усилій со стороны человѣка, осуществить царство правды на землѣ. Но невольно все-таки возникаетъ вопросъ, знали ли тѣ, которые восторгались благодѣтельностью фатальнаго хода судьбы человѣчества, въ чемъ на самомъ дѣлѣ заключается теорія личности и личнаго дѣйствія въ исторіи. Я думаю, что едва ли придется отвѣтить на этотъ вопросъ утвердительно. Въ противномъ случаѣ аудиторія должна была бы, по крайней мѣрѣ, протестовать: „но вѣдь этого же *они* никогда не говорили! Это — клевета на *ихъ* здравый смысл!“

Въ числѣ представителей побѣдоносно сдававшейся въ архивъ социологической теоріи на первомъ мѣстѣ, конечно, назывался покойный Лавровъ, который еще сорокъ лѣтъ тому назадъ выступилъ со своею „теоріею личности“ и продолжалъ разрабатывать ее до самаго конца жизни. И въ самомъ началѣ его теоретическая философія, вращавшаяся около идеи личности, какъ своего центра, равнымъ образомъ встрѣтила отрицаніе со стороны молодого поколѣнія въ лицѣ Писарева, собственная философія котораго сама, однако, была культомъ личности. Впрочемъ, въ характеристикѣ Лаврова, данной Писаревымъ въ „Схоластикѣ XIX вѣка“, мы едва ли узнали бы Лаврова, если бы самъ критикъ не сказалъ намъ, о комъ у него идетъ рѣчь. „Слабая сторона этого писателя, говоритъ Писаревъ, заключалась въ отсутствіи субъективности, въ отсутствіи опредѣленныхъ и цѣльныхъ философскихъ убѣжденій“. И новыя его „Бесѣды о современномъ значеніи философіи“, „не представили никакого опредѣленнаго міросозерцанія... То, чтó г. Лавровъ называетъ философіею, отрѣшено отъ почвы, лишено плоти и крови, доведено до игры словъ; это — схоластика, праздная игра ума“. Онъ „довольствуется безцѣльнымъ движеніемъ мысли въ сферѣ формальной логики“ и т. п. ¹⁾ Но Писаревъ въ своемъ непониманіи писателя имѣлъ, по крайней мѣрѣ, одно оправданіе: онъ не выдавалъ своихъ приговоровъ за абсолютныя научныя истины и не приглашалъ ихъ вѣрить въ какой-нибудь Коранъ. „Въ моей статьѣ, признавался онъ самъ, навѣрное встрѣтится много ошибокъ, много поверхностныхъ взглядовъ“ ²⁾, и потому онъ просилъ читателя самого подумать. Это, дѣйствительно, былъ одинъ изъ тѣхъ „промаховъ незрѣлой мысли“, въ которыхъ, какъ извѣстно, ему приходилось печатно каяться.

Только недоразумѣніемъ, въ смыслѣ „промаха незрѣлой мысли“, можно, впрочемъ, объяснить и то восторженное отношеніе къ отри-

¹⁾ Сочиненія Д. И. Писарева. Спб. 1868. X, 108, 109, 112.

²⁾ Тамъ же, стр. 113.

цанію личности, свидѣтелями котораго мы недавно были. Повидимому, увлеченіе теперь улеглось, и быть можетъ, данная минута—самое подходящее время напомнить, въ чемъ на самомъ дѣлѣ состоитъ теорія личности, смыслъ которой былъ такъ безжалостно искаженъ въ приведенныхъ заявленіяхъ. Съ этою цѣлью, въ дальнѣйшемъ мы и воспроизведемъ взгляды на данный вопросъ Лаврова, раньше другихъ „соціологовъ-субъективистовъ“ выдвинувшаго въ общественной и исторической философіи на первый планъ принципъ личности и больше, чѣмъ кто-либо изъ нихъ, занимавшагося его теоретическою разработкою.

Для того, чтобы надлежащимъ образомъ понять тѣ идеи П. А. Лаврова, которыя будутъ предметомъ дальнѣйшаго изложенія, необходимо принять въ расчетъ, что свою литературную дѣятельность, получившую въ концѣ концовъ чисто соціологическое направленіе, онъ началъ работами философскаго характера, въ которыхъ преобладали вопросы психологіи, гносеологіи и этики, стоящіе далеко отъ проблемъ соціологіи въ тѣсномъ значеніи этого слова. Правда, въ настоящее время и этимъ вопросамъ стараются дать соціологическую постановку, но не слѣдуетъ забывать, что Лавровъ началъ писать сорокъ лѣтъ тому назадъ, когда и въ области психологіи, и въ области этики господствовало строго индивидуалистическое направленіе. Не входя, далѣе, въ этомъ бѣгломъ очеркѣ въ подробный разборъ вопроса о томъ, какъ сложилось общефилософское міросозерцаніе Лаврова и что оно собою представляло въ ту пору его жизни, когда онъ выступилъ въ литературѣ, отмѣтимъ только, что онъ сильно интересовался гегельянствомъ и въ особенности „его лѣвымъ лагеремъ“, возрѣнія котораго отразились весьма замѣтно на его собственной философіи. Это обстоятельство мы отмѣчаемъ въ виду той идеи о „критически мыслящей личности“, которая красною нитью проходитъ черезъ всѣ научные труды Лаврова, начиная съ самыхъ раннихъ и кончая самыми послѣдними. Съ другой стороны, однако, уже и въ первыхъ статьяхъ Лаврова его мысль переходила отъ вопросовъ индивидуальной психологіи и индивидуальной этики къ вопросамъ этики соціальной и соціологіи. „Для того, писалъ онъ въ „Очеркахъ вопросовъ практической философіи“, вышедшихъ въ свѣтъ отдѣльнымъ изданіемъ въ 1860 г.,— для того, чтобы современныя нравственно-политическія теоріи представились въ своемъ существенномъ единствѣ, надо обратиться къ ихъ источнику, надо взять человѣческую личность въ ея психологическихъ данныхъ, надо въ этихъ данныхъ искать основу того развитія, при которомъ человѣкъ способенъ правильно судить о политическихъ и общественныхъ вопросахъ. Преслѣдуя это развитіе, должно устранить главнѣйшія увлеченія партій,

затемнявшихъ вопросъ своими спорами, во имя историческихъ девизовъ. Въ всякихъ предположеніяхъ, не подлежащихъ наблюденію, слѣдуетъ прежде всего построить *теорію личности*“¹⁾. Уже изъ этихъ словъ видно, что „теорія личности“ и тогда интересовала Лаврова, какъ необходимая основа нравственно-общественныхъ теорій, а это опять-таки совпадало съ общимъ духомъ лѣваго гегельянства, критическое отношеніе котораго къ современной ему общественной дѣятельности тоже отразилось на взглядахъ нашего автора. „На основаніи теоріи личности, продолжаетъ Лавровъ, уже можно приступить къ критикѣ общественныхъ формъ, при оцѣнкѣ которыхъ полемика партій достигла высшей точки, но зато и масса наблюдений весьма значительна“²⁾.

Вотъ съ какими взглядами выступилъ Лавровъ въ первомъ своемъ значительномъ трудѣ. Для обоснованія научной этики и политики нужна психологическая теорія личности, безъ которой вмѣстѣ съ тѣмъ немыслима и критика общественныхъ формъ. Эту свою мысль онъ старается напередъ защитить отъ всѣхъ возможныхъ противъ нея возраженій. „Къ чему, говоритъ онъ, напримѣръ, въ одномъ мѣстѣ тѣхъ же „Очерковъ“, — къ чему теорія личности? скажутъ иные. Безчисленныя проповѣди нравственныхъ философовъ не сдѣлали слушателей совершеннѣе. Подъ вліяніемъ физическаго устройства, обстоятельствъ жизни и общества личность развивается по необходимымъ законамъ и не можетъ быть лучше, какъ она есть“. И на это Лавровъ возражаетъ: „Кто смотритъ на личность съ безстрастіемъ ученаго наблюдателя, тому мы скажемъ: для васъ это не практическое ученіе, но существованіе необходимаго процесса... Вы не имѣете права сказать: къ чему теорія личности? Она есть необходимое явленіе въ ряду явленій сознанія; еще болѣе: она есть одно изъ обстоятельствъ, перерабатываемыхъ личностью въ мысль, въ побужденіе, въ дѣйствіе. Слѣдовательно, теорія личности имѣетъ свое значеніе — и, можетъ быть, немаловажное — въ практической жизни общества“³⁾. Такимъ образомъ научно-философская постановка вопроса о значеніи личности для Лаврова уже тогда, въ самомъ началѣ его дѣятельности имѣла и теоретическій, и практическій смыслъ. Для безстрастно наблюдающаго ученаго это — вопросъ о законахъ, по которымъ совершается развитіе личности, какъ одного изъ явленій сознанія, въ чемъ и заключается оправданіе теоріи личности, именно какъ теоріи, но рядомъ съ этимъ Лавровъ отмѣчаетъ и другую сторону дѣла — известную

¹⁾ П. Лавровъ. Очерки вопросовъ критической философіи. Спб. 1860, стр. 10.

²⁾ Та же страница.

³⁾ Тамъ же, стр. 94.

психическую работу личности надъ собою, въ концѣ которой стоить дѣйствіе, уже вводящее насъ въ практику жизни. Другими словами, теорія личности нужна не только для теоріи общества, но и для практической жизни послѣднаго.

Исходя изъ теоретическаго міросозерцанія съ чисто индивидуалистическимъ характеромъ, т.-е. не сводя личность цѣликомъ на роль функціи общества, Лавровъ тѣмъ не менѣе не считалъ возможнымъ разсматривать личность совершенно изолированно отъ окружающей ее среды, и это помогло ему впослѣдствіи усвоить себѣ и чисто социологическую точку зрѣнія. Если, по его словамъ, съ одной стороны, общество немислимо безъ отдѣльныхъ личностей, а отдѣльная личность невыдѣлима изъ общества, то это отнюдь не можетъ служить препятствіемъ къ тому, чтобы различать въ цѣляхъ изслѣдованія вопроса о человѣческой дѣятельности два ряда явленій, такъ сказать, личныхъ и общественныхъ. „Одинъ рядъ, говоритъ Лавровъ, выходитъ изъ отдѣльности личностей, изъ ихъ самостоятельности и постепенно развивается подъ вліяніемъ различныхъ началъ, находящихся въ самой личности, такъ же, какъ подъ вліяніемъ присутствія другихъ человѣческихъ единицъ. Другой рядъ явленій человѣческой дѣятельности истекаетъ изъ соединенія личностей въ общества, какъ причины и цѣли для дѣйствія отдѣльныхъ единицъ, но въ своемъ развитіи востоянно обуславливается силами и стремленіями отдѣльныхъ личностей. Говоря о личности, необходимо имѣть въ виду общественную жизнь; говоря объ обществѣ, неизбежно является вопросъ объ отдѣльныхъ личностяхъ. Тѣмъ не менѣе рядъ явленій, составляющихъ *теорію личности*, образуетъ группу, легко отдѣляемую отъ другого ряда, который группируется въ *теорію общества*“¹⁾. Хотя въ теоріи личности, само собою разумѣется, „безпрестанно приходится обращаться къ вліянію другихъ людей на отдѣльную личность“, но истиннымъ содержаніемъ этой теоріи должны быть „явленія человѣческой дѣятельности, которыя преимущественно истекаютъ изъ начала отдѣльности, самостоятельности личностей“²⁾.

Въ приведенномъ отрывкѣ обращаютъ на себя вниманіе нѣкоторыя частныя положенія, дающія намъ ключъ къ уразумѣнію всей общественной философіи Лаврова. Хотя личность и общество другъ безъ друга немислимы, но въ цѣляхъ теоретическаго пониманія человѣческой дѣятельности слѣдуетъ различать двоякаго рода явленія—индивидуальныя и социальныя. Это различеніе оправдывается тѣмъ, что въ самой личности, независимо отъ окружающей среды, нахо-

¹⁾ Тамъ же, стр. 11.

²⁾ Тамъ же, стр. 12.

дятся различные самостоятельныя начала. Исслѣдованіе *этихъ* началъ и должно быть предметомъ теоріи личности. Съ другой стороны, тутъ же Лавровъ отмѣчаетъ, что личная дѣятельность никоимъ образомъ не можетъ цѣликомъ объясняться изъ одной индивидуальной психологіи, ибо эта дѣятельность всегда находится подъ вліяніемъ дѣятельности другихъ личностей, изъ которыхъ складывается общество. Между личностью и обществомъ происходитъ постоянное взаимодѣйствіе, сводящееся, по Лаврову, къ взаимодѣйствію отдѣльныхъ личностей. И въ началѣ, и въ концѣ своей дѣятельности Лавровъ былъ одинаково далекъ отъ мысли, будто индивидуумъ есть только продуктъ какой-то совершенно безличной общественной среды. Для него въ этомъ вѣчномъ взаимодѣйствіи личности и общества *prius* есть не общество, а личность, сама являющаяся первичнымъ элементомъ общества.

Послѣдуемъ въ самомъ дѣлѣ за Лавровымъ въ этомъ рядѣ его мыслей о взаимныхъ отношеніяхъ личнаго и общественнаго началъ. Различивъ въ упомянутыхъ „Очеркахъ“ явленія личности и явленія общества, онъ немедленно же ставитъ вопросъ: какую категорію явленій „принять за главную, за цѣль для другихъ явленій, за начало, обуславливающее другія явленія“? Отвѣтъ его на этотъ вопросъ въ пользу личности. „Съ одной стороны, говоритъ онъ, мы имѣемъ дѣйствительный предметъ исслѣдованія—человѣка; съ другой, у насъ рядъ формальныхъ единицъ (семейство, артель, государство и т. п.), каждая изъ которыхъ опирается на свое собственное начало, чуждое для прочихъ“, и „признаетъ другія за призраки, а себя лишь за дѣйствительность“. Въ виду именно этого послѣдняго обстоятельства Лавровъ и находилъ болѣе правильнымъ начинать „съ положительнаго предмета исслѣдованія“, каковымъ для него является личность, потому, прибавляетъ онъ, „изученіе личности должно предшествовать изученію общества, независимо отъ результата, къ которому мы можемъ придти“¹⁾. Но, спрашивается, „гдѣ же точка исхода для теоріи личности?“, т.-е., другими словами, какой фактъ принять за неоспоримый и начальный?“ Этимъ исходнымъ пунктомъ Лавровъ считалъ „то, что отдѣляетъ, различаетъ людей одного отъ другого“, т.-е. „явленіе *самосознанія*, отличія своего *я* отъ вѣшняго міра, отъ другихъ существъ“²⁾. Иначе говоря, уже тогда, задолго до того времени, когда Лавровъ впервые сталъ интересоваться вопросомъ о построеніи положительной науки объ обществѣ въ духѣ соціологіи Конта и объ отношеніи ея къ другимъ наукамъ, имъ уже

¹⁾ Тамъ же, стр. 12.

²⁾ Тамъ же, стр. 13.

было предрѣшено, что его социологія будетъ опираться на психологію и что въ наукѣ объ обществѣ у него будутъ играть видную роль не одни высшіе процессы, но и явленія, совершающіяся въ человѣческомъ сознаниі.

Извѣстно, что Лавровъ опредѣлялъ свою философію, какъ „антропологизмъ“, потому что отправнымъ пунктомъ всего его ученія былъ человѣкъ, эта „мѣра всѣхъ вещей“, какъ выразился еще Протагоръ. Весьма естественно, что разъ такова была исходная точка зрѣнія всей его философіи, онъ не могъ поступить иначе и по отношенію къ общественной теоріи, въ которой также первичнымъ элементомъ является у него человѣческая личность. Теорія личности предшествуетъ теоріи общества, психологія—социологіи. Съ этой точки зрѣнія рѣшающее значеніе получалъ для всей его антропологической философіи отвѣтъ на вопросъ о томъ, что можно считать прирожденнымъ человѣку и что прививающимся ему общественной средою. Признавая основными способностями человѣческой личности, какъ таковой, т.-е. какъ сознающаго самого себя я, знаніе и творчество, въ которыхъ онъ видѣлъ и главныя орудія человѣческаго развитія, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ усматривалъ побужденіе къ самому знанію, къ самому творчеству—въ стремленіи къ наслажденію, этомъ, какъ выразился Лавровъ, „простѣйшемъ началѣ, неразрывно связанномъ съ самосознаніемъ и необходимо присутствующемъ во всѣхъ побужденіяхъ человѣческой дѣятельности“¹⁾. Это, говоритъ онъ еще, есть „начальное психологическое явленіе, слѣдующее за самосознаніемъ,—явленіе, съ котораго начинается рядъ личныхъ явленій человѣческой жизни. Это—побужденіе, съ котораго начинается работа знанія и творчества—развитіе человѣка, какъ дѣятеля“²⁾. Итакъ, корень всѣхъ личныхъ явленій человѣческой жизни въ желаніи наслажденія. Конечно, это положеніе Лаврова не слѣдуетъ принимать въ грубо-матеріальномъ смыслѣ. Напротивъ того, въ истинно человѣческомъ развитіи вырабатывается способность наслаждаться самою нравственною жизнью, и это наслажденіе ставится развитымъ человѣкомъ выше всѣхъ другихъ доступныхъ вообще людямъ наслажденій, но общій корень у всѣхъ наслажденій—одинъ и тотъ же. Въ своей теоріи личности Лавровъ выступилъ не только психологомъ, который—правильно ли, или неправильно, другой вопросъ—сводилъ все богатство

¹⁾ Тамъ же, стр. 14.

²⁾ Тамъ же, стр. 15. Сравни его „Три бесѣды о современномъ значеніи философіи“ (Спб., 1861), гдѣ между прочимъ говорится то же самое: „желаніе есть источникъ всякой человѣческой дѣятельности“ (стр. 18) и „желаніе, источникъ знанія, источникъ творчества, есть тоже источникъ жизненной дѣятельности, развитія“ (стр. 54).

личныхъ явленій человѣческой жизни къ одному основному и протѣйшему началу, но и моралистомъ, объявившимъ, что личность должна стремиться къ нѣкоторому идеалу совершенства. Но объ этомъ послѣ. Здѣсь мы лишь подчеркиваемъ, что теорія личности Лаврова была не только психологическою, но и этической. Позднѣе, въ своей замѣчательной работѣ „Современныя ученія о нравственности и ея исторія“, появившейся въ „Отечественныхъ Запискахъ“ за 1870 г. ¹⁾, онъ подробно обосновалъ свой взглядъ на способность наслажденія собственнымъ развитіемъ, какъ на могучій факторъ нравственной жизни, но уже и въ первой его философской работѣ мы встрѣчаемся съ тою же идеею. Съ этой точки зрѣнія мысль человѣка является сама созидающею, творческою силою, и признаніе за мыслью такого значенія характеризуетъ не только этику Лаврова, но и его историческую теорію, въ которой личная дѣятельность, руководимая мыслью, разсматривается, какъ факторъ исторической жизни. „Для того, писалъ Лавровъ все въ тѣхъ же первыхъ своихъ „Очеркахъ“, — для того, чтобъ исторія человѣка началась, чтобы началось развитіе, чтобы родилась нравственность, необходимо, чтобы творчество человѣка обратилось на него самого, чтобы къ сознанію своего я присоединилось представленіе своего я“. Это представленіе вырабатывается фантазіей. Именно „фантазія создаетъ предъ человѣкомъ внѣ его дѣйствительнаго я другое, идеальное я, которое остается *относительно* постояннымъ при безпрестанномъ измѣненіи чувствъ, желаній и душевныхъ состояній человѣка. Это идеальное я — личное достоинство человѣка“ ²⁾. Съ послѣднимъ понятіемъ мы, несомнѣнно, входимъ въ область этики, но оно же играетъ роль и въ исторической философіи Лаврова, насколько она вырисовывается уже въ этомъ первомъ его философскомъ произведеніи. О томъ настроеніи, которое въ самомъ авторѣ возникало при созерцаніи этой идеи, можно судить по слѣдующимъ его словамъ: „Требованія, рождающіяся изъ понятія о личномъ достоинствѣ, разнообразны: какъ *идеаль*, достоинство требуетъ уваженія; какъ *личный*, отдѣльный идеаль, онъ требуетъ *самостоятельности* личности; какъ *цель*, которая должна быть преслѣдуема, если не можетъ быть вполне достигнута, онъ требуетъ, во-первыхъ, *дѣятельности*, сообразной цѣли, во-вторыхъ, устраненія преградъ, связывающихъ личность, мѣшающихъ ей воплощать этотъ идеаль въ слово и въ дѣйствіе: онъ требуетъ *свободы* личности“ ³⁾.

И наслаждаться, и развиваться, и поддерживать свое достоинство

¹⁾ См. ниже, стр. 45.

²⁾ Очерки вопросовъ практической философіи, стр. 29.

³⁾ Тамъ же, стр. 30.

мѣшаютъ въ дѣйствительной жизни весьма многочисленныя препятствія, для преодоленія которыхъ у человѣка есть силы физическія, силы умственныя, сила характера. Отмѣчая, что онѣ, эти силы, поэтому входятъ въ самое понятіе о человѣческомъ достоинствѣ, требующемъ къ себѣ уваженія, Лавровъ оговаривается, однако, что въ данномъ случаѣ упомянутое достоинство имѣетъ эгоистическій характеръ, т.-е. рассматривается, какъ „достоинство личности, которая не беретъ въ соображеніе свои отношенія къ другимъ личностямъ. На этой точкѣ зрѣнія, поясняетъ Лавровъ свою мысль, человѣкъ приписываетъ себѣ безусловное право подчинять себѣ все и всѣхъ, расширять свою личность до предѣловъ возможности, налагаетъ на себя безусловную обязанность выдѣленія изъ всего окружающаго, *исключительнаго* уваженія своей особенной личности“. Даже дополняясь, расширяясь и вслѣдствіе этого теряя свою исключительность, это начало уваженія къ собственной личности „остается основой человѣческой нравственности, которая лишь тамъ существуетъ, гдѣ есть самоуваженіе“ ¹⁾. Вообще Лавровъ искалъ такимъ образомъ отвѣта на вопросъ и о происхожденіи нравственности прежде всего въ психологіи самого индивидуума, т.-е. не въ социальной средѣ. Это не значитъ, впрочемъ, чтобы, по его мнѣнію, въ образованіи нравственности совсѣмъ не участвовала и эта среда, другими словами, общество.

Выдѣляя для удобства изслѣдованія личность изъ той среды, съ которою она неразрывно связана, Лавровъ вообще никогда не забывалъ, что рядомъ съ личностью существуетъ общество, и когда это оказывалось нужнымъ, онъ тотчасъ же обращался своею мыслью къ послѣднему и спрашивалъ себя, насколько мыслимо совершенно прямолинейное развитіе того, что можно принять за чисто личное начало. Въ самомъ дѣлѣ, посмотримъ, что произошло бы въ томъ случаѣ, если бы стало требовать полнаго осуществленія безусловно эгоистическое пониманіе личнаго достоинства, не берущее въ расчетъ существованія рядомъ съ нимъ и другихъ предметовъ.

„Если бы, говоритъ Лавровъ, представлялась возможность, то личность объявила бы весь міръ своею собственностью и всѣхъ людей своими рабами, всѣ силы природы—своими орудіями“. Но именно осуществленіе такого всемірнаго деспотизма личности прежде сего невозможно. Человѣкъ окруженъ другими предметами, которые для слабѣе его, или ему равносильны, или сильнѣе его. Конечно, отношеніе человѣка къ предметамъ этихъ трехъ разрядовъ весьма различно, и слѣдствіемъ этого различія являются новыя чувства, раз-

¹⁾ Тамъ же, стр. 31.

вивающіяся въ душѣ человѣка и невозможныя до тѣхъ поръ, пока онъ имѣетъ въ виду только собственную личность. Слѣдствіемъ этого являются и новыя черты, прибавленныя къ идеалу человѣческаго достоинства¹⁾. Такъ рядомъ съ властолюбіемъ возникаетъ по отношенію къ слабѣйшимъ „милосердіе“; рядомъ со страхомъ въ присутствіи преобладающей силы—самоотверженіе²⁾, рядомъ съ борьбою равносильныхъ личностей—справедливость. Мы не будемъ слѣдить здѣсь за Лавровымъ въ его разсужденіи объ сравнительномъ достоинствѣ и взаимныхъ отношеніяхъ милосердія, самоотверженія и справедливости. Отмѣтимъ только, что и милосердіе, и самоотверженіе онъ опять-таки выводитъ изъ основного эгоистическаго принципа³⁾, но что ни милосердіе, ни самоотверженіе онъ не считаетъ „безусловными началами“, такъ какъ первое „предполагаетъ произволь личности, способной помиловать“ однихъ и не помиловать другихъ⁴⁾, а второе тоже не можетъ быть ни общимъ, ни вдобавокъ продолжительнымъ, не говоря уже о томъ, что „самоотверженіе, выходящее изъ самоуниженія, самоотверженіе по привычкѣ или въ порывѣ страсти недостойно человѣка“⁵⁾. Инымъ характеромъ, по Лаврову, отличается принципъ справедливости, который только одинъ и можетъ придать вполнѣ нравственное значеніе и милосердію, и самоотверженію. Источникъ чувства справедливости онъ видѣлъ въ способности творчества, которая „расширяетъ личный идеалъ достоинства по мѣрѣ расширенія человѣческихъ отношеній. Столкновенія съ равносильными личностями безпрестанны; безпрестанна необходимость уступокъ и требованій уступокъ отъ другихъ. Въ своемъ творествѣ, въ своемъ идеалѣ человѣкъ стремится къ примиренію съ этимъ положеніемъ, и предъ нимъ возникаетъ представленіе *равноправныхъ* личностей. Онъ сознаетъ между личностями отноше-

¹⁾ Тамъ же, стр. 38.

²⁾ „Самоотверженіе есть отвращеніе отъ борьбы даже тогда, когда умъ видитъ ясно ея удобство и неизбежный успѣхъ. Самоотверженіе есть желаніе подчиниться тому, кого мы считаемъ выше себя“. Тамъ же, стр. 43.

³⁾ „Чѣмъ выше развитъ человѣкъ, слѣдовательно, чѣмъ его нервная система чувствительнѣе, тѣмъ неприятнѣе состояніе зрителя чужого страданія. Это нервное состояніе отражается въ душѣ чувствомъ отвращенія къ чужому страданію, а въ лучшихъ натурахъ чувствомъ сожалѣнія“. Тамъ же, стр. 39—40. „Нервы человѣка пробудили въ немъ состраданіе“, стр. 90. „Процессъ, посредствомъ котораго эгоистическая личность достигаетъ самоотверженія“, Лавровъ понималъ такъ: „сначала чужое существо намъ дорого, какъ дополненіе нашего благосостоянія, нашего достоинства; мы готовы принести жертвы для его сохраненія, потому что оно намъ нужно“ и пр., стр. 45.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 40.

⁵⁾ Тамъ же, стр. 52.

нія справедливости". Человѣкъ, чувствующій состраданіе къ другому или готовый къ самопожертвованію ради другого, признаётъ въ себѣ и въ этомъ другомъ нѣчто общее, но общее въ себѣ и въ другихъ признаётъ и человѣкъ, который обнаруживаетъ въ себѣ и въ нихъ одинаковыя и высшія качества. „Мы оба, говоритъ такой человѣкъ, равно уважаемъ свое достоинство; мы оба равно сознаемъ, что другой уважаетъ свое достоинство. Это равенство уваженія и сознанія намъ обще. Оскорбленіе достоинства того, кого я призналъ равнымъ, есть во мнѣ оскорбленіе сознанія этого равенства, слѣдовательно, оскорбленіе и моего достоинства. Я долженъ быть оскорбленъ оскорбленіемъ достоинства равной мнѣ личности, какъ всякая равная мнѣ личность должна быть оскорблена оскорбленіемъ моего достоинства. Я долженъ чувствовать въ себѣ не только свое, но и чужое достоинство, наслаждаться наслажденіемъ того и другого, страдать отъ униженія того и другого. Если я оскорблю достоинство личности, мнѣ равной, то я оскорблю самого себя. Поэтому я долженъ при каждомъ столкновеніи съ равною мнѣ личностью сознать въ себѣ какъ свое, такъ и чужое достоинство и потомъ рѣшиться на дѣйствіе во имя равноправности обѣихъ нашихъ личностей на обоюдное наше уваженіе. Не признавая чужого достоинства, я эгоистъ; признавая только чужое, я подчиняюсь самоотверженію; равно уважая свое и чужое достоинство, я *справедливъ*, и справедливость есть расширеніе моего достоинства“ ¹⁾. Лавровъ считалъ справедливость „невыдѣлимымъ свойствомъ“ человѣка. „Въ самомъ дѣлѣ, говоритъ онъ, она родилась въ то же время, какъ человѣческое сознаніе и человѣческой эгоизмъ. Съ первымъ обществомъ, съ первой встрѣчей между людьми, которая не рѣшилась борьбою и подчиненіемъ одного другому, начало равноправности, обоюднаго права на взаимное уваженіе достоинства, явилось по логической необходимости въ душѣ человѣка. До сихъ поръ оно не вошло въ практику жизни, но давно уже проникаетъ въ нравственный идеалъ.... Понятіе о существахъ равноправныхъ измѣняется, расширяется со временемъ, но въ каждое историческое мгновеніе для каждой личности существуетъ кругъ существъ ей равноправныхъ, въ отношеніяхъ къ которымъ человѣкъ требуетъ отъ себя и отъ другихъ не милосердія, не самоотверженія, а справедливости. Съ тѣмъ вмѣстѣ въ сознаніи человѣка естественныя права личности обращаются съ помощью этого начала о взаимно признанныхъ, взаимно уважаемыхъ, но взаимно ограничивающихъ права всѣхъ равноправныхъ личностей. Въ наше время, прибавляетъ Лавровъ, для большинства мыслителей достоинство от-

¹⁾ Тамъ же, стр. 58.

дѣльнаго я дѣлается достоинствомъ человѣка¹⁾. Къ сожалѣнію, размѣры статьи не позволяютъ намъ привести вполне ту характеристику справедливости, которую даетъ Лавровъ²⁾, и мы ограничимся лишь указаніемъ на признаніе имъ за этимъ принципомъ безусловнаго значенія. „Такимъ образомъ, замѣчаетъ онъ, идеаль человѣческой личности въ эгоистическому праву и въ эгоистическому дѣлу развивать въ себѣ тѣло, мысль, характеръ прибавляетъ право и обязанность быть справедливымъ. Это новое начало не отрицаетъ личнаго достоинства, но расширяетъ его, потому что справедливость дѣлается необходимымъ и высшимъ условіемъ собственнаго достоинства личности. Столкновеніе эгоистическаго побужденія и начала справедливости въ душѣ самого человѣка не можетъ вести ни къ какому взаимнымъ уступкамъ, потому что справедливость признаетъ эгоизмъ какъ свое начало, какъ необходимый элементъ своего существованія, но дополняетъ его сознаніемъ равноправности эгоизма другихъ и равной обязанности для каждаго уважать чужое и свое достоинство. Это начало равенства, заключающееся въ сознаніи справедливости, дѣлаетъ всякое, даже малѣйшее отступленіе отъ справедливости совершеннымъ отрицаніемъ ея. Она въ каждой отдѣльной личности въ данное мгновеніе не допускаетъ степеней. Немного справедливымъ быть нельзя, какъ можно быть болѣе или менѣе знающимъ, твердымъ въ своихъ мнѣніяхъ, болѣе или менѣе страстнымъ, самоотверженнымъ, милосерднымъ. Кто нѣсколько отступаетъ отъ справедливости въ чувствахъ и дѣйствіяхъ, тотъ совершенно несправедливъ“. Притомъ, признавая справедливость „самымъ естественнымъ плодомъ эгоизма, поставленнаго въ столкновеніе съ другими эгоизмами и примиряющагося съ своимъ положеніемъ силою своего творчества“, Лавровъ прибавлялъ еще, что, „какъ необходимое понятіе, заключающее въ себѣ эгоизмъ и не допускающее уступокъ, справедливость должна составлять высшее достоинство личности, передъ которымъ эгоистическія побужденія, какъ самостоятельныя должны, уступить“³⁾. Наконецъ, только на точкѣ зрѣнія справедливости, по убѣжденію Лаврова, получаютъ дѣйствительный смыслъ понятія *права* и *обязанности*. „Сознавъ, что справедливо, человѣкъ получаетъ одновременно право и обязанность требовать осуществленія справедливости. Требуя отъ себя поддержки своего и чужого достоинства, онъ налагаетъ на себя *обязанность*. Требуя того же отъ другихъ, онъ пользуется своимъ *правомъ*. Но человѣкъ *обязанъ* пользоваться всякимъ сознаннымъ пра-

¹⁾ Тамъ же, стр. 60.

²⁾ Тамъ же, стр. 61 и слѣд.

³⁾ Тамъ же, стр. 61.

вомъ и обладаетъ невыдѣлимымъ правомъ исполнять всегда свою обязанность“¹⁾). Поэтому въ справедливости Лавровъ видѣлъ источникъ всѣхъ общественныхъ добродѣтелей, какъ въ самоуваженіи—источникъ всѣхъ добродѣтелей личныхъ, а тѣхъ и другихъ вмѣстѣ — въ правильно понятомъ уваженіи своего достоинства²⁾).

Во всемъ этомъ разсужденіи, которое мы передали, конечно, въ сокращенномъ видѣ, слѣдуетъ обратить вниманіе на попытку вывести всѣ высшія проявленія личности изъ принятой авторомъ первоначальной основы, при чемъ совершенно особое мѣсто онъ отводилъ высшей человѣческой добродѣтели—справедливости, возникающей на почвѣ отношенія личности къ тѣмъ, кого она признаетъ равными себѣ. Во всякомъ случаѣ, стремящаяся къ наслажденію личность Лаврова не есть личность эгоистичная. Ей доступны и другія чувства, кромѣ простого себялюбія, и ихъ существованіе расширяетъ чисто личную жизнь, позволяя человѣку быть и существомъ общественнымъ. Впослѣдствіи Лаврова также сильно занималъ вопросъ о происхожденіи всѣхъ сложныхъ явленій личной жизни изъ основного стремленія всякаго живого существа къ наслажденію, но, повторяя многое изъ того, что уже въ началѣ своей дѣятельности онъ признавалъ своимъ высшимъ идеаломъ, онъ позднѣе пользовался услугами эволюціонной теоріи, которая едва только намѣчалась, когда готовились „Очерки вопросовъ практической философіи“. Впослѣдствіи, когда Лавровъ познакомился съ ученіями Конта, Дарвина и Спенсера, отношеніе его къ личности вообще сдѣлалось болѣе реалистичнымъ, и онъ болѣе сталъ считаться съ тѣмъ, каковы люди на самомъ дѣлѣ, но его никогда не покидалъ тотъ идеализмъ, который былъ имъ воспринятъ изъ умственного общенія съ лѣвымъ гегельянствомъ. Въ раннихъ своихъ трудахъ будущій социологъ былъ больше моралистомъ, чѣмъ изслѣдователемъ, болѣе рисовалъ идеальную личность, чѣмъ ея реальную эволюцію, охотно указывалъ на то, чѣмъ личность должна быть, и мало интересовался тѣмъ, чѣмъ она бываетъ и какъ она стала таковою, каковою мы ее видимъ при теперешнемъ состояніи человѣческаго міра.

Въ эпоху чисто социологическихъ трудовъ Лаврова вопросъ о роли личности, какъ агента въ историческомъ движеніи, постоянно привлекалъ къ себѣ его вниманіе, но раньше на первомъ планѣ у него обще стоялъ вопросъ, какъ должна проявлять себя личность въ жизни. наче говоря, вопросъ ставился о достоинствѣ личности въ идеальномъ смыслѣ, а не о ея реальномъ значеніи, какъ положительной

¹⁾ Тамъ же, стр. 64.

²⁾ Тамъ же, стр. 65.

силы. Повидимому, эта послѣдняя не возбуждала никаких сомнѣній, и все дѣло заключалось только въ томъ, чтобы надлежащимъ образомъ воспитать и направить эту силу. Лавровъ не задавался опредѣленіемъ причинъ и условій, дѣлающихъ возможнымъ внимательство личности въ процессъ исторической жизни общества, и сосредоточивалъ всю свою мысль на выясненіи тѣхъ требованій, которыя слѣдуетъ предъявлять нравственному человѣку, стремящемуся къ воплощенію истины и справедливости въ общественныхъ формахъ. Поэтому первымъ качествомъ, которымъ долженъ обладать вполне и нормально развитой человѣкъ, Лавровъ въ своихъ „Очеркахъ“ объявилъ волю, силу характера. „Высшее достоинство личности, говоритъ онъ, не въ физическихъ качествахъ, не въ умственномъ развитіи. Тѣло и умъ—превосходныя орудія наслажденія: помощью ихъ человѣкъ можетъ подчинить себѣ все окружающее; но это только орудія; они доставляютъ только возможность наслажденія. Для дѣйствительнаго могущества, для дѣйствительнаго достоинства надо рѣшиться, а рѣшимость не принадлежитъ ни тѣлу съ его побужденіями, ни уму съ его мышленіемъ, но волѣ, развивающейся въ характеръ.... Безъ силы характера, продолжаетъ онъ, всѣ физическія и умственныя силы человѣка теряются лишь на то, чтобы подчиняться большую часть своей жизни тысячѣ обстоятельствъ, ему встрѣчающихся, и не потому, что онъ не можетъ выбрать себѣ дорогу, а потому лишь, что не рѣшается идти по ней. Отсюда мы получаемъ, что высшее достоинство личности заключается въ ея характерѣ“¹⁾. Человѣкъ, лишенный силы воли, подчиняется обстоятельствамъ; человѣкъ съ характеромъ обладаетъ „могуществомъ“ себѣ подчинять обстоятельства.

Та личность, теоріей которой занимался Лавровъ въ началѣ своей дѣятельности, вообще такимъ образомъ представляется намъ идеаломъ, а не реальною величиною, съ которою мы постоянно встрѣчаемся въ жизни и въ исторіи. Это понятіе у него—плодъ творчества, а не изслѣдованія. Но къ этому понятію Лавровъ постоянно возвращался, и почти каждый разъ оно осложнялось новыми чертами, которыя, съ одной стороны, обогащали самое содержаніе идеала, а съ другой приближали и вырабатываемое понятіе о личности къ реальнымъ фактамъ жизни. Прежде, нежели мы будемъ говорить, какъ происходило послѣднее, мы должны остановиться на внесеніи Лавровымъ еще одной черты въ его идеаль личности. Эта черта стоитъ въ связи съ только-что отмѣченнымъ возвеличеніемъ въ человѣкѣ его характера. Не подчиняться обстоятельствамъ, а ихъ себѣ подчинять, — такова

¹⁾ Тамъ же, стр. 34—35.

формула человѣка съ сильною волею. Въ умственной сферѣ, это — стремленіе жить своимъ умомъ, а не чужими мыслями и стремленіе своимъ мнѣніямъ давать ходъ въ жизни. Мы уже упомянули о томъ, какое значеніе идея критики имѣла въ лѣвомъ гегельянствѣ, оказавшемъ на Лаврова большое вліяніе. Съ этою самою идеей мы встрѣчаемся уже въ первыхъ трудахъ Лаврова, раньше чѣмъ онъ опредѣленно заговорилъ о „критически мыслящей личности“. Черезъ годъ послѣ „Очерковъ вопросовъ практической философіи“ Лавровъ выпустилъ въ свѣтъ „Три бесѣды о современномъ значеніи философіи“, въ которыхъ между прочимъ съ особою ясностью высказала свое сочувствіе къ самому принципу критики. „Человѣкъ, — наприимѣръ, говоритъ онъ здѣсь, — относится къ существующимъ формамъ искусства или научнаго творчества не какъ идолопоклонникъ къ своему кумиру, но какъ свободно развивающаяся личность къ продуктамъ и средствамъ своего развитія. Онъ ихъ обсуживаетъ и подвергаетъ критикѣ во имя знанія. Эта критика, продолжаетъ онъ, не есть творчество, но она дополняетъ творчество, доставляя ему жизнь и развитіе; она есть *философія въ творчествѣ... Постоянное внесеніе всего своего знанія, всего своего бытія въ свои созданія, это есть условіе философіи въ творчествѣ*. Безъ нея всюду рутина и неподвижность; она представляетъ вѣчную *борьбу съ созданнымъ во имя создающаго*. И тогда, когда мы принимаемъ уже существующія формы, мы ихъ принимаемъ во имя критики, послѣ борьбы съ ними, признавъ ихъ удовлетворительными, но признавъ за собою право отыскивать новыя формы въ случаѣ нужды. Все *заслуживаетъ уваженія* лишь настолько, насколько сознано *послѣ критики, какъ достойное уваженія*“¹⁾. „Внѣ критики, говоритъ онъ еще въ другомъ мѣстѣ, нѣтъ развитія; внѣ критики нѣтъ совершенствованія. Безъ критики всего окружающаго человѣкъ никакъ бы не выработался изъ животнаго состоянія, переходилъ бы всю жизнь отъ одного мгновеннаго желанія къ другому, безъ плана, безъ послѣдовательности. Критика собственныхъ желаній, какъ критика *желаемаго* предмета и какъ критика *желательнаго* состоянія духа, позволяетъ человѣку построить іерархически свои побужденія и предметы, ихъ возбуждающіе, позволяетъ ему сказать: это лучше, а это хуже; слѣдовательно при одновременной возможности обоихъ первое — добро, а второе зло“²⁾. Въ чемъ же, глѣдовательно, значеніе критики? Въ томъ, что безъ нея міръ порузился бы въ неподвижность, что ею создается движеніе впередъ, то, совершаясь во имя знанія, она въ то же время руководитъ

1) Три бесѣды о современномъ значеніи философіи. Спб. 1861. Стр. 46.

2) Тамъ же, стр. 55.

творчествомъ и именно творчествомъ все лучшихъ и лучшихъ формъ жизни. Между прочимъ, критикою руководить и идея справедливости. Не человѣкъ существуетъ для общественныхъ формъ, а общественныя формы для человѣка, и онѣ должны быть справедливы. Справедливая личность не можетъ не критиковать несправедливыхъ общественныхъ формъ. „Сознаніе, говоритъ объ этомъ Лавровъ, присутствуетъ только въ живыхъ, дѣйствительныхъ личностяхъ. Отвлеченныя общественныя единицы суть лишь формы, въ которыя отдѣльныя личности владываютъ свое сознаніе. Онѣ суть всегда орудія личностей“. Судь надъ этими формами „принадлежитъ личностямъ и можетъ быть произведенъ только во имя высшаго личнаго начала, во имя справедливости. Личность, сознавая въ своей душѣ начало справедливости, сознаетъ въ то же время себя, какъ справедливую личность, судьей, создателемъ и цѣлью общественныхъ формъ. Въ личности нѣтъ ни блага, ни справедливости, и она вооружается критикою относительно формъ, ею созданныхъ, и анализомъ относительно самаго понятія собирательной единицы—общества, относительно его обязанностей и необходимыхъ условій“¹⁾).

Эта критика общественныхъ формъ, подъ которыми Лавровъ разумѣлъ вообще всю социальную среду, вездѣ и всегда понималась имъ не только въ смыслѣ суда личности надъ всею культурно-социальною обстановкою, но и въ смыслѣ исходнаго пункта для побужденія и рѣшимости измѣнить общественныя формы по указаніямъ разума и нравственнаго чувства. Измѣнять значитъ дѣйствовать и создавать нѣчто новое. Дѣло въ томъ, что, какъ это видно уже изъ только-что приведенныхъ словъ, общественныя формы были въ глазахъ Лаврова прежде всего созданіями людей, результатами ихъ дѣятельности: отдѣльныя личности владываютъ въ нихъ свое сознаніе, пользуются ими, какъ своими орудіями, являются истинными ихъ создателями. Съ этою мыслью Лавровъ не разставался до самаго конца своей научной дѣятельности, но, подчеркивая это обстоятельство, нельзя не упомянуть, что уже и въ началѣ ея онъ находилъ нужнымъ, хотя и не очень пространно, говорить и объ обратномъ дѣйствіи—общественныхъ формъ на личность. По его словамъ, въ „Трехъ бесѣдахъ“, процессъ, совершающійся въ личности при ея развитіи, обуславливается средою, въ которой онъ совершается и которая одна даетъ ему опредѣленность²⁾. Самая среда эта мыслилась Лавровымъ опять-таки въ тѣхъ же „Трехъ бесѣдахъ“, какъ, съ одной стороны, окружающая природа и какъ общество, съ другой. „Каждый человѣкъ,—

¹⁾ Тамъ же, стр. 92.

²⁾ Тамъ же, 56.

такъ формулировалъ онъ свою мысль объ этомъ предметѣ въ названномъ сочиненіи, — каждый человѣкъ въ процессѣ исторіи представляется намъ, какъ общая вершина двухъ конусовъ. Внѣшній міръ даетъ ему матеріаль жизнь, окружаетъ его своимъ вліяніемъ, вырабатываетъ въ немъ мозгъ для мышленія, придаетъ ему воспримчивость и дѣлаетъ его способнымъ развиваться. Исторія подсказываетъ ему съ дѣтства матеріаль мышленія, убаюкиваетъ его преданіями, научаетъ его критикѣ, ставитъ передъ нимъ жизненные вопросы, вліяетъ на него обстановкой, словами и примѣрами окружающихъ личностей. Въ процессѣ сознанія этотъ матеріаль перерабатывается въ новые вопросы науки и жизни, въ новые идеалы, и такимъ образомъ человѣкъ въ его единствѣ представляется результатомъ внѣшняго міра, исторіи и собственнаго сознанія¹⁾. Это очень хорошая, хотя и недостаточно полная формулировка основной мысли Лаврова объ отношеніи личности къ внѣшнимъ вліяніямъ, отъ которыхъ она зависитъ въ своей жизни и въ своей дѣятельности. Природа и общество, съ одной стороны, и собственное сознаніе личности, съ другой, т. е. та лабораторія, въ которой происходитъ переработка внѣшнихъ вліяній въ новыя формы и совершается судъ надъ жизнью, не остающийся безъ вліянія на самую жизнь, разъ у личности является рѣшимостью отъ мысли перейти къ дѣлу, — вотъ то внѣшнее и то внутреннее, безъ которыхъ нѣтъ историческаго процесса. Какъ бы ни были велики вліянія внѣшняго міра и исторіи въ жизни и дѣятельности отдѣльной личности, остается все-таки нѣчто, пѣликомъ не сводимое ни на то, ни на другое. Это нѣчто Лавровъ и обозначаетъ, какъ собственное сознаніе человѣка.

Это и есть все существенное, что даютъ намъ по отношенію къ теоріи, личности съ соціологической точки зрѣнія первыя произведенія Лаврова. Для самой соціологіи въ той постановкѣ, какую эта теорія тогда у него получила, она и не могла дать большаго, но и въ данномъ видѣ она могла сдѣлаться прочнымъ фундаментомъ для дальнѣйшихъ соображеній Лаврова о значеніи личнаго начала въ исторической жизни, — тема уже прямо соціологическаго характера. Извѣстно, что послѣдній вопросъ Лавровъ затронулъ въ своихъ сдѣлавшихся знаменитыми „Историческихъ письмахъ“, которыя появились въ отдѣльномъ изданіи (подъ псевдонимомъ П. Миртова) въ 1870 г. Правда, господствующая мысль этого сочиненія не о томъ, какъ вообще совершается исторія и какова въ ней на самомъ дѣлѣ роль отдѣльныхъ личностей, а о томъ, какъ долженъ происходить историческій процессъ и что для этого требуется со стороны развитой личности,

¹⁾ Тамъ же, стр. 67.

сознающей свой историческій долгъ, но это не мѣшаетъ „Историческимъ письмамъ“ быть въ то же время и своего рода теоріей историческаго процесса съ обращеніемъ особаго вниманія на роль личности въ этомъ процессѣ.

„Историческія письма“ написаны вообще съ той же точки зрѣнія касательно взаимныхъ отношеній личности и общества, съ которою мы познакомились изъ „Очерковъ практической философіи“. Исходный пунктъ Лаврова и здѣсь индивидуалистическій, хотя рѣчь идетъ уже не о теоріи личности, а о теоріи исторіи. Правда, въ согласіи съ общимъ духомъ этого своего труда Лавровъ больше распространяется о томъ, въ какихъ отношеніяхъ между собою должны находиться личность и общество, но по самому существу темы онъ не могъ обходить вопросовъ, касающихся роли личности, какъ агента въ историческомъ процессѣ. Не разбирая „Историческихъ писемъ“ въ ихъ цѣломъ, такъ какъ это завлекло бы насъ очень далеко, мы лишь слегка отмѣтимъ, какъ вообще понималъ въ нихъ Лавровъ желательное отношеніе между личностью и обществомъ, и остановимся нѣсколько подробнѣе на его взглядахъ относительно роли личности въ исторіи.

По первому пункту мы можемъ ограничиться слѣдующимъ разсужденіемъ Лаврова объ индивидуализмъ, который, какъ извѣстно, у Луи Блана сдѣлался чуть ли не синонимомъ всякаго зла. „Индивидуализмъ, какъ его понимаетъ Луи Бланъ, пишетъ по этому поводу, Лавровъ былъ стремленіемъ *подчинить* общее благо личнымъ, эгоистическимъ интересамъ единицъ, также какъ общественность, съ его точки зрѣнія, склоняется къ *поглощенію* личности въ ея особенностяхъ интересами общества. Но личность лишь тогда подчиняетъ интересы общества своимъ соотвѣтственнымъ интересамъ, когда смотритъ на общество и на себя, какъ на два начала, *одинаково реальныя* и соперничающія въ своихъ интересахъ. Точно также поглощеніе личности обществомъ можетъ имѣть мѣсто лишь при представленіи, что общество можетъ достигнуть своихъ цѣлей не въ личностяхъ, а въ чемъ-то *иномъ*. И то, и другое — призракъ. Общество внѣ личностей не заключаетъ ничего реальнаго... Общественныя цѣли могутъ быть достигнуты исключительно въ личностяхъ. Поэтому истинная общественная теорія требуетъ *не подчиненія* общественнаго элемента личному и не *поглощенія* личности обществомъ, а *смитія* общественныхъ и частныхъ интересовъ... *Индивидуализмъ* на этой ступени становится осуществленіемъ общаго блага помощью личныхъ стремленій, но общее благо и не можетъ иначе осуществиться. *Общественность* становится реализованіемъ личныхъ цѣлей въ общественной жизни, но онѣ и не могутъ быть

реализированы въ какой-либо другой средѣ" ¹⁾. Оставляя безъ всякихъ комментаріевъ мысль Лаврова о томъ, въ чемъ должны заключаться правильныя отношенія между личностью и обществомъ, останемся лишь на томъ его соображеніи, что общество, взятое внѣ личностей, его составляющихъ, не имѣетъ никакой реальности и потому можетъ считаться въ такомъ случаѣ только фикціей. При такомъ взглядѣ Лавровъ, конечно, не могъ разсматривать исторію, какъ процессъ безличный, стихійно совершающійся въ какой-то общественной средѣ, но безъ участія въ немъ самихъ людей. Впослѣдствіи Лавровъ особенно охотно останавливался на мысли о личномъ характерѣ исторіи и любилъ выражать ее на разные лады. „Безспорно, писалъ онъ, напримѣръ, въ своемъ „Введеніи въ исторію мысли“ (1874), — безспорно, что реальны въ исторіи лишь личности; лишь онѣ желаютъ, стремятся, обдумываютъ, дѣйствуютъ, совершаютъ исторію" ²⁾.. Историческія событія *сами собою* не происходятъ. Чтѣ бы ни писали о духѣ времени, о неизбѣжномъ теченіи событій, увлекающемъ личностей, но въ концѣ концовъ все-таки дѣлаютъ исторію *личности*, духъ времени составляетъ изъ настроенія мысли *личностей*; потокъ событій, увлекающій однихъ, образуется другими, опять-таки *личностями*" ³⁾.

Что касается именно этой самой роли личности въ исторіи, то, по мнѣнію Лаврова, общество въ массѣ, т.-е. „большинство, можетъ развиваться лишь дѣйствіемъ на него болѣе развитого меньшинства“, и „это, прибавляетъ онъ, есть, повидимому, законъ природы" ⁴⁾. Съ другой стороны, само это меньшинство не все сразу приходитъ въ новой идеѣ, которая потомъ воплощается въ жизнь“. Сѣмя прогресса, говорится въ „Историческихъ письмахъ“, есть идея, которая „зарождается въ мозгу личности, тамъ развивается, потомъ переходитъ изъ этого мозга въ мозги другихъ личностей, разрастается качественно въ увеличеніи умственного и нравственного достоинства этихъ личностей, количественно въ увеличеніи ихъ числа и становится общественной силою, когда эти личности сознаютъ свое единомысліе и рѣшаются на единодушное дѣйствіе" ⁵⁾. Такимъ иниціаторомъ переменъ и является въ разсматриваемомъ сочиненіи критически мыслящая личность, о которой намъ уже приходилось упоминать. Въ критически-мыслящихъ личностяхъ, по Лаврову, вся сила историческаго процесса. „Обществу, говоритъ онъ, угрожаетъ опас-

¹⁾ П. Муртовъ. Историческія письма. Спб. 1870. Стр. 79—80.

²⁾ Введеніе въ исторію мысли, стр. 93.

³⁾ Тамъ же, стр. 95.

⁴⁾ Историческія письма, стр. 58.

⁵⁾ Тамъ же, стр. 66.

ность застоя, если оно заглушить въ себѣ критически мыслящія личности. Его цивилизаціи грозить гибель, если эта цивилизація, какова бы она ни была, сдѣлается исключительнымъ достояніемъ небольшого меньшинства. Слѣдовательно, какъ ни малъ прогрессъ человѣчества, но и то, что есть, лежитъ исключительно на критически мыслящихъ личностяхъ: безъ нихъ онъ безусловно невозможенъ; безъ ихъ стремленія распространить его онъ крайне непроченъ¹⁾.

Въ этихъ выдержкахъ заключается все теоретическое зерно „Историческихъ писемъ“: критически мыслящей личности принадлежитъ инициатива, которую подхватываетъ болѣе интеллигентное меньшинство, и которая лишь послѣ всего увлекаетъ пассивную массу. Формулируя такую идею, Лавровъ, конечно, предвидѣлъ, что очень многіе съ нею никоимъ образомъ не согласятся. „Какъ! личность! одинокая, ничтожная, безсильная личность думаетъ критически относиться къ общественнымъ формамъ, выработаннымъ исторією народовъ, исторією человѣчества!“²⁾. Это и преступно, это и вредно, это и бессмысленно, это и безумно, — „безумно, потому что личность безсильна передъ обществомъ и его исторією“³⁾. Да, возражаетъ Лавровъ, „передъ общественными формами личность, дѣйствительно, безсильна, однако, борьба ея противъ нихъ безумна лишь тогда, когда она силою сдѣлаться не можетъ. Но исторія доказываетъ, что это возможно и что даже это единственный путь, которымъ осуществляется прогрессъ въ исторіи“⁴⁾. Дѣло въ томъ, что критически-мыслящая личность не бываетъ одинокою, что ея мысль распространяется въ обществѣ, что единомышленники сплачиваются для общаго дѣйствія. Въ другомъ мѣстѣ намъ уже пришлось высказать свое мнѣніе о такомъ пониманіи Лавровымъ роли личности въ исторіи⁵⁾. Въ немъ мы находимъ прежде всего преобладаніе деонтологическаго отношенія къ исторіи надъ чисто теоретическимъ, или субъективнаго надъ объективнымъ. Это явствуетъ между прочимъ изъ того, что разъ „всякій человѣкъ, критически-мыслящій и рѣшающійся воплотить свою мысль въ жизнь, можетъ быть названъ дѣятелемъ прогресса“ по преимуществу⁶⁾, то въ сравненіи съ такими людьми, хотя бы они не совершили ни одного яркаго дѣла, „по историческому значенію оказываются ничтожными величайшіе историческіе

¹⁾ Тамъ же, стр. 65.

²⁾ Тамъ же, стр. 97.

³⁾ Тамъ же, стр. 98.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 106.

⁵⁾ См. нашу книгу „Сущность историческаго процесса и роль личности въ исторіи“ (Спб., 1890), стр. 79 и слѣд.

⁶⁾ Историческія письма, стр. 77.

дѣятели“¹⁾. Съ другой стороны, анализируя „Историческія письма“ въ ихъ чисто объективномъ пониманіи процесса исторіи, мы нашли, что въ нихъ авторъ стоитъ въ общемъ на односторонней точкѣ зрѣнія XVIII в., діаметрально противоположной одностороннему же эволюціонизму XIX в., понимающему исторію, какъ процессъ совершенно стихійный и безличный. Впрочемъ, и по мысли автора „Историческія письма“ должны были быть не столько научной теоріей историческаго процесса, сколько деонтологической проповѣдью на тему, какъ должна вести себя критически мыслящая личность, рѣшившаяся стать дѣятельницей прогресса. Несмотря, однако, на такую постановку вопроса о сущности историческаго процесса и о роли въ немъ личности, Лавровъ не могъ совсѣмъ обойтись безъ извѣстнаго объективнаго пониманія самаго, если можно такъ выразиться, механизма исторіи и того значенія, какое въ ея процессѣ принадлежитъ реальнымъ силамъ самой общественной среды. Правда, говорится объ этомъ въ „Историческихъ письмахъ“ сравнительно очень немного, но и это немногое весьма важно, такъ какъ это былъ первый набросокъ теоріи, которую впоследствии Лавровъ развилъ въ цѣломъ рядѣ уже чисто объективныхъ изслѣдованій историческаго процесса.

Выше мы уже приводили соображенія Лаврова, касающіяся двойственности явленій человѣческой жизни и вытекающаго отсюда различенія въ ней личнаго и общественаго элементовъ²⁾. Хотя, по его представленію, личность и обуславливается окружающимъ обществомъ³⁾, но внутри ея происходитъ самостоятельная переработка воспринятыхъ извне впечатлѣній⁴⁾, дѣлающаяся источникомъ измѣняющей общественныя формы дѣятельности личности. Въ сущности, Лавровъ понималъ историческій процессъ, какъ взаимодействие личности и общественной среды. Именно эта мысль и заключается въ слѣдующей формулѣ „Историческихъ писемъ“: „исторія мысли, обусловленной культурою, въ связи съ исторіей культуры, измѣняющейя подѣ влияніемъ мысли—вотъ вся исторія цивилизаціи“. Лучшимъ поясненіемъ содержащейся въ этихъ словахъ идеи о взаимодействіи культуры и мысли могутъ служить слѣдующія немногія строки, встрѣчающіяся въ тѣхъ же „Историческихъ письмахъ“: „мысль реальна лишь въ личности, культура—реальна въ обществен-

¹⁾ Тамъ же, стр. 67.

²⁾ См. выше, стр. 5.

³⁾ См. выше, стр. 16.

⁴⁾ См. выше, стр. 17.

⁵⁾ Историческія письма, стр. 91.

ныхъ формахъ; слѣдовательно, личность остается со своими силами и со своими требованіями лицомъ къ лицу съ общественными формами¹⁾. Значить, мысль, о которой идетъ рѣчь въ первой формулѣ Лаврова, это — личный элементъ исторіи, культура—элементъ общественный, и взаимодействие мысли и культуры сводится къ взаимодействию личности и общественныхъ формъ, иначе—всей общественной среды. Это ученіе Лаврова о совершающемся въ исторіи взаимодействии личности съ общественной средою представляется намъ синтезомъ, въ которомъ онъ примирилъ діаметрально противоположныя идеи объ исключительно личномъ и совершенно безличномъ характерѣ историческаго процесса. Индивидуалистическая точка зрѣнія, выдвинутая XVIII вѣкомъ и до извѣстной степени поддержанная лѣвымъ гегельянствомъ, господствовала въ мышленіи Лаврова, пока преобладающій интересъ сосредоточивался на вопросѣ, какъ должна вести себя личность въ качествѣ дѣятеля исторіи. На этой точкѣ зрѣнія Лавровъ стоялъ такъ твердо, что для него совершенно сдѣлалось невозможнымъ усвоеніе противоположнаго взгляда, въ которомъ на первый планъ была выдвинута органическая, эволюціонная, стихійная и какъ тамъ еще ее ни называли, словомъ, безличная сторона исторіи. Впервые въ развитіи социологическихъ взглядовъ съ этой идеей, устраниющею понятіе личности, какъ дѣятеля, изъ всякихъ исторіологическихъ соображеній, мы встрѣчаемся въ началѣ XIX в. у французскихъ реакціонныхъ политическихъ мыслителей и у родоначальниковъ такъ называемой нѣмецкой исторической школы права, послѣднею же доктриною, взявшею на себя защиту этой точки зрѣнія на исторію, является экономическій матеріализмъ, особенно въ его русской обработкѣ²⁾, что указываетъ на независимость разсматриваемаго взгляда отъ реакціонности или прогрессивности тѣхъ или другихъ политическихъ убѣжденій, съ нимъ связанныхъ. Это ученіе оказало важную услугу наукѣ, обнаруживъ всю несостоятельность взгляда, по которому общественныя формы суть будто бы только продукты сознанія и воли отдѣльныхъ личностей, и Лавровъ не могъ, конечно, не видѣть всей ненаучности прежняго взгляда. Но, съ другой стороны, онъ не могъ не видѣть односторонности тѣхъ выводовъ, которые дѣлались изъ отрицательнаго отношенія къ объясненію исторіи личнымъ произволомъ ея дѣятелей, и прежде всего его мысль не могла мириться съ пониманіемъ историческаго прогресса, какъ бессознательной эволюціи, не

¹⁾ Тамъ же, стр. 93.

²⁾ См. мои книги: „Введеніе въ изученіе социологіи“ (Спб. 1897) и „Старые и новые этюды объ экономическомъ матеріализмѣ“ (Сиб. 1896).

требующей никакихъ личныхъ усилій¹⁾. Вся исторія, особенно исторія послѣднихъ столѣтій, которую Лавровъ превосходно зналъ, свидѣтельствовала о противномъ, и принятію другого односторонняго взгляда мѣшала ему его широкая философская подготовка, во время которой онъ особенно углублялся въ вопросы психологіи, этики и гнѳеологіи, однимъ словомъ, въ научную теорію личности. „Историческія письма“ Лаврова имѣли слишкомъ спеціальную задачу для того, чтобы въ нихъ мы могли искать полнаго изложенія его взглядовъ, относительно того, какъ вообще совершается исторія и какъ въ ея исторіи распредѣляются движущія и задерживающія силы между личнымъ и общественнымъ элементами, но это было имъ сдѣлано въ послѣдующихъ работахъ.

„Историческими письмами“ какъ бы заканчивается тотъ періодъ въ литературной дѣятельности Лаврова, на который мы имѣемъ право смотрѣть, какъ на прямой результатъ его прежней гегельянской подготовки. Съ конца шестидесятихъ годовъ Лавровъ вступаетъ въ кругъ вопросовъ и идей, выдвинутыхъ позитивизмомъ Огюста Конта и эволюціонизмомъ Дарвина и Спенсера, и отъ чисто абстрактныхъ разсужденій на философскія темы обращается къ изслѣдованію конкретныхъ явленій жизни на основаніи данныхъ положительной науки. Это не значитъ, чтобы онъ, такъ сказать, перемѣнилъ фронтъ и совсѣмъ оставилъ философію. Наоборотъ, философская подготовка помогла ему самостоятельно отнестись къ новымъ проблемамъ теоретической мысли и къ новымъ отвѣтамъ на старые вопросы. Мало того: вступивъ въ кругъ вопросовъ, прежде не привлекавшихъ къ себѣ его вниманія, и вооружившись знаніями, раньше не игравшими никакой роли въ его построеніяхъ, онъ самъ началъ возбуждать новые вопросы и давать на нихъ совершенно оригинальные отвѣты, сдѣлавшись однимъ изъ первыхъ социологовъ въ эпоху расцвѣта этой молодой науки. Оцѣнка всей дѣятельности Лаврова, какъ социолога, впрочемъ, не входитъ въ нашу задачу, и мы прослѣдимъ только, какія видоизмѣненія испытала на себѣ его теорія личности въ этотъ второй періодъ его дѣятельности.

Вопросъ о личности въ связи съ вопросомъ о прогрессѣ, хотъ и въ иной постановкѣ, нежели въ „Историческихъ письмахъ“ Лаврова, былъ поднятъ почти одновременно Н. К. Михайловскимъ въ статьѣ „Что такое прогрессъ“, напечатанной въ „Отечественныхъ Запискахъ“ за 1869 г. Это была критика теоріи прогресса Спенсера, въ кото-

¹⁾ О двухъ разныхъ пониманіяхъ прогресса см. въ нашей статьѣ „Идея прогресса въ ея историческомъ развитіи“ въ „Историко-философскихъ и социологическихъ этюдахъ“ (Спб. 1899).

рой были высказаны мысли, сходныя со взглядами другой критической статьи, появившейся въ „Женскомъ Вѣстникѣ“ за 1867 г. и принадлежавшей перу Лаврова. Въ 1870 г. Лавровъ подвергъ положительную сторону разсужденій начинающаго социолога обстоятельному разбору въ статьѣ „Формула прогресса г. Михайловскаго“, помѣщенной въ „Отечественныхъ же Запискахъ“. Формула критикуемаго въ статьѣ автора была такова: „прогрессъ есть постепенное приближеніе къ цѣльности недѣлимыхъ, въ возможно полному и всестороннему раздѣленію труда между органами и возможно меньшему раздѣленію труда между людьми“. Рѣчь шла такимъ образомъ о человѣческой индивидуальности, причѣмъ почвою, на которой долженъ былъ рѣшаться вопросъ, сдѣлалась органическая теорія общества, состоящая въ примѣненіи біологической аналогіи къ общественному существованію человѣка. Лавровъ, уже раньше заинтересовавшійся органицистическимъ ученіемъ Спенсера съ точки зрѣнія теоріи личности, не могъ обойти молчаніемъ социологическую работу, которая тоже вызывалась интересомъ къ ученію Спенсера съ индивидуалистической точки зрѣнія. Разбирая формулу прогресса, выставленную г. Михайловскимъ противъ Спенсера, который превращалъ человѣческую личность въ простой служебный органъ общественнаго организма, Лавровъ, конечно, и самъ долженъ былъ выдвинуть на первый планъ интересы личности, т.-е. ея свободу и равноправность съ другими личностями въ обществѣ, за которые ратовалъ и самъ авторъ статьи. Сущность его замѣчаній сводилась къ слѣдующему. Природныя условія существованія человѣка дѣлаютъ невысказанными ни полное равенство особей, ни всестороннее развитіе отдѣльной личности, которыхъ требуетъ формула прогресса г. Михайловскаго: „невозможности, противопоставляемыя природою полному равенству особей, заключается въ различіи пола и возраста. Невозможности, противопоставляемыя ею же всестороннему развитію отдѣльной личности, заключаются въ краткости человѣческой жизни“. Если при этихъ условіяхъ усвоеніе личностью полнаго знанія всѣхъ наукъ невозможно, а безусловная нравственность и справедливость требуютъ возможнаго приближенія къ равенству дѣятельности индивидуумовъ, то, безъ сомнѣнія, идеалъ равенства долженъ быть достигнутъ всѣми возможными средствами, даже съ ограниченіемъ употребленія науки и техники, неизбежнымъ слѣдствіемъ чего будетъ устраненіе нѣкоторыхъ отраслей знанія и техники, а это было бы регрессомъ. Но допустимъ, продолжаетъ Лавровъ, — допустимъ такое состояніе общества, въ которомъ раздѣленіе труда ограничено лишь отдѣленіемъ воспитываемыхъ дѣтей и старцевъ, требующихъ заботъ, отъ взрослыхъ энциклопедистовъ науки и техники, въ которомъ всякая личность

постоянно увѣрена, что она не можетъ и не должна обратиться къ теоретической и практической дѣятельности, которая отличила бы ее отъ другихъ ¹⁾). Тогда, спрашиваетъ Лавровъ, какъ будетъ совершаться прогрессъ? Результатомъ было бы атрофированіе критической мысли, и ея работу замѣнили бы преданія, какъ въ Китаѣ ²⁾). Съ другой стороны, „возможно полное и всестороннее раздѣленіе труда между органами“, котораго требуетъ г. Михайловскій, ограничивается неустрашимымъ различіемъ индивидуумовъ при рожденіи и стремленіемъ современной педагогикѣ не къ нивелированію личностей, а къ развитію ихъ *сообразно ихъ способностямъ и особенностямъ*, что не унижаетъ общаго человѣческаго достоинства. Во всѣхъ специализующихъ качествахъ человѣкъ находитъ удовольствіе именно потому, что онъ въ нихъ специалистъ, и общество доставляетъ человѣку удовольствіе, а себѣ пользу, ставя своего члена въ такое положеніе, гдѣ бы онъ могъ вполне развить свои спеціальныя особенности, наилучшимъ образомъ приложить ихъ ³⁾). Одно только: эта спеціализація не должна вредить и препятствовать развитію того, что Лавровъ обозначаетъ, какъ „общечеловѣческія способности“. Поэтому вторую половину формулы г. Михайловскаго онъ совѣтовалъ измѣнить, поставивъ идеальнымъ требованіемъ „не возможно меньшее“, а „справедливѣйшее раздѣленіе труда между людьми“ ⁴⁾).

Вообще Лавровъ былъ противникомъ органической теоріи общества, притомъ съ разныхъ точекъ зрѣнія, среди которыхъ видную роль игралъ и его принципъ личности. Онъ не занимался вплотную, какъ г. Михайловскій, критической разработкой этого ученія, оказавшаго вообще большое вліяніе на соціологическое мышленіе г. Михайловскаго, и біологическія соображенія, которыя Лавровъ въ семидесятыхъ годахъ сталъ вносить въ свои соціологическія изслѣдованія. Или изъ другого источника.—не изъ органической теоріи общества, пользовавшейся біологической аналогіей, а изъ дарвинизма. Какъ соціолога, постоянно интересовавшагося теоріей личности, Лаврова особенно привлекалъ вопросъ о развитіи въ животной особи—индивидуальности съ высшими ея духовными проявленіями, находящими свое завершеніе въ критически мыслящей личности Дарѣ, какъ соціологъ, ставившій свою науку на широкую основу біологіи и антропологіи, Лавровъ не могъ не заинтересоваться вопросомъ объ эволюціи общества отъ первыхъ его зачатковъ въ животномъ мірѣ и самыхъ раннихъ общественныхъ организацій у дикаго еще чело-

¹⁾ Отеч. Зап., 1870, февраль, стр. 234.

²⁾ Тамъ же, стр. 235.

³⁾ Тамъ же, стр. 250.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 252.

вѣка до современной цивилизаціи, а такъ какъ и при изслѣдованіи этого вопроса не покидала его мысль о теоріи личности, то разсматривая и эволюцію общества, онъ неуклонно слѣдилъ за тѣмъ, какъ постепенно развивались взаимныя отношенія отдѣльной особи и окружающаго ее общества и какъ происходило постепенное выдѣленіе индивидуальной самобытности изъ всеуравнивающей соціальной среды. Въ первый періодъ своей дѣятельности Лавровъ пользовался понятіемъ личности, сложившимся на почвѣ наблюденій изъ міра высшихъ проявленій человѣческаго духа на поприщахъ знанія и творчества. Я сказалъ бы даже, что свою критически мыслящую личность ихъ списывалъ съ самого себя и съ тѣхъ мыслителей и дѣятелей, которые стояли на одной съ нимъ ступени умственнаго развитія. Теперь предстояло объяснить, какъ вообще сдѣлалась возможною человѣческая личность, т.-е. не только какъ произошло выдѣленіе человѣка изъ зоологическаго міра, но какъ человѣческая особь доразвилась до способности быть личностью и выдѣлиться въ самостоятельную психическую единицу изъ однородной общественной среды. Эти два вопроса придають особый интересъ цѣлому ряду большихъ, серьезно задуманныхъ и съ замѣчательною эрудиціей выполненныхъ работъ, въ которыхъ Лавровъ обобщалъ научный матеріалъ довольно разнообразныхъ категорій—зоологическій и антропологическій, этнографическій и историческій, давая ему философскую, психологическую и соціологическую обработку. Въ новый синтезъ семидесятихъ годовъ вошло и то, что утвердилось въ мысли Лаврова въ шестидесятихъ годахъ по вопросу о природенныхъ свойствахъ человѣческой личности, объ основныхъ ея стремленіяхъ, о переработкѣ и развитіи этихъ стремленій подъ вліяніемъ жизни, о взаимныхъ отношеніяхъ личности и общества, о роли личнаго начала въ историческомъ прогрессѣ и т. д. Въ первыхъ трудахъ Лаврова личность выступала на сцену скорѣе, какъ идеаль, долженствующій служить путеводною звѣздой въ жизни, но теперь предстояло объяснить, какимъ образомъ вообще сдѣлались возможными реальныя явленія, отъ которыхъ былъ отвлеченъ этотъ идеаль, т.-е. идеаль личности, самостоятельно мыслящей и самостоятельно дѣйствующей въ жизни. Оговоримся, что въ міросозерпаніи Лаврова эта самостоятельность вовсе не значила, чтобы надъ личностью не было никакого закона, чтобы дѣйствія ея не подчинялись законмѣрной причинности, и чтобы ей все было доступно. Придавая въ своей этикѣ большое значеніе сознанию свободы воли, Лавровъ, конечно, отрицалъ существованіе свободы внѣ сознающаго субъекта, т.-е. былъ послѣдовательнымъ детерминистомъ, но въ то же время онъ приписывалъ громадное значеніе и способности личности дѣйствовать по своимъ вну-

треннимъ побужденіямъ, хотя бы и обусловленнымъ во всёхъ своихъ элементахъ и сторонахъ, т.-е. способности самостоятельно перерабатывать внутри себя идущія извнѣ вліянія. Сама эта способность была въ его глазахъ продуктомъ эволюціи, въ которой все совершалось съ закономѣрностью, въ силу разнообразнаго и сложнаго сочетанія совершенно реальныхъ, естественныхъ причинъ. Такія работы Лаврова, какъ „До человѣка“, „Цивилизація и дикія племена“, „Современныя ученія о нравственности и ея исторія“ и т. п. могутъ разсматриваться, какъ своего рода Bausteine, пользуясь нѣмецкимъ выраженіемъ, для цѣлой генетической теоріи личности и именно теоріи генетической, объясняющей, какъ стала личность тѣмъ, чѣмъ она является на высшихъ ступеняхъ своего развитія въ человѣческомъ мірѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ, указывающей, при какихъ условіяхъ тотъ идеалъ личности, который вырастаетъ на почвѣ развитого самосознанія, можетъ быть осуществленъ въ жизни. Это—центральный пунктъ всей философіи Лаврова. Любопытно, что и главную свою работу, которая такъ-таки и осталась неоконченною, онъ посвятилъ исторіи мысли, той самой человѣческой мысли, въ которой видѣлъ и главный результатъ и главное орудіе развитія личности.

Въ своей книгѣ „Сущность историческаго процесса и роль личности въ исторіи“¹⁾, составляющей третій томъ „Основныхъ вопросовъ философіи исторіи“, я уже разсматривалъ взгляды Лаврова на роль личности въ исторіи, высказанные имъ въ такихъ его работахъ, какъ „Цивилизація и дикія племена“²⁾, „Научныя основы исторіи цивилизаціи“ и „Введеніе въ исторію мысли“³⁾. Эти и другія статьи Лаврова и раньше цитировались мною въ первыхъ двухъ томахъ „Основныхъ вопросовъ философіи исторіи“, взгляды которыхъ вообще по многимъ частнымъ пунктамъ отразили на себѣ вліяніе идей Лаврова. Составляя эту статью, я снова пересмотрѣлъ упомянутыя работы Лаврова и перечиталъ, что было о нихъ написано въ книгѣ моей о „Сущности историческаго процесса“, и считаю нужнымъ все существенное повторить и здѣсь, дополнивъ изложеніе указаніями, заимствованными изъ незатронутой тамъ работы „До человѣка“, которая была помѣщена въ „Отечественныхъ Запискахъ“ за 1870 г.

Эта послѣдняя статья имѣетъ своимъ предметомъ между прочимъ психическую и соціальную эволюцію въ зоологическомъ мірѣ, постепенно подготовившую человѣка (откуда и самое заглавіе статьи),

¹⁾ Стр. 84—91.

²⁾ Помѣщена въ „Отечественныхъ Запискахъ“ за 1869 г.

³⁾ Обѣ послѣднія работы были напечатаны въ журналѣ „Званіе“ за 1872 и 1873 гг.

причем автора особенно интересует вопрос о „началѣ работы мысли“. Сравнивая жизнь безпозвоночныхъ и низшихъ разрядовъ позвоночныхъ животныхъ, съ одной стороны, и высшихъ разрядовъ позвоночныхъ, т.-е. птицъ и млекопитающихъ, съ другой, Лавровъ пришелъ къ той мысли, что между тѣми и другими существуетъ въ одномъ важномъ отношеніи большая разница. Если вообще во всемъ животномъ мірѣ наблюдается господство инстинктовъ, въ смыслѣ „видовыхъ и родовыхъ обычаевъ“, или „унаслѣдованныхъ органическихъ наклонностей и привычекъ“¹⁾, то въ частности у птицъ и млекопитающихъ обнаруживаются уже нѣкоторые новыя черты, которыя отличаютъ ихъ даже отъ самыхъ развитыхъ безпозвоночныхъ въ родѣ пчель. Эти особенности Лавровъ сводилъ, во-первыхъ, къ „индивидуальной разницѣ въ степени подчиненія инстинктамъ“, во-вторыхъ, къ возможности приученія, выучки, воспитанія, въ-третьихъ, къ способности временно соединиться въ большомъ числѣ особей для достиженія опредѣленныхъ цѣлей и „выбирать одну особь изъ многихъ подобныхъ“ при устройствѣ своей семейной жизни²⁾. Все эти процессы, говоритъ Лавровъ, показываютъ въ позвоночныхъ психическіе процессы, уже не количественно, а качественно различающіеся отъ того, что видимъ въ безпозвоночныхъ... Въ спинно-головномъ мозгу позвоночныхъ слѣдуетъ, вѣроятно, искать источникъ той дѣятельности *личной мысли*, которую мы замѣчаемъ въ высшихъ группахъ позвоночныхъ“³⁾. Не приводя здѣсь фактовъ, изъ которыхъ Лавровъ дѣлалъ такой общій выводъ, мы позволимъ себѣ сосредоточить вниманіе читателя именно только на этомъ общемъ выводѣ, который формулируется самимъ авторомъ „До человѣка“ въ такихъ словахъ: „*работа мысли*— вотъ ступень, достигаемая млекопитающими въ психическомъ развитіи организмовъ“⁴⁾. Понятно, что въ этомъ изслѣдованіи до-человѣческой эволюціи Лавровъ долженъ былъ съ особымъ интересомъ остановиться на разрядѣ члвчвообразныхъ. Касаясь вопроса о психическомъ развитіи обезьянъ, онъ находилъ прежде всего, что достигнутая ими ступень была недостаточно оцѣнена самыми безпристрастными зоологами. Послѣдніе невольно становились на точку зрѣнія пользы или вреда, приписывая тѣмъ или другими животными члвчву, а съ этой точки зрѣнія быть благосклонными къ обезьянамъ оказывалось труднымъ. Но „если внимательно взвѣсить вины обезьянъ, то эти самыя вины доказы-

1) „Отч. Зап.“, стр. 68.

2) Тамъ же, стр. 79—80.

3) Тамъ же, стр. 81.

4) Тамъ же, стр. 84.

ваютъ лишь психическую высоту этихъ животныхъ¹⁾. Въ укоръ имъ ставятъ какъ-разъ то, что возвышаетъ обезьяну надъ другими млекопитающими и что приближаетъ ее къ человѣку, но „не дозволяетъ ей быть бессмысленнымъ рабомъ его, покорною игрушкою его прихоти“²⁾. Общая характеристика психического склада обезьянъ, которою оканчивается статья „Де человѣка“, принадлежитъ въ лучшимъ страницамъ всей этой работы, но здѣсь Лавровъ еще очень мало останавливается на томъ, что можно, пожалуй, называть индивидуализмомъ обезьянъ. Эта тема была развита имъ гораздо подробнѣе въ статьѣ „Цивилизація и дикія племена“.

Въ тольکو что названной работѣ есть цѣлая глава, посвященная социальной жизни животныхъ³⁾, имѣющія на нашъ взглядъ, большую важность и въ общей разработкѣ этого предмета⁴⁾. Въ частности Лавровъ остановился здѣсь на вопросѣ о взаимныхъ отношеніяхъ между особью и социальнымъ цѣлымъ въ родѣ пчелинаго роя или обезьяньяго стада. Общежитія позвоночныхъ онъ характеризуетъ господствомъ въ нихъ „строгаго преданія и неумолимой привычки уже въ удовлетвореніи потребностей“, отсутствіемъ даже „самомалѣйшаго протеста“⁵⁾. Разъ новая особа является на свѣтъ въ извѣстной общественной средѣ, то самое существованіе послѣдней уже предполагаетъ, что она, среда эта, представляетъ все нужное для самаго существованія данной особи, которой потому и останется лишь пользоваться услугами общественнаго быта, передавая его неизмѣннымъ новымъ особямъ⁶⁾. Правда, и пчелы, и муравьи должны были измѣнить свои привычки (безъ этого онѣ и не выработались бы и не достигли бы современнаго состоянія), но „тѣ немногіе случаи, которые были наблюдаемы въ этой сферѣ явленій, указываютъ не на борьбу одной или нѣсколькихъ особей съ общественнымъ строемъ“, а на дѣйствіе общихъ причинъ, лежащихъ въ измѣненіи условій существованія⁷⁾. Наоборотъ, въ общежитіяхъ позвоночныхъ обнаруживается уже „господство индивидуальнаго побужденія надъ общественнымъ строемъ, надъ бычаемъ“, т.-е. позвоночныя животныя отно-

¹⁾ Тамъ же, стр. 90.

²⁾ Тамъ же, стр. 91.

³⁾ 5. Происхожденіе общественной связи у животныхъ.—6. Культура животныхъ.—14. Общественный элементъ позвоночныхъ.—16. Общественный элементъ позвоночныхъ.

⁴⁾ Въ книгѣ „Введеніе въ социологію“ (стр. 78—79) мы указали, въ чемъ, по нашему мнѣнію, заключается научное достоинство этой статьи.

⁵⁾ Отеч. Зап., стр. 296.

⁶⁾ Тамъ же, стр. 297.

⁷⁾ Тамъ же, стр. 300.

сятся къ общественной жизни какъ къ средству, не отдавая ей себя совсѣмъ, какъ это наблюдается у муравьевъ и пчель ¹⁾. Въ этомъ и связанныхъ съ этимъ явленіяхъ выбора и уклоненія отъ данной нормы Лавровъ видитъ положительное „умственное преимущество позвоночныхъ“. „Личная мысль, прибавляетъ онъ, и ея вліяніе на измѣненіе обычая—вотъ важный элементъ общественности, появляющійся среди позвоночныхъ“ ²⁾.

Такимъ образомъ изъ сдѣланнаго Лавровымъ сравненія между людскими и животными общежитіями вытекаетъ, что и въ тѣхъ, и въ другихъ можетъ царить рутинность, но чѣмъ выше стоитъ особь на лѣстницѣ органическаго развитія, тѣмъ менѣе она способна подчиниться безусловному господству рутинности. „Когда однажды, говоритъ онъ, новое существо является въ жизнь, въ общество опредѣленнаго строя, уже самое существованіе среды, въ которой это существо явилось, предполагаетъ, что есть средства удовлетворить потребностямъ его организаціи, что есть преданіе для ихъ удовлетворенія, что ему могутъ сообщить рутинную технику, назначенную для этой цѣли, и что новое существо найдетъ цѣлую систему привычныхъ потребностей, привычныхъ соображеній, привычныхъ приемовъ жизни, привычнаго общественнаго строя. Сдѣлавшись органомъ этого строя, это существо будетъ передавать всю эту привычную систему новымъ существамъ, и ничто не мѣшаетъ подобнымъ процессамъ повторяться неопредѣленно долгое количество времени, переходя отъ одного поколѣнія къ другому“. Это соображеніе, продолжаетъ онъ, „совершенно одинаково приложимо къ государству насекомыхъ, какъ и къ бѣдной жизни какого-нибудь племени островитинъ или къ разнообразнымъ явленіямъ жизни государства, имѣющаго сложное законодательство, обширную промышленность, великолѣпное богослуженіе, даже обширную литературу“ ³⁾. Такимъ образомъ и въ человѣческой цивилизаціи есть элементы, допускающіе оконченіе. „Формы общественной жизни, говоритъ еще Лавровъ, насколько онѣ получаютъ по преданію и передаются по привычѣ, отличаются отъ строя животной жизни лишь по сложности, а не по существеннымъ признакамъ. Человѣческій муравейникъ можетъ обладать администраціей, законодательствомъ, промышленностью, искусствомъ, религіей, даже въ извѣстной степени наукою и оставаться не болѣе, какъ человѣ-

¹⁾ Тамъ же, стр. 301.

²⁾ Тамъ же, стр. 302. Въ другомъ мѣстѣ читаемъ: въ обществахъ беспозвоночныхъ „особи еще не личности, а потому общежительный законъ не допускаетъ исключеній и не можетъ ихъ допустить“. До человѣка, стр. 74.

³⁾ Отгеч. Зап., стр. 297.

ческимъ муравейникомъ“. Къ счастью однако, „до сихъ поръ не встрѣчалось въ обществахъ, достигшихъ извѣстной степени развитія, примѣровъ полнаго и окончательнаго застоя“. „Какія старанія, представляетъ Лавровъ, ни употребляли, чтобы упрочить человѣческой муравейникъ того или другого развитія, они не удавались“, и причина этого, по его мнѣнью, въ сущности, всегда бывала одна и та же, именно „протестъ личности во имя новыхъ потребностей, сдѣлавшихся для этой личности столь побудительною силою, что эта сила превозмогла силу привычки и преданія и заставила личность возстать противъ строя, еще не вызывавшаго протеста со стороны другихъ личностей“¹⁾. Такой индивидуальный протестъ, совершенно немислимый, какъ полагаетъ Лавровъ, у безпозвоночныхъ, появляется впервые въ обществѣ позвоночныхъ животныхъ съ болѣе развитою индивидуальностью. Общій выводъ, дѣлаемый авторомъ изъ сопоставленія общественности безпозвоночныхъ и позвоночныхъ животныхъ, — тотъ, что человѣкъ „отъ ряда млекопитающихъ, бывшихъ до него, получилъ въ наслѣдство не только возможность жить въ данныхъ формахъ общества, а еще способность *лично* приноравливаться къ обстановкѣ, пользоваться *лично* болѣе или менѣе выгоднымъ положеніемъ для достиженія себѣ большихъ благъ, для поставленія себя въ выгоднѣйшее положеніе, относительно своихъ собратьевъ“. Человѣкъ „живетъ въ обществѣ подобно муравьямъ и пчеламъ, но онъ готовъ, подобно позвоночнымъ, каждую минуту выйти изъ условій этого общества, если ему это лучше; онъ можетъ уклониться отъ обычая, лицемѣрить и употреблять обычай, не какъ священный законъ, а какъ щитъ для своихъ цѣлей, и, подчиняясь обычаю, онъ можетъ это дѣлать потому, что онъ лично, какъ особь, вѣритъ въ высокое значеніе обычая, или потому, что онъ сознаетъ свое бессиліе противиться обычаю. Опять-таки онъ можетъ это сдѣлать, но въ дѣйствительности достигаютъ этого лишь немногіе. Другіе живутъ въ данныхъ формахъ, но не обсуждая ихъ подобно муравьямъ. Спасеніе человѣческихъ обществъ отъ застоя, продолжаетъ Лавровъ, заключается именно въ томъ, что въ нихъ есть всегда первыя. Эти дерзкіе критики существующаго, эти лицемѣры, относящіеся съ тайнымъ эгоистическимъ расчетомъ къ священному обычаю, эти львы, идущіе за другими не потому, что и тѣ идутъ, а потому, что имъ лично видна цѣль въ этомъ направленіи, — это люди мысли, работники прогресса или реакціи, но во всякомъ случаѣ враги обычая. Они мѣшаютъ другимъ останавливаться навсегда на той или другой

¹⁾ Тамъ же, стр. 299.

ступени общественнаго развитія и хранятъ ихъ традицію позвоночныхъ животныхъ среди общества, готового опуститься на ступень безпозвоночныхъ“¹⁾. Лавровъ даже классифицируетъ отдѣльныя особи, входящія въ составъ общества, по степени ихъ самостоятельности въ отношеніи культурно-соціальныхъ формъ. Беря современное европейское общество, а въ немъ прежде всего меньшинство, поставленное въ наивыгоднѣйшее отношеніе, онъ въ немъ, этомъ меньшинствѣ, различалъ три группы личностей. Это, во-первыхъ, немногіе *дѣятели* цивилизаціи съ болѣе или менѣе основательнымъ взглядомъ на общественныя задачи. Далѣе, это — *участники* въ цивилизаціи меньшинства, живущіе мыслью первой группы; повторяющіе ихъ слова, дѣйствующіе по ихъ указанію, составляющіе ихъ самую прочную поддержку — въ смыслѣ ли защиты существующихъ порядковъ или нападенія на нихъ. Наконецъ, третью и самую притомъ многочисленную категорію составляютъ личности, пользующіяся не менѣе другихъ (а пожалуй, и болѣе) всѣми ощутимыми выгодами современной общественной жизни, но не участвующія въ ея движеніи: онѣ, такъ сказать, лишь *присутствуютъ* при цивилизаціи²⁾. Тѣ же три группы Лавровъ различалъ и въ томъ классѣ общества, который не пользуется совсѣмъ или не пользуется въ равной мѣрѣ благами современной цивилизаціи³⁾. Это же подраздѣленіе, говоритъ онъ еще, повторяется вездѣ, гдѣ только существуетъ человѣческое общество, — и въ предыдущіе періоды развитія высшихъ расъ, и въ современномъ быту низшихъ⁴⁾. „Собственно дѣятелями“ онъ считаетъ возможнымъ „назвать очень немногихъ“, и именно „ихъ разнообразныя процессы мысли, лежащія въ основѣ ихъ стремленій, составляютъ, по его словамъ, въ сущности, всю движущую силу современнаго цивилизованнаго меньшинства. Наоборотъ, тѣ, которые „лишь присутствуютъ при европейской цивилизаціи“, только „получили по наслѣдству нѣкоторыя формы жизни и привычки и сохраняютъ ихъ подобно тому, какъ австралиецъ до конца жизни сохранить обычай и привычки семьи, въ которой родился, какъ муравей сохранить тотъ или другой строй унаслѣдованнаго имъ муравейника“⁵⁾.

1) Тамъ же, стр. 307.

2) Тамъ же, стр. 292—293.

3) Тамъ же, стр. 295.

4) Тамъ же, стр. 296.

5) Тамъ же, стр. 292—293. Въ той же статьѣ Лавровъ приводитъ большую выдержку изъ „Исторіи цивилизаціи Европы“ Гизо, чтобы указать на то, какъ этотъ ученый впервые различилъ въ историческомъ развитіи общества два элемента: *личныи*, который для Гизо какъ бы совпадалъ съ общечеловѣческимъ, и

Тѣ же основныя мысли свои на роль личнаго начала повторялъ Лавровъ и въ другихъ своихъ статьяхъ, печатавшихся въ семидесятихъ годахъ въ „Отечественныхъ запискахъ“ и въ „Знаниа“. Во второмъ изъ этихъ журналовъ онъ помѣстилъ въ 1873 г. свое „Введение въ исторію мысли“, вышедшее въ свѣтъ и отдѣльной книгой. Это было, дѣйствительно, введение, за которымъ должна была слѣдовать и самая исторія мысли, громадный трудъ, печатавшійся въ восьмидесятихъ годахъ за границею и при жизни автора оставшійся неоконченнымъ. Только незадолго до смерти Лавровъ успѣлъ изложить основныя идеи этого своего труда въ небольшой книжкѣ, вышедшей въ свѣтъ подъ заглавіемъ: „Задачи пониманія исторіи“, причемъ авторъ выступилъ здѣсь подъ псевдонимомъ Арнольди ¹⁾. Эта книжка, о которой я уже имѣлъ случай довольно подробно говорить въ печати ²⁾, можетъ разсматриваться, какъ послѣдняя формулировка идей Лаврова, касающихся роли личнаго начала въ общественной жизни и въ историческомъ процессѣ.

Во „Введеніи въ исторію мысли“ Лавровъ съ особою обстоятельностью останавливается на различіи въ исторіи „идеально-обобщающаго“ и „реально-биографическаго“ элементовъ. „Если, говорить онъ, мы станемъ смотрѣть на исторію *только* какъ на результатъ рефлексовъ, совершающихся въ обществѣ подъ вліяніемъ внѣшнихъ дѣятелей, мы получимъ лишь схему исторіи, рядъ формулъ, которыя не заключаютъ именно того, что составляетъ особенность всего человѣческаго. Въ нихъ мы не видимъ, какъ люди страдали и боролись, стремились къ лучшему и сознавали себя борцами за лучшее... Зная, какія бессознательныя, неизмѣнныя начала присутствуютъ въ жизни общества, исторія мысли хочетъ еще знать, насколько и

общественный, который какъ бы совершается съ меньшею сознательностью и заключается болѣе въ формахъ общественнаго строя, чѣмъ въ дѣятельности личностей“. Считаю это различіе въ высшей степени важнымъ, Лавровъ находилъ, однако,—и, нужно замѣтить, вполне справедливо,—что понятіе о развитіи общественной дѣятельности у Гизо оставалось туманнымъ. Именно французскій историкъ какъ бы упускаетъ изъ виду, что измѣненіе общественныхъ формъ происходитъ не само собою, а путемъ дѣятельности личностей (тамъ же, стр. 96). Но у Гизо все-таки, хотя и смутно, высказалось „различіе личной дѣятельности, вмѣняющей обществу во имя своего идеала, и общественной культуры, представляющей лишь среду для развитія личностей и обуславливающей болѣе или менѣе удобное ихъ развитіе“ (тамъ же, стр. 97).

¹⁾ Арнольди. Задачи пониманія исторіи. Проектъ введенія въ изученіе эволюціи человѣческой мысли. М. 1898.

²⁾ Статья „Новый историко-философскій трудъ“ въ 45 книгѣ „Вопросовъ философіи и психологіи“.

какимъ образомъ эти начала переходятъ въ сознание личностей, и какіе результаты получаютъ отъ встрѣчи этихъ лучей, преломленныхъ въ столькихъ человѣческихъ призмахъ. Лишь изучая это, мы изучаемъ *жизнь* общества, и знать эту жизнь мы можемъ, лишь вглядываясь въ біографіи личностей, составляющихъ общество“ ¹⁾. Въ послѣднее время многіе высказывали ту мысль, что вообще біографическій элементъ не можетъ быть относимъ къ области науки. Лавровъ не раздѣлялъ этого взгляда или, по крайней мѣрѣ, сильно его ограничивалъ. „Біографіи отдѣльныхъ лицъ, говоритъ онъ, не имѣютъ вовсе научнаго значенія, если біографъ не усвоилъ и не хочетъ знать неизбѣжнаго обусловленія личностей общими законами физики и вліаніемъ среды. Но біографъ, мечтающій, что онъ можетъ всѣ факты изучаемой личности свести на *изотопіи* общія начала и вліанія, доказываетъ неясное пониманіе средствъ и предѣловъ науки; если же онъ считаетъ въ біографіи важными лишь факты, объясняемые общими законами, онъ отнимаетъ у біографіи всякій научный интересъ, низводя ее на степень иллюстраціи началъ, вовсе не нуждающейся еще въ одномъ подтвержденіи“ ²⁾. Становясь на такую точку зрѣнія, Лавровъ высказывался за возможность строгой научности и біографій и притомъ не только въ томъ случаѣ, если ихъ авторы умѣютъ „прослѣдить въ жизни личности все то, что можетъ быть выведено, какъ неизбѣжный результатъ общихъ фізіологическихъ, психологическихъ, экономическихъ законовъ, дѣйствующихъ при данной обстановкѣ культуры, расы, идей“, но если при этомъ выдвигаютъ впередъ и все „обособляющее данную личность, принадлежащее ей настолько, что другія лица, поставленныя, повидимому, въ подобныя или почти подобныя обстоятельства, вышли иными и въ своихъ чувствахъ, и въ своихъ мысляхъ, и въ своихъ дѣйствіяхъ“ ³⁾. Лавровъ даже думалъ, что вообще успѣхъ всѣхъ антропологическихъ наукъ зависитъ отъ тщательнаго изученія всего, что только служитъ обособленію личностей. Между прочимъ и исторической наукѣ, по его мнѣнію, постоянно нужно разрѣшать вопросъ, насколько событія подводятся подъ общіе законы, и что „остается на долю дѣятельности конкретныхъ личностей, не разрѣшенной въ общій законъ“. Поэтому-то онъ и требовалъ соединенія въ исторіи „идеально - обобщающаго и реально-біографическаго“ элементовъ, оговоря, что лишь при выполненіи этого условія въ надлежащей мѣрѣ можно *понять* ту или другую эпоху въ истинномъ ея значеніи и

¹⁾ Введеніе въ исторію мысли, стр. 96—97.

²⁾ Тамъ же, стр. 94.

³⁾ Тамъ же, стр. 95.

возсоздать ее во всей ея жизненности ¹⁾). „Понять эпоху, говорить о ней, можно лишь тогда, когда подъ картиною ея жизни мы угадываемъ бессознательные процессы, служащiе основанiемъ этой картинѣ ¹⁾)... Возсоздать жизнь, возсоздать реальную мысль эпохи можно лишь при пособii биографическаго элемента“ ¹⁾).

Какова же вообще роль, „которую слѣдуетъ придать личностямъ въ общемъ историческомъ развитii человѣчества?“ Лавровъ, конечно, не могъ игнорировать, что многiе мыслители готовы были приравнять ее къ нулю. „Роль личностей въ исторii человѣчества, говоритъ онъ, оцѣнивалась весьма различно. Если въ младенчествѣ исторii этой роли придавали слишкомъ большое значенiе, то впоследствии, прямо наоборотъ, стали слишкомъ отрицать личный элементъ въ исторii. вмѣсто преобразователей, создателей государствъ, создателей законовъ, создателей культуры, въ исторii воцарился безличный законъ событiй, неизбѣжная сила идей, двигающая массы. Личностямъ отмежевано лишь скромное мѣсто глашатаевъ того, что развилось внутри общества болѣе или менѣе полныхъ представителей жизни идей“ ²⁾). Въ данномъ случаѣ, по мнѣнiю, Лаврова повторился диалектическiй законъ Гегеля: человѣческiй умъ, схвативъ одну сторону предмета, непосредственно вѣрную, замѣтилъ ея неполноту и, разрушивъ ее, противопоставилъ ей то начало, которое въ ней не было взято въ разсмотрѣнiе. Но на этомъ дѣло остановиться не можетъ, и умъ долженъ перейти къ болѣе полному возрѣнiю, гдѣ удержана вся непосредственная вѣрность перваго начала, но дополненная усвоеннымъ противоположенiемъ. „Безспорно, продолжаетъ Лавровъ, что *реальны въ исторii лишь личности*; лишь онѣ желаютъ, стремятся, обдумываютъ, дѣйствуютъ, совершаютъ исторiю. Это—первобытное воспрiятiе, само собою бросающееся въ глаза, и по тому самому первое доступное хроникеру, писателю мемуаровъ, точно такъ же какъ оно первое доступно изъ исторii ребенку.... Но едва ли не столь же очевидно для мыслящаго историка, что, начиная съ мелкихъ и доходя до важныхъ человѣческихъ мыслей и дѣйствiй, *все въ личности есть неизбѣжное средство предшествующихъ причинъ*. Незабвѣжные законы физики, химii, физиологии и психологии господствуютъ надъ человѣкомъ въ каждое мгновенiе его бытiя. Климатическiя данныя, преемство расы, культурныя привычки общества, его окружающаго, преданiя и вѣрованiя, передаваемые ему съ дѣтства, составляютъ неотвратимую обстановку, проникающую своимъ влиянiемъ во всѣ поры человѣка, обуславливаю-

¹⁾ Та же страница.

²⁾ Тамъ же, стр. 93.

щую всякое его, физическое и нравственное движение. Наконец, вѣчная борьба теоретическихъ и практическихъ міросозерцаній, живущая въ обществѣ, вѣчное столкновение экономическихъ интересовъ бросаетъ развивающагося человѣка въ ряды той или другой партіи, возбуждаетъ въ немъ самостоятельную личность, опредѣляетъ размѣръ его знаній, твердость его убѣждений, энергію его характера, округляетъ его міросозерцаніе и обособляетъ его жизнь въ жизни его современниковъ. Наука исторіи начинается лишь съ усвоенія этого подчиненія личности общимъ законамъ личной и общественной жизни“¹⁾. Но вмѣстѣ съ тѣмъ не слѣдуетъ забывать и того, что историческія событія сами собою не происходятъ. „Что бы ни писали о духѣ времени, о неизбѣжномъ теченіи событий, увлекающемъ личностей, но въ концѣ концовъ все-таки дѣлаютъ исторію личности; духъ времени составляется изъ настроенія мысли личностей; потокъ событий, увлекающій однихъ, образуется другими опять-таки личностями“. Поэтому Лавровъ прямо даже считаетъ возможнымъ сказать, что исторія „представляетъ лишь идеальныя обобщенія событій, принадлежащихъ съ реальной точки зрѣнія къ области разныхъ біографій“²⁾.

Всѣ эти статьи Лаврова, которыя мы только что разсматривали для опредѣленія того, какъ ставился имъ вопросъ объ эволюціи личности и о роли личности въ исторіи, равно какъ и другія его работы, помѣщавшіяся въ семидесятыхъ годахъ главнымъ образомъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ и въ „Знаніи“, имѣли значеніе подготовительныхъ этюдовъ къ задуманной авторомъ, но, какъ я сказалъ, не оставшейся неоконченною „Исторіи мысли“. Мы уже упомянули, что всѣ основныя идеи этого труда Лавровъ передъ своею смертію представилъ въ сжатомъ очеркѣ, своего рода конспектѣ, вышедшемъ въ свѣтъ отдѣльной книгой въ 1898 году. Въ этомъ послѣднемъ трудѣ перваго по времени русскаго социолога мы встречаемся съ знакомыми уже намъ мыслями о положеніи личности въ обществѣ и о значеніи ея въ исторіи. „Личности, говоритъ онъ, входятъ въ исторію, какъ элементы коллективностей, по ихъ отношенію къ коллективнымъ задачамъ, передъ ними поставленнымъ событіями. Но въ то же время понятіе объ обществѣ при внимательномъ разсмотрѣніи его, оказывается лишь удобною формою для изученія одновременныхъ психическихъ процессовъ, совершающихся въ большемъ или меньшемъ числѣ солидарныхъ между собою личностей, и реальныхъ дѣйствій, ими совершаемыхъ, такъ что

¹⁾ Тамъ же, стр. 94.

²⁾ Тамъ же, стр. 95.

общества имѣютъ, собственно, реальное существованіе лишь въ личностяхъ, ихъ составляющихъ, именно въ *сознаніи* личностями своей солидарности, какъ между собою, такъ и съ коллективностью“¹⁾. Это касается положенія личности въ обществѣ, а значеніе ея въ процессѣ измѣненія общественныхъ формъ сводится къ тому, что главную роль въ самомъ существованіи и въ измѣненіяхъ этихъ формъ играютъ потребности отдѣльныхъ личностей, складывающихся въ общества. Двигателей разнообразныхъ измѣненій культуры, говоритъ Лавровъ, „надо искать, во первыхъ, въ потребностяхъ отдѣльной личности, создающихъ формы общезитія и видоизмѣняющихъ эти формы опять-таки подѣ влияніемъ тѣхъ же или иныхъ потребностей; во вторыхъ, во влияніи на личности соціальной среды.... Взаимодѣйствіе личностей и общественныхъ формъ... выступаетъ, какъ одинъ ихъ самыхъ существенныхъ элементовъ исторіи“²⁾. Мы уже раньше встрѣчались у Лаврова съ этой идеей взаимодѣйствія личности и культурно-соціальной среды³⁾, съ идеей, съ которою связано тѣснѣйшимъ образомъ отрицаніе научности за такими взглядами на исторію, по которымъ все дѣло въ самихъ только личностяхъ или только въ одной средѣ⁴⁾. Эту свою точку зрѣнія Лавровъ защищалъ и въ „Задачахъ пониманія исторіи“, гдѣ имъ, между прочимъ, говорится слѣдующее: „ни исторія борьбы личностей за ихъ индивидуальныя привычки, интересы и убѣжденія, ни абстрактная исторія послѣдовательно возникающихъ и ослабѣвающихъ общихъ теченій исторіи не есть, въ ихъ отдѣльности, научно-понятая исторія“⁵⁾. Лавровъ съ большою убѣдительною говоритъ здѣсь и вообще о ненаучности разсматриванія историческаго процесса, какъ безличнаго, когда „пребрегаютъ соображеніемъ, что его единственными реальными совершителями были, будутъ и могутъ быть лишь личности въ ихъ индивидуальномъ разнообразіи; въ ихъ конкретномъ общественномъ положеніи въ узлѣ событій или въ одной изъ второстепенныхъ ихъ комбинацій; въ ихъ личныхъ побужденіяхъ“⁶⁾. Нѣсколько дальше, полемизируя съ такъ называемыми объективистами, авторъ „Задачъ пониманія исторіи“ говоритъ еще: „какъ-то странно представить себѣ, чтобы эти объективисты рѣшились утверждать, что ходъ историческаго процесса можетъ совершаться безъ всякаго посредства и вѣдъ всякой инициативы индивидуальныхъ мыслящихъ и волевыхъ

¹⁾ С. Арнольди. Задачи пониманія исторіи, стр. 34.

²⁾ Тамъ же, стр. 27.

³⁾ См. выше, стр. 21.

⁴⁾ См. выше, стр. 33.

⁵⁾ Арнольди, стр. 114—115.

⁶⁾ Тамъ же, стр. 114.

аппаратовъ“¹⁾. Да, для Лаврова отдѣльныя личности, дѣйствующія въ исторіи, суть именно отдѣльные „мыслящіе и въ особенности волевые аппараты“, изъ которыхъ каждый способенъ къ отдѣльному дѣйствию, являющемуся результатомъ внутреннихъ процессовъ, въ немъ происходящихъ. „Научный фактъ, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ,—тотъ, что въ исторіи мы непосредственно наблюдаемъ лишь человѣческія личности, какъ *волевые аппараты*, составляющіе реальную почву всѣхъ историческихъ событій, реальные элементы всѣхъ культурныхъ общественныхъ формъ, реальный источникъ всей работы мысли“²⁾.

„Въ функционированіи общественнаго союза, читаемъ мы нѣсколькими страницами ниже, въ историческомъ движеніи и въ жизни историческихъ эпохъ вообще реальны лишь *особи*. Лишь въ бѣльшемъ или меньшемъ числѣ этихъ особей воплощаются коллективные обычаи, аффекты, интересы и убѣжденія. Съ этой точки зрѣнія можно сказать, что всѣ явленія въ социологіи и въ исторіи совершаются исключительно *личностями*, которыя создаютъ общество съ его разнообразными приѣмами солидарности, съ его пестрыми формами культуры, съ его продуктами мысли, перерабатывающими эти формы культуры“³⁾. Мало того: противъ взгляда, по которому будто бы личность сама по себѣ ничто, и что все—общественная среда, Лавровъ рѣшительнѣйшимъ образомъ выставляетъ такое положеніе: „Въ отдѣльныхъ личностяхъ въ дѣйствительности воплощается безъ остатка жизнь общества“⁴⁾.

Лаврову пришлось писать свои „Задачи пониманія исторіи“ въ годы наиболѣе шумныхъ успѣховъ россійскаго экономическаго матеріализма съ его сведеніемъ личности къ нулю. Въ книгѣ замѣтны слѣды этого обстоятельства. Между прочимъ, адепты новой социологической доктрины,—правда, послѣ того уже нѣсколько разъ мѣнявшіе свои взгляды,—старались подорвать „ученіе о роли личности“ указаніемъ на будто бы несогласованность между собою его основныхъ положеній. Находили, говоритъ по этому поводу Лавровъ,—находили противорѣчіе въ такихъ заявленіяхъ: „личности создали исторію“ и „все въ личности есть неизбѣжное слѣдствіе предшествующихъ причинъ“, но это, въ сущности, только заявленія о двухъ одновременныхъ сторонахъ историческаго процесса, т. е. о „роли инициативы личности, какъ необходимаго способа осуществленія всякихъ без-

¹⁾ Тамъ же, стр. 117.

²⁾ Тамъ же, стр. 109.

³⁾ Тамъ же, стр. 114—115.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 115.

личныхъ историческихъ теченій“ и о „роли среды и эпохи въ работѣ этой самой инициативы“¹⁾). Коротко и ясно. „Личная инициатива — въ дѣйствіи и въ воздержаніи отъ дѣйствій, въ критической борьбѣ съ существующимъ и въ подчиненіи рутинѣ — есть именно тотъ пріемъ, который исключительно доступенъ для историческаго теченія, самаго могущественнаго, какъ и самаго слабаго, чтобы воплотиться въ событія и идейные продукты“²⁾). Въ исторіи дѣйствуютъ частныя и общія, индивидуальныя и культурно-соціальныя причины въ весьма различныхъ комбинаціяхъ. Ихъ нужно уловлять въ ихъ особенности и умѣть различать, не сваливая все безъ остатка на однѣ причины общія и культурно-соціальныя. Вѣдь и сами эти послѣднія причины складываются, какъ изъ своихъ необходимыхъ элементовъ, изъ причинъ частныхъ и индивидуальныхъ. „Въ процессахъ идейнаго и практическаго творчества, говоритъ Лавровъ, въ процессахъ, совершающихся въ миллионахъ отдѣльныхъ мозговъ, для научной исторіи важно въ особенности то, что сближало всѣ эти процессы въ немногія могучія историческія теченія желаній, убѣжденій и событій, стирая всякую индивидуальную особенностью реальныхъ агентовъ исторіи и обращая ихъ въ безличныя органы жизни коллективной“. Конечно, роль личной инициативы „каждаго отдѣльнаго мыслящаго и волевого аппарата“ совершенно незначительна въ цѣломъ историческаго процесса, но именно лишь эти „индивидуальные аппараты общаго безличнаго процесса позволяютъ ему совершаться и составляютъ исключительныя его органы“. Кроме того, въ этой своей роли они вносятъ въ историческій процессъ индивидуальное разнообразіе, а въ иныхъ случаяхъ обуславливаютъ для какой-либо личности, поставленной случайными обстоятельствами въ узлѣ событій, большее вліяніе на ходъ послѣднихъ, нежели можно было бы ожидать, принимая въ соображеніе исключительно могущество общихъ историческихъ теченій и индивидуальныя качества и способности того мыслящаго и волевого аппарата, который въ данномъ случаѣ имѣется въ виду“³⁾). Мы не будемъ останавливаться на разнообразіи, вносимомъ въ историческій процессъ участіемъ въ немъ особенностей дѣйствующихъ личностей, но вопросъ объ особенномъ вліяніи на ходъ исторіи со стороны личностей, поставленныхъ случайностями жизни, какъ выражается Лавровъ, „въ узелѣ событій“, заслуживаетъ большаго вниманія. Конечно, замѣчаетъ онъ, общій характеръ политической исторіи XVIII в. обусловленъ

¹⁾ Тамъ же, стр. 117.

²⁾ Та же страница.

³⁾ Тамъ же, стр. 116.

общими теченіями, не зависѣвшими отъ лицъ, которыя участвовали въ этой исторіи, и тѣмъ не менѣе, напримѣръ, роль Пруссіи въ эту эпоху, — а съ нею и множество отдѣльныхъ событій этого и послѣдующаго времени, — оказалась бы совершенно иною, если бы Елизавета Петровна умерла годомъ позже, и если бы ея преемникъ имѣлъ другія личныя особенности. Беря другой примѣръ изъ области науки, Лавровъ высказываетъ небезосновательное мнѣніе, что личный характеръ Кювье не остался безъ вліянія на задержку цѣлой отрасли ученыхъ работъ. Вообще „задачи жизни, прежде чѣмъ онѣ становятся опредѣленно передъ обществомъ, принуждены воплотиться въ идею, требующую себѣ осуществленія въ индивидуальномъ дѣлѣ. Представители этой идеи становятся необходимымъ органомъ историческаго движенія. Лишь при ихъ неизбѣжномъ посредствѣ можетъ дѣйствовать детерминизмъ исторіи“, но въ такомъ случаѣ „особенности личностей, которыя составляютъ какъ бы узлы въ исторической сѣти событій данной эпохи, получаютъ болѣе или менѣе важное значеніе для историка, стремящагося понять эту эпоху“¹⁾.

Отстаивая активность личности, какъ самостоятельной силы въ историческомъ процессѣ, Лавровъ съ особенною охотою останавливался на той мысли, что будущее отчасти зависитъ и отъ насъ самихъ. „Надъ законами естественной необходимости, писалъ онъ, наприм., еще въ „Историческихъ письмахъ“, мы не властны, не властны мы и надъ исторіею. Мы властны въ нѣкоторой степени лишь надъ будущимъ, такъ какъ наши мысли и наши дѣйствія составляютъ матеріалъ, изъ котораго организуется все содержаніе будущей истины и справедливости. Каждое поколѣніе отвѣтственно передъ потомствомъ за то лишь, что оно *можно* сдѣлать и не сдѣлало“²⁾. Въ „Задачахъ пониманія исторіи“ Лавровъ опять возвращается къ этой мысли³⁾. Если исторія дѣйствительно должна насъ научать, какъ слѣдуетъ понимать настоящее, — а этого Лавровъ требуетъ отъ науки, — то, съ другой стороны, пониманіе настоящаго не можетъ быть полно, если съ нимъ не соединено представленіе о тѣхъ возможностяхъ, которыя оно въ себѣ заключаетъ для будущаго. Лав-

¹⁾ Тамъ же, стр. 120. Съ этой точки зрѣнія и въ „Задачахъ пониманія исторіи“ также защищается биографическій элементъ исторіи, къ которому во имя ложно понятой научности нѣкоторые высказываютъ пренебреженіе, 125.

²⁾ Историческія письма, 57. „Культура общества есть среда, данная исторіею для работы мысли и обусловливающая *возможное* для этой работы въ данную эпоху съ такою же неизбѣжностью, съ какою во всякое время ставить предѣлы этой работѣ неизмѣнный законъ природы“, стр. 91.

³⁾ Для послѣдующаго см. болѣе подробно въ моей статьѣ о „Задачахъ пониманія исторіи“ Арнольди.

ровъ не принадлежалъ къ числу фаталистовъ, исключавшихъ самое понятие о разныхъ возможностяхъ, потому что не принадлежалъ и къ догматикамъ, которые готовы предсказывать будущее не на основаніи критическаго анализа настоящаго, а на основаніи какой-либо общей формулы, признаваемой за объективный законъ исторіи. Подобный догматизмъ въ „Задачахъ пониманія исторіи“ былъ прямо имъ осужденъ подъ названіемъ „логическаго субъективизма случайнаго и произвольнаго мнѣнія“.

Попытокъ опредѣленія существующихъ въ настоящемъ возможностей для будущаго требуетъ не только теоретическое изученіе прошлаго, но и самая практика жизни. Дѣло въ томъ, что „общій ходъ событій можетъ обнаружить передъ историкомъ мысли неизбежность въ каждомъ случаѣ *постановки* того или другаго вопроса, тогда какъ то его рѣшеніе, которое изъ *возможнаго* сегодня дѣлается *дѣйствительнымъ* завтра, обуславливается сложною комбинаціей обстоятельствъ, въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ доступною въ ея частностяхъ и случайностяхъ пониманію историка“¹⁾. Вообще, возможность переходить въ дѣйствительность при наличности извѣстныхъ условій, къ числу которыхъ относятся и тотъ или другой образъ дѣйствій личностей, составляющихъ изъ себя общество. „Для обращенія, говорить далѣе Лавровъ, — исторически возможнаго въ дѣйствительно совершающееся трудно не признать преобладающей роли личностей, случайно поставленныхъ въ узлѣ событій данной эпохи, какъ правители или какъ демагоги; какъ пророки, окруженные ореоломъ фантастическихъ вѣрованій. или какъ отрицатели тѣхъ или другихъ особенностей современной имъ культуры; какъ типическіе представители общаго поднятія духа въ обществѣ, толкающаго массы на историческое дѣло, или столь же общаго упадка общественнаго духа, — упадка, парализующаго всѣ попытки вызвать коллективный организмъ къ реагированію противъ соціальной болѣзни“²⁾. Вопросъ о роли личности въ исторіи имѣеть, конечно, не одно теоретическое значеніе, но, будучи самъ по себѣ вопросомъ чисто-теоретическимъ, онъ долженъ быть рѣшенъ на чисто-научной или философской почвѣ. Обзорѣвая самыя послѣднія умственныя теченія, Лавровъ съ прискорбіемъ констатируетъ, что, несмотря на разные пункты несогласія, существующіе между ними, они болѣе или менѣе сходны между собою въ томъ, что всѣ очень „склонны подрывать расчетъ на личную инициативу и энергію воли у отдѣльныхъ особей“. Онъ особенно подчеркиваетъ, что это явленіе наблюдается какъ разъ „въ то самое время, когда догматы всеобще

¹⁾ *Арнольди*, стр. 366.

²⁾ Тамъ же, стр. 367.

конкуренціи, характеризующій царство буржуазіи, требуетъ непремѣннымъ условіемъ прочности этого царства особенное развитіе и этой инициативы, и этой энергіи“¹⁾). Въ другомъ мѣстѣ онъ даже особенно выдвигаетъ на видъ роль, какъ онъ выражается, „класса дѣлопроизводителей“²⁾ въ современномъ обществѣ, т.-е. людей, знающихъ и понимающихъ дѣла, ведущія къ накопленію и перераспредѣленію богатствъ, и достигающихъ своихъ цѣлей, благодаря изворотливости и проницательности мысли и энергіи характера. Ни одинъ общественный строй не обходится безъ такихъ „дѣлопроизводителей“, и будущее, конечно, въ этомъ отношеніи не будетъ отличаться отъ прошедшаго и настоящаго.

Но тутъ-то и возникаетъ вопросъ, въ какомъ отношеніи находится это допущеніе роли личности къ усиливающемуся все болѣе и болѣе господству началъ детерминизма въ современномъ пониманіи міра. Противники личнаго начала въ исторіи часто утверждаютъ, будто теоретики историческаго процесса, иначе понимающіе роль личности, придаютъ ей такое значеніе, что ради него готовы бывають отрицать законмѣрность общественныхъ явленій („личность все можетъ“). Послѣднее было бы дѣйствительно полнымъ ниспроверженіемъ научнаго міросозерцанія, но дѣло въ томъ, что у Лаврова сознательное дѣйствіе личностей, самое подчиненное строгой законмѣрности, противопоставляется отнюдь не этой законмѣрности, а всему тому въ историческомъ процессѣ, въ чемъ проявляется умственная и волевая пассивность людей. То или другое, только возможное, становится, по его убѣжденію, дѣйствительнымъ лишь тогда, когда этому помогаютъ въ достаточной мѣрѣ стремленія и усилія отдѣльныхъ лицъ. Лавровъ не говоритъ, чтобы теоретическій детерминизмъ самъ по себѣ практически приводилъ непремѣнно къ общественному квіетизму, и даже думаетъ, что этотъ самый детерминизмъ для осуществленія неизбежнаго требуетъ превращенія въ непремѣнныя свои орудія—чувства, мысли и воли индивидуальныхъ строителей будущаго. Научно-философское пониманіе исторіи, полагаетъ онъ, и должно въ этомъ отношеніи формулировать „правила умственной и нравственной гігіены для всякой развитой личности“. Самъ Лавровъ выноситъ изъ всего изученія исторіи поученіе, которое можетъ быть коротко передано слѣдующимъ образомъ: ставя себѣ жизненныя цѣли, личность прежде всего имѣетъ передъ собой элементъ неизбежнаго, неотвратимаго: это—вся совершившаяся исторія, все то, что уже прошло и что создало какъ самоѣ личность, такъ и

¹⁾ Тамъ же, стр. 357.

²⁾ Тамъ же, стр. 337.

окружающую ее среду. Этот неустрашимый элемент есть фактъ, и личности остается только къ нему приспособляться съ цѣлью нахождения въ немъ всего того, что можетъ быть ея орудіемъ или пособіемъ въ достиженіи ея жизненныхъ цѣлей. Но затѣмъ передъ личностью въ каждую данную эпоху обнаруживаются различныя, даже противоположныя по своему направленію возможности дальнѣйшаго хода событій, причемъ однѣ изъ этихъ возможностей, по-видимому, имѣютъ всѣ шансы осуществиться, такъ сказать, сами собою; другія же, напротивъ, требуютъ особаго напряженія мысли и воли сочувствующихъ лицъ и вообще кажутся менѣе вѣроятными. Нерѣдко увѣренность въ легкой осуществимости той или другой возможности заставляеть людей слишкомъ полагаться на естественный ходъ вещей и пренебрегать личными усиліями, и, наоборотъ, нерѣдко трудность осуществленія чего-либо заставляеть въ безсиліи опускать руки. Правильное пониманіе историческаго процесса для однихъ даетъ строгія поученія, для другихъ служитъ оживляющимъ урокомъ. Сколько разъ тѣ, которые вчера казались непобѣдимыми, на другой день оказывались безсильными противъ незамѣченныхъ и презираемыхъ враговъ, и одержанныя побѣды превращались въ пораженія лишь потому, что сами-то оставались еще только возможностями, требовавшими дальнѣйшей работы мысли и дѣятельности воли. Съ другой стороны, все, что возможно, способно при какихъ-нибудь новыхъ комбинаціяхъ обратиться въ дѣйствительное, хотя бы шансы этого обращенія и были слабы, — лишь бы только правильно работала мысль и энергично дѣйствовала воля ¹⁾. Изъ этого разсужденія Лавровъ извлекаеть и цѣлое поученіе для развитой человѣческой личности, которая желаетъ быть въ числѣ сознательныхъ строителей будущаго. Это — тотъ же старый его призывъ къ дѣятельности во имя личнаго убѣжденія, во имя того, что необходимымъ органомъ совершающагося историческаго детерминизма всегда была и будетъ сила мысли и энергія воли личностей. „Когда, говоритъ онъ, ты поставилъ передъ собой жизненную цѣль, какъ твой личный идеаль, когда ты положилъ на этотъ идеаль всю свою силу мысли, всю свою энергію воли въ мірѣ создаваемыхъ тобою цѣлей и выбираемыхъ тобою средствъ, тогда твое дѣло сдѣлано. Пусть тогда волна историческаго детерминизма охватитъ твое я и твое дѣло своимъ неудержимымъ теченіемъ и унесетъ ихъ въ водоворотъ событій. Пусть они перейдутъ изъ міра цѣлей и средствъ въ міръ причинъ и слѣдствій, отъ тебя независяцій. Твое дѣло или твое воздержаніе отъ дѣятельности одинаково вошло неустрашимымъ эле-

¹⁾ Тамъ же, стр. 369—370.

ментомъ въ строеііе будущаго, тебѣ неизвѣстнаго. Понятая тобою исторія научила тебя и приспособляться къ неотвратимому, и оцѣнивать значеніе возможностей въ борьбѣ за жизненные цѣли, и энергически бороться за лучшее будущее для миллиардовъ незамѣтныхъ особей, которыя рядомъ съ тобою сознательно и бессознательно строятъ будущее. Борись же за это будущее и помни слова одного изъ самыхъ блестящихъ современныхъ публицистовъ: „побѣжденъ лишь тотъ, кто призналъ себя побѣжденнымъ“¹⁾. Въ этихъ словахъ мы узнаемъ автора „Очерковъ практической философіи“ и „Историческихъ писемъ“²⁾.

Въ теоріи личности Лаврова важное значеніе, кромѣ вопроса о личности, какъ историческомъ агентѣ, и даже, пожалуй, еще большее значеніе, чѣмъ ему, принадлежитъ вопросу о развитіи личности. Между прочимъ на идеѣ личнаго развитія онъ обосновывалъ всю свою этику, какъ и въ болѣе раннихъ сочиненіяхъ, такъ и въ позднѣйшихъ. Въ этомъ отношеніи заслуживаютъ особаго вниманія его „Современныя ученія о нравственности и ея исторія“. Въ этой замѣчательной работѣ проводится та мысль, что развитіе во внутреннемъ мірѣ человѣка воспринимается, какъ сознаніе возвышенія собственнаго существа, сопровождающееся своего рода и притомъ высшаго

¹⁾ Тамъ же, стр. 371.

²⁾ Современный идеалъ, писалъ Лавровъ въ „Очеркахъ вопросовъ практической философіи“, „требуетъ человѣка, который свободно развиваетъ въ себѣ и въ другихъ физическія качества, умъ, знаніе, характеръ, сознаніе справедливости; человѣка, который уважаетъ достоинство всякаго ближняго, какъ свое собственное, и не только уважаетъ мысленно, но готовъ рисковать своею личностью, чтобы защитить личное достоинство и справедливыя требованія другой личности. Эгоистическое стремленіе наслаждаться на счетъ другихъ въ этомъ человѣкѣ преобразовывается въ наслажденіе собственнымъ дѣломъ, полезнымъ и прекраснымъ для другихъ... Этотъ идеалъ, продолжаетъ Лавровъ, не является для человѣка внѣшнимъ закономъ, понужденіемъ, обязательствомъ, наложеннымъ внѣмировою или общественною властью. Онъ есть обязанность внутренняя, обязанность относительно самаго себя, свободно налагаемая личностью на себя, вслѣдствіе логической оцѣнки обстоятельствъ, въ которыхъ личность живетъ и вслѣдствіе естественнаго стремленія въ высшему возможному блаженству“. Наконецъ, Лавровъ подчеркиваетъ и общественное значеніе такого идеала. „Этотъ идеалъ справедливой личности, логически развившійся въ человѣкѣ, представляется ему, какъ необходимый и обязательный не только для него, какъ отдѣльнаго лица, но для него, какъ человѣка, а потому обязательный для всѣхъ людей. Во имя этого идеала каждая отдѣльная личность сознаетъ въ себѣ и въ другихъ право судить дѣйствія и явленія, признавать ихъ справедливыми, хорошими, заслуживающими похвалы или несправедливыми, дурными, заслуживающими порицанія. Еще болѣе: этотъ идеалъ требуетъ не только сознанія справедливости, но ея воплощенія въ дѣйствительность, въ жизнь; требуетъ много борьбы и жертвы за правое дѣло“.

порядка наслажденіемъ, соединеннымъ съ чувствомъ обязанности и впродъ развиваться. Разница между внутреннимъ міромъ людей, стоящихъ на разныхъ ступеняхъ развитія не количественная только, но и качественная: представленія, понятія, идеи болѣе развитого человѣка болѣе тонки, болѣе ясны, болѣе вѣрны, болѣе возвышенны. Внутреннее, психическое развитіе состоитъ изъ отдѣльныхъ измѣненій, которыя происходятъ въ нашихъ знаніяхъ и въ нашемъ пониманіи, но когда мы сознаемъ, что мы что-либо вѣрнѣе знаемъ или яснѣе понимаемъ, мы въ то же время чувствуемъ, что вмѣстѣ съ этимъ мы сами какъ бы улучшились, стали выше, чѣмъ были прежде, въ своихъ собственныхъ глазахъ. „Фактъ расширенія мысли, говорить здѣсь Лавровъ, — фактъ умственного развитія подходитъ подъ многообразную категорію *наслажденія*, а потому въ числѣ другихъ фактовъ представляетъ цѣль и орудіе животной борьбы за существованіе. Онъ увеличиваетъ наши средства поддерживать наше существованіе, вліять на окружающій насъ міръ, а потому, опять въ ряду другихъ подобныхъ же фактовъ, входитъ въ обширную категорію *полезнаго*. Но развитіе представляетъ не только наслажденіе вообще и даже не только наслажденіе, подлежащее оцѣнкѣ по его пользѣ: оно представляетъ состояніе духа, въ которомъ личность сознаетъ себя выше, чѣмъ была. Сойти на прежнее положеніе, — это для нея — *унизиться*, продолжать тотъ же процессъ, это для нея — *возвыситься*. Каждый особенный аффектъ, продолжаетъ Лавровъ, вызываетъ особенный психическій рефлексъ, превращающійся при нѣкоторой силѣ рефлекса и при удобныхъ обстоятельствахъ въ рефлексъ физическій. Аффектъ наслажденія вызываетъ вообще желаніе; аффектъ сознанія пользы вызываетъ расчетъ; аффектъ совнанія возвышенія существа вызываетъ рефлексивный процессъ *обязательности*. Лишь человѣкъ, имѣющій случай ощущать послѣ незначительныхъ промежутковъ времени снова и снова наслажденіе развитія, получаетъ нѣкоторую привычку къ этому *особенному* психическому рефлексу, начинаетъ отличать его въ себѣ и наконецъ становится настолько развитымъ человѣкомъ, что для него психическое понятіе *обязательности* представляется съ совершенною ясностью“ ¹⁾. Развитіе личности и есть для Лаврова основа, на которой возникаетъ мѣрка для сужденія о мысляхъ и поступкахъ по ихъ нравственному качеству, по ихъ внутреннему достоинству. Тутъ поступки судятся не по ихъ слѣдствіямъ (пріятнымъ или полезнымъ), а по ихъ намѣреніямъ, намѣренія же, т.-е. представленія, соединенныя съ чувствованіями и стремленіями, судятся по ихъ соотвѣтствію съ тѣмъ, что человѣкъ

¹⁾ Современныя ученія о нравственности и ея исторія, От. Зап., IV, стр. 437 и слѣд.

въ своемъ творествѣ нравственныхъ идеаловъ и въ своемъ изслѣдованіи нравственныхъ идей считаетъ соотвѣтственнымъ достоинству человѣка и содержанію понятія о добрѣ.

Эти мысли, съ первымъ наброскомъ которыхъ мы встрѣчаемся въ „Очеркахъ вопросовъ практической философіи“¹⁾, лежатъ въ основѣ всего объясненія Лавровымъ генезиса нравственнаго чувства. Потребность развитія, какъ потребность высшаго порядка, вырастающая на почвѣ нервного возбужденія, всегда входила у него въ общій счетъ тѣхъ потребностей, удовлетвореніемъ которыхъ живутъ люди. И въ личной, и въ общественной жизни онъ приписывалъ ей громадное значеніе. И этому вопросу Лавровъ посвятилъ не мало мѣста въ своемъ послѣднемъ *résumé* всего имъ передуманнаго въ области теоріи личности: только личное развитіе превращаетъ индивидуумъ въ дѣятеля прогресса. Лавровъ очень часто указывалъ на то, какъ при извѣстныхъ условіяхъ въ обществѣ выдѣляется и приобретаетъ на него вліяніе группа личностей, способныхъ наслаждаться развитіемъ и вырабатывающихъ потребность развитія. Это — интеллигенція, которая въ историческомъ міросозерцаніи Лаврова „выступаетъ, какъ двигатель сознательныхъ измѣненій культуры въ противоположность непреднамѣреннымъ ея измѣненіямъ. Ея дѣло, говоритъ онъ еще, есть переработка культуры мыслью“²⁾. Конечно, потребность развитія появляется сравнительно поздно, тогда какъ необходимость солидарности, очень и очень часто оказывающейся враждебною личному развитію³⁾, относится, наоборотъ, къ числу наиболѣе раннихъ явленій. Можно даже сказать, что зависимость между индивидуумами устанавливается помимо всякихъ сознательныхъ процессовъ, сама собою, совершенно фатальнымъ образомъ, и лишь впоследствии вырабатывается солидарность сознательная, являющаяся могучимъ орудіемъ общества въ борьбѣ за существованіе. Въ сущности, потребность солидарнаго общежитія для успѣховъ въ борьбѣ за существованіе влечетъ за собою господство неизмѣннаго обычая, т.-е. культурный застой, требующій подчиненія индивидуальной мысли и дѣятельности устанавливающимся формамъ. Но, какъ мы уже видѣли⁴⁾, Лавровъ не считалъ возможною окончательную побѣду

1) Ср. выше, стр. 7 и слѣд.

2) *Арнольди*, стр. 30.

3) Въ одномъ мѣстѣ Лавровъ прямо говоритъ о дилеммѣ „или крѣпкой солидарности при подавленіи развитія отдѣльной личности, или же сильнаго и равносторонняго развитія личности, отрешенія отъ всякой идейной солидарности“, стр. 360.

4) См. выше, стр. 31.

традиціоналізма. Выросши на почвѣ одной изъ областей потребностей нервнаго возбужденія, потребность развитія обусловила и первое проявленіе идейныхъ интересовъ въ исторіи, и ихъ логически неизбежное усиленіе, а въ будущемъ она же обусловитъ и болѣе или менѣе вѣроятное преобладаніе идейныхъ интересовъ. Хотя Лавровъ и приписывалъ громадное значеніе интересамъ политическимъ и особенно экономическимъ, тѣмъ не менѣе, по его представленію, „несмотря на всѣ стремленія интересовъ экономическихъ и политическихъ преобладать въ исторіи и эксплуатировать въ свою пользу продукты интересовъ идейныхъ“, уже и въ настоящемъ даже времени потребность развитія, выработавшаяся въ интеллигенціи въ самостоятельную силу, „сдѣлалась, въ сущности, главнымъ двигателемъ исторіи“ ¹⁾. Вѣдь изъ интеллигенціи и выходятъ тѣ „дѣлопроизводители“, о которыхъ онъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ ²⁾. Эти общественные дѣятели могутъ служить очень несходнымъ интересамъ, отчего зависитъ различіе какъ тѣхъ цѣлей, которыя они себѣ ставятъ, такъ и тѣхъ средствъ, къ которымъ они прибѣгаютъ, но во всякомъ случаѣ мѣръ цѣлей и средствъ вырабатывается только въ сознаніи отдѣльныхъ дѣятелей. Какъ работа индивидуальной мысли, такъ и направленіе индивидуальной воли, да и вся дѣятельность интеллигенціи съ классомъ общественныхъ „дѣлопроизводителей“ могутъ имѣть весьма неодинаковое значеніе, между прочимъ, по отношенію къ общественной солидарности и къ личному развитію. Вообще можетъ существовать—и даже на самомъ дѣлѣ существуетъ—нѣкоторый и притомъ весьма значительный антагонизмъ между общественной солидарностью и личнымъ развитіемъ. Съ основной точки зрѣнія Лаврова, оба эти элемента, существенно различные, одинаково необходимы и существуютъ нераздѣльно; но въ исторіи оказываются возможными „такія формы солидарности, которыя мѣшаютъ росту сознательныхъ процессовъ въ интеллигенціи, и такія условія роста послѣднихъ, которыя подрываютъ общественную солидарность“. Поэтому Лавровъ и видѣлъ прогрессъ въ ростѣ и скрѣпленіи солидарности лишь тогда, когда она не мѣшаетъ развитію сознательныхъ процессовъ и мотивовъ дѣйствія въ личностяхъ лишь настолько, насколько это не оказываетъ препятствія росту и скрѣпленію солидарности между наибольшимъ числомъ личностей ³⁾.

Не касаясь здѣсь подробностей соціального идеала автора „Задача пониманія исторіи“, мы отмѣтимъ только, что въ его пред-

¹⁾ *Арнольди*, стр. 61.

²⁾ См. выше, стр. 42.

³⁾ *Арнольди*, стр. 131.

ставленіи совершенное общество немислимо безъ широкаго личнаго развитія, потребность котораго включается имъ вообще въ число потребностей личности. Но все-таки это только одна изъ потребностей личности: есть и другія. Было бы крайне односторонне разсматривать человѣка, какъ какой-то безплотный духъ, или только „мыслительный и волевой аппаратъ“. Но этого и не было у Лаврова. Онъ бралъ человѣка такимъ, каковъ онъ есть, съ его зоологическими предками, не только какъ личность, но и какъ біологическую особь. Уже въ первомъ своемъ трудѣ онъ опредѣлялъ тѣ элементы, изъ которыхъ складывается личная жизнь особи, стремящейся удовлетворить свою потребность въ наслажденіи. Въ „Задачахъ пониманія истории“ онъ также исходитъ изъ перечисленія и классификаціи потребностей отдѣльныхъ личностей. Вся социальная жизнь возникаетъ изъ удовлетворенія человѣческихъ потребностей, и изъ ихъ различныхъ группъ Лавровъ особенно выдѣлялъ три группы способностей, дающихъ начало жизни экономической, политической и идейной¹⁾. „Прямое, говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ, — прямое аффективное наследство зоологическаго міра (влечение къ общежитію, влеченіе половое и родительская заботливость), весьма вліятельное по отношенію къ психологическимъ процессамъ въ особяхъ, оказывается едва ли особенно значительнымъ мотивомъ социологической эволюціи, благопріятной для роста солидарности и сознательныхъ процессовъ. Поэтому побужденіе къ ней приходится искать въ тѣхъ чисто-животныхъ потребностяхъ человѣка, которыя нельзя не признать эгоистическими, но которыя именно онъ обратилъ въ человѣчныя и благопріятныя въ указанныхъ отношеніяхъ“²⁾. Прежде всего это была потребность въ пищѣ, которая въ концѣ концовъ обратилась въ потребность особи обезпечить себѣ при помощи общежитія и общественныхъ учрежденій матеріальныя средства существованія. „Въ этой своей формѣ, говоритъ Лавровъ, она легла въ основаніе всей эволюціи экономической жизни человѣчества“. Онъ даже и не считаетъ особенно нужнымъ напоминать, что „вся эволюція родовой, семейной, индивидуальной и государственной собственности, борьба классовъ въ продолженіе всей истории и борьба труда съ капиталомъ въ наше время оказываются въ значительной мѣрѣ въ своемъ основаніи вопросами желудка“³⁾. Другая изъ указанныхъ потребностей есть потребность индивидуальной безопасности, и она-то именно обусловила

¹⁾ Тамъ же, стр. 12.

²⁾ Тамъ же, стр. 42.

³⁾ Лавровъ былъ готовъ отнести и „огромную долю“ даже творчества художественнаго, философскаго, научнаго и нравственнаго къ тому же источнику.

эволюцію политической жизни социальныхъ организмовъ. Наконецъ, третья потребность есть потребность въ нервномъ возбужденіи, которая проявилась ранѣе всего въ стремленіи украшать жизнь, и этому Лавровъ приписываетъ столь важное значеніе, что, по его мнѣнію, лишь оно было способно восторжествовать надъ лѣнью тѣла и мысли, составляющею характеристическую черту дикаря не-исторической и исторической культуры¹⁾. Въ этомъ послѣднемъ источникѣ заключаются основанія для всей духовной культуры съ ея эстетическими, религіозными, нравственными, философскими и научными явленіями.

Во всѣхъ своихъ работахъ Лавровъ старался объяснить тѣ или другія явленія культурно-соціального порядка изъ соотвѣтственныхъ источниковъ, не впадая въ односторонность. Его теорія личности была одною изъ наиболѣе полныхъ, и отъ односторонности спасало его то, что за исходный пунктъ своихъ соціологическихъ построеній онъ бралъ человѣческую личность со всѣмъ разнообразіемъ ея жизненныхъ проявленій, а не ту или другую сторону общественности. Въ то время, какъ экономическій матеріализмъ стремится свести всѣ явленія исторіи на побужденія и потребности экономическія, другіе современные писатели (напримѣръ, Дюрингъ и Гумловичъ) охотно ищутъ основной мотивъ процесса исторіи въ элементѣ политическомъ. „Наименѣе приверженцевъ, говоритъ Лавровъ, сохранило между реалистическими изслѣдователями этого процесса недавно еще господствовавшее стремленіе видѣть въ сознанныхъ и несознанныхъ идеяхъ, слѣдовательно, въ высшихъ формахъ нервного возбужденія, главнаго двигателя исторіи“²⁾. За каждою изъ этихъ трехъ теорій историческаго процесса онъ признаетъ весьма различную цѣнность для научнаго пониманія эволюціи человѣчества; но, сравнивая между собою эти теоріи, онъ находитъ необходимымъ обратить вниманіе на три стороны дѣла: 1) на сравнительно болѣе или менѣе раннее появленіе трехъ упомянутыхъ потребностей, 2) на болѣе или менѣе ихъ частое повтореніе въ жизни и мысли человѣка и 3) на болѣе или меньшую необходимость эволюціи ихъ послѣдовательныхъ фазисовъ³⁾. Все это, дѣйствительно, важныя соображенія, рѣшающія вопросъ съ разныхъ точекъ зрѣнія. По вопросу о болѣе или менѣе раннемъ появленіи трехъ упомянутыхъ потребностей Лавровъ высказывался въ томъ смыслѣ, что человѣкъ уже отъ своихъ зоологическихъ предковъ унаслѣдовалъ ихъ всѣ, такъ что приходится признавать ихъ мало уступающими одна другой въ

¹⁾ Тамъ же, стр. 45.

²⁾ Тамъ же, стр. 47.

³⁾ Тамъ же, стр. 49.

качествѣ мотивовъ человѣческихъ дѣйствій. Другое дѣло — степень повторяемости побуждений, обусловливаемыхъ этими тремя потребностями; въ этомъ отношеніи, конечно, потребность въ пищѣ безусловно преобладаетъ надъ двумя другими, а потому „экономическіе мотивы во всѣ эпохи борьбы сознанныхъ интересовъ должны были безусловно преобладать надъ политическими“¹⁾. Тѣмъ не менѣе Лавровъ и здѣсь совѣтуетъ не забывать, что за борющимися группами прогрессивной, консервативной и реакціонной интеллигенціи идутъ другіе общественные элементы, очень часто лишь по привычкѣ или по аффекту, и что въ самихъ группахъ руководящей интеллигенціи мотивы политическіе иногда преобладаютъ надъ экономическими, а тѣ или другіе въ иныхъ случаяхъ уступаютъ первенство побужденіямъ идейнаго свойства²⁾. Что касается наконецъ, большей или меньшей необходимости эволюціи послѣдовательныхъ фазисовъ трехъ разсматриваемыхъ потребностей, которая равнымъ образомъ должна опредѣлять относительную ихъ цѣнность для научнаго пониманія исторіи, то Лавровъ отдавалъ рѣшительное предпочтеніе идейной эволюціи, потому что, говорить онъ, только въ этой области проявляется еще одинъ историческій двигатель, именно „мотивъ неизбѣжныхъ логическихъ послѣдствій“. Дѣло въ томъ, что всякое понятіе вызываетъ ровнымъ логическимъ процессомъ появленіе новыхъ понятій независимо отъ того, совпадаетъ ли развитіе этихъ логическихъ фактовъ съ экономическими и политическими интересами людей, въ которыхъ или среди которыхъ эти факты возникаютъ. Въ однихъ случаяхъ новыя понятія совпадаютъ съ интересами вліятельныхъ индивидуумовъ и группъ, въ другихъ случаяхъ между новыми идеями и существующими интересами происходитъ конфликтъ, и въ зависимости отъ всего этого историческое движеніе или ускоряется, или замедляется, но въ концѣ концовъ логика развитія слѣдствій изъ данныхъ посылокъ оказывается неодолимою силой³⁾. Такъ называемые

¹⁾ Тамъ же, стр. 51. Поэтому Лавровъ даже рекомендовалъ искать объясненія политической исторіи прежде всего въ интересахъ экономическихъ, хотя и оговаривался при этомъ, что „каждое гипотетическое объясненіе этого рода не можетъ еще считаться фактическимъ и что вѣроятность его должна быть строго проверена въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ“, стр. 52.

²⁾ Между прочимъ, Лавровъ ссылается на многочисленные примѣры разнаго рода коллективныхъ увлеченій, изъ которыхъ совершенно исчезаетъ всякій расчетъ какихъ бы то ни было реальныхъ интересовъ экономическихъ или политическихъ, хотя онъ и далекъ отъ утвержденія, будто этотъ элементъ исторической жизни встрѣчается очень часто и проявляется съ большою силой.

³⁾ Тамъ же, стр. 55.

проклятые вопросы настойчиво требуют своего рѣшенія, и противъ этого не могутъ ничего подѣлать господствующіе экономическіе и политическіе интересы. Подобнымъ идейнымъ теченіямъ Лавровъ придавалъ большое значеніе, и въ видѣ примѣра ссылался на христіанскую церковь, какъ на такую самостоятельную силу, которая сама вызвала цѣлыя господствующія формы экономическихъ отношеній, политическихъ организацій, философскихъ и эстетическихъ продуктовъ ¹⁾).

Итакъ, у личности есть три группы потребностей, дающія въ жизни общества начало явленіямъ экономическимъ, политическимъ и идеологическимъ. Это—потребности въ пищѣ, въ безопасности и въ нервномъ возбужденіи. Всѣ эти три рода потребностей одинаково древни въ жизни человѣчества, но если изъ нихъ первой принадлежитъ несомнѣнное первенство въ смыслѣ болѣе частой повторяемости, то въ смыслѣ необходимости эволюціи послѣдовательныхъ фазисовъ побѣда остается за третьей. Этотъ послѣдній элементъ всегда особенно интересовалъ Лаврова. Поэтому и его социологія имѣла не экономическую и не политическую, а психологическую основу. Этимъ опредѣляется и его отношеніе къ экономическому матеріализму, который стремился сдѣлаться всеобъемлющей социологической теоріей, совершенно игнорируя личность и вліяніе ея внутренняго міра на внѣшніе процессы жизни человѣчества ²⁾).

На этомъ мы и кончимъ. Моей задачей не было рассмотретьъ всѣ сочиненія и всѣ стороны ученія Лаврова. Напротивъ, я нарочно выдѣлилъ изъ всего того, о чемъ онъ писалъ, только одну сторону, его „теорію личности“, отдѣльныя части которой разбросаны по разнымъ сочиненіямъ. Какой бы хоть сколько-нибудь обширной темы ни касался онъ въ своихъ многочисленныхъ трудахъ, всегда большею частью онъ ставилъ вопросъ: „а какъ слѣдуетъ объ этомъ думать по отношенію къ личности, къ ея развитію и къ ея роли въ обществѣ?“ Это—центральный пунктъ всего мышленія Лаврова и ключъ къ пониманію постановки имъ многихъ теоретическихъ вопросовъ. Онъ былъ первымъ русскимъ социологомъ и оказалъ большое вліяніе на дальнѣйшее движеніе научной мысли въ области социологіи. Его „антропологизмъ“ отразился на социологіи общимъ ея психологическимъ и этическимъ характеромъ, который и придавалъ отличительную окраску такъ называемой русской субъективной школѣ въ социологіи. О ея первой по времени теоріи слишкомъ мало писали,

¹⁾ Тамъ же, стр. 58.

²⁾ Объ отношеніи Лаврова къ экономическому матеріализму см. упомянутую мною статью „Новый историко-философскій трудъ“.

чему, конечно, были свои причины, и, разумѣется, нельзя не пожелать, чтобы рано или поздно, — и, понятно, лучше раньше, чѣмъ поздне, — философскія сочиненія Лаврова, разбросанныя по старымъ журналамъ, были собраны вмѣстѣ и тѣмъ самымъ сдѣлались болѣе доступными и для читающей публики и для критики.

Октябрь 1901 г.



Какъ извѣстно, правительство остановилось предъ матеріальными затрудненіями практическаго рѣшенія этого вопроса. Только указъ о „вольныхъ хлѣбопашцахъ“ остался въ законодательствѣ памятного челоуѣколюбивой мечты Александра. Проектъ этого указа составленъ былъ графомъ Н. П. Румянцевымъ, который на основаніи его и превратилъ своихъ вѣрстанъ въ вольныхъ землепашцевъ. Державинъ говоритъ, что Румянцевъ сдѣлалъ это, „чтобы подолжить въ государю, ставившимъ напередъ, смѣю сказать, съ якобинскою шайкою — Чарторижскимъ, Новосильцевымъ и прочими“¹⁾. По поводу этого указа, который нравился Александру, Державинъ имѣлъ съ нимъ горячее объясненіе, въ которомъ, разумѣется, оспаривалъ основанія этого указа и доказывалъ вредъ его для государства. Но „какъ государь учителемъ своимъ, французомъ Лагарпомъ, упоенъ былъ, говорить Державинъ, и прочими его окружавшими ласкателями, сею мыслію, по ихъ мнѣнію; великодушною и благородною, чтобъ освободить отъ рабства народъ, то остался непоколебимымъ въ своемъ предразсудкѣ“²⁾. Указъ состоялся, и Александръ сдѣлался еще холоднѣе въ Державину. Въ началѣ октября 1803 года онъ не принялъ его съ обычнымъ докладомъ и, когда чрезъ нѣсколько дней Державинъ добился свиданія и объясненія съ государемъ, онъ ему сказалъ: „ты очень ревностно служишь“³⁾, и Державинъ вышелъ въ отставку съ полнымъ пенсіономъ. Такъ кончилась служебная дѣятельность стараго поэта, начатая еще при Екатеринѣ. Ни съ однимъ изъ трехъ государей однакожь, при которыхъ пришлось служить Державину и быть съ ними въ близкихъ отношеніяхъ, не умѣлъ онъ поладить; всѣ они оставались недовольны имъ. Въ разное время, съ разныхъ точекъ, смотрѣли на эту служебную дѣятельность Державина. Въ двадцатыхъ годахъ, когда эта дѣятельность была извѣстна только по преданію и изъ „объясненій“ въ его стихотвореніямъ, продиктованныхъ самимъ поэтомъ племянницѣ своей Львовой, для передовыхъ людей того поколѣнія, напр., для Рылѣева, въ его думѣ „Державинъ“, поэтъ являлся идеаломъ гражданскаго мужества, гражданской чести, борцемъ за истину, за поцранныя права закона. Въ 1859 году, когда въ первый разъ появились въ „Русской Бесѣдѣ“ записки Державина, взглядъ на него былъ уже другой. При господствѣ въ тогдашней литературѣ обличительнаго нацрвленія, записки Державина „по своей безразсчетной откровенности, говоритъ новый издатель ихъ, Гротъ“⁴⁾, подали про-

¹⁾ Ibid., VI, стр. 812.

²⁾ Ibid., стр. 817.

³⁾ Ibid., стр. 821.

⁴⁾ Соч. Держ. II, с. 410.

тивъ автора оружіе критикамъ, которые не затруднились къ дѣятелю другой эпохи примѣнить новыя, хотя еще не совсѣмъ ясно сознанныя, идеалы гражданской доблести и либерализма“. Какъ извѣстно, въ тогдашнемъ увлеченіи Державину жестоко досталось. Какъ государственный и просто какъ честный человѣкъ, онъ былъ совершенно развѣнчанъ. Для насъ, при болѣе спокойномъ разсужденіи, не можетъ быть такихъ увлеченій. Державинъ былъ, конечно, честный человѣкъ, но его пылкій, чрезвычайно своенравный и строптивый характеръ приносилъ вредъ и дѣлу и ему самому. Государственнымъ человѣкомъ онъ не могъ быть, потому что для этого у него не было ни широты идей, ни образованія; онъ не могъ смотрѣть впередъ; все хорошее для него было позади, въ прошедшемъ, и идти за временемъ, понимать его новыя потребности и сочувствовать имъ Державинъ былъ не въ состояніи. Время его лучшей поэтической дѣятельности прошло безвозвратно; обществу, жизни русской, онъ никакой уже пользы не могъ принести своимъ ослабѣвшимъ талантомъ, особенно при нескрываемой имъ ненависти къ новымъ людямъ и къ новой жизни. Его плодотворное стихотворствованіе отъ отставки до смерти было только его личною забавою.

Въ письмахъ своихъ къ старому другу и родственнику, Капнисту, Державинъ высказываетъ свою радость, что освободился отъ тяготившаго его бремени дѣлъ и что теперь можетъ съ полною свободою отдаться любимому занятію своему — поэзій. Намъ позволительно однако не вполне вѣрить искренности его словъ. Въ душѣ его осталась горечь отъ неудовлетвореннаго честолюбія, увеличиваемая еще болѣе глубокимъ недовольствомъ новыми людьми, имѣвшими власть, и тѣми преобразованіями, которыя совершались тогда въ государствѣ, больше впрочемъ людьми, чѣмъ преобразованіями, а это и доказываетъ присутствіе въ недовольствѣ Державина личнаго чувства. Такъ въ баснѣ „Жмурки“, написанной въ 1805 году¹⁾, онъ желалъ представить Александра и его триумвиратъ; въ баснѣ „Выборъ министра“²⁾ подъ видомъ наука является Сперанскій, а подъ муравьемъ — Новосильцевъ.

Однимъ словомъ, Державинъ, какъ и Дмитріевъ, не могъ сочувствовать ничему новому, но онъ не могъ и противодѣйствовать вопервыхъ потому, что онъ не понималъ этого новаго, а потомъ еще и потому, что онъ „бѣдное свое риэмачество“ — по выраженію Ломоносова — ставилъ выше всего въ жизни. Правда, въ остальные годы своей жизни, отъ отставки и до смерти, Державинъ писалъ очень много, но съ каждымъ годомъ талантъ его и воображеніе слабѣли.

¹⁾ Соч. Держ., III, стр. 354.

²⁾ Ibid., стр. 359.

Это уже была жалкая тѣнь прежняго, и очень часто стихи его вызвали улыбку сожалѣнія, если не насмѣшку,—ясное доказательство того, что поэтический гений не старѣется только тогда, когда онъ получаетъ содержаніе изъ новой жизни, его окружающей, и обновляется ея стремленіями. Державину мѣшала въ этомъ случаѣ недостаточность образованія; его духовные интересы были до крайности узки и мелки, всѣ они состояли въ жалкой погонѣ за римами. Что писалъ Державинъ въ послѣдніе годы своей жизни? Прямо отъ управленія министерствомъ юстиціи Державинъ садится за сочиненіе своихъ „Анакреонтическихъ цѣсентъ“ (1804 г.); не зная древнихъ языковъ и знакомясь съ древними поэтами или по французскимъ переводамъ или по русскимъ подстрочнымъ, которые дѣлали для него друзья его, Державинъ переводить или скорѣе подражаетъ Анакреону, представляя картинки весьма скромнаго свойства, неприличныя старику, подражаетъ Горацию, Пиндару, но сущность древней поэзіи и ея изящные образы совершенно исчезаютъ въ этихъ передѣлкахъ. На борьбу съ Наполеономъ и по случаю патриотическаго настроенія русскаго общества въ это тяжелое для Россіи время Державинъ написалъ много стиховъ, но за исключеніемъ очень немногихъ одъ, остальные не производили никакого впечатлѣнія на тогдашнее общество: нашлись новые звуки, народились новые поэты, которые сумѣли то же патриотическое содержаніе выразить въ иныхъ, болѣе современныхъ образахъ. Религіозныя стихотворенія Державинъ писалъ въ это время въ большомъ количествѣ, но всѣ они въ высшей степени холодны и безжизненны; это риторика, вялая, скучная, только съ римами.

Въ отставку Державинъ получилъ особенную страсть къ драматической поэзіи, которая не покидала его до послѣднихъ дней жизни. Нѣсколько трагедій, конченныхъ и неоконченныхъ, нѣсколько комедій и оперъ, по большей части оригинальныхъ, составили цѣлый толстый четвертый томъ академическаго изданія. Многія изъ нихъ были напечатаны только въ этомъ изданіи, но Державинъ при жизни читалъ ихъ своимъ пріятелямъ, заставляя ихъ читать себѣ и повидимому оставался доволенъ новымъ родомъ поэзіи, съ которымъ познакомился только подъ старость. Современная критика изъ уваженія къ старой славѣ Державина или молчала, или отзывалась о его драматической прихоти весьма снисходительно, но прежніе друзья его, напр., Дмитріевъ, качали головой и смѣялись надъ послѣдними произведеніями Державина. „Вы удивитесь и вѣрно скажете про себя, писалъ онъ въ Москву къ Дмитріеву, что я подъ старость рехнулся съ ума, пустившись по неизвѣстной мнѣ понынѣ дорогѣ въ храмъ Мельпомены; но что дѣлать отъ бездѣлья? Оды уже наскучили;

и такъ я хотѣлъ испытать русскую пословицу: смѣлымъ Богъ владеетъ! Пусть господа ваши критики цѣнятъ, какъ хотятъ, но дѣло уже сдѣлано“ ¹⁾). Говорять, впрочемъ, что современные лавры Озерова, такъ легко имъ прибрѣтенные тогда, не давали покоя Державину и вызвали его на драматическое поприще. Это была манія старца. Война съ Наполеономъ вызвала Державина и на практическое участіе въ дѣлахъ того времени. Въ 1806 и 1807 годахъ онъ представлялъ двѣ записки о томъ, какъ укротить, по его словамъ, наглость французовъ. На нихъ не обратили вниманія. „Меня обѣщали призвать и выслушать мой планъ, пишетъ онъ Попову, но послѣ пренебрегли и презрѣли, какъ стихотворческую горячую голову; но теперь, *къ несчастію, все, что я говорилъ, сбывается“ ²⁾). Въ 1812 году онъ также писалъ о мѣрахъ въ оборонѣ, но правительству было тогда не до него: О „Бесѣдѣ любителей русскаго слова“, литературномъ обществѣ старыхъ писателей, въ образованіи котораго принимали самое дѣятельное участіе Державинъ и Шишковъ, мы будемъ говорить въ своемъ мѣстѣ.

Фигура Державина въ послѣдніе годы его жизни, его интересы и дѣятельность очень живо являются въ современныхъ воспоминаніяхъ Жихарева, Аксакова и В. Панаева. Это были молодые писатели, только что вступавшіе на литературное поприще, никому еще неизвѣстные, а потому видѣвшіе въ Державинѣ и знаменитаго „барда“ времени Екатерины и недавняго министра. Они склонялись предъ нимъ съ глубокимъ раболѣпствомъ, какъ было прилично молодымъ людямъ того времени. Панаевъ передаетъ, съ какимъ благоговѣйнымъ чувствомъ онъ въ первый разъ увидѣлъ маститаго старца и бросился цѣловать его руку. Жихаревъ и Аксаковъ славились тогда, какъ чтецы или декламаторы. Державинъ заставлялъ ихъ безпрестанно читать въ слухъ свои произведенія. Общество, собиравшееся къ нему, состояло все изъ чиновныхъ старцевъ, болѣе или менѣе его сверстниковъ, членовъ Бесѣды. Всѣ интересы этого общества вертѣлись около стиховъ и вдобавокъ плохихъ. Къ Карамзину, въ московскому литературному кругу отношеніе было враждебное.

Державинъ доживалъ, такимъ образомъ, свой вѣкъ, какъ обломокъ старины, чуждый новой жизни и занятый совершенно бесполезною и не имѣющею смысла дѣятельностію. Между тѣмъ политическія обстоятельства времени должны были измѣнить положеніе дѣлъ въ Россіи, характеръ общественнаго движенія и вызвать новыя литературныя явленія и новыя имена.

¹⁾ Ibid., VI, с. 197.

²⁾ Ibid., VI, с. 234.

ЛЕБЦІЯ ХХ.

Отношеніе общественнаго мнѣнія къ западно-европейскимъ событіямъ.—Первая война съ Наполеономъ.—Аустерлицкое пораженіе.—Разгромъ Пруссіи и Тильзитскій миръ.

Только пять лѣтъ продолжалось стремленіе Александра въ реформамъ и преобразованіямъ и желаніе переустроить свое царство на новыхъ лучшихъ началахъ. Какъ ни слабы были эти желанія, какъ ни незначительны были результаты задумываемыхъ реформъ, вслѣдствіе неразвитости и апатіи общества, все же эти первые пять лѣтъ царствованія Александра были временемъ такихъ прочныхъ преобразованій, какъ, напр., устройство на широкихъ началахъ народнаго просвѣщенія и такого оживленія и возбужденія умовъ, замѣтнаго даже и въ сѣдной литературѣ того времени, которая оставила глубокіе слѣды въ жизни общественной и не вдругъ могли исчезнуть въ сознаніи. Люди, которые принимали дѣятельное участіе въ духовной жизни и въ общественномъ оживленіи этихъ пяти лѣтъ, всегда съ глубокимъ чувствомъ вспоминали ихъ, какъ свѣтлую пору молодости; но даже и тѣ, которымъ были не по душѣ начала, появившіяся тогда въ государственной и общественной жизни, какъ, напр., Вигель, называютъ это время блаженнымъ и свѣтлымъ. Неожиданно для многихъ, конечно, не дальновидныхъ, но совершенно естественно, по исторической необходимости, и вниманіе правительства и движеніе общественнаго мнѣнія, выражавшагося въ литературѣ, направились въ другую сторону; реформы и благія начинанія были сначала отложены на время, а потомъ и позабыты. Настала пора вѣшнихъ войнъ нашихъ съ Наполеоновскою Франціею, продолжавшихся десять лѣтъ и имѣвшихъ важное значеніе въ исторіи нашего внутренняго развитія. Продолжительное напряженіе всѣхъ силъ страны, то поворотъ пораженія, то слава побѣды, все это кипучее время вѣшней дѣятельности, когда очень часто будущее страны зависѣло отъ прихотливыхъ случайностей сраженія,—все это сильно возбуждало и тревожило общественное мнѣніе, которое воспитывалось и крѣпло въ этихъ волненіяхъ. Указать на эти колебанія общественнаго мнѣнія, на его отношеніе къ великимъ тяжелымъ событіямъ, необходимо, ибо безъ этого мы не поймемъ ни смысла литературныхъ явленій, какъ въ выраженій этого общественнаго мнѣнія, ни ихъ направленія, ни силы и значенія ихъ въ отношеніи общей жизни Россіи.

Французское вліяніе, французскія формы жизни и мысли, моды и литература Франціи господствовали въ нашемъ обществѣ съ по-

ловины прошлаго вѣка, чему въ особенности безспорно благопріятствовало то, что воспитаніе высшаго и средняго дворянства все находилось въ рукахъ французскихъ наставниковъ. Но мы имѣли дѣло съ старой Франціей, съ Франціей легитимной монархіи Бурбоновъ, бѣлаго знамени, лилій, аббатовъ, изящныхъ трагиковъ, свободныхъ мыслителей XVIII вѣка, которые нигдѣ не высказывали, какъ думаютъ они примѣнить на практикѣ, въ жизни человѣчества, свои широкія гуманныя идеи, и веселыхъ насмѣшливыхъ поэтовъ, воспитавшихъ легкіе нравы и легкую любовь. Отъ знакомства съ новыми идеями и формами, возникшими на развалинахъ старой Франціи послѣ революціоннаго переворота, въ которомъ погибло все прошедшее этой страны, насъ оберегали правительственныя распоряженія Екатерины и Павла, понимавшихъ очень хорошо всю радикальную противоположность новой Франціи съ коренными условіями ихъ власти. Это ревнивое оберегательство правительства не всегда достигало цѣли и не могло продолжаться долго; нельзя запереть идею и не давать ей ходу, ея природа слишкомъ неуловима и рано или поздно она вырвется наружу. При Александрѣ, какъ мы видѣли, это положеніе вещей измѣнилось. Онъ былъ, конечно, случайно, воспитанъ иначе. Еслибъ Екатерина могла предвидѣть результаты его воспитанія, то, конечно, повела бы его иначе, но дѣло въ томъ, что никогда люди не были такъ мало предусмотрительны, и никто въ Европѣ не предчувствовалъ тогда такой близости грозы и такихъ ужасающихъ формъ переворота. Александръ сдѣлался сыномъ вѣка противъ его воли, но все, что было въ немъ хорошаго, всѣ его искреннія желанія блага странѣ, всѣ его стремленія и надежды, все это своею жизнію обязано было началамъ французскаго переворота, разумѣется, безъ его обстановки. Онъ, дѣйствительно, походилъ на школьника 1789 года, съ идеалами братства, равенства и свободы въ сердцѣ. Молодые совѣтники его, передовые люди по своему образованію, были воспитаны и жили въ томъ же кругѣ идей, какъ и онъ; результаты, добытые переворотомъ Франціи, были для нихъ дороги, они хотѣли положить ихъ въ основаніе задумываемыхъ ими вѣстѣй съ императоромъ преобразованій страны своей. Но людей, которые бы раздѣляли ихъ убѣжденія, и въ обществѣ и въ литературѣ было чрезвычайно мало. Последняя была, какъ мы видѣли, въ высшей степени бѣдна, а общество жило поклоненіемъ формамъ старой Франціи и не понимало совершившагося въ ней переворота, пока тяжелыми потерями не убѣдилось въ томъ, что передъ нимъ другая Франція, враждебная старой.

Когда Карамзинъ въ своемъ „Вѣстникѣ Европы“ привѣтствовалъ перваго консула, поразившаго „гидру“ революціи, начинавшаго воз-

становлять католичество и нѣкоторыя старыя формы, и онъ и большинство современниковъ не думали, что въ рукахъ этого консула будущее Европы, что онъ измѣнитъ ея исторію своими безпощадными войнами. Очень многіе мечтали видѣть въ немъ новаго генерала Монка, но никакъ не Кроувеля. Но вотъ на развалинахъ старой Европы постепенно воздвигается зданіе громадной воинственной державы. Европа превращается въ лагерь, точно во время Аттилы. Во власти перваго консула вся Италия, Голландія; онъ управляетъ по произволу сосѣднею съ нами Германіей, въ которой такъ много было родственныхъ связей у нашего двора; честолюбивыя виды Бонапарте ширятся, все склоняется передъ его волей, и одна только далекая, сѣверная страна еще избѣгаетъ его вліянія. Ея положеніе бѣситъ перваго консула и недовольство его Россіей высказывается грубыми выходками противъ пословъ ея, которые, впрочемъ, и сами не понимали своего положенія и новой Франціи и ея властителя. Крикъ негодованія поднялся въ Европѣ, когда Бонапарте велѣлъ разстрѣлять во рву Венсенскаго замка одного изъ Бурбоновъ, герцога Ангіенскаго. Тогда только убѣдились, что изъ перваго консула не выйдетъ Монка, а въ отвѣтъ на проклятія всей Европы, онъ объявляетъ себя императоромъ, и съ тѣхъ поръ се *soldat sonopné*, до самаго паденія своего, дѣлается предметомъ ненависти правительствъ и людей стараго режима, но вмѣстѣ съ тѣмъ и народной партіи. Народное чувство вездѣ видѣло въ немъ врага свободы и независимости, оно окружило его глубокою ненавистью и ею умѣли пользоваться правительства.

Рядомъ съ уроками Лагарпа и филантропическими идеалами, созданными духомъ времени, въ душѣ Александра всегда присутствовало убѣжденіе, что онъ государь самодержавный, что воля его не ограничена ничѣмъ и кромѣ того онъ государь легитимный, Божій помазанникъ. Эти идеи, конечно, развиваются тамъ преимущественно, гдѣ ихъ питаютъ матеріальныя сила и могущество; и нигдѣ онѣ не были такъ сильны, какъ при нашемъ дворѣ. Александръ былъ воспитанъ ими; его мать, вдовствующая императрица Марія Федоровна, всегда имѣвшая на сына сильное вліяніе, доводила эти идеи до крайности; все старое поколѣніе придворныхъ, эти „орлы Екатерины“, были того же образа мыслей, который еще болѣе укрѣплялся въ высшемъ петербургскомъ свѣтѣ присутствіемъ множества знатныхъ французскихъ эмигрантовъ и ихъ плачевными разказами о вынесенныхъ ими страданіяхъ, объ ужасахъ революціи, о бѣдствіяхъ и гибели королевской фамилии, о развратѣ и неистовствахъ Бонапарта. Люди эти, по старому и вѣрному о нихъ выраженію, ничего не забыли и ничему не научились. Ихъ слушали въ нашемъ обществѣ,

дѣлили ихъ любовь къ прошлому и ненависть къ новому порядку вещей во Франціи.

Изъ дипломатическихъ соображеній, увлекшихъ насъ въ тяжелую войну съ Франціей, кажется, самымъ сильнымъ было неудовольствіе нашего двора на тотъ произволъ, съ которымъ Наполеонъ распорядился мелкими нѣмецкими владѣніями, безпрестанно перетасовывая ихъ, отнимая у одного и давая другому, иногда просто лишая престоловъ ихъ владѣтелей, а всѣ они были близкими и дальними родственниками нашего двора. Участь ихъ озабочивала Александра. И вотъ онъ становится въ главѣ новой коалиціи противъ Франціи, вызывая и образовывая вездѣ въ Европѣ союзы и увѣряя дворы ея, что „самымъ опаснымъ оружіемъ французовъ было распространенное ими убѣжденіе, будто бы они ратуютъ за свободу и благосостояніе народовъ“¹⁾. Въ этомъ убѣжденіи, дѣйствительно, состояла главная причина успѣха Наполеоновскихъ войнъ. Дѣло шло въ этой войнѣ со стороны нашего императора ни больше ни меньше, какъ объ изгнаніи хищника престола законныхъ государей Франціи и о возстановленіи Бурбоновъ. Нужно было остановить могущество Наполеона, пока еще возможна была борьба съ нимъ. Это настроеніе господствовало впрочемъ не при одномъ русскомъ дворѣ, и Австрія и Пруссія желали того же въ лицѣ своихъ дворцовъ, но ихъ силы были слабѣе и у нихъ недоставало Александрова рыцарства.

Всякая война, въ которой напрягаются силы страны, могущественно возбуждаетъ умъ народа и общественное мнѣніе: вѣдь тутъ страна жертвуетъ лучшимъ своимъ достояніемъ, и самое существованіе ея ставится на карту. Самые удачныя, полезныя по результатамъ своимъ войны бываютъ тѣ, которые ведутся сознательно, которыхъ цѣль и средства понятны и извѣстны народу. Солдатамъ Наполеоновскихъ армій, съ которыми пришлось имѣть дѣло нашему народу, боллетени ихъ императора и приказы постоянно твердили, что они сражаются за великое дѣло, что они призваны для того, чтобъ разнести по свѣту свободныя идеи французской революціи, чтобъ освободить и просвѣтить міръ. А у насъ, до отечественной войны, существовало ли какое нибудь общественное мнѣніе, относилась ли сколько-нибудь сознательно страна къ напряженію своихъ силъ, знала ли она сколько-нибудь намѣренія и политическіе виды правительства и понимала ли она за что ведется война? На вопросы эти болѣе всего надобно отвѣчать отрицательно. Гдѣ нѣтъ политической жизни, гдѣ представители народа не принимаютъ въ ней никакого участія, тамъ не можетъ быть и знанія своего положенія,

¹⁾ Богдановичъ. Исторія царств. имп. Александра I, т. I, с. 351.

тамъ не можетъ быть и того сознательнаго патриотизма, который производитъ чудеса, а является патриотизмъ пассивный, патриотизмъ жертвъ и терпѣнія. Публичности дѣйствій правительства не было вовсе; гласности, въ томъ даже смыслѣ, какъ она существуетъ теперь, тогда вовсе не существовало; газеты были самаго жалкаго свойства; въ нихъ помещались скудные, отрывочныя извѣстія, не давашія никакого понятія объ истинѣ, онѣ не слѣдили за событіями послѣдовательно, не объясняли причинъ ихъ и хода. Страна узнавала о потрясающихъ событіяхъ только то, что считало нужнымъ сообщить странѣ правительство. Въ этомъ обстоятельствѣ сказывалось и недоверіе правительства къ своему народу и боязнь. При отъѣздѣ въ первую Наполеоновскую кампанію, Александръ счелъ необходимымъ учредить въ столицѣ какую-то *тщательную полицію*, которая должна была наблюдать за состояніемъ умовъ и преслѣдовать всякіе толки, неумѣстные въ тѣхъ обстоятельствахъ ¹⁾. Тогда же была учреждена и внутренняя стража по губерніямъ ²⁾. Всякіе политическіе толки о событіяхъ строго преслѣдовались; приходилось говорить о нихъ на ухо и то только въ интимномъ кругу. Жихаревъ передаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, какъ московскій главнокомандующій Беклешовъ призвалъ къ себѣ въ пріемный день нѣсколько молодыхъ дворянъ, политическій разговоръ которыхъ былъ подслушанъ, и, въ присутствіи всѣхъ, грозилъ имъ розгами ³⁾. Тоже самое было и въ Петербургѣ; и тамъ особенный комитетъ общественнаго спокойствія хлопоталъ объ обузданіи политической болтовни, появлявшейся всегда необходимо тамъ, гдѣ нѣтъ правительственнаго выраженія общественнаго мнѣнія. О провинціальныхъ городахъ и говорить нечего; тамъ всякая жизнь спала сномъ непробуднымъ, въ блаженномъ невѣдѣніи всего, что только подымалось хоть на вершокъ надъ мелкими интересами грубой и инстинктивной жизни. И вотъ полки и батальоны русскаго народа шли безмолвно и медленно куда-то далеко, въ неизвѣстную тогда Европу, на кровавыя поля сраженій, откуда немногіе возвратились домой, а большая часть погибла съ полнымъ невѣдѣніемъ, за что. А между тѣмъ поборы, наборы и милиція тяжело ложились на народъ; бумажныя деньги надали, и все дорожало. Толки и общественное мнѣние могли выражаться только въ высшихъ совѣтахъ государства и въ высшемъ обществѣ столицъ.

Отправляясь осенью 1805 года вслѣдъ за войскомъ, перешед-

¹⁾ Русск. Арх. 1867 г., с. 754.

²⁾ Ibid., с. 762.

³⁾ Записки Жихарева, с. 115.

шимъ границу, Александръ уже не могъ думать о начатыхъ имъ преобразованіяхъ въ государствѣ: впереди его была война съ Наполеономъ, окруженнымъ славой непобѣдимаго полководца, а онъ не зналъ, кому поручить главное начальство русской арміи и рѣшился стать самъ въ главѣ ея. Народъ съ молитвами и благословеніями провожалъ его по петербургскимъ улицамъ, когда онъ отправился въ армію и онъ въ рескриптѣ своемъ къ генераль-губернатору Вязмитинову высказывалъ свое наслажденіе „честью быть начальникомъ столь почтенной и отличной націи“¹⁾.

Въ Москвѣ, при началѣ войны, въ обществѣ господствовала удивительная довѣренность къ Александру, и начиналась ненависть къ Наполеону, увеличившаяся въ сильнѣйшей степени послѣ нашихъ поражений. Москва называла Александра „ангелъ во плоти“; всѣ сословія ея были увлечены общою къ нему любовію. Въ московскомъ англійскомъ клубѣ, гдѣ было главное средоточіе общественнаго мнѣнія этой столицы, всѣ были увѣрены въ побѣдѣ, всѣ полагались на Суворовскаго любимца Кузубова, всѣ хорохорились и храбрились, презирая *сухотарихъ французшескъ* и ихъ геніальнаго вождя, который являлся въ представленіяхъ доморощенныхъ клубныхъ политивовъ чѣмъ-то въ родѣ мелкаго мазурика. „Подавай мнѣ этого мошенника Буонапартія, я его на веревкѣ въ клубъ приведу!“ кричалъ толстый помѣщикъ, отставной прапорщикъ Перхуровъ, и надобно замѣтить, что все общественное мнѣніе Россіи въ то время выражалось такими бессмысленными криками²⁾. Это было понятно, потому что оно опиралось на громкую славу Екатерининскихъ войнъ и героевъ. Въ этомъ клубѣ господствовалъ только интересъ къ извѣстіямъ войны; въ этомъ отношеніи онъ походилъ, по выраженію современника, на воскресный базаръ, особенно въ тѣ дни, когда приходило извѣстіе изъ арміи. Всеобщее безпокойство увеличилось передъ главнымъ сраженіемъ всей кампаніи, но увѣренность въ побѣдѣ не покидала никого, поражение было немыслимо.

Та же самая самонадѣянность и презрѣніе къ врагу господствовали и въ войскѣ, главнымъ образомъ въ свитѣ государя, гдѣ господствовало настроеніе мыслей французскихъ эмигрантовъ, воображавшихъ, что они наканунѣ восстановления Бурбоновъ, своихъ правъ и своихъ имѣній. Эта самоувѣренность поражала даже французовъ, посланныхъ въ нашъ лагерь Наполеономъ для переговоровъ о мирѣ. Требованія наши были до крайности неумѣренны. И вотъ послѣдовало неслыханное поражение русской арміи на поляхъ Аустерлица;

¹⁾ Богдановичъ, II, с. 50.

²⁾ Записки Жихарева, с. 87.

разрушившее разомъ всю прежнюю самонадѣянность. Стыдъ и позоръ послѣдовали за неумѣренною гордостію и самоувѣренностію. Союзники разомъ оставили насъ, и чтобъ отплатить за позоръ пораженія и осуществить цѣль Александра—уничтоженіе могущества Наполеона, намъ приходилось уже однимъ вести, по его выраженію, une guerre de fantaisie. Де-Местръ рассказываетъ въ своихъ письмахъ, что тотчасъ послѣ Аустерлицкаго сраженія кто-то изъ придворныхъ свиты Александра сказалъ ему: „Кто знаетъ, что въ это время дѣлается въ Петербургѣ?“ и государь тотчасъ же, съ поля сраженія поскакалъ въ свою столицу ¹⁾. Съ этихъ поръ не общія преобразования государства стали занимать его мысли и досугъ, а устройство арміи. Парады и смотры сдѣлались любимыми его занятіями. „Императоръ лично эскерцируетъ свою гвардію, говоритъ тотъ же де-Местръ, изобрѣли новый барабанъ, производящій страшную трескотню; всѣ смѣются, и въ особенности офицеры, и это великое зло“ ²⁾. Онъ заботится теперь преимущественно о военномъ воспитаніи.

Но опасенія императора и его близкихъ совѣтниковъ при возвращеніи въ Петербургъ послѣ Аустерлицкаго пораженія были напрасны. Народъ и общество не знали настоящей правды, и смутные разсказы объ Аустерлицѣ долго передавались только шепотомъ. Государь и его свита были встрѣчены въ столицѣ съ обычнымъ восторгомъ. „Ихъ величали, какъ героевъ, совершившихъ чудеса храбрости и самоотверженія“ ³⁾. Не смотря на это, ударъ, нанесенный нашей народной гордости пораженіемъ подъ Аустерлицомъ, былъ жестокъ и глубоко проникъ въ сердца многихъ. Для русскихъ, избалованныхъ непрерывнымъ рядомъ побѣдъ въ теченіе полувѣка, это пораженіе было тѣмъ чувствительнѣе. Но раздумье и печаль о потерѣ продолжались недолго; было на кого возложить заботы и успокоиться: „Государь знаетъ лучше насъ, что для чего дѣлается, и если насъ потрепали, то видно, что такъ и надобно“, говорило тогда большинство ⁴⁾. Лица были пасмурны недолго и скоро прояснились; пошли разсказы объ отдѣльныхъ подвигахъ русскихъ воиновъ, куражъ вернулся снова, непрежнему стали третировать побѣдителя Наполеонихой и Бонапартихой: „сами не свои и чортъ намъ не братъ“, по выраженію современника. Въ англійскомъ клубѣ выпито было громадное количество бутылокъ шампанскаго. Въ Москву пріѣхалъ единственный герой этой кампаніи—Багратіонъ, за которымъ осталась кое-какая

¹⁾ Русск. Арх. 1871 г., с. 107.

²⁾ Ibid., с. 88.

³⁾ Богдановичъ II, с. 106.

⁴⁾ Записки Жихарева, с. 111.

слава успѣха. Ему устраивали торжественныя оваціи, давали обѣды со стихами, но безъ спичей, пѣли въ честь его гимны. Это была нѣкотораго рода оппозиція; Вагратіонъ командовалъ только арьергардомъ и игралъ второстепенную роль, но Москва въ прежніе годы любила быть въ оппозиціи.

Такъ начались эти войны съ Наполеономъ, кончившіяся его нашествіемъ въ Россію и, наконецъ, его паденіемъ. Пораженіе при Аустерлицѣ, если не по голосу всего народа, то по мнѣнію правительства, должно было быть отищено, и Россія стала готовиться къ войнѣ, т.-е. увеличивать войско. Невольно воинственное увлеченіе стало проходить и въ общество, гдѣ теперь ненависть къ Наполеону начала раздувать и возникшая тогда политическая литература. Этой послѣдней еще не было времени у насъ сформироваться отъ непониманія событій и отъ равнодушнаго отношенія къ нимъ, а потому все, что являлось у насъ противъ французовъ въ первые годы войны съ ними, было переводимо съ нѣмецкаго. Униженіе Германіи чувствовалось въ ней очень многими. Наполеоновскій гнетъ лежалъ на ней невыносимо, и ея государи видѣли въ русскихъ естественныхъ своихъ союзниковъ. Пруссія первая захотѣла сбросить съ себя этотъ гнетъ; Александръ былъ въ искренней дружбѣ съ прусскимъ королевскимъ домомъ и обѣщала дѣятельную помощь. Но прежде нежели русскія войска могли подоспѣть на помощь пруссавамъ, королевство это въ одинъ день 2-го (14) октября 1806 года въ двухъ сраженіяхъ, при Іенѣ и Ауэрштедтѣ, пало совершенно. Погромъ былъ страшный, неслыханный; военная слава Фридриха В. исчезла въ нѣсколько дней, и королю прусскому остался жалкій клочекъ земли въ восточномъ углу ея государства.

Мы рвались отмстить теперь за Іену. Паденіе Пруссіи ставило насъ лицомъ къ лицу съ Наполеономъ, и приходилось думать не о наступленіи, а объ оборонѣ. Войнѣ придають характеръ народный. Манифестомъ 30 ноября 1806 года собиралось огромное количество земскаго войска или ополченія; Синодъ издалъ воззваніе къ народу, гдѣ говорилось объ оборонѣ отечества. Приближались великія событія, но значеніе и смыслъ ихъ понимали очень немногіе; общественнаго мнѣнія не существовало, все облечено было глубокою тайной, и понятно поэтому, что, по замѣчанію современниковъ, русскіе люди, призванные управлять событіями, оказывались стоящими гораздо ниже уровня современныхъ великихъ и страшныхъ обстоятельствъ. Недостатокъ людей, способныхъ на дѣло, чувствовался во всѣхъ сферахъ государственной дѣятельности. Александръ не зналъ даже кому ввѣрить начальство надъ русской арміей и сдѣлалъ самый неудачный выборъ, назначивъ главнокомандующимъ стараго орла Ека-

терининскихъ войнъ, на котораго указывало мнѣніе двора. Но у крыльевъ орла давно вылинали перья. Выписанный изъ деревни графъ Каменскій оказался больнымъ и слѣпымъ старикомъ, который не могъ даже ѣздить верхомъ. Дворъ и Петербургъ проводили его съ восторженными надеждами въ армию, но Каменскій, испугавшись отвѣтственности, на немъ лежащей, сознавая ничтожность своихъ силъ, сдѣлъ самовольно начальство старшему по себѣ и бросилъ армию. Борься съ первымъ военнымъ геніемъ времени всякому приходилось не подъ силу. Новый главнокомандующій Беннигсенъ былъ также старъ и болѣзненъ; онъ отличался слабостью и безхарактерностью; подчиненные ему генералы повиновались ему неохотно; безначаліе грозило нарушить всякую дисциплину въ арміи, и безъ того уже подорванную. Плохо одѣтые, плохо обутые, солдаты по цѣлымъ днямъ оставались безъ пищи, а лошади безъ фуража. Ихъ грабили интенданты, — имъ приходилось грабить страну, которую они пришли защищать отъ насилія Наполеона. Войско видимо слабѣло, и понятно, что ожидать успѣха было нельзя. Правда, нерѣшительныя сраженія мы выставляли за побѣды, но истина неволью раскрывалась въ бѣдственномъ положеніи арміи, которой одной, безъ союзниковъ, приходилось бороться съ Наполеономъ и его славными маршалами. Къ вождю ея не было никакого довѣрія, и Александръ счелъ необходимымъ отправиться самому въ войску. Такъ наступилъ 1807 годъ. Армія была утомлена переходами, сраженіями, безпрестанными стычками; еще болѣе, чѣмъ въ сраженіяхъ, солдаты гибли отъ ранъ и болѣзней въ лазаретахъ, которые образованные иностранцы называли тогда „ужасомъ чело-вѣчества“. Жестокое пораженіе насъ при Фридрихсбургѣ 2-го (14) іюня должно было покончить эту бѣдственную для насъ войну, причина которой лежала въ рыцарскомъ чувствѣ Александра, а не въ необходимости. Это пораженіе и въ арміи, и въ государѣ, и въ большинствѣ лицъ, его окружавшихъ, развило убѣжденіе въ необходимости мира, и обращавшійся гордо и презрительно съ Наполеономъ императоръ Александръ долженъ былъ склониться предъ побѣдителемъ и просить о мирѣ. Онъ не замедлилъ, и Тильзитскій трактатъ положилъ конецъ войнѣ, унижилъ Россію, но возбудилъ ея общественное мнѣніе.

ЛЕКЦІЯ ХХІ.

Впечатлѣніе отъ Тильзитскаго мира. — Удаленіе Чарторьскаго, Новосильцева и Кочубея. — Аракчеевъ. — Сперанскій. — Патриотическая литература. — «Геній времени». — О. В. Радопчинъ. Его дѣтство. Служба.

Неудачная война съ Наполеономъ и вслѣдъ за нею невыгодный Тильзитскій миръ произвели на русское общество того времени впечатлѣніе самое тяжелое. До сихъ поръ мы вели только счастливыя войны, шли отъ побѣды къ побѣдѣ; до сихъ поръ мы сами предписывали условія мира побѣжденнымъ; теперь въ свою очередь надобно было подчиниться. Сила обстоятельствъ привела насъ въ 1807 году къ этому невыгодному миру. Дѣйствующая армія была ослаблена тяжелыми сраженіями съ Наполеономъ и болѣвными, еще болѣе упадкомъ дисциплины и казнокрадствомъ, отъ котораго наживался самъ фельд-маршалъ Бенингсенъ, богатѣвшій на счетъ грабимыхъ солдатъ¹⁾. Вслѣдствіе поражений нашихъ Польша готовилась къ возстанію, а у насъ не было вовсе резервовъ, чтобъ продолжать войну, ибо на ополченія необученныхъ крестьянъ не надѣялся никто. Однимъ словомъ, миръ былъ заключенъ нами по необходимости; безъ него было бы хуже, а между тѣмъ онъ тяжело ложился на совѣсть всѣхъ въ немъ участвовавшихъ и самого Александра, который послѣ своего всемірно-историческаго свиданія съ Наполеономъ медлил въ Тильзитѣ, какъ бы подъ тяжестью стыда, несмотря на представленія всѣхъ приближенныхъ, торопившихъ его воротиться въ Имперію²⁾. Никому неизвѣстно, о чемъ шла рѣчь между двумя императорами, въ рукахъ которыхъ были тогда судьбы міра, но Александръ не могъ не подчиниться гениальному уму Наполеона, и это подчиненіе вело только къ униженію Россіи, къ ея ослабленію; Наполеонъ льстилъ Александру, но думалъ только о своихъ выгодахъ и о своемъ честолюбіи.

Какъ внѣшняя, такъ и внутренняя политика Александра должна была измѣниться теперь, послѣ Тильзитскаго мира. Наступило другое время, съ другимъ содержаніемъ, другими цѣлями и намѣреніями, и, наконецъ, другими людьми. Превжніе друзья молодости Александра должны были уступить свои мѣста другимъ. На ближайшаго друга Александра—Чарторьскаго, какъ на поляка, а слѣдовательно естественнаго врага Россіи, обрушилось негодованіе общества; все то, что было близко къ государю и имѣло какое-нибудь вліяніе на его рѣшенія, подвергалось тогда въ обществѣ самымъ разнообразнымъ

¹⁾ Русск. Арх. 1868 г., с. 182.

²⁾ Русск. Арх. 1868 г., с. 50.

обвиненіямъ. Современники говорятъ о тайной радости Чарторьскаго при нашихъ пораженіяхъ¹⁾; на него всё смотрѣли, какъ на измѣнника. Изъ писемъ Чарторьскаго видно, какъ Александръ, и по нерѣшительности своего характера и по недостатку дѣльныхъ людей между тѣми, которые окружали его, долго колебался въ необходимости отдалить отъ управленія министерствомъ иностранныхъ дѣлъ Чарторьскаго. „Мнѣ нужно уважать тѣхъ, съ кѣмъ я работаю“, писалъ онъ къ послѣднему²⁾, и только уступая требованію общества, онъ удалилъ отъ себя Чарторьскаго, увѣряя его, что его личныя чувства къ нему не измѣнились. Дѣйствительно, хотя Чарторьскаго и смѣнилъ Будбергъ, онъ все-таки оставался близокъ къ Александру до самой отечественной войны и былъ главнымъ совѣтникомъ его въ дѣлахъ дипломатическихъ. Другіе прежніе совѣтники удалились тоже постепенно. Новосильцевъ, какъ мы знаемъ, былъ жаркимъ поклонникомъ Англій, ея государственныхъ формъ; когда дѣло шло о союзѣ противъ Наполеона, Новосильцевъ былъ посланъ въ Лондонъ и своими свиданіями съ Питтомъ и Фоксомъ устроилъ этотъ союзъ. Новосильцевъ говорилъ самъ, что лично ненавидитъ Наполеона³⁾, и послѣ Тильзитскаго мира убѣждалъ государя уволить его въ отставку. Хотя Александръ не согласился, но Новосильцевъ постепенно удалялся отъ двора, постепенно терялъ свое вліяніе и, часто громко и безцеремонно браня Наполеона и порицая новое направленіе нашей политики, принужденъ былъ, наконецъ, уѣхать за границу, вызвавъ противъ себя гнѣвъ Александра. Министръ внутреннихъ дѣлъ Кочубей, также недовольный измѣнившимся ходомъ дѣлъ, принужденъ былъ уступить свое мѣсто князю Куракину и уѣхать въ безсрочный отпускъ. Графъ Строгановъ еще прежде перешелъ въ военную службу и храбро сражался въ кампанію 1807 года. Такъ одинъ за другимъ сошли со сцены тѣ близкіе люди къ императору Александру, которые вначалѣ его царствованія составляли знаменитый „комитетъ общественнаго спасенія“, думали спасти Россію или, по крайней мѣрѣ, поднять и возвысить ее своими реформами и преобразованіями, возбудивъ этими послѣдними гнѣвъ и ненависть къ себѣ людей Екатерининскаго поколѣнія. Ихъ удаленіе отъ дѣлъ свидѣтельствуетъ о чистотѣ ихъ убѣжденій, о томъ, что они не хотѣли поступиться ими въ угодность новому направленію политики правительства. Но объясняютъ ихъ удаленіе и иначе. „Причину удаленія товарищей юности Александра, говоритъ Богда-

¹⁾ Записки Ф. Ф. Вигеля. М. 1891, ч. II, с. 206.

²⁾ Русск. Арх. 1871 г., с. 748.

³⁾ Богдановичъ II, с. 310.

новичъ¹⁾, слѣдуетъ приписать не столько измѣненію его виѣшней политики, сколько нравственному перевороту, происшедшему въ немъ самомъ послѣ Тильзитскаго свиданія. Многократныя продолжительныя бесѣды съ тѣмъ, кого современники наперерывъ провозглашали величайшимъ изъ смертныхъ, должны были способствовать развитію самостоятельности Александра и *показать ему въ настоящемъ видѣ* благородныхъ, но мало опытныхъ и не всегда достаточно дальновидныхъ совѣтниковъ, которыхъ прежде считалъ онъ умами превосходными²⁾. Объясненіе не совсѣмъ вѣрное, по нашему мнѣнію. И прежде Александръ былъ самостоятеленъ и выказывалъ передъ совѣтниками свою самодержавную власть; никогда, какъ мы видѣли, они не имѣли на него большого вліянія; но они были честные люди; ихъ желанія блага государства теперь не могли быть приведены въ исполненіе; на ихъ планы реформъ, которые оскорбляли консерваторовъ и затрогивали ихъ частные интересы, поднялся теперь крикъ со всѣхъ сторонъ. Неудачу военную приписывали разновременнымъ реформамъ. Самъ Александръ, подъ вліяніемъ этихъ неудачъ и еще болѣе подъ вліяніемъ унизітельнаго мира, совершенно измѣнился въ своемъ характерѣ. Его подозрительность и недовѣріе ко всему его окружающему заставили его обратиться къ такимъ печальнымъ личностямъ, каковъ былъ Аракчеевъ, бросавшій много лѣтъ тѣнь на царствованіе его. Изъ разсказовъ и сообщеній современниковъ видно, что въ это время возникла въ обществѣ нелюбовь къ государю; онъ не могъ не сознавать этого, и отъ того увеличивались его внутреннія страданія и недовѣріе къ близкимъ, къ странѣ, къ народу. И вотъ онъ возвышаетъ около себя челоуѣка, на котораго потомъ обрушилось столько справедливыхъ проклятій. „Полагаю, что онъ захотѣлъ поставить съ собою рядомъ пугало пострашище, говорить де-Местръ, по причинѣ внутренняго броженія, здѣсь господствующаго“. Обѣ императрицы, всѣ люди, близкіе къ императору, ненавидѣли Аракчеева. „Онъ все давить; передъ нимъ исчезли, какъ туманъ, самыя замѣтныя вліянія“³⁾. Очень вѣрно сравниваетъ Аракчеева и Вигель съ бульдогомъ, который, не смѣя никогда ласкаться къ господину, всегда готовъ напасть и загрызть тѣхъ, кои бы воспротивились его волѣ⁴⁾. Въ тѣхъ военныхъ заботахъ и безпрестанныхъ войнахъ, которыя теперь наполнили восемь лѣтъ царствованія, такой челоуѣкъ былъ необходимъ Александру, тѣмъ болѣе, что онъ былъ глубоко убѣжденъ въ его достоинствахъ, какъ военнаго организатора, и мало-по-малу

¹⁾ Ibid., с. 311.

²⁾ Русск. Арх. 1871 г., с. 120.

³⁾ Записки, ч. III, с. 14.

Аракчеевъ сдѣлался всѣмъ; за деспотизмомъ и ужасами Аракчеева прятался самъ Александръ, но народная ненависть обрушивалась не на него, а на его министра. Другое лицо, возвысившееся въ слѣдующія пять лѣтъ и столь же близкое къ государю, какъ Аракчеевъ, былъ Сперанскій. И у него была глубокая личная преданность государю; но раздѣляя прежде воззрѣнія и убѣжденія павшихъ теперь совѣтниковъ Александра, ему ничего не стоило измѣнить ихъ, сообразуясь съ измѣнившимися обстоятельствами. Онъ остался и возвысился, работая надъ преобразованиемъ внутренняго устройства Имперіи.

Таковъ былъ порядокъ вещей, возникшій изъ нашей неудачной войны съ Наполеономъ и изъ унижительнаго мира. Униженіе было забыто русскимъ обществомъ только послѣ окончательной побѣды надъ Наполеономъ и послѣ его паденія. „Тильзитъ! При словѣ семь обидномъ уже не поблѣднѣетъ Россія“ — восклицалъ молодой Пушкинъ въ одѣ своей на смерть Наполеона въ 1821 году. Но въ то время, когда правительство стало у насъ во многомъ подражать французскимъ порядкамъ, когда армію одѣли по французскимъ образцамъ, у солдатъ срѣзали косы, а на офицеровъ надѣли французскіе эполеты, когда цензура запрещала всякія выходы противъ Наполеона, запрещены были даже намеки о дурныхъ свойствахъ его характера, когда послѣ тильзитскаго мира нельзя было печатать даже о военныхъ неудачахъ французскаго императора, у насъ возникла патріотическая литература съ глубокою ненавистью къ французамъ и ко всему французскому. Эта литература встала, такимъ образомъ, по своему содержанію, въ оппозицію.

Стали появляться нападки на французовъ и на французское вліяніе, преимущественно въ воспитаніи нашего дворянства, высшаго и средняго. Наши неудачи стали приписывать паденію національнаго чувства отъ воспитанія. Мы укажемъ на цѣлый рядъ литературныхъ явленій въ этомъ духѣ и въ этомъ направленіи. Чѣмъ ближе становилась послѣдняя и упорная борьба наша съ Наполеономъ, тѣмъ направленіе это пріобрѣтало болѣе силы и наконецъ стало имѣть вліяніе на государя. Этому вліянію принесены были въ жертву и люди и системы. Не найдемъ мы въ этой патріотической литературѣ сильныхъ талантовъ и большого ума, развитія и политическаго знанія, но она имѣла все же возбуждающее дѣйствіе, хотя и походила иногда на тѣ бессмысленные крики клубныхъ ораторовъ нашихъ, о которыхъ было уже говорено. Политическаго знанія, политическаго такта здѣсь ожидать нельзя: дѣло шло о чувствѣ. Политическаго знанія событій почерпнуть было не откуда. Газеты и журналы наши давали читателямъ безсвязныя отрывочныя свѣдѣнія;

свободы въ разсужденіяхъ, вслѣдствіе цензурныхъ отношеній, не было никакой. Единственною сколько нибудь порядочною газетою былъ „Геній время“, издававшійся два года, съ 1807 по 1809 г., Делаacro и Гречемъ, выступившимъ въ первый разъ тогда на издательское поприще. Политическое обозрѣніе этого журнала, въ которомъ высказывается какъ бы его программа, очень замѣчательно и какъ бы проникнуто сочувствіемъ къ реформамъ, о которыхъ скоро не будетъ слышно рѣчи. Авторъ сравниваетъ Россію и Францію дореволюціоннаго періода. Россія не томится тѣмъ зломъ, которое происходитъ отъ *застарѣлости*, тѣмъ именно зломъ, которое профъ извело революцію. Авторъ доказываетъ, что королевскій домъ Бурбоновъ палъ отъ того, что упорно держался своихъ застарѣлыхъ убѣжденій, что не могъ согласить своихъ законодательныхъ мѣръ съ духомъ времени, съ обновляющимися требованіями общества. Между тѣмъ это отношеніе къ духу времени и стараніе сообразовать его съ властію—необходимо; не надобно доходить до застарѣлости, т. е. быть упорнымъ въ старинѣ. Взглядъ, конечно, правильный, и, еслибъ онъ постоянно развивался въ газетѣ, примѣнительно къ Россіи, она имѣла бы большое значеніе. Но программа осталась только программой и дальнѣйшаго развитія не получила, а взглядъ на политическія событія Европы стѣснялся цензурою. Газета различно смотрѣла на Наполеона и наци къ нему отношенія до тильзитскаго мира и послѣ него, когда наша печать должна была соблюдать самое глубокое уваженіе къ особѣ Наполеона и стала льстить ему ¹⁾. Журналисты, если имъ случалось промахнуться въ этомъ отношеніи, получали самыя строгія замѣчанія отъ цензурнаго комитета. Министръ народнаго просвѣщенія былъ убѣжденъ, какъ онъ пишетъ, что сочинители не могутъ близко видѣть „матерій политическихъ“, и „увлекаясь одною мечтою своихъ воображеній, пишутъ всякую всячину въ терминахъ неприличныхъ“. Вотъ какъ быстро упало уваженіе къ печатному слову, о которомъ такъ много говорилось въ началѣ царствованія! Наконецъ министерство предписало всѣмъ учебнымъ округамъ, чтобы „цензоры не пропускали никакихъ артикуловъ, содержащихъ извѣстія и разсужденія политическія“ ²⁾. Едва ли, при такомъ положеніи печати можно было получить какое-либо понятіе о событіяхъ времени.

Собственная политическая мысль не пробуждалась. Приходилось довольствоваться тѣмъ, что произведено чужимъ умомъ, и у насъ

¹⁾ Пятковскій, Изв исторія нашего лит. и общ. развитія, изд. 2, ч. II, стр. 138—139.

²⁾ Сухомлиновъ. Исслѣдованія и статьи, т. I, стр. 428.

явилось очень много переводныхъ, большею частію съ нѣмецкаго, книгъ и брошюръ политическаго содержанія, направленныхъ противъ французовъ и ихъ воинственнаго властителя. Содержаніе ихъ состояло въ нападеніи на личность Наполеона, на его завоеванія, неуваженіе къ правамъ народнымъ и пр., и въ защитѣ Россіи, которую Наполеоновскіе публицисты старались выставить странною грубою и невѣжественною. Весьма вѣроятно, что многія изъ этихъ произведеній издавались съ вѣдома и при помощи правительства, но послѣ тильзитскаго мира оно уже не принимало никакого участія въ этой литературѣ.

Первый съ своими рѣзкими и смѣлыми выходками и обвиненіями противъ французовъ выступилъ графъ Ѡ. В. Растопчинъ, имя котораго получило такую громкую извѣстность въ 1812 году. Его произведенія, дышущія современностію, имѣющія самое живое и близкое къ ней отношеніе, имѣли въ свое время сильное вліяніе на русское общество и много способствовали къ его возбужденію въ отечественную войну, а его политическія мнѣнія, весьма консервативнаго свойства, оказали вліяніе на государя, тѣмъ болѣе, что онъ старался доводить свои мнѣнія до государя не только литературнымъ путемъ, но и другими средствами. Въ эпоху 1812 года онъ играетъ одну изъ первыхъ ролей въ государствѣ и имя его извѣстно каждому русскому. По типу его сочиненій, живыхъ, бойкихъ, написанныхъ прекраснымъ, одушевленнымъ и простымъ языкомъ, сложился тотъ доморощенный патріотизмъ, которымъ отличались люди 12-го года и, долго потомъ храбрившіеся консерваторы и ненавистники всякой чужеземщины.

Графъ Растопчинъ происходилъ изъ старой татарской фамиліи, выѣхавшей въ XVI столѣтіи изъ Крыма и служившей московскимъ царямъ, но никогда не занимавшей значительныхъ мѣстъ и важнаго положенія. Біографъ его, Бантышъ-Каменскій, производитъ родъ его отъ Чингизъ-Хана, и по этому поводу распространяется даже о жизни послѣдняго. Но самъ Растопчинъ, отличавшійся остроуміемъ и шутливостію, смотрѣлъ на свое происхожденіе гораздо проще. „Скажи мнѣ, отчего ты не князь?“—спросилъ его однажды въ большомъ обществѣ очень любившій его императоръ Павелъ. Немного подумавши, Растопчинъ спросилъ Павла, можетъ ли онъ высказать настоящую причину, и получивши утвердительный отвѣтъ, сказалъ: „Предокъ мой, выѣхавши въ Россію, прибылъ сюда зимою“.—„Какое же отношеніе имѣетъ время года къ достоинству, которое ему было пожаловано?“—спросилъ императоръ. „Когда татарскій вельможа, отвѣчалъ Растопчинъ, въ первый разъ являлся ко двору, ему предлагали на выборъ или *шубу* или *княжеское достоинство*. Предокъ мой

пріѣхалъ въ жестокую зиму и отдалъ предпочтеніе шубѣ“. Это заставило смѣяться Павла ¹⁾. Отецъ Растопчина былъ маіоръ въ отставкѣ, жилъ въ своихъ деревняхъ въ подмосковныхъ губерніяхъ, имѣлъ довольно значительное состояніе и былъ простой и благодушный человѣкъ. Сынъ его родился въ Москвѣ 12 марта 1763 года и до 15-ти лѣтъ жилъ при отцѣ въ деревнѣ, воспитываемый разными иностранными гувернерами; это дало Растопчину возможность усвоить вполне нѣсколько иностранныхъ языковъ. Несмотря на иностранцевъ гувернеровъ, въ Растопчинѣ сохранилось много чисто народныхъ чертъ характера и горячей любви ко всему, родному. Это служить доказательствомъ, что не всегда французское воспитаніе извращало у насъ людей; чтобъ избѣжать вреда его нужны были умъ и постороннее вліяніе. Перваго у Растопчина было довольно, а о второмъ онъ самъ говорить про себя, что „имѣлъ десятка съ три заморскихъ учителей; но, помня поученія священника Петра и слова мамы Герасимовны, остался русскимъ“. Такая простая исторія повторялась очень часто. Этихъ мамъ или нянь Растопчинъ очень уважалъ. „Хотя мамы эти, хаживавшія за дѣтьми, говорить онъ (въ повѣсти „Охъ, французы!“), и были простыя барскія барыни, безъ просвѣщенія, въ набойчатыхъ или ситцевыхъ кофтахъ, съ повязаннымъ на головѣ платкомъ, но онѣ отнюдь у дѣтей ни умовъ ни сердець не портили; хотя и пугали ихъ волками, жертвецами, смертью курносой, но не говаривали, что отецъ дуракъ, мать зла, что все послѣ дѣтямъ достанется. И чѣмъ жены англійскаго конюха, швейцарскаго пастуха и нѣмецкаго солдата должны быть лучше, умнѣй и добронравнѣй женъ нашихъ приказчиковъ, дворецкихъ и конюшихъ?“

Въ 1775 году Растопчинъ сдѣланъ былъ пажемъ при дворѣ Екатерины, а потомъ служилъ въ преображенскомъ полку. Императрица рано обратила на него вниманіе и замѣтила его умъ и въ особенности даръ выставлять на показъ смѣшное. За это приглашали Растопчина въ самое отборное общество двора, гдѣ любили его остроуміе. Здѣсь, вмѣстѣ съ другими, игралъ онъ въ литературную игру и очень рано могъ образовать свой слогъ, простой и естественный, чуждый всякихъ риторическихъ украшеній.

Въ 1784 году, когда Растопчину было только двадцать одинъ годъ, онъ оставилъ службу и уѣхалъ за границу, гдѣ пробылъ нѣсколько лѣтъ. Мы не знаемъ цѣли его путешествія и тѣхъ мѣстъ, гдѣ онъ прожилъ все это время, даже неизвѣстно съ точностію время, проведенное имъ за границею. Памятникомъ его перваго путе-

¹⁾ Тихонравовъ. Сочиненія, т. III, ч. I, примѣч. стр. 54.

шествія въ молодости осталось его описаніе путешествія по Пруссіи ¹⁾, написанное имъ, какъ видно изъ нѣкоторыхъ мѣстъ его, гораздо позднѣе, какъ воспоминаніе о прошломъ. Самый языкъ доказываетъ это: въ концѣ XVIII вѣка у насъ такъ не могли писать. Замѣчательнъ языкъ этотъ въ томъ отношеніи, что хотя сочиненіе писано очевидно въ первыхъ годахъ XIX вѣка, на немъ нѣтъ никакихъ слѣдовъ вліянія Карамзина: доказательство, что Растопчинъ писалъ не ex professo, не какъ литераторъ, а какъ умный только человекъ, не думая о формѣ выраженія. (Первоначальныя замѣтки писаны были по-французски, что видно изъ его сочиненія: „Journal écrit à Berlin, les années 1786 и 1787“) ²⁾. Изъ путешествія по Пруссіи, гдѣ Растопчинъ рассказываетъ свою дорогу до Берлина и потомъ описываетъ эту столицу, видно, что онъ ѣхалъ, какъ знатный молодой человекъ того времени, и имѣлъ возможность сближаться съ самымъ высшимъ кругомъ общества. Умъ, веселость и наблюдательность являются на каждой страницѣ; Растопчинъ отлично изучилъ нѣмцевъ и смѣется надъ ними очень зло и остро. Въ особенности забавны его жалобы на медленность ѣзды на почтовыхъ и грубость почтмейстеровъ и жадность ихъ къ деньгамъ. Никакой затаенной мысли нѣтъ въ его описаніи; это просто замѣтки для себя. „Въ Берлинѣ (описаніемъ котораго собственно и ограничиваются записки Растопчина) я былъ три раза, говоритъ онъ, жилъ долго, знаю его какъ Москву и Петербургъ, но предпочту ему и Выборгскую сторону и Рогожскую“ ³⁾. Такого рода предпочтеніе родныхъ мѣстъ очень часто является въ описаніи Растопчина. Замѣтки его вообще очень разнообразны; въ нихъ входятъ и наблюденія надъ военнымъ строемъ Пруссіи, что особенно должно было интересовать Растопчина послѣ семилѣтней войны, и характеристика знатнаго общества, и театръ, и Академія Наукъ, въ засѣданіи которой въ честь Фридриха Великаго онъ присутствовалъ, и нравственность народная, и образъ жизни, не похожій на русскій, и разные современные случаи, выходящіе изъ обыкновеннаго ряда. Даже замѣчанія его о художественныхъ произведеніяхъ показываютъ въ Растопчинѣ не восторженнаго дилеттанта, какимъ былъ Карамзинъ въ Дрезденской галлерей, а очень тонкаго цѣнителя, умѣющаго превосходно описать содержаніе и смыслъ художественнаго произведенія. Таково его описаніе картины Тербурга: „Осужденіе на смерть графа Горна“ ⁴⁾. Онъ былъ въ

¹⁾ Москвитянинъ, 1849 г., №№ 1, 10, 13 и 15.

²⁾ Русск. Арх. 1868 г., стр. 855.

³⁾ Москвитянинъ, № 1, стр. 80.

⁴⁾ Ibid., № 13, стр. 6—7.

Санъ-Суси въ самый день смерти Фридриха Великаго (1786) и видѣлъ тѣло великаго короля тотчасъ по кончинѣ еще въ вреслахъ и подъ синимъ плащомъ, который поднималъ для него стоящій на часахъ гусаръ. Описаніе мертваго короля дышитъ истиной и чувствомъ ¹⁾. О Фридрихѣ часто говоритъ онъ съ глубокимъ уваженіемъ и сравниваетъ его не разъ съ нашимъ Петромъ Великимъ, на котораго смотритъ какъ на „преобразователя великаго и славнаго своего отечества“ ²⁾. Изъ извѣстныхъ людей того времени Растопчинъ встрѣчался въ Берлинѣ съ Мирабо, который былъ посланъ туда Лудовикомъ XVI или скорѣе министромъ Калонномъ, но изображение Мирабо, вѣжета, написано Растопчинимъ позднѣе и на него, безъ сомнѣнія, имѣла вліяніе позднѣйшая роль знаменитаго оратора въ Национальномъ Собраніи Франціи ³⁾. Въ Берлинѣ Растопчинъ сблизился съ нашимъ посланникомъ, графомъ С. П. Румянцевымъ (сыномъ Задунайскаго), что помогло потомъ его служебной карьерѣ.

Воротившись изъ за границы, Растопчинъ очень желалъ служить волонтеромъ во вторую нашу войну съ турками, но ему не удалось, по какой причинѣ, неизвѣстно ⁴⁾. Безбородко, тогдашній канцлеръ Имперіи, отправлявшійся на театръ военныхъ дѣйствій, взялъ съ собою Растопчина, какъ дипломатическаго чиновника при заключеніи мира. Съ этихъ поръ Растопчинъ сталъ служить по дипломатической части. По возвращеніи изъ Турціи онъ былъ сдѣланъ камеръ-юнкеромъ, и бывая дежурнымъ въ этомъ званіи при наслѣдникѣ престола Павлѣ Петровичѣ, въ Павловскѣ и Гатчинѣ, онъ очень полюбился ему, что и было причиною его необычайно-быстраго возвышенія при вступленіи на престолъ Павла.

ЛЕКЦІЯ XXII.

Растопчинъ при Павлѣ.—Отставка Растопчина.—Занятія сельскимъ хозяйствомъ.—
Брошюра «Плугъ и соха».—«Мысли вслухъ».

День смерти Екатерины и восшествія на престолъ Павла, дружески расположеннаго къ Растопчину, былъ днемъ его возвышенія и началомъ его быстрыхъ успѣховъ по службѣ, что было вовсе не необыкновенно въ то время и при условіяхъ характера Павла. Объ этомъ днѣ, столь замѣчательномъ въ исторіи русской, когда разомъ

¹⁾ Ibid, стр. 9—10.

²⁾ Ibid., № 10, стр. 86.

³⁾ Ibid., № 15, стр. 122.

⁴⁾ Впрочемъ, по замѣткамъ М. Н. Лонгинова, Растопчинъ былъ при осадѣ и штурмѣ Очакова (Русск. Арх. 1868 г., стр. 852).

перемѣнились и люди и правительственная система, Растопчинъ оставилъ любопытную записку: „Послѣдній день жизни императрицы Екатерины II и первый день царствованія императора Павла“¹⁾. Она, какъ и всякое другое сочиненіе Растопчина, свидѣтельствуешь о его необыкновенномъ умѣ, наблюдательности, честномъ и благородномъ характерѣ, и, будучи написана по горячимъ слѣдамъ событій, живо переноситъ насъ въ среду ихъ и жѣтко очерчиваетъ и лица и тогдашнія отношенія (она помѣчена 15 ноября 1796 г.). Растопчинъ, скоро узнавшій объ ударѣ, поразившемъ Екатерину, былъ посланъ Александромъ Павловичемъ къ отцу въ Гатчину съ извѣстіемъ о томъ, встрѣтилъ новаго императора въ Софіи уже сначущаго въ Петербургъ, провожалъ его во дворецъ и былъ свидѣтелемъ, такимъ образомъ, первыхъ изліяній Павла, первыхъ его ощущеній и первыхъ дѣйствій. Павелъ тотчасъ же при другихъ показалъ свои дружескія, близкія отношенія къ Растопчину, сказавъ о немъ: „Вотъ человекъ, отъ котораго у меня нѣтъ ничего скрытнаго“, и всѣ видѣли уже въ немъ будущаго временщика, сфарились заранѣе подольститься къ нему и угодить. Смятеніе и нравственное безобразіе двора въ эту пору изображены въ запискѣ чрезвычайно вѣрно. Растопчинъ во многихъ мѣстахъ не можетъ сдержать своего негодованія и говорить о „живомъ омерзѣніи“, которое онъ чувствуетъ. Онъ видѣлъ посреди спальни на полу, на кожаномъ матрацѣ, съ едва замѣтными признаками жизни, умирающую Екатерину, которой прислуживала попрежнему преданная ей ея любимица Марья Савишна Перекусихина; другіе придворные были заняты единственно собой, „а сія минута была для нихъ всѣхъ тѣмъ, что Страшный судъ для грѣшника“ — говоритъ Растопчинъ. Онъ замѣтилъ отчаяніе послѣдняго фаворита Екатерины — Зубова; въ лицѣ и во всѣхъ его движеніяхъ изображалась увѣренность въ паденіи и ничтожествѣ. Онъ рыдалъ и сидѣлъ въ углу; „толпа придворныхъ удалалась отъ него, какъ отъ зараженнаго, — говоритъ Растопчинъ, — и онъ, терзаемый жаждою и жаромъ, не могъ выпросить себѣ стакана воды (Растопчинъ самъ подаль ему стаканъ); та комната, въ коей давили другъ друга, чтобъ стать къ нему ближе, обратилась для него въ необитаемую степь“. Въ такомъ же положеніи находился и знаменитый графъ Орловъ-Чесменскій. Когда Растопчинъ ѣхалъ къ нему съ Архаровымъ, вскорѣ потомъ назначеннымъ Петербургскимъ губернаторомъ, чтобы по приказу Павла привести его къ присягѣ, этотъ Архаровъ, всѣмъ обязанный Орлову, видя въ Растопчинѣ новаго временщика, „не переставалъ говорить мерзости на счетъ графа Орлова“. Изъ этихъ отзывовъ и

¹⁾ Чтенія Москов. Общ. Ист. и Др. 1864 г., кн. 2, Спбсь, стр. 171—184.

замѣтокъ Растопчина легко видѣть его честный и благородный характеръ, чуждый интригъ придворной жизни, которую онъ никогда не любилъ.

Повидимому, Растопчинъ не искалъ почестей самъ. По его разсказу, императоръ Павелъ въ день своего восшествія позвалъ его въ кабинетъ и велѣлъ ему откровенно сказать—чѣмъ онъ желаетъ быть при немъ. „Имѣя всегда въ виду истребленіе неправосудія, я, не останавливаясь нисколько, отвѣчалъ: „секретаремъ для принятія просьбъ“. Но Павелъ противъ желанія Растопчина, которому не хотѣлось служить въ военной службѣ, назначилъ его генераль-адъютантомъ, чтобъ управлять военной коллегіей. Ему оставалось только молча согласиться. Чины, звѣзды и крѣпостные крестьяне посыпались на новаго любимца, хотя вся его служба состояла въ объявленіи высочайшихъ приказовъ. Въ 1798 году на него однако обрушилась немилость Павла; онъ былъ отставленъ отъ службы, но опала продолжалась не долго, и Растопчинъ, снова поступилъ на службу въ томъ же году и такъ быстро шелъ въ ней, что къ концу слѣдующаго года былъ сдѣланъ графомъ, получилъ чинъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника и назначенъ первоприсутствующимъ въ коллегіи иностранныхъ дѣлъ, т.-е. по нынѣшнему министромъ иностранныхъ дѣлъ; при этомъ остались за Растопчинимъ всѣ прежнія его должности. Какъ министръ, во время войны нашей съ Франціей при Суворовѣ, онъ получилъ множество иностранныхъ орденовъ, а Павелъ подарилъ ему 3000 душъ крестьянъ и 33000 дес. земли.

Такимъ образомъ Растопчинъ, вѣроятно, неожиданно для самого себя и только по прихотливой милости императора Павла сдѣлался министромъ иностранныхъ дѣлъ. Управление Растопчинимъ этою важною частью государственной жизни было слишкомъ непродолжительно, чтобъ можно было составить о немъ правильное понятіе и вѣрно судить дѣятельность Растопчина. Что было сдѣлано Растопчинимъ въ русской политикѣ того времени, какъ онъ управлялъ ею,—можно найти въ книгѣ Терещенки ¹⁾ и въ біографіи его Б.-Каменскаго; на сколько дѣйствовалъ онъ самостоятельно—намъ неизвѣстно. Къ намъ дѣшелъ, впрочемъ, одинъ документъ внѣшней политики, составленный Растопчинимъ въ концѣ 1800 года: „Картина Европы въ началѣ XIX столѣтія и отношеніе къ ней Россіи“ ²⁾, въ которомъ Растопчинъ возвращается къ прежнимъ Екатерининскимъ идеямъ въ нашей внѣшней политикѣ относительно юга Европы и Турціи. Съ планомъ

¹⁾ „Опытъ обозрѣнія жизни сановниковъ, управлявшихъ иностранными дѣлами въ Россіи. Спб. 1837 г., ч. II, стр. 205 слѣд.

²⁾ Пам. Нов. Русск. Исторіи. Сборникъ Кашпирева. Спб. 1871-г., т. I, стр. 102—111.

его совершенно согласился Павелъ и дѣйствительно, незадолго до его смерти политика наша вдругъ измѣнилась: послѣдовалъ разрывъ съ Англіей и сближеніе съ Франціей. Планъ Растопчина состоялъ въ раздѣлѣ турецкой территории между Россіей, Австріей, Пруссіей и Турціей, на которую онъ смотрѣлъ какъ на безнадежнаго больного. Исполненіе этого плана Растопчинъ принимаетъ на себя, хочетъ все обдѣлать въ тайнѣ и при помощи хитрости и вовсе не проявляетъ обширнаго государственнаго ума и соображеній. Какъ извѣстно, смерть Павла помѣшала исполненію этого плана.

Управляя иностранными дѣлами Россіи, Растопчинъ долженъ былъ вести переписку съ Суворовымъ, находившимся тогда съ войскомъ въ Италіи. Переписка эта свидѣтельствуетъ о близости ихъ. Растопчинъ еще прежде въ Турціи зналъ и любилъ Суворова. Въ оригинальныхъ умахъ обоихъ было очень много общаго и знаменитыя выходки Суворова очень нравились Растопчину. Коротенькія воспоминанія его о своихъ личныхъ сношеніяхъ съ знаменитымъ полководцемъ, который „вездѣ побѣждалъ и одинъ умеръ непобѣжденнымъ“¹⁾, даютъ, несмотря на свою краткость, очень вѣрное представленіе о знаменитомъ героѣ. Для Растопчина, это былъ герой-богатырь съ чисто-русскимъ характеромъ. Въ письмахъ къ нему²⁾ высказываетъ онъ живое участіе къ его затруднительному положенію въ Италіи, гдѣ побѣдамъ его мѣшали интриги того же Вѣнскаго двора, на защиту и спасеніе котораго онъ пришелъ съ русскимъ войскомъ. Посреди неприятностей своего положенія, Суворовъ думалъ бросить все и выйти въ отставку, и Растопчинъ употребляетъ въ письмѣ всѣ усилія убѣжденія, чтобъ отговорить его отъ этого шага. Суворовъ для Растопчина—герой его сердца; его слава, его подвиги близки ему и въ высшей степени дороги.

Растопчинъ не дослужилъ до конца царствованія Павла. Въ концѣ февраля 1801 г. Растопчинъ и Аракчеевъ, два самыя преданныя лица и самыя близкія къ Павлу, были имъ внезапно удалены и на мѣсто Растопчина назначенъ С.-Петербургскій военный губернаторъ графъ Паленъ, одинъ изъ участниковъ переворота³⁾. Интригѣ, которой необходимо было удалить отъ Павла человѣка ему преданнаго, конечно было легко, при вспыльчивомъ характерѣ императора, убѣдить его въ томъ или другомъ, но въ чемъ состояли обвиненія противъ Растопчина—мы не знаемъ. Онъ уѣхалъ въ свою деревню, извѣстное очень село Вороново, и до самаго того времени, когда императоръ

¹⁾ Русск. Вѣстн. 1808 г. № 3, стр. 241—249.

²⁾ Соч. изд. Смирдина стр. 147—160; Гр. Ф. В. Растопчинъ и литература въ 1812 г. Сочиненія Н. С. Тихонравова, М. 1898, т. III, ч. I.

³⁾ Русск. Арх. 1863 г., стр. 808.

Александръ назначилъ его въ 1812 году, передъ нашествіемъ Наполеона, главнокомандующимъ въ Москвѣ, Растопчинъ жилъ то въ деревнѣ, то въ Москвѣ по зимамъ, какъ богатый помѣщикъ. Впрочемъ, онъ бывалъ и въ Петербургѣ, гдѣ у него было много связей, но не служилъ. Въ Москвѣ его оригинальная личность, блестящее образованіе, богатство и остроуміе дѣлали его любимымъ гостемъ общества. Его разсказы и разговоры заслушивались. „Что это за увлекательный образъ изъясненія: анекдотъ за анекдотомъ, одной чертой такъ и обрисуетъ всего человѣка, и между тѣмъ о своей личности ни слова“ — разсказываетъ современникъ ¹⁾: Съ самаго начала войнъ съ Наполеономъ, въ его разговорахъ безпрестанно слышалась ненависть къ французамъ и патріотическое чувство. „Графъ Растопчинъ, даже и въ отставкѣ, говоритъ тотъ же современникъ, не пропускаетъ ни одного случая, чтобы словомъ или дѣломъ содѣйствовать славіи отечества“ ²⁾. Съ этихъ поръ усвоилось ему названіе патріота. Растопчинъ былъ родственникомъ по женѣ (Протасовой) — Карамзину и очень часто проводилъ время въ его обществѣ, заговариваясь до утра. Въ эпоху возбужденія патріотическаго чувства и, слѣдовательно, недовольства прежнею политическою системою правительства, недовольства, въ особенности усилившагося передъ 12 годомъ, Растопчинъ и Карамзинъ были совершенно одинаковыхъ убѣжденій и дѣйствовали, какъ мы увидимъ впоследствии, заодно.

Занятія и жизнь Растопчина, со времени его отставки, рисуются въ его письмахъ къ другу, извѣстному кавказскому герою Цицианову, убитому на Кавказѣ ³⁾. Главнымъ занятіемъ Растопчина, когда онъ жилъ въ деревнѣ, что и случалось часто, потому что въ Москву прїѣзжалъ онъ на короткое время, были конскій заводъ и сельское хозяйство, особенно хлѣбопашество. Какъ и всѣмъ, онъ и этимъ занимался со страстію: „У меня въ полѣ, на дворѣ и въ домѣ дѣла множество, и какъ человѣкъ живетъ въ суетахъ, то и я отдаю сей долгъ природѣ“ ⁴⁾. Эта дѣятельность тѣмъ понятнѣе, что Растопчинъ, выйдя въ отставку, несмотря на свой чинъ и на то, что имѣлъ уже самый высшій орденъ имперіи, былъ еще молодъ: ему было всего 37 лѣтъ и при энергическомъ характерѣ, его мучила жажда дѣятельности. Между нашими богатыми сельскими хозяевами, несмотря на крѣпостной трудъ, на которомъ основывалось все хозяйство, господствовало въ это время увлеченіе англійскою системою обработки пахотныхъ полей.

¹⁾ Записки С. П. Жихарева, М. 1890, стр. 24.

²⁾ Ibid., стр. 152.

³⁾ Тихонравовъ, указанная выше статья, стр. 322—329, 336—350, 360—366.

⁴⁾ Ibid., стр. 324.

И Растопчинъ, по примѣру другихъ, выписалъ изъ Англїи фермера, завелъ плугъ, пробовалъ разныя системы удобренїя и пр. Самымъ жаркимъ приверженцемъ и распространителемъ у насъ системы англійскаго хозяйства въ то время былъ богатый калужскій помѣщикъ Дм. Мар. Полторацкїй; онъ славился какъ агрономъ, и о его хозяйствѣ писали тогда въ журналахъ. Растопчинъ былъ знакомъ съ нимъ, переписывался и посылалъ къ нему своихъ крестьянъ учиться новому способу сельскаго хозяйства, на англійскїй ладъ. Но Растопчинъ, кажется, очень скоро разгадалъ непримѣнимость англійской системы къ русской почвѣ. Полторацкїй, какъ англоманъ, ввелъ въ свое хозяйство плугъ, замѣнивъ имъ прежнюю соху. Его примѣру послѣдовали другіе; между приверженцами сохи и плуга началась жарвая полемика, которая выступила и въ печать. Растопчинъ находилъ, что система англійскаго хозяйства, съ ея сѣвооборотомъ и искусственнымъ удобренїемъ, можетъ быть съ успѣхомъ примѣнена у насъ тогда, когда народонаселенїе увеличится втрое, а до тѣхъ поръ гораздо лучше держаться старой предковской системы. Онъ смотрѣлъ въ этомъ случаѣ, какъ простой русскїй чело-вѣкъ и съ удовольствїемъ приводитъ отзывъ своего мужака Проньки о выписанныхъ англїйскихъ работникахъ: „имъ противъ насъ не вынести; у нихъ кишка-то пожиже“.

По поводу этихъ сельско-хозяйственныхъ споровъ о преимуществахъ плуга и сохи, Растопчинъ въ первый разъ выступилъ въ печати на литературное поприще съ брошюрою „Плугъ и соха“, изданною степнымъ дворяниномъ (М. 1806 г.) Въ ней высказываетъ онъ тоже консервативное направленїе, которое отличало его и въ вопросахъ политическихъ. Это видно даже изъ его эпитафїа: „Отцы наши не глупѣй насъ были“. Другой эпитафїа, въ стихахъ, рисуетъ самую личность автора:

„Поболѣ другого я по свѣту шатался,
Ученіемъ, людьми, вещами занимался,
И оттого, что внѣ Россїи долго жилъ,
Узналъ всю цѣну ей и больше полюбилъ.
Какъ сынъ, я преданъ ей и сердцемъ и душой,
Я служилъ въ войнѣ, дѣлахъ, теперь служу съ сохой.
Я пользы общества всегда былъ вѣрный другъ,
Хочу увѣрить въ томъ и возстаю на плугъ“.

Кромѣ разсужденїй о непримѣнимости у насъ плуга, Растопчинъ и вообще возстаетъ въ этой брошюрѣ на русскую страсть къ нововведенїямъ и заимствованїямъ, безъ положительнаго знанїя о томъ, годится или нѣтъ для насъ заимствованное: „То, чтѣ содѣлалось въ другихъ земляхъ вѣками и отъ нужды, говоритъ онъ, мы хотимъ

посреди изобилія завести у себя въ годъ. Единственно по склонности къ новостямъ и въ подражаніе чужестраннымъ, по множеству перемѣнъ въ одеждѣ, въ строеніи, воспитаніи, даже и въ образѣ мыслей“. Но онъ не желаетъ однако явиться передъ обществомъ отъявленнымъ и нерассудительнымъ противникомъ всего чужого, даже хорошаго. „Хотя я русскій и сердцемъ и душою, и предпочитаю отечество всѣмъ землямъ безъ изъятія; не изъ числа однакожъ тѣхъ, которые отъ упрямства, предрассудковъ и самолюбія пренебрегаютъ вообще все иностранное и доказательства отражаютъ словами: *пустое, вздоръ, негодится*“.

Между тѣмъ у Растопчина подростали дѣти; онъ сталъ заботиться о ихъ воспитаніи и, несмотря на свой патріотизмъ и высказываемое имъ русское чувство, собирался ѣхать за границу, подобно всѣмъ богатымъ русскимъ людямъ того времени, съ намѣреніемъ тамъ воспитывать дѣтей. Онъ мечталъ о тепломъ климатѣ, о спокойной жизни, посреди другихъ людей и интересовъ.

Общество, въ которомъ онъ жилъ въ Москвѣ, по всей вѣроятности, ему не нравилось. „Я всегда возвращаюсь изъ Москвы въ огорченіи отъ видѣннаго и слышаннаго, писалъ онъ къ Цицианову: развратъ достигъ до тѣхъ людей, кои почитались степенными“. Въ самомъ дѣлѣ, жизнь тогдашняго московскаго общества, какъ это видно изъ современныхъ записокъ, походила на какую-то продолжительную безумную оргію, въ которой не было ни мысли, ни духовныхъ и нравственныхъ интересовъ. Пьянство въ огромныхъ размѣрахъ и развратъ, скаковыя лошади, азартная игра, въ одну ночь уносящая состоянія, медвѣжья травля, пѣтушья и гусиные бои—вотъ въ чемъ проводили время богатые и знатные представители московскаго общества, люди, игравшіе въ оппозицію съ властью. Растопчинъ чаще всего бывалъ у Карамзина и у Дашковой. Знаменитая княгиня очень полюбила Растопчина и всѣмъ твердила, что она въ своей жизни нашла лишь трехъ человѣкъ, кои дѣлаютъ честь людямъ: Фридриха В., Дидерота и Растопчина. Понятно, какъ хотѣлось Растопчину уѣхать за границу, но начавшаяся война съ Наполеономъ помѣшала его сборамъ и заставила его принять участіе въ общемъ возбужденіи Россіи.

Война эта была для него не новость. Знакомый съ современной исторіей Европы, слѣдя за событіями, Растопчинъ давно уже вѣрно смотрѣлъ на возроставшее могущество Наполеона, сдѣлавшагося на слѣдникомъ революціи. Еще въ 1800 году Растопчинъ замѣтилъ, какъ Франція „черезъ непонятныя происшествія, произведенныя варварствомъ, сумасшествіемъ и геройствомъ, привела не только себя, но и двѣ трети Европы въ совершенный хаосъ...., оканчиваетъ нынѣ

преданіемъ себя въ самовластіе иноземца Бонапарте“¹⁾). Онъ понималъ, что съ Бонапарте во главѣ правленія, французы ничего не выиграли отъ своей революціи: „Мнѣ то смѣшно, что люди не признаются никогда въ ихъ сумасшествіи, и стоило ли жизни близъ двухъ милліоновъ людей, потрясенія всѣхъ властей и произведенія непонятныхъ варварствъ и безбожія то, чтобы сдѣлать изъ пѣхотнаго капитана императора и короля?“ — пишетъ онъ къ Циціанову²⁾). Ему не нравилась наступающая война и союзъ съ Англіей, которой своекорыстіе онъ хорошо понималъ; онъ не желалъ, чтобы мы „набивались на драку“. Какъ и прежде, съ своей политической точки зрѣнія, онъ скорѣе былъ за союзъ съ Франціей и возвращался къ старой мысли своей о раздѣлѣ Турціи, съ тѣмъ, чтобы дружбу Франціи купить уступкою ей Египта“³⁾). Но война началась, и бѣдствія ея вызвали Растопчина на публичное выраженіе своихъ мыслей, враждебныхъ французамъ и ихъ господствовавшему вліянію. Эта нелюбовь къ французамъ, которую Растопчинъ объяснялъ самъ тогдашнею войною съ ними, увеличивалась еще отъ мелкихъ непріятностей, которыя онъ долженъ былъ выносить дома отъ французскихъ гувернеровъ, нанимаемыхъ имъ для дѣтей. Несмотря на свою любовь ко всему русскому, Растопчинъ не могъ отказать отъ общепринятаго обычая — воспитывать дѣтей по-французски. Неудачный выборъ воспитателей раздражалъ Растопчина, и онъ подробно описываетъ свои непріятности по этому поводу въ письмахъ къ Циціанову: „Не знаю, жалуется онъ ему, Сергуша (сынъ), когда меня не будетъ на свѣтѣ, будетъ-ли знать цѣну всѣхъ моихъ пожертвованій для его воспитанія и что *тертѣе* должно отъ этихъ иноземцевъ“⁴⁾). Въ самомъ дѣлѣ нельзя было не раздражаться Растопчину, когда одинъ изъ его гувернеровъ вздумалъ обращать питомца своего въ католичество; другой былъ до крайности грубъ и заносчивъ; третій завелъ преглупую романическую исторію въ домѣ, такъ что пришлось разставаться со всѣми тремя въ короткое время. „Голова идетъ кругомъ, жалуется онъ; Богъ знаетъ, гдѣ сыскать человѣка. Какое несчастіе, что Петръ Первый насъ обрилъ, а Шуваловъ заставилъ говорить этимъ нечестивымъ французскимъ языкомъ“⁵⁾). Отъ этихъ домашнихъ непріятностей больше скоплялась желчь его противъ французовъ, вылившаяся въ печати.

Первое произведеніе Растопчина въ ряду прочихъ этого рода произведеній, изобилующихъ выходками противъ французовъ, по-

¹⁾ Сборникъ Кашпирева, „Картина Европы,“ стр. 105.

²⁾ Тихонравовъ, указан. статья, стр. 342.

³⁾ Ib., стр. 363.

⁴⁾ Ib., стр. 365.

⁵⁾ Ib., стр. 366.

явилось не задолго до тильзитскаго мира. То были „Мысли въ слухъ на красномъ крыльцѣ, Россійскаго дворянина Силы Андреевича Богатырева“. (Сиб. 1807 г. 4^о). Этотъ небольшой памфлетъ ходилъ въ рукописи и, соотвѣтствуя настроенію общества, переписывался вездѣ. Одинъ экземпляръ его дошелъ до Петербурга, и А. С. Шишковъ, обрадовавшись, вѣроятно, тому, что нашелъ въ неизвѣстномъ для него авторѣ энергическаго поборника его идей о вредномъ вліяніи французскаго воспитанія, напечаталъ „Мысли“ Растопчина, безъ его вѣдома, въ С. Петербургѣ. Но онъ кое-что измѣнилъ въ первоначальномъ текстѣ, сгладили нѣкоторыя, показавшіяся ему жесткими выраженія, ослабилъ выраженіе ненависти къ иностранцамъ и прибавилъ похвалу Бенингсену, о которой не думалъ Растопчинъ. Авторъ считалъ поэтому нужнымъ въ томъ же году издать свои „Мысли“ въ Москвѣ, съ приложеніемъ „письма Силы Андреевича Богатырева къ одному другу въ Москвѣ“, гдѣ онъ жалуется публикѣ на исправленія, сдѣланныя петербургскимъ издателемъ.

Что такое этотъ первый и знаменитый памфлетъ Растопчина, принятый съ восторгомъ тогдашнимъ русскимъ обществомъ и доставившій автору громкую извѣстность? Передъ нами выходитъ любимый герой Растопчина, идеаль, по его мнѣнію, настоящаго русскаго человека, съ древними доблестями, непохожий на людей современнаго поколѣнія. Это „Ефремовскій дворянинъ Сила Андреевичъ Богатыревъ, отставной подполковникъ, израненный на войнахъ, три выбора предводитель дворянскій и кавалеръ Георгіевскій и Владиміровскій“. Онъ „отправился изъ села Зажитова, по случаю милиціи въ Тулу для закупки ружей, и узнавъ о побѣдѣ подъ Прейсидшъ-Эйлау, проѣхалъ въ Москву для развѣдыванія о двухъ сыновьяхъ, братѣ и племянникѣ, кои служатъ на войнѣ. Отпѣвъ молебень за здравіе государя и отстоявъ набожно обѣдню въ Успенскомъ Соборѣ, по выходѣ, въ прекрасный день сѣлъ на Красномъ крыльцѣ для отдохновенія, и преисполненъ бывъ великими происшествіями, славою Россіи и своими замѣчаніями, положи локти на колѣна, поддерживая сѣдую голову руками, сталъ думать въ слухъ“. Такимъ образомъ въ этомъ идеаль Растопчина соединяются тѣ доблести, которыя онъ желалъ бы видѣть въ настоящемъ русскомъ человѣкѣ: дворянство, военная храбрость, преданность государю, набожность и патриотизмъ.

Въ чемъ же главное содержаніе мыслей Богатырева, нашедшихъ такой сильный отголосокъ въ русскомъ обществѣ 1807 года? Эти мысли уже извѣстны намъ; онѣ направлены противъ иностраннаго, преимущественно французскаго вліянія, но никогда онѣ прежде не выражались такимъ простымъ, чисто русскимъ и энергическимъ языкомъ: „Господи, помилуй! — такъ начинается свою думу, Богатыревъ:

да будетъ ли этому конецъ? долго ли намъ быть обезьянами? Не пора ли опомниться, приняться за умъ, сотворить молитву, и плюнувъ, сказать Французу: сгинь ты, дьявольское навожденіе! ступай въ адъ, или во свояси, все равно, только не будь на Руси“. Главныя нападенія направлены на французскихъ воспитателей, которыхъ берутъ у насъ „на перехватъ“ и которые своимъ вліяніемъ уничтожаютъ въ человѣкѣ всякое русское чувство. „Тотъ и уменъ и хорошъ, котораго французъ за своего брата приметъ. Какъ же имъ любить свою землю, когда они и русскій языкъ плохо знаютъ? Какъ имъ стоять за вѣру, царя и отечество, когда они закону Божьему не учены и когда русскихъ считаютъ за медвѣдей?“ Воспитанники французовъ для Растопчина—дураки и дуры; онъ смѣется надъ ихъ понятіями, нарядами и развращенному поколѣнію идеаль для подражанія представляеть въ предкахъ. Имъ и слава и царство небесное! „Чего лучше быть русскимъ, не стыдно нигдѣ показаться, ходи носъ въ верхъ, есть что поразсказать, а слушать иной хоть не радъ, да готовъ“. И Богатыревъ выставляетъ величіе Россіи, перечисляетъ ея славныхъ людей: воиновъ, спасителей отечества, духовныхъ, министровъ, писателей... Вся ненависть Богатырева, впрочемъ главнымъ образомъ направлена на послѣднюю французскую исторію и на новаго властителя Франціи, съ которымъ мы вели войну. Съ нравственнымъ характеромъ ихъ онъ не можетъ примириться: „въ французской всякой головѣ вѣтряная мельница, гошпиталь и сумасшедшій домъ. На дѣлахъ они плутишки, а на войнѣ разбойники; два лишь правила у нихъ есть: *все хорошо, лишь бы удалось. Что можно взять, то должно прибрать*“. Революція представлена очень просто: „Вить что проклятые надѣлали въ эти двадцать лѣтъ! все истребили, пожгли и разорили. Сперва стали умствовать, потомъ спорить, браниться, драться; ничего на мѣстѣ не оставили, законъ попрали, начальство уничтожили, храмы осввернили, царя казнили, да какого царя! — отца. Головы рубили, какъ капусту; всѣ повелѣвали, то тотъ, то другой злодѣй. Думали, что это будетъ равенство и свобода, а никто не смѣлъ рта разинуть, носу показать и судъ былъ хуже Шемакина. Только и было два опредѣленія: либо въ петлю, либо подъ ножъ“. Также оригинально передается и возвышеніе Наполеона: „Погналъ Сенатъ въ зашей, забралъ все въ руки, запрягъ и военныхъ и свѣтскихъ и духовныхъ и сталъ погонять по всѣмъ по тремъ“. Разсказавъ по своему завоеванія Бонапарта, Богатыревъ прибавляетъ: „А все мало! весь міръ захотѣлъ покорить, что за Александръ Македонскій? Мужичишка въ рекруты не годится, ни кожи, ни рожи, ни видѣнья, разъ ударить, такъ слѣдъ простынетъ и духъ вонъ; а онъ таки лѣзетъ впередъ на Русскихъ. Ну, милости просимъ!“

ЛЕКЦІЯ XXIII.

Вліяніе Растопчина на литературу. Повѣсть «Охъ, французы». — Комедія «Вѣсти или убитой живой». — Отношеніе Растопчина къ Сперанскому.

Рѣзкія до чрезвычайности выходы Растопчина въ его „Мысляхъ въ слухъ на красномъ крыльцѣ“ противъ французовъ и ихъ властителя объясняются тогдашнею войною съ ними, ихъ успѣхами и по-этому весьма понятнымъ чувствомъ ненависти, возбужденнымъ въ умахъ. Имя Наполеона тогда уже имѣло обаяніе для многихъ; Растопчинъ, безъ сомнѣнія, понималъ его не такъ, какъ выставилъ въ своей брошюрѣ. Происхожденіе и цѣль памфлета объясняетъ самъ Растопчинъ гораздо позже, въ сочиненіи, написанномъ имъ какъ бы въ защиту свою отъ нападеній европейскихъ публицистовъ, такимъ образомъ: „Небольшое сочиненіе, изданное мною въ 1807 году, имѣло своимъ назначеніемъ предупредить жителей городовъ противъ французовъ, жившихъ въ Россіи, которые старались приучить умы къ мысли пасть передъ арміями Наполеона“ ¹⁾. Трудно сказать, на сколько справедливо замѣчаніе Растопчина и дѣйствительно ли французы у насъ могли имѣть вліяніе на умы, но памфлетъ желалъ дѣйствовать на массу. Онъ и понравился массѣ, которая быстро раскупила его до 7000 экз., конечно, не масса народа, а большинство грамотнаго общества, въ которомъ и безъ того уже бродила ненависть къ французамъ, возбужденная войною, и ея неуспѣхомъ, отъ котораго падалъ духъ. „Мысли“ Растопчина скоро нашли подражателей въ литературѣ; онъ какъ бы задавалъ тонъ, которому вторили другіе. Такъ, напр., двѣ комедіи Крылова изъ этого времени: „Модная Лавка“ и „Урокъ дочкамъ“ вполне раздѣляютъ мысли Богатырева и направлены противъ французовъ и ихъ вліянія, модъ и легкихъ нравовъ. Левшинъ, очень плодовитый авторъ множества сочиненій по сельскому хозяйству, въ томъ же 1807 году издалъ сочиненіе: „Посланіе Русскаго къ французолюбцамъ“ — съ тѣмъ же самымъ направленіемъ и содержаніемъ. Отъ этой литературы, порожденной взволнованнымъ чувствомъ, вдругъ возникшею ненавистью къ французамъ, вслѣдствіе войны съ ними, нельзя было ждать обдуманности и безпристрастія; увлеченіе было очень естественно. Такъ, плохая комедія „Высылка французовъ“ ²⁾ (1807 г.) въ своемъ увлеченіи дошла даже до нападеній на просвѣщеніе. Для насъ важно, что начало этого литературнаго направленія, самобытнаго и рѣзкаго,

¹⁾ La vérité sur l'incendie de Moscou. Соч., изд. Смирдина, стр. 274.

²⁾ Авторъ неизвѣстенъ.

было положено Растопчинимъ. Но въ немъ было одно достоинство, котораго не было у его подражателей—оригинальное пониманіе лицъ и событій и живое отношеніе къ нимъ; это выражалось и въ его блестящемъ свободномъ и чисто русскомъ языкѣ, которымъ никто, кромѣ Растопчина, не владѣлъ тогда въ такой степени. Самое сильное возбужденіе своимъ талантомъ и направленіемъ Растопчинъ призвелъ на С. Н. Глинку, который съ начала слѣдующаго 1805 г. сталъ въ Москвѣ издавать свой патриотическій журналъ „Русскій Вѣстникъ“, посвященный исключительно Россіи и ея интересамъ. О немъ и его журналѣ мы скоро скажемъ, а теперь замѣтимъ, что Глинка тотчасъ сдѣлался поклонникомъ Растопчина, и тотъ помѣщалъ въ его журналѣ нѣкоторыя статьи въ томъ же родѣ. По разсказу самого Глинки, Растопчинъ, прочитавъ его объявленіе о журналѣ, въ которомъ опредѣленно высказывалось его будущее направленіе, и встрѣтившись съ издателемъ въ одномъ знакомомъ домѣ, высказалъ свое сочувствіе и обѣщалъ сотрудничество, но просилъ Глинку удерживать запальчивое перо его ¹⁾.

Въ своемъ первомъ письмѣ къ издателю „Русскаго Вѣстника“, адресованномъ изъ села Зиунова, подъ псевдонимомъ *Устина Вѣникова* ²⁾, высказываетъ Растопчинъ полное сочувствіе къ предпріятію Глинки и удивляется смѣлости его духа:

„Вы имѣете въ виду единственно пользу общую, пишетъ онъ, и хотите издавать одну русскую старину, ожидая отъ нея испѣленія слѣпыхъ, глухихъ и сумасшедшихъ, но забыли, что неизмѣнное дѣйствіе истины есть колоть глаза и приводить въ изступленіе“. Вѣниковъ думаетъ, что всѣ нападенія издателя „Русскаго Вѣстника“ не будутъ имѣть успѣха: „Для сихъ, отпадшихъ отъ своихъ и впадшихъ въ чужихъ, вы будете проповѣдникомъ, какъ посреди дикаго народа въ Африкѣ“, и совѣтуетъ насмѣшку и карикатуру, которая лучше подѣйствуетъ на умы: „Представьте, напр., парикмахера, стригущаго русскаго, съ надписью: *подстриженный сѣверный Самсонъ*, или обезьяну, которая учитъ медвѣдя танцевать, съ надписью: *сержусь, но поклонюсь*, или бѣса, раздѣвающаго русскаго, съ надписью: *облегчится и просвѣтитса*“.

Растопчинъ писалъ съ увлеченіемъ, со страстью; мысль о родинѣ въ тѣхъ обстоятельствахъ, въ которыхъ она находилась тогда, наполняла всю его душу и выливалась подъ перо вполне задушевно. Это видно изъ его частнаго письма къ Глинкѣ, въ которомъ онъ приглашалъ его къ себѣ въ Вороново, чтобъ сообщить анекдотъ о

1) Тихонравовъ, указанная статья, стр. 370.

2) Русск. Вѣстн., ч. I, стр. 68—72.

Суворова, котораго онъ называетъ „чудакомъ героемъ“. Его образу, вызванному изъ памяти, приписываетъ Растопчинъ возбужденіе своей литературной дѣятельности: „онъ какъ будто и изъ могилы своей выликиваетъ душу, разумѣется, душу русскую и вселяетъ въ нее гордость: „Пора духу русскому приосаниться. Шопоть—дѣло сплетницъ“. Такъ объясняетъ самъ Растопчинъ начало своей литературной дѣятельности. Главное содержаніе ея есть патриотическое чувство: „Что земля русская намъ не мачиха, объ этомъ готовъ спорить до тѣхъ поръ, пока не лягу въ мать сырую землю. Чего нѣтъ въ нашей родной колыбели? Было бы только у насъ *горячее къ ней сердце*, да обнимала бы ее покрѣпче душа русская; а то постоитъ она за себя“¹⁾.

Отсюда, изъ этого горячаго чувства къ родинѣ, которое заставило Богатырева говорить свои мысли вслухъ, явилось въ самомъ Растопчинѣ желаніе создать въ литературѣ типъ настоящаго русскаго человѣка, не зараженнаго французскимъ духомъ и воспитаннаго прямо по-русски. Желаніе это онъ старался осуществить въ своей замѣчательной повѣсти „Охъ Французы!“, которая была написана имъ безъ сомнѣнія въ періодъ времени до 1812 года, но напечатана чрезъ шестнадцать лѣтъ послѣ его смерти²⁾ и не вошла въ собраніе его сочиненій, сдѣланное Смирдинымъ (Спб. 1853 г.). Повѣсть эта, названная имъ „наборкою изъ былей“, чрезвычайно оригинальна. Мы говорили, что Растопчинъ не былъ литераторомъ по призванію, а потому понятно, что его повѣсть не похожа ни на одно произведеніе такого рода. Ея живой, бѣжкій языкъ, оригинальный въ высшей степени, умъ и наблюдательность надъ жизнью, которые блестятъ на каждой страницѣ, живыя лица, выхваченныя изъ тогдашняго общества, — все это имѣло бы большое вліяніе на литературу и вѣрно породило бы въ ней подражателей, еслибъ повѣсть была напечатана въ то время, когда была написана. Но явившись въ ту пору, когда настроеніе общества, породившее ее, давно исчезло, когда совершенно измѣнилось литературное направленіе, она не могла уже имѣть вліянія, и на нее обратили вниманіе только тѣ, которымъ исторически была извѣстна дѣятельность Растопчина. Намъ кажется, что повѣсть „Охъ Французы!“ заключаетъ въ себѣ и автобіографическія данныя, что въ лицѣ главнаго ея героя Богатырева или Кремнева, изображенъ отецъ Растопчина; или, по крайней мѣрѣ, главныя лица повѣсти — снимки съ тѣхъ лицъ, которыя авторъ видѣлъ близко въ жизни и обществѣ и наблюдалъ ихъ.

¹⁾ Тихонравовъ, указан. статья, стр. 373.

²⁾ От. Зап. 1842 г., № 10.

Главная цѣль, однако, Растопчина въ повѣсти была поучительная—выставить вредъ французскаго воспитанія и осмѣять его. Онъ самъ называетъ себя лѣкаремъ, снимающимъ катаракты. Посвящается повѣсть лицамъ разнаго возраста, „разумѣтся благороднымъ, по той причинѣ, что сіе почтенное сословіе есть подпора престола, защита отечества и должно предпочтительно быть предохранено. Купцы же и крестыяне хотя подвержены всѣмъ извѣстнымъ болѣзнямъ, кромѣ нервовъ и меланхоліи, но еще отъ иноземства кой-какъ отбиваются, и сія летучая зараза къ нимъ не пристааетъ. Они и до сихъ поръ французовъ называютъ нѣмцами, вино ихъ — церковнымъ“. Выходы противъ французовъ разбросаны по всей повѣсти, но остановившись на главномъ героѣ, Луѣ Андреевичѣ Кремневѣ, на его семьѣ, на лицахъ, его окружающихъ, авторъ какъ бы позабылъ свою дидактическую цѣль, которую имѣлъ въ виду, и написалъ чрезвычайно живую, удачную и очень мѣткую картину изъ прежняго дворянскаго быта въ деревнѣ и Москвѣ конца XVIII и начала XIX вѣка. Конечно, герой его нѣсколько идеаленъ, но очень мало; зато всѣ другія лица дѣйствительны и взяты изъ жизни. Содержаніе очень просто: это собственно исторія любви, сватовства и потомъ женитьбы героя на бѣдной родственницѣ старой дѣвы, княжны Мишурской, проживающей въ Москвѣ посреди грязной, а подчасъ и забавной, живо схваченной обстановки крѣпостнаго быта. Юморомъ и наблюдательностью проникнута вся повѣсть съ начала до конца; очень можетъ быть, что лица ея—были портреты, но съ какою веселостью они написаны!

Къ тому же 1807 году, къ самому разгару войны относится комедія Растопчина: „Вѣсти или убитой живой“¹⁾. Это не комедія, а анекдотъ изъ того времени: московскіе сплетники и сплетницы распускаютъ вѣсть о томъ, что женихъ дочери Богатырева, находившійся въ дѣйствующей арміи офицеръ, убитъ въ сраженіи, и привозятъ эти вѣсти въ домъ старика, вызывая, конечно, и горе, и слезы. Но женихъ является здоровъ и невредимъ, да еще съ отличіемъ; сплетники пристыжены. Очевидно, подобныхъ случаевъ было тогда довольно, и московскіе вѣстовщики и другія лица комедіи взяты изъ жизни, но они каррикатурны. Анекдотъ слишкомъ былъ обыченъ; характеровъ не было, и комедія, поставленная на сцену, не имѣла успѣха. Глинка выставляетъ и другую причину неуспѣха комедіи Растопчина; она, по его словамъ, заключалась въ томъ, что въ ней выведены были лица, знакомыя Растопчину и всей Москвѣ. Они обидѣлись и отместили автору шиканьемъ и свистомъ на пред-

¹⁾ Сочиненія Растопчина, изд. Смирдина, стр. 25—134.

ставленіи. Растопчинъ счелъ нужнымъ вступиться за себя и издалъ тогда же въ Москвѣ маленькую брошюру: „Письмо Вѣнникова къ Богатыреву и отвѣтъ Богатырева Вѣнникову“¹⁾. Изъ нея видно, что паденіе комедіи произошло отъ неудовольствія партіи приверженцевъ чужеземщины. „Ты не сердись, пишетъ Вѣнниковъ къ своему другу, ты и на театрѣ тоже говорилъ, что на Красномъ Крыльцѣ, и я иногда воображалъ, что ты въ моихъ глазахъ. Досталось и модамъ, и мадамамъ, и сплетнямъ, и зараженнымъ заморскими проказами. Но объ Россіи ты говорилъ, какъ законный ея сынъ и нѣжный любовникъ..., а потому ложная и кресельная публика не совсѣмъ благосклонно тебя приняла и заключила, что въ тебѣ много соли и что ты пересолилъ“. Вѣнниковъ проситъ: „перестань проповѣдывать истину, ты ею дразнишь людей и надорвешься надъ порокомъ“... Въ отвѣтѣ своемъ Богатыревъ или Растопчинъ говоритъ о своемъ характерѣ и высказываетъ презрѣніе къ публикѣ, возставшей на него: „Меня на вѣку ужъ много разъ сквозь строй языками гоняли, а загонять не могутъ. Живѣ по милости Божіей. Да я жъ не хочу быть въ числѣ тѣхъ людей, коихъ всѣ любятъ. Они или ничто, или все, а я по своей натурѣ иныхъ почитаю, иныхъ уважаю, другихъ презираю, и ничего не скрываю... Языкъ мой — врагъ мой; увижу дурное—кричу: разбой!“

Растопчинъ, говорятъ, написалъ еще нѣсколько комедій, дѣйствующими лицами въ которыхъ онъ выставялъ своихъ знакомыхъ или людей, хорошо знакомыхъ Москвѣ, но, прочитавъ эти комедіи въ близкомъ кругу, истребилъ ихъ. Эти первыя патріотическія сочиненія Растопчина сдѣлали имя его извѣстнымъ между всѣми, которые болѣе или менѣе раздѣляли его убѣжденія. Скоро имя Растопчина стало становиться рядомъ съ именемъ Карамзина въ московскомъ обществѣ, которое слышало не разъ, какъ тотъ и другой высказывали свои убѣжденія, въ которыхъ были согласны между собою. Направленіе сочиненій Растопчина, доставившихъ ему громкую извѣстность, не было новостью; это былъ голосъ Москвы и ея особаго, мѣстнаго патріотизма, въ которомъ высказывались оппозиціонныя стремленія этого города, консерватизмъ московскихъ старовѣровъ и нелюбовь къ тѣмъ реформамъ, которыми было ознаменовано начало царствованія Александра. По мѣрѣ того, какъ союзъ нашъ съ Наполеономъ послѣ тильзитскаго мира близился къ разрыву, предвѣщавшему послѣднюю жестокую борьбу, и по мѣрѣ того, какъ развивались въ это же время государственныя преобразованія Сперанскаго, число недовольныхъ возрастало ежедневно. Во главѣ ихъ стояли Карамзинъ и Растопчинъ.

¹⁾ Соч., стр. 135—144.

Личный характеръ, прежнее воспитаніе, привычка къ самовластью при Павлѣ, положеніе въ свѣтѣ удалившагося отъ дѣлъ вельможи и большое богатство, основанное на крѣпостномъ трудѣ, — все это должно было поставить Растопчина въ ряды оппозиціи, въ ряды старой партіи. Въ характерѣ и въ дѣйствіяхъ Растопчина, какъ замѣчали современники, была грубая смѣсь утонченнаго лоска парижанина съ дикими выходками чисто русскаго произвола и грубыми замашками московскаго барства, — смѣсь, характеризующая всѣхъ почти лучшихъ людей Екатерининской эпохи. Но нельзя, конечно, утверждать, что Растопчинъ, въ своихъ патріотическихъ сочиненіяхъ, только хлопоталъ прослыть кореннымъ русскимъ челоѣкомъ и патриотомъ: въ немъ говорило настоящее, искреннее чувство, но только чувство. Очень можетъ быть, что подъ словами патріотическихъ думъ Богатырева, направленными противъ чужеземщины и французскаго вліянія, словами, понятными въ разгаръ войны, скрывались и консервативныя убѣжденія и взгляды Растопчина, но они такъ были скрыты, что ихъ трудно было разглядѣть. Что онъ былъ противъ преобразованій—видно изъ его удаленія отъ двора и отъ новаго императора до самаго того времени, когда критическія обстоятельства заставили сдѣлать его московскимъ главнокомандующимъ; какъ прошли эти обстоятельства, Растопчинъ снова долженъ былъ удалиться въ отставку. Извѣстныя всѣмъ консервативныя убѣжденія графа Растопчина заставили приписывать ему „Возраженія“ на книгу графа Стройновскаго „Объ условіяхъ помѣщиковъ съ крестьянами“, русскій переводъ которой появился въ 1800 году. Такихъ возраженій изъ очень многочисленной рукописной литературы по этому предмету, сильно занимавшему умы помѣщиковъ и государственныхъ людей въ первую половину царствованія Александра, съ именемъ Растопчина напечатано у насъ два ¹⁾, изъ которыхъ первое нападаетъ только на общую мысль освобожденія, а второе входитъ въ подробности дѣла. Издатель не объяснилъ, почему онъ эти сочиненія считаетъ принадлежащими Растопчину. Россіи, по мнѣнію автора, при освобожденіи крестьянъ грозитъ погибель, что-то въ родѣ французской революціи—государство не въ состояніи будетъ собрать подати, когда крестьяне разбредутся. Кромѣ редактора „Чтеній“ возраженіе на книгу Стройновскаго приписываетъ Растопчину и Тихонравовъ ²⁾ потому, вѣроятно, что въ нѣкоторыхъ мысляхъ „Возраженій“ и въ брошюрѣ „Плугъ и соха“ есть сходство. Надобно думать, что из-

¹⁾ Чтенія въ Общ. ист. и др. рос., 1859 г., кн. III, отд. V, стр. 37 — 42; 1860 г. кн. II, отд. V, стр. 203—217.

²⁾ Указанная статья, стр. 309.

вѣстный всѣмъ консервативный образъ мыслей Растопчина въ ту тяжелую пору между несчастною войною и грозящимъ нашествіемъ, когда всякая либеральная мысль и каждая реформа казались внушенными французскимъ вліаніемъ и чуть не измѣною, заставилъ соединить „Возраженія“ съ именемъ Растопчина. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ, подобно Карамзину, былъ противъ освобожденія крестьянъ, и мы не отрицаемъ принадлежности „Возраженій“ ему. Но сынъ Растопчина положительно отрицаетъ ее и смотритъ на это, какъ на выдумку¹⁾; доказательства его однако не убѣдительны вполнѣ. Аеанасъевъ, которому принадлежитъ редакція „Возраженій“ въ „Чтеніяхъ“, увѣряетъ, что, по всѣмъ преданіямъ образованнаго русскаго общества, они дѣйствительно принадлежатъ ему²⁾, что во всѣхъ спискахъ ихъ стоитъ его имя. То же подтверждаетъ и Суншковъ, на основаніи одного мѣста самихъ возраженій, гдѣ Растопчинъ говоритъ о своихъ сосѣдяхъ по имѣнію³⁾, извѣстному Воронову.

Итакъ Растопчинъ былъ противникомъ всякой мысли объ освобожденіи. Говоря въ своихъ „Мысляхъ“ о французскомъ вліаніи на молодое поколѣніе, Растопчинъ или Богатыревъ говоритъ, что у него всему дано свое названіе, гдѣ извращаются коренныя русскія понятія, а именно: Богъ помочь — Bon jour, отецъ — monsieur, старуха мать — maman, холопъ — mon ami, Москва — Ridicule, Россія — Fidonc⁴⁾. Въ ту тяжелую пору Россіи всѣ эти Растопчины, Кремневы, Богатыревы и другіе консервативные столбы отечества не могли быть ничѣмъ инымъ, какъ защитниками рабства. Но на Растопчина пало въ тѣ же годы болѣе тяжелое обвиненіе: это участіе его въ паденіи Сперанскаго въ началѣ 1812 года. До сихъ поръ этотъ печальный случай изъ новой русской исторіи, гдѣ самодержавный государь принесъ въ жертву слѣпому, раздраженному мнѣнію консервативнаго большинства русскаго общества своего любимца, человѣка искренно ему преданнаго, исполнявшаго только его волю и оказавшаго дѣйствительныя услуги государству, — представляется темнымъ и необъясненнымъ, потому что раскрытіе его есть психологическая загадка, разрѣшеніе которой было бы возможно, еслибъ для насъ ясна была двусмысленная натура самого Александра. До самаго послѣдняго времени, писавшіе о Сперанскомъ высказываютъ разныя, часто противорѣчащія догадки и предположенія. Мнѣніе объ участіи Растопчина въ этомъ темномъ дѣлѣ давно сложилось. По своему богатству и своему вліанію въ обществѣ, по уму и положенію, Растопчинъ

1) Русск. Вѣстн. 1860 г., XXVI, Соврем. Лѣтопись, стр. 37.

2) Чтенія, 1860 г., кн. II, отд. V, стр. 193.

3) Чтенія, 1861 г., кн. IV, отд. V, стр. 181—182.

4) Соч., стр. 9—10.

представлялъ выдающуюся фигуру въ это смутное время. О немъ говорили всѣ; на него и на Карамзина указывали, какъ на вождей, консерваторы. Его ненависть къ Сперанскому и къ реформамъ была извѣстна, и въ это время послѣдовало сближеніе съ нимъ Александра, который, посѣтивъ въ 1809 году Москву, „говорилъ съ Растопчинымъ и былъ восхищенъ силою и живостью его рѣчи“¹⁾. Въ Твери жила любимая сестра Александра — Екатерина Павловна, ненавидѣвшая революцію, французовъ, Наполеона, женщина консервативныхъ и легитимныхъ убѣжденій, большая поклонница Карамзина, сблизившая его съ царственнымъ братомъ. Мужъ ея, принцъ Георгъ Ольденбургскій, былъ генераль-губернаторомъ въ Твери, и ея маленькій дворъ здѣсь сдѣлался центромъ соединенія людей, враждебныхъ реформамъ и Сперанскому. Здѣсь Карамзинъ читалъ Александру свою знаменитую „Записку“; здѣсь любили слушать пылкія рѣчи пріѣзжавшаго изъ Москвы Растопчина, уже получившаго довѣріе Александра. Растопчинъ доставлялъ Екатеринѣ Павловнѣ разныя рукописныя свои сочиненія, и письма его къ ней²⁾ доказываютъ ихъ близость. Передъ нею выигрывалъ онъ своею преданностью къ Павлу. Въ это время мнѣнія Растопчина имѣли большой вѣсъ. „Онъ излагалъ въ откровенныхъ письмахъ къ государю, говоритъ біографъ его Бантышъ-Каменскій³⁾, свои опасенія, средства, какія употреблялъ Наполеонъ, чтобы вредить Россіи, положить себѣ дорогу къ сердцу ея, поколебать и разрушить основаніе, на которомъ, въ продолженіе многихъ вѣковъ, утверждено государство сильное, страшное врагамъ вѣрою и любовію. Можетъ быть Растопчинъ далеко распространялъ свое усердіе и, какъ человѣкъ, ошибался; но онъ говорилъ не за себя одного, за древнюю столицу, которая избрала его представителемъ, уполномочила ходатайствовать у престола, въ пользу и защиту отечества (письмо къ государю графа Растопчина, отъ 17 марта 1812 года)“⁴⁾. Это послѣднее письмо⁴⁾ и есть именно то, гдѣ Сперанскій и человѣкъ десять близкихъ къ нему людей обвиняются въ прямой измѣнѣ отечеству, въ сношеніяхъ съ Наполеономъ и въ полученіи отъ него подарковъ. Растопчинъ будто бы говоритъ здѣсь, какъ избранныкъ „первѣйшаго сословія“, говорить, что „время заняться исправленіемъ монархіи и критическаго ея положенія“. Въ заключеніе онъ прибѣгаетъ къ угрозамъ: „Письмо сіе есть послѣднее и если останется не дѣйствительнымъ, тогда сыны отечества необходимою себѣ поставятъ двинуться въ сто-

¹⁾ Богдановичъ, Исторія царствованія имп. Александра I, т. III, стр. 202.

²⁾ Русск. Арх. 1869 г. стр. 759—762.

³⁾ Словарь достопамятныхъ людей русской земли, т. III, стр. 124.

⁴⁾ Русск. Ист. Сборн. Лонд. 1859 г. I, стр. 42—45.

лицу и настоятельно требовать какъ открытія сего злодѣяства, такъ и перемѣны правленія ¹⁾: Сперанскій, какъ извѣстно, оправдывался противъ этихъ обвиненій и ему не трудно было оправдаться, такъ какъ обвиненія придумала слѣпая ненависть. Письмо объ измѣнѣ Сперанскаго должно быть причислено къ тѣмъ подметнымъ, т.-е. анонимнымъ письмамъ, которыя расходились тогда во множествѣ списковъ по Петербургу и Москвѣ; въ нихъ отражалось возбужденное, встревоженное мнѣніе, но мнѣніе общества темнаго, грубаго, невѣжественнаго, лишеннаго всякаго политическаго пониманія обстоятельствъ. По словамъ Бантышъ-Каменскаго, Растопчинъ писалъ нѣсколько писемъ къ государю, всѣ они, какъ и содержаніе ихъ—неизвѣстны и только одно, упомянутое нами, приписывается ему. Сынъ Растопчина, конечно, опровергаетъ принадлежность письма отцу, но его доводы, и въ этомъ случаѣ, не совсѣмъ убѣдительны. Біографъ Сперанскаго, баронъ Корфъ, кажется, положительно доказалъ, что письмо это не было писано Растопчинимъ. Вопросъ о принадлежности письма этому послѣднему, по мнѣнію барона Корфа, и существовать не можетъ. „Растопчинъ при извѣстной заносчивости и строптивости характера, былъ, однако, человѣкъ чрезвычайно умный, чрезвычайно образованный и искусно владѣвшій перомъ, а письмо съ мнимою его подписью, несмотря на нѣкоторое, правда, подражаніе его тону и слогу, представляетъ, по всему своему содержанію, верхъ грубаго невѣжества, нелѣпости, незнанія политическихъ обстоятельствъ и безграмотства“ — говоритъ баронъ Корфъ. По его словамъ, письмо это „родилось въ самыхъ низшихъ слояхъ чиновничества, въ томъ сословіи, надъ которымъ разразился указъ 1809 года объ экзаменахъ. Это подтвердилось отчасти и изслѣдованіемъ“ ²⁾. Въ оставленныхъ Растопчинимъ запискахъ на языкѣ французскомъ ³⁾ онъ говоритъ, что ссыла Сперанскаго была для него новостью, причину ея онъ приписываетъ другимъ лицамъ и измѣну Сперанскаго называетъ клеветою. Но записки эти были писаны гораздо позднѣе, подъ конецъ жизни, а въ ту пору Растопчинъ, по всему видимому, раздѣлялъ народное убѣжденіе объ измѣнѣ Сперанскаго. Это видно изъ письма его къ Александру, уже настоящаго, отъ 23 августа 1812 года, гдѣ онъ говоритъ о вредѣ пребыванія Сперанскаго въ Нижнемъ, называя его *se misérable Speransky*, пишетъ, что онъ чрезъ Злобина и Столыпина старается дѣйствовать въ губерніяхъ Пензенской и Саратовской и что нужно страхомъ ослабить ихъ ревность.

¹⁾ Отрывокъ изъ этого письма помѣщенъ также въ Русск. Арх. 1892 г., № 8, стр. 405.

²⁾ Корфъ. Жизнь гр. Сперанскаго, т. II, стр. 9—10.

³⁾ Mémoires du comte Rostoptchine, écrits en dix minutes. Paris. 1839.

Это былъ, конечно, вздоръ, но вслѣдствіе извѣстія, сообщеннаго Растопчинимъ, Сперанскій былъ удаленъ дальше, именно въ Пермь ¹⁾).

Такова была жизнь и литературная дѣятельность Растопчина до 1812 года, когда онъ въ самый разгаръ отечественной войны явится снова передъ нами съ своими прославленными афишами, освѣщенный зловѣщимъ блескомъ зарева московскаго пожара. Тогда въ полномъ свѣтѣ явятся передъ нами и темныя, и свѣтлыя стороны этого характера, замѣчательнаго во многихъ отношеніяхъ. Его первыя патріотическія попытки, съ рѣзкими выходками противъ французовъ, могли появиться только до тильзитскаго мира; послѣ него онъ замолчалъ, но война 12 года снова пробудила его и заставила обратиться къ народу. Для насъ важно, что Растопчинъ первый заговорилъ въ этомъ патріотическомъ тонѣ, первый положилъ начало этого рода литературѣ. Подражателей у него нашлось довольно. Впереди ихъ долженъ быть упомянуть Глинка.

ЛЕКЦІЯ XXIV.

С. Н. Глинка.—Его дѣтство, пребываніе въ корпусѣ и служба. — Первые произведенія Глинки. — Перемѣна въ убѣжденіяхъ Глинки. — Программа «Русскаго Вѣстника».

Послѣ Растопчина, этого знатнаго барина, воспитаннаго французами и французскою литературою, но явившагося во время неудачныхъ первыхъ войнъ нашихъ съ Наполеономъ какъ бы основателемъ патріотическаго направленія въ русской литературѣ, выступившаго съ простою русскою рѣчью, проникнутою глубокою ненавистью въ французамъ и ихъ вліянію, это патріотическое направленіе, вызванное изъ жизни отношеніями времени, стало на нѣсколько лѣтъ господствующимъ. Имъ проникались самыя разнообразныя произведенія литературы, оно доставило извѣстность, правда, недолговѣчную, нѣсколькимъ литературнымъ именамъ, которыя безъ этой патріотической струи, прямо попадающей въ сердце возбужденнаго общества, остались бы совершенно безвѣстными. Направленіе это имѣло жизнь, находило сочувствіе, потому что стояло въ близкомъ отношеніи къ времени, но, съ другой стороны, эта близость къ времени доводила до преувеличеній и до увлеченій, которыя дѣйствовали вреднымъ образомъ на мысль общества, возбуждая его къ самохвалству и самодовольству, мѣшающимъ здравому и хладнокровному сужденію и возбуждающимъ въ обществѣ презрѣніе къ

¹⁾ Корфъ. Жизнь гр. Сперанскаго, т. II, стр. 67.

тому неизбежному единственному пути, по которому пошло наше просвѣщеніе со временъ Петра В. Народность, которая вызывалась теперь патріотическою литературой, очень часто прикрывала своимъ знаменемъ глубокое невѣжество, бессмысленную любовь къ старинѣ и преданію и ненависть ко всякому улучшенію жизни. Не надобно забывать, что при жалкомъ состояніи нашей періодической печати и при цензурныхъ отношеніяхъ всякая литературная борьба съ этимъ направленіемъ была почти невозможна; дѣло ограничивалось только легкими, случайными замѣтками, да рукописными эпиграммами, ходившими въ кругу писателей и людей, интересовавшихся литературой. Историческія обстоятельства, къ счастью, не допустили укорениться въ нашей литературѣ этому патріотическому направленію, грозившему, повидимому, приостановить наше развитіе. Счастливая борьба съ Наполеономъ, европейскіе походы, въ теченіе которыхъ такъ много замѣчательныхъ личностей познакомились съ Европою, самая великость переживаемыхъ событій и прежнія, хорошія вліянія первыхъ лѣтъ царствованія Александра, все это будило мыслѣ и не позволяло ей отупѣть и опошлѣть посреди криковъ патріотическаго самодовольства.

Громкую извѣстность въ этотъ періодъ патріотическихъ увлеченій получило имя С. Н. Глинки, издававшаго въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ журналъ „Русскій Вѣстникъ“, который появился непосредственно вслѣдъ за памфлетами Растопчина, вызвавшими какъ бы къ жизни и это направленіе, и этотъ журналъ. Глинка жилъ очень долго и всю жизнь свою писалъ и печаталъ множество сочиненій, проникнутыхъ, впрочемъ, однимъ направленіемъ, которое онъ рѣшительно высказалъ въ своемъ „Русскомъ Вѣстникѣ“ въ первый разъ. Этому направленію онъ оставался вѣренъ всю жизнь и высказывалъ его съ пыломъ страсти, очень часто доходившимъ до смѣшнаго. Но при всей своей увлекательности, натура Глинки была честная; свои убѣжденія онъ цѣнилъ дорого, ставилъ ихъ выше всѣхъ матеріальныхъ выгодъ, о которыхъ почти всегда забывалъ. Какъ въ его характерѣ, такъ и въ его жизни и литературной дѣятельности было что-то до крайности беспорядочное, что и составляетъ причину, почему имя его, несмотря на чрезвычайную плодовитость его въ литературномъ отношеніи, не имѣетъ почти мѣста въ исторіи нашего литературнаго развитія. Вся его дѣятельность высказалась вполнѣ въ первые годы изданія имъ „Русскаго Вѣстника“, потомъ онъ только повторялся. Эта крайняя беспорядочность мысли Глинки, зависѣвшая отъ ея пылости, отразилась и въ „Запискахъ“ о его жизни, составленныхъ имъ въ позднюю пору жизни и представляющихъ воспоминанія. Память измѣняла ему не столько отъ лѣтъ, сколько отъ пыл-

кости; часто смѣшивалъ онъ событія и лица, а потому пользоваться его записками нужно съ большою осторожностью, хотя онѣ даютъ прекрасный матеріалъ для знакомства съ личностію самаго Глинки.

С. Глинка, родомъ изъ дворянъ помѣщиковъ Смоленской губерніи родился въ деревнѣ Духовщинскаго уѣзда въ 1775 году. Помѣщичій бытъ, съ дѣтства окружавшій его въ семействѣ, представленъ Глинкою въ воспоминаніяхъ совершенно идеально. Помѣщичья семья Глинки представляетъ собою патриархальныя достоинства: „Алчная роскошь, говоритъ онъ, не отдѣляла еще тогда рѣзкими чертами помѣщиковъ отъ почтенныхъ питателей рода человеческого“ (по выраженію Княжнина), т. е. отъ крестьянъ ¹⁾). Жизнь деревенская кажется ему раздольемъ, и оборотная сторона медали вполне ускользаетъ отъ его вниманія. Историческія воспоминанія совпадаютъ для Глинки съ царствованіемъ Екатерины, на которое онъ смотритъ, какъ на эпоху славы и счастья Россіи. Все, что имѣло отношеніе къ этому времени,—дорого для Глинки. Недалеко отъ ихъ села была родина Потемкина; онъ самъ часто ѣзжалъ мимо въ Петербургъ окруженный баснословно роскошною обстановкою, и Глинка считаетъ своимъ долгомъ защитить знаменитаго временщика отъ нареканій въ расхищеніи казеннаго достоянія. На первоначальное развитіе Глинки имѣлъ вліяніе, хотя и непродолжительное, дядя—масонъ, но домашнее воспитаніе скоро должно было окончиться. Въ 1781 году Екатерина, возвращаясь изъ Бѣлоруссіи въ Петербургъ, ѣхала на Смоленскъ мимо родины Потемкина и недалеко отъ деревни Глинокъ. Вся семья устроила ей на перемѣнѣ лошадей деревенское угощеніе, которымъ распоряжался отецъ Глинки, бывшій капитанъ-исправникомъ. Императрица осталась очень довольна, обласкала дѣтей исправника и велѣла записать трехъ въ кадетскій корпусъ. Эта встрѣча Екатерины, вѣроятно по семейнымъ разсказамъ, осталась самымъ дорогимъ воспоминаніемъ Глинки. Его дѣтство прошло такимъ образомъ въ деревнѣ посреди патриотическихъ восторговъ отъ царствованія Екатерины и довольства помѣщичьею жизнью, на которую онъ смотритъ, какъ на благословенную идиллію, хотя и записываетъ о какомъ-то общемъ возстаніи крѣпостныхъ крестьянъ въ ихъ окрестностяхъ и замѣчаетъ только, что „какая-то невидимая сила волновала села и деревни“ ²⁾).

Черезъ годъ послѣ проѣзда Екатерины, Глинку и брата его повезли въ Петербургъ, въ кадетскій корпусъ, въ тотъ извѣстный

¹⁾ Записки С. Н. Глинки. Спб. 1895, стр. 2—3.

²⁾ Ibid., стр. 29.

шляхетный сухопутный корпусъ, гдѣ въ продолженіе почти всего прошлаго вѣка воспитывались для военной службы и свѣтской жизни дѣти лучшихъ дворянскихъ фамилій государства. Воспитаніе, совершенно на французскій ладъ и на языкъ французскомъ, находилось подъ главнымъ вліяніемъ извѣстнаго Бецкаго. Дѣти, по вступленіи въ корпусъ, тотчасъ попадали въ руки надзирательницъ французенокъ, и подъ ихъ вліяніемъ скоро забывались и родной языкъ и воспоминаніе о прежней жизни. Въ высшемъ возрастѣ также и начальники и гувернеры всѣ были французы. Понятно, что участіе къ этой странѣ развилось очень рано въ Глинкѣ, отъ одного изъ своихъ наставниковъ онъ узналъ о приближающемся переворотѣ во Франціи и скоро сталъ жадно слѣдить за политическими событіями.

Однимъ изъ лучшихъ воспоминаній корпусной жизни Глинки было время управленія корпусомъ графа Ангальта, о которомъ онъ говоритъ съ глубокимъ уваженіемъ. Это былъ идеальный воспитатель въ духѣ гуманной философіи XVIII вѣка, внушавшій къ себѣ страстную любовь и воспитанниковъ и воспитателей. Ангальтъ самъ былъ увлеченъ образами классической древности, идеалы людей существовали для него только въ исторіи Греціи и Рима; это было общее направленіе того времени. Всѣ учителя Глинки, за исключеніемъ трагика Княжнина, были французы, даже русскую исторію преподавали извѣстные французы Леклеркъ и Левекъ. Французскій языкъ господствовалъ даже между самими кадетами, они безпрестанно декламировали на этомъ языкѣ и разыгрывали французскія театральныя пьесы. Будущій пылкій патріотъ, Глинка увѣрялъ всѣхъ въ корпусѣ, что онъ родился во Франціи, а не въ Россіи... Тогда же, при врожденной пылкости характера, въ Глинкѣ сильно развилось воображеніе, онъ сталъ писать стихи, много сочинялъ и зачитывался французскими книгами. Если вѣрить его воспоминаніямъ, то кадеты его времени жили современною жизнію и слѣдили за тогдашними великими событіями по французскимъ журналамъ и газетамъ, чего никогда потомъ не бывало не только въ корпусахъ, но даже и въ другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Графъ Ангальтъ завелъ въ корпусной залѣ столъ со всѣми современными заграничными извѣстіями, такъ что Глинка, не выходя изъ корпуса, ознакомился съ политикою и со всѣми главными лицами политической исторіи того времени. Передъ этою жизнію жалкими казались Глинкѣ тогдашнія періодическія русскія изданія, которыя тутъ же рядомъ лежали на столѣ: „Зритель“ Крылова, „Меркурій“ Клушина, „Московскій журналъ“ Карамзина. Въ нихъ, говоритъ Глинка, „особенно вооружались противъ казенной абеда и заразы роскоши и модъ, истощавшихъ бытъ сельской, а о

политической борьбѣ европейской въ нихъ не было и помину; она какъ будто не существовала для Россіи“¹⁾).

Изъ русскихъ учителей больше всѣхъ остался въ памяти Глинки Княжнинъ. Ему посвятилъ онъ нѣсколько страницъ своихъ воспоминаній. „Никто изъ нашихъ писателей не уважалъ трудовъ земледѣльцевъ болѣе Княжнина“—замѣтилъ онъ объ немъ между прочимъ²⁾). Другимъ учителемъ словесности былъ извѣстный актеръ и писатель—Плавильщиковъ. Умственная жизнь корпуса, благодаря Ангальту, была вообще замѣчательна въ то время, судя по воспоминаніямъ Глинки. По его разсказу, между кадетами была даже борьба мнѣній: были двѣ партіи—материалистовъ и спиритуалистовъ. Но преобладающимъ увлеченіемъ была страсть къ французскому театру. Однимъ словомъ, кадеты получали широкое въ духъ вѣка образованіе, при чемъ военная сторона составляла въ немъ вовсе не главное. Все это гуманное направленіе измѣнилось вдругъ, когда по смерти графа Ангальта начальникомъ корпуса назначенъ былъ М. И. Кутузовъ, извѣстный фельдмаршалъ въ 1812 году. Это было въ послѣдніе годы царствованія Екатерины: ей не нравилось свободное направленіе корпуса; она и въ немъ боялась революціонныхъ идей, и Кутузовъ былъ призванъ водворить строгій военный порядокъ въ распущенномъ, по мнѣнію властей, заведеніи. Но это было уже въ послѣдній годъ пребыванія Глинки въ корпусѣ. Онъ вышелъ изъ него въ 1795 году въ чинѣ поручика, но въ душѣ совершеннымъ французомъ, съ большими симпатіями къ французской революціи, событія которой онъ зналъ очень хорошо. Онъ сильно интересовался современной политикой и любилъ заговаривать о ней въ гостинныхъ большого свѣта, куда попалъ по выходѣ изъ корпуса. Но его сразу остановилъ покровитель его, извѣстный Екатерининскій вельможа Л. А. Нарышкинъ, словами, въ которыхъ выражался общій взглядъ Екатерининскихъ сановниковъ на современныя событія: „до политики не касайся—это не твое дѣло, наша политика въ кабинетѣ Екатерины. Она за насъ думаетъ и заботится. А наше дѣло пировать да веселиться“³⁾).

Изъ корпуса, съ головою, полною великихъ европейскихъ событій того времени, Глинка отправился съ братомъ на родину къ отцу въ отпускъ, послѣ котораго возвратился на службу въ Москву, гдѣ стоялъ его полкъ. Въ это время онъ былъ еще французомъ. „Во второй разъ, для меня Москвы не было въ Москвѣ, говоритъ онъ въ „Запискахъ“. Русское было далеко отъ моихъ мыслей, а въ настоящемъ затерялся я въ шумѣ большого свѣта, также далеко отъ древней

¹⁾ Ibid., стр. 76.

²⁾ Ibid., стр. 88.

³⁾ Ibid., стр. 126.

Москвы и отъ старобытной Россіи¹⁾). Глинка попалъ въ адъютанты къ князю Ю. В. Долгорукому, что познакомило его съ высшимъ московскимъ свѣтомъ. Служба была легкая, и все занятіе Глинки заключалось, кажется, въ усердномъ посѣщеніи театра, который онъ страстно любилъ.

Тогда же Глинка познакомился съ литературнымъ міромъ Москвы и его представителями: Шатовымъ, Николевымъ—стариками и болѣе молодыми: И. И. Дмитріевымъ, Карамзинымъ, В. Л. Пушкинымъ. Глинка самъ пустился было тогда въ поэзію и написалъ оду *о суетности*, въ которой высказались тѣ идеи вѣротерпимости и христіанскаго милосердія, которыя составляли общую проповѣдь философіи XVIII вѣка, но цензоръ, профессоръ Чеботаревъ, не пропустилъ ее въ печать.

Глинка жилъ въ водоворотѣ большаго московскаго свѣта. Это общество тогда отличалось широкимъ, но дикимъ барскимъ разгуломъ; Москва пировала день и ночь, и Глинку оскорбляло, что никто въ этомъ обществѣ не думалъ о будущемъ, не интересовался великими событіями современной исторіи. Въ домѣ князя Долгорукова, московскаго главнокомандующаго, никогда не велось разговора о политикѣ, и о Наполеонѣ стали говорить тогда уже, когда онъ сдѣлался первымъ консуломъ. А между тѣмъ Глинка весь былъ занятъ этими событіями. „Въ 1796 году не наступило еще, говоритъ онъ, перерожденіе души моей въ жизнь *отечественную*, въ жизнь *русскую*“²⁾).

Тогда же, въ послѣдній годъ жизни Екатерины, Глинка выступилъ было съ полкомъ своимъ въ походъ. Екатерина стала собирать войска, чтобы двинуть ихъ подъ предводительствомъ Суворова противъ ненавидимой ею французской республики, но полкъ Глинки дошелъ только до Ржева тверской губерніи; воцареніе Павла приостановило эти воинственные планы. Глинка воротился въ Москву на прежнюю службу къ Долгорукому, т. е. на жизнь въ свѣтскихъ и литературныхъ кружкахъ Москвы. Глинка много говоритъ о своихъ близкихъ отношеніяхъ и дружбѣ къ знаменитому богачу и остроумцу Ѡ. Г. Карину. Одинъ случай изъ ихъ отношеній рисуетъ честный и независимый характеръ Глинки. Состоянія у него не было никакого, и Каринъ подарилъ ему однажды дарственную записъ на калужскую деревню въ шестьдесятъ душъ. Глинка изорвалъ записъ и сказалъ: „Не возьму; я никогда не буду имѣть челоуѣка какъ собственность, и притомъ не понимаю сельскаго быта“³⁾. Это безкорыстіе и презрѣніе матеріальныхъ выгодъ отличали Глинку въ теченіе всей жизни.

¹⁾ Ibid., стр. 146.

²⁾ Ibid., стр. 167.

³⁾ Ibid., стр. 177.

Въ царствованіе Павла Глинка снова выступилъ было въ походъ въ тѣхъ войскахъ, которыя назначены были идти на помощь къ Суверову, но походъ въ Италію не состоялся: война кончилась. Въ 1800 году онъ вышелъ въ отставку капитаномъ, средствъ для жизни у него не было никакихъ, и онъ рассчитывалъ на литературу. Первое произведеніе его, доставившее ему средства, была героическая драма „Наталья боярская дочь“, игранная тогда же и съ успѣхомъ на московской сценѣ. Ея содержаніе, взятое изъ временъ царя Алексѣя Михайловича, показываетъ уже стремленіе Глинки въ русской старинѣ. За нею слѣдовало еще нѣсколько подобныхъ, незамѣчательныхъ, однако, по литературнымъ достоинствамъ произведеній. Музыку для нихъ сочинялъ Кашиинъ, крѣпостной человѣкъ Бибикова, освобожденію котораго помогалъ Глинка. Около того времени умерли отецъ и мать Глинки; небольшое оставшееся ему наслѣдство онъ отдалъ единственной сестрѣ своей и сталъ жить по словамъ его „съ довѣренностію и безусловной надеждой на Провидѣніе“¹⁾.

Но пылкій характеръ Глинки безпрестанно вводилъ его въ новыя увлеченія: всѣ деньги, какія были у него, онъ проигралъ въ карты и принужденъ былъ отправиться въ Малороссію къ какому-то богатому помѣщику X. въ качествѣ домашняго учителя, никогда не будучи имъ и никогда не приготовляясь къ этому званію. Впрочемъ, онъ рассказываетъ объ успѣхѣ своихъ уроковъ, состоявшихъ въ томъ, что онъ читалъ съ своими учениками великихъ писателей. Три года продолжалось это учительство, но отъ него ничего не осталось у Глинки. Снова, по возвращеніи въ Москву, ему пришлось работать для театра и на выработанныя деньги онъ часто ѣздилъ въ Петербургъ, гдѣ жилъ предметъ его платонической страсти. Въ 1803 году онъ переложилъ въ стихи съ французскаго прозаическаго перевода „Юнговы Нощи“. Въ 1806 году явилась его трагедія „Сумбека или покореніе царства Казанскаго“, въ слѣдующемъ—другая трагедія—„Михаилъ князь Черниговскій“. Около того же времени совершился переворотъ въ душѣ Глинки; онъ оставилъ свои европейскія увлеченія и явился вдругъ самымъ пылкимъ патриотомъ. Еще недавно любимымъ героемъ Глинки былъ Наполеонъ, напоминавшій ему героевъ Греціи и Рима; еще недавно любимую мечтою его было служить подъ его знаменами. Теперь ему пришлось забыть всѣ вліянія своего обще-европейскаго образованія и сдѣлаться *истымъ* русскимъ, какъ называли его современники.

Переворотъ этотъ, какъ и въ Растопчинѣ, совершился подъ вліяніемъ политическихъ событій, въ которыхъ находилась тогда Россія. Послѣ Аустерлицкаго пораженія приходилось напрягать силы, воз-

¹⁾ Ibid., стр. 187.

буждать народный духъ. Въ концѣ 1806 года въ народъ пущено было воззваніе о составленіи милиціи и въ числу возбужденныхъ принадлежалъ и Глинка.

„Въ то время отечество для меня было новою мечтой, говоритъ онъ, и воображеніе мое горѣло, какъ чувство юности, согрѣтое первымъ пламенемъ любви“¹⁾. Въ запискахъ своихъ Глинка пишетъ, что еще въ 1806 году, въ письмѣ какому-то пріятелю, онъ увѣрялъ, что Наполеонъ будетъ въ Москвѣ, и тогда уже поохладѣлъ его восторгъ отъ этого имени. Изъ Петербурга, гдѣ онъ хлопоталъ объ успѣхѣ своихъ литературныхъ произведеній и нѣкоторые изъ нихъ, чрезъ разныхъ покровителей, подносилъ Государю, Глинка побѣхалъ на родину. „Что влекло меня на родину, гдѣ у меня не было ничего, кромѣ сердечныхъ воспоминаній, спрашиваетъ онъ. Въ душѣ родилась новая мысль и не у меня одного. Всѣхъ и каждаго вызывала она къ защитѣ отечества и къ оборонѣ гробовъ праотеческихъ“²⁾. Глинка записался въ милицію. Въ 1807 году онъ собиралъ старыхъ отставныхъ солдатъ, вновь призванныхъ на службу, дѣлательно хлопоталъ объ устройствѣ милиціоннаго войска и о снабженіи его, входилъ даже въ личныя отношенія къ фельдмаршалу Каменскому, но неудачныя сраженія повели къ тильзитскому миру, и Глинка, не оказавъ никакихъ подвиговъ на войнѣ, долженъ былъ воротиться въ Москву къ литературнымъ трудамъ.

Но это тревожное время, при пылкости характера Глинки, совершенно измѣнило его прежніе взгляды, симпатіи и убѣжденія. Онъ полюбилъ русскія свойства, которыхъ вовсе не зналъ до того времени. „Въ необычайный годъ, среди русскаго народа, ознакомился я съ душею нашихъ воиновъ. Служа въ полку, я зналъ доброе сердце солдатъ нашихъ. Что же почувствовалъ я, видя порывъ души богатырей русскихъ? Они подарили меня сокровищемъ обновленія мысли. Миѣ стыдно стало, что доселѣ, кружась въ какомъ-то невидимомъ мірѣ, не зналъ я ни души, ни кореннаго образа мыслей русскаго народа. Въ шумѣ большаго свѣта, на балахъ и вечерахъ этого не было. Но время, могучею силой, вывело духъ русскій передъ лицомъ нашего отечества и передъ лицомъ Европы. Онъ повелъ меня, какъ далѣе увидимъ, къ новой жизни. И этотъ первый урокъ повелъ меня постепенно къ изданію „Русскаго Вѣстника“. Глинка рассказываетъ, что тогда же въ первый разъ, на тридцатомъ году жизни, у Сычевскаго городничаго онъ узналъ о существованіи лѣтописи Нестора,—въ такомъ невѣдѣніи родного воспитывались тогда русскіе писатели“³⁾.

¹⁾ Ibid., стр. 195.

²⁾ Ibid., стр. 211.

³⁾ Ibid., стр. 216—217.

Въ такомъ настроеніи духа воротился Глинка въ Москву въ прерваннымъ литературнымъ занятіямъ. Нечего и говорить, что на Москву онъ сталъ смотрѣть теперь глазами восторженнаго патріота, все въ ней представлялось ему въ обновленномъ видѣ: „На каждой улицѣ, на каждомъ перекресткѣ представлялся мнѣ новый міръ, вызываемый воображеніемъ изъ прошедшаго. Словомъ, Москва явилась мнѣ въ своемъ подлинномъ видѣ, то-есть завѣтною, живою лѣтописью земли русской. Я спѣшилъ ознакомиться съ каждымъ ея памятникомъ, и каждый день для меня былъ новымъ открытіемъ, новымъ приобретеніемъ. Въ этомъ расположеніи духа задумалъ я издавать „Русскій Вѣстникъ“¹⁾.

Цѣлью задуманнаго журнала, по словамъ Глинки, было возбужденіе народнаго духа и приготовленіе русскихъ къ новой и неизбежной борьбѣ. Онъ былъ увѣренъ, что эта борьба впереди, что тильзитскій міръ есть только перемиріе. Глинка хотѣлось говорить съ публикою, дѣлиться съ нею своими новыми патріотическими мыслями. Не безъ вліянія на содержаніе и тонъ статей Глинки была предшествовавшая литературная дѣятельность Растопчина, онъ самъ это сознаетъ: „Справедливость требуетъ сказать, что графъ первый еще въ 1807 году своими „Мыслями въ слухъ на красномъ крыльцѣ“ вступилъ, такъ сказать въ родственное сношеніе съ мыслями всѣхъ людей русскихъ. Его листокъ облетѣлъ и чертоги и хижины, и какъ будто былъ передовою вѣстью великаго 1812 года“²⁾.

Но на изданіе предполагаемаго журнала нужны были деньги, а ихъ никогда не было у Глинки. Его выручилъ извѣстный московскій издатель и содержатель типографіи, двоюродный братъ И. И. Дмитріева—Пл. П. Бекетовъ, который вызвался напечатать на свой счетъ первыя двѣ книжки журнала и, если онъ не пойдетъ,—принять расходы на себя. Обрадованный этимъ предложеніемъ, Глинка тотчасъ же напечаталъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ объявленіе о своемъ будущемъ журналѣ, гдѣ высказывалъ цѣль его и направленіе. Это объявленіе произвело, по словамъ его, и недоумѣніе и удивленіе въ обществѣ. Рѣчи и убѣжденія Глинки были чѣмъ-то новымъ, неслыханнымъ. Глинка становился въ противоположность съ господствующимъ мнѣніемъ, говорилъ о томъ, что было забыто—о русскомъ духѣ и направленіи, о русской старинѣ, о необходимости своеобразнаго развитія, о вредѣ подражанія Европѣ. Тонъ, господствовавшій до него въ русской журналистикѣ, былъ совершенно иного свойства, а потому понятно, что рѣчи Глинки приводили невольно въ удивленіе.

¹⁾ Ibid., стр. 219—220.

²⁾ Ibid., стр. 222—3.

Издатель обѣщался предлагать читателямъ только то, что „непосредственно относится въ Русскимъ“, что „можетъ улаждать сердца русскія“. Въ первый разъ, первый Глинка вздумалъ говорить о русской старинѣ, о древней русской исторіи, отодвинутой новымъ развитіемъ: „Въ сихъ листахъ, говорилъ онъ, найдутъ многія статьи о древнихъ временахъ Россіи. Бесѣда съ праотцами, бесѣда съ героями и друзьями отечества питаютъ душу, и, сближая прошедшее съ настоящимъ, умножаетъ бытіе наше. Настоящее объясняется прошедшимъ, будущее—настоящимъ“. Это прошедшее, отъ котораго мыслящіе люди того времени думали навсегда отдѣлаться, для издателя „Русскаго Вѣстника“ становится снова очень дорогимъ, источникомъ развитія: „Примѣръ добродѣтелей и нравовъ праотеческихъ заключается въ древнихъ преданіяхъ; въ нихъ означено то *особое востаніе*, о которомъ говорятъ извѣстнѣйшіе наши писатели“.

Правда, Глинка не прямо возстаетъ на новое развитіе Россіи; онъ видитъ въ немъ довольно истинно полезнаго и требуетъ, повидимому, только, чтобъ пріобрѣтенное было соединено съ своимъ собственнымъ, чтобъ мы были „богаты не чужимъ, не заимствованнымъ, но своимъ роднымъ добромъ“, но онъ возстаетъ противъ реформъ, вооружается противъ мысли XVIII вѣка, требовавшей преобразованій.

Такова была программа патріотическаго журнала Глинки.

ЛЕКЦІЯ XXV.

Сотрудники Глинки: Растопчинъ, княгиня Дашкова.—Отношеніе публики и правительства къ «Русскому Вѣстнику».—Содержаніе журнала.—Отношеніе къ нему журналистики.—Эпиграммы на Глинку.

Тотъ писатель, которому ближе всего было направленіе зарождавшагося журнала Глинки, именно Растопчинъ, выказалъ полное ему сочувствіе, предложилъ себя въ сотрудники, но называлъ предпріятіе Глинки отважнымъ, въ виду, конечно, современныхъ политическихъ обстоятельствъ и мира съ Франціей Наполеона, вслѣдствіе чего трудно было нападать на недавняго и будущаго врага. Растопчинъ, какъ мы уже видѣли, дѣйствительно помѣстилъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ нѣсколько небольшихъ статейъ подѣ псевдонимомъ Устина Вѣникова въ духѣ его мыслей и въ томъ направленіи, въ какомъ Глинка хотѣлъ издавать свой журналъ. Самъ издатель писалъ иныя свои статьи подѣ влияніемъ разсказовъ Растопчина. Послѣдній часто приглашалъ къ себѣ Глинку, и тотъ разставался съ Растопчинимъ увлеченный его словами и мыслями. Другимъ замѣнитимъ сотрудникомъ Глинки, на первыхъ порахъ его журнала, была

извѣстная княгиня Дашкова, проводившая, послѣ ссылки въ деревню при Павлѣ, свою старость въ Москвѣ, въ воспоминаніяхъ о своемъ значеніи при-Екатеринѣ и вообще о блестящемъ прошломъ, которое было ей дороже настоящаго. Княгиня вызвалась писать статьи для Глинки, но по сѣоенравію своему требовала, чтобъ въ этихъ статьяхъ онъ никогда не перемѣнялъ ничего. Двѣ или три статьи ея были политическаго содержанія; будучи давнишней поклонницей Англии, гдѣ она воспитывала и сыновей своихъ, княгиня не могла не отзываться съ сочувствіемъ объ этой любимой странѣ своей, а она была враждебна намъ, вслѣдствіе тильзитскаго мира. Одна статья ея въ этомъ родѣ не была пропущена цензоромъ; княгиня жестоко разсердилась и съ тѣхъ поръ болѣе не давала своихъ статей Глинкѣ. Вскорѣ потомъ издатель разошелся и съ Растопчинымъ, который при началѣ журнала, обѣщая свое сотрудничество въ немъ, просилъ Глинку сдерживать его запальчивость. Обиженный московскою публикой на представленіи его комедіи „Вѣсти или убитой живой“, графъ Растопчинъ прислалъ Глинкѣ нѣсколько писемъ противъ этой публки; Глинка не напечаталъ ихъ, ссылаясь на рѣзкій тонъ, и Растопчинъ ничего уже болѣе не посылалъ въ „Вѣстникъ“. Но они сошлись снова въ 1812 году.

„Русскій Вѣстникъ“ имѣлъ успѣхъ не столько по таланту издателя, который отличался только своею рьяностію и пылостію, сколько по направленію статей своихъ, соответствующихъ духу общества, недовольнаго потерями въ послѣдней войнѣ и унижительнымъ для насъ тильзитскимъ миромъ. Впрочемъ, судить объ успѣхѣ журнала съ современной точки зрѣнія нельзя. Глинка рассказываетъ, что даже въ самую сильную эпоху возбужденія народнаго духа, въ 1812 году, разошлось „Вѣстника“ не болѣе ста экземпляровъ, а потому можно судить, какъ незначительно было то общество, въ которомъ могло существовать какое-нибудь мнѣніе. Вся прочая масса была безгласна, и надобно замѣтить, что успѣхъ журнала главнымъ образомъ обуславливался Москвою; въ Петербургѣ едва ли были довольны имъ—и правительство, желавшее сдержать свое обѣщаніе передъ Наполеономъ, и небольшое число издателей тогдашнихъ журналовъ, приучавшихъ все-таки общество, какъ мы видѣли, къ просвѣщенію, открытому для русскихъ дѣломъ реформы Петра В. Глинка рассказываетъ, что журналъ его имѣлъ большой успѣхъ въ Москвѣ, что всѣ знакомые говорили ему *спасибо* за „Вѣстникъ“, что студенты московскаго университета спѣшили ловить книжки журнала при выходѣ ихъ; главные, впрочемъ, читатели журнала были члены англійскаго клуба и знатные вельможи, которымъ, конечно, болѣе всего пріятна была въ „Вѣстникѣ“ консервативная привязанность къ старинѣ. Впрочемъ,

безъ сомнѣнія, журналъ имѣлъ вліяніе, если даже посоль Наполеона считалъ нужнымъ принести нашему правительству жалобу на направленіе Глинки. Поводомъ къ жалобѣ послужила одна изъ статей издателя въ 1808 году, гдѣ говорилось о тильзитскомъ мирѣ, высказывалась неизбѣжность новой войны между Франціей и Россіей и убѣжденіе, что „будутъ приняты всѣ надлежащія мѣры къ отраженію властолюбиваго завоевателя“. Любопытенъ отвѣтъ Александра Коленкуру, что онъ не зналъ даже о существованіи этого журнала. Въ угоду французскому послу, цензору Мерзлякову сдѣланъ былъ выговоръ, а Глинка, имѣвшій мѣсто съ казеннымъ жалованьемъ при московскомъ театрѣ, былъ уволенъ отъ этой службы. Тогда же сдѣлано было распоряженіе по цензурѣ о недозволени печатать статей политическаго содержанія. Изъ этого видно, что сила „Русскаго Вѣстника“ состояла вовсе не въ политическихъ статьяхъ; область политики была возбранена цензурою, да въ ту пору съ политикою были знакомы и занимались ею только люди, официально къ тому призванные. Бѣдный русскій журналистъ былъ вообще далекъ отъ политическаго міра, потому что самая страна не жила политическою жизнью; интересы его были вообще очень ничтожны и жалки, какъ и во всей нашей литературѣ того времени.

Сила „Русскаго Вѣстника“ заключалась въ патріотическомъ чувствѣ и въ возбужденіи его въ читающей публикѣ. Чувство это родилось подъ вліяніемъ современныхъ событій; источникъ его заключался скорѣе въ сердцѣ и увлеченіи, чѣмъ въ сознаниі, чѣмъ въ критическомъ отношеніи къ дѣйствительности. Возбужденное неудачными и тяжелыми внѣшними войнами нашими, это чувство видѣло вокругъ себя въ обществѣ сильное увлеченіе иностраннымъ и въ особенности французскимъ, — увлеченіе, бывшее неизбѣжнымъ слѣдствіемъ нашей внутренней исторіи со временъ Петра. Пылкому издателю „Русскаго Вѣстника“ это увлеченіе стало казаться измѣною роднымъ началамъ, и онъ всѣми силами старался ему противодействовать. Понятно, что только въ русской, преимущественно древней, до-петровской исторіи, Глинка находилъ и указывалъ свои идеалы; все новое было для него подражаніемъ, заимствованіемъ и потому осуждалось. Въ увлеченіи своемъ онъ нападалъ на новое просвѣщеніе и ставилъ его гораздо ниже древняго. Всѣ статьи „Русскаго Вѣстника“ были полны этимъ содержаніемъ, выражали это направленіе и посвящены были исключительно Россіи; говорить о чемъ-либо иностранномъ — казалось неуваженіемъ къ родинѣ. Общая тема — о любви къ отечеству — повторяется въ журналѣ непрерывно. Герои этой любви и русской доблести, извѣстныя лица, преимущественно древней Руси, и о нихъ издатель говоритъ очень часто и при всякомъ случаѣ. Это: Мининъ,

Авраамъ Палицынъ, Князь Пожарскій, бояринъ Артамонъ Матвѣевъ, кн. Александръ Невскій, кн. Яковъ Долгорукій, древнія московскія царицы, московскіе бояре и проч. Главная мысль издателя, что Россія до Петра В. не была страню варварскою, доказывается всѣми способами: и выписками изъ разныхъ писателей нашихъ, говорившихъ объ этомъ предметѣ ¹⁾, и цѣлыми статьями, посвященными спеціальной разработкѣ вопроса о томъ, напр. „О просвѣщеніи Русскихъ до временъ Петра Великаго“ ²⁾ или „О свойствахъ Россіянъ и замѣчанія о измѣненіи кореннаго свойства народовъ“ ³⁾ и проч. Мысль о поднятіи умственнаго и нравственнаго значенія древней Руси была господствующею мыслию журнала Глинки: „Съ удовольствіемъ читалъ я въ разныхъ мѣстахъ вашего журнала, пишетъ къ издателю одинъ изъ случайныхъ его сотрудниковъ, опроверженія выставленнаго Вольтеромъ и иностранцами слѣпо принятаго мнѣнія, будто наши предки были погружены въ невѣжество и варварство.—Эта неосновательная мысль давно меня огорчаетъ, ибо многія дѣянія отечественной нашей исторіи доказываютъ, что древнее наше правительство было не только просвѣщенное и человѣколюбивое, но и образованнѣе многихъ европейскихъ, признаваемыхъ таковыми“ ⁴⁾. Разумѣется, все это древнее русское просвѣщеніе представляется въ свѣтѣ благочестія и истиннаго христіанства: „Возрастая въ страхѣ Божіемъ и простотѣ нравовъ, говоритъ издатель, предки наши заимствовали всѣ понятія свои *отъ наставленія отцовскаго* и изъ духовныхъ книгъ. Они не спорили о какомъ-то первобытномъ природномъ состояніи, о безпредѣльномъ усовершенствованіи ума человѣческаго, но старались исполнять обязанности человѣка, гражданина и христіанина“ ⁵⁾. Глинка доказываетъ, что во времена Рюрика ни одна страна европейская не была просвѣщеннѣе Россіи *въ нравственномъ и политическомъ образованіи* ⁶⁾, и что вообще до Алексѣя Михайловича и до Петра Великаго Россія „едва ли уступала какой странѣ въ гражданскихъ учрежденіяхъ, въ законодательствѣ, въ чистотѣ нравовъ, въ жизни семейственной, и во всемъ томъ, чѣмъ благоденствуетъ народъ, чтущій обычаи праотеческіе, отечество, царя и Бога“ ⁷⁾.

Въ этомъ увлеченіи русскою до-Петровскою стариною, о которой Глинка, къ чести его, заговорилъ первый, хотя и безъ знанія поло-

¹⁾ Русск. Вѣстн. 1808 г., ч. I, стр. 43—52.

²⁾ Ч. III, стр. 17—48.

³⁾ Ч. III, стр. 49—64.

⁴⁾ Ч. II, стр. 343.

⁵⁾ Ч. III, стр. 17.

⁶⁾ *Иб.*, стр. 41.

⁷⁾ *Иб.*, стр. 42.

жительнаго, и основываясь только на одномъ чувствѣ, естественно должны были встрѣчаться и въ самомъ дѣлѣ встрѣчались иногда даже очень забавныя преувеличенія. Мы знаемъ изъ біографіи Глинки, что онъ былъ воспитанъ современно, на идеяхъ французской мысли XVIII вѣка, что онъ скорѣе былъ французъ, а не русскій. Не могъ онъ забыть этого образованія; оно было дорого ему и, страннымъ образомъ, его идеи, его содержаніе онъ искалъ, въ древней Руси. Тутъ былъ очевидный недостатокъ логики и сообразительности, сопровождавшій всегда Глинку въ его патріотическихъ статьяхъ. Отъ того у него бояринъ Матвѣевъ умствовалъ о душѣ точно такъ же, какъ Локкъ и Кондильякъ¹⁾, а предки наши мыслили о человѣкѣ, душѣ и чести подобно древнимъ Сократамъ и Маркамъ Авреліямъ; учрежденіе Ярославомъ I въ 1131 году училищъ соотвѣтствуетъ цѣли Александра I, изъявленной въ 1803 году²⁾. Зотовъ, наставникъ и учитель Петра перваго, руководствовалъ своего питомца способами ученія Кондильяка и Песталоцци, хотя въ то время ихъ и не было на свѣтѣ: потому же и „добродѣтели Марка Аврелія сіяли въ лицѣ нашихъ вѣнценосцевъ“³⁾. Однимъ словомъ, воспоминанія общаго европейскаго образованія, полученнаго Глинкою въ корпусѣ, постоянно жили въ его головѣ; они были дороги ему, и знакомые ему по образованію и ученію образы и идеи онъ желалъ или мечталъ найти въ незнакомой ему до того родной жизни.

Русь рисовалась въ умѣ издателя „Русскаго Вѣстника“ не въ своемъ настоящемъ, а совершенно идеальномъ, созданномъ воображеніемъ, образѣ. Лучшимъ примѣромъ этого отношенія можетъ служить разборъ Глинки „Древнихъ Россійскихъ стихотвореній“, тогда только что въ первый разъ изданныхъ Якубовичемъ. Онъ сравниваетъ ихъ съ поэмами Оссіана и древними французскими балладами⁴⁾. Въ нихъ, по его словамъ, „изображены всѣ добродѣтели, которыя хранятъ и подкрѣпляютъ общества и области. Сіи добродѣтели суть: челоуѣколюбіе, правота, защищеніе слабого и невиннаго отъ хищной и сильной руки, гостепримство, богобоязненность, нѣжность, состраданіе къ злополучію и усердіе къ отечеству“. Въ „Древнихъ Русскихъ стихотвореніяхъ“ Глинка ищетъ нравы и „праотеческія добродѣтели“. Былина о Соловьѣ Будимировичѣ представляетъ доказательство, что въ старину понимали ремесла и искусства⁵⁾; былина о женитбѣ князя Владиміра даетъ поводъ разсуждать о свя-

¹⁾ Ч. III, стр. 19.

²⁾ Ib., стр. 23.

³⁾ Ib., стр. 33.

⁴⁾ Ч. I, стр. 374.

⁵⁾ Ibid., стр. 377—380.

тости гостепрѣмства и о пагубномъ слѣдствіи страстей ¹⁾; Ермакъ— о мужествѣ и великодушїи русскихъ ²⁾; Глинка сравниваетъ Ермака съ Циціономъ Африканскимъ. Вотъ, по словамъ Глинки, краткое начертаніе добродѣтелей временъ богатырскихъ: ненарушимость даннаго слова, смѣлость и неустрашимость духа, богобоязненность, скромность, простота нравовъ, усердіе къ службѣ государевой и проч. Глинка былъ какъ бы влюбленъ въ древнюю Русь и, не имѣя, разумѣется, никакихъ о ней положительныхъ знаній, онъ сознательно желалъ видѣть въ ней только хорошее. „Странно, говоритъ онъ, что у насъ всякой почти старается отыскать что-нибудь худое въ своемъ отечествѣ; лучшее же остается безъ примѣчанія, или умышленно представляется въ видѣ невыгодномъ“ ³⁾. Глинка впадалъ въ другую крайность: онъ умышленно все изображалъ въ розовомъ свѣтѣ и очень часто доходилъ до смѣшного. Таково, напр., его разсужденіе о „Кормчей книгѣ“, которую онъ называетъ „хранилищемъ божественныхъ и нравственныхъ предацій“; въ ней, по утверженію его, „заключается все то, на чемъ зиждется истинное благо каждаго человѣка особенно и цѣлыхъ обществъ“ ⁴⁾. Естественно, что при такомъ взглядѣ, Глинка долженъ былъ высоко ставить авторитетъ автора „Разсужденія о древнемъ и новомъ слогѣ“ и повторять часто его мысли.

Журналъ съ такимъ содержаніемъ и направленіемъ, посвященными исключительно только русскому и древности русской, долженъ былъ естественно смотрѣть враждебными глазами на все иностранное и даже на просвѣщеніе европейское, которому самъ Глинка былъ такъ много обязанъ. Вызывая образы старины, журналъ долженъ былъ найти сочувствіе во всѣхъ тѣхъ, которымъ была дорога эта старина и ненавистно все новое: „Старики русскіе васъ благодарятъ, да и раскольники русскіе хвалятъ: будетъ время, когда и они поблагодарятъ“—пишетъ къ издателю одинъ поклонникъ старины изъ Казани ⁵⁾, выставляющій на показъ глубокую ненависть къ *дѣтямъ*, которыя съ своимъ французскимъ воспитаніемъ сдѣлались будто бы умнѣе отцевъ. Такого же содержанія и письмо *Староверова* къ издателю ⁶⁾. Старинный идеалъ воспитанія сдѣлался дорогъ Глинкѣ; время увлеченія общимъ образованіемъ, европейскими началами— прошло, и Аракчеевъ, котораго Глинка называетъ „знаменитымъ

¹⁾ Ч. I, стр. 380—389.

²⁾ Ч. II, стр. 206—214.

³⁾ Ibid., стр. 250.

⁴⁾ Ч. III, стр. 189—200.

⁵⁾ Ч. II, стр. 186.

⁶⁾ Ч. III, стр. 201 сл.

Россіяниномъ“, приглашенный подписаться на „Русскій Вѣстникъ“, могъ уже открыто и съ сознательною гордостью выставить себя всѣмъ на образецъ: „А я, какъ бѣдный дворянинъ, пишетъ онъ къ Глинкѣ, воспитанъ былъ совершенно по русски: учился грамотѣ по Часослову, а не по рисованнымъ картамъ. Потомъ выученъ будучи читать Псалтырь за упокой по своимъ родителямъ, посланъ на службу государя и препорученъ въ С.-Петербургѣ чудотворной Казанской иконѣ, съ такимъ родительскимъ приказаніемъ, дабы я всѣ мои дѣла начиналъ съ ея соизволенія, чему слѣдую и по сіе время“¹⁾. Вотъ что было теперь дорого Глинкѣ, дороже того общаго, съ широкимъ содержаніемъ образованія европейскаго, которое давалъ ему въ молодости корпусъ при Ангальтѣ.

Намъ нѣтъ надобности продолжать далѣе изложеніе идей Глинки въ его журналѣ, напешдемъ сочувствіе и отголосокъ въ обществѣ. Достаточно познакомиться съ однимъ первымъ годомъ „Русскаго Вѣстника“, чтобъ знать и дальнѣйшее его содержаніе. Ничего особенно дѣльнаго не могъ высказать издатель ни въ первый, ни въ послѣдующіе годы своего журнала: для этого нужно было имѣть знанія и таланта болѣе, чѣмъ сколько было у него. „Русскій Вѣстникъ“ былъ порожденіемъ патріотическаго чувства Глинки, всплывшаго для самого его неожиданно и вдругъ; какъ выраженіе одного чувства, онъ долженъ быть по своему содержанію однообразенъ и утомителенъ. Въ самомъ дѣлѣ: стихи, помѣщенные въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, вполне соотвѣтствуютъ общему его содержанію и направленію: это или выраженіе патріотическихъ чувствъ издателя, или воспѣваніе древнихъ русскихъ доблестей или современныхъ военныхъ подвиговъ. Повѣсти „Вѣстника“ — понятно чужды вполне современной жизни и берутъ свое содержаніе, по рецепту Шишкова, — изъ Четыхъ Миней или изъ древней русской исторіи, и тогда въ нихъ сказывается господствующая въ литературѣ Карамзинская сентиментальность. Разумѣется больше всего журналъ говорилъ о коренныхъ свойствахъ русскаго характера, восхваляя ихъ, и разсуждалъ на темы, въ которыхъ выражалось современное патріотическое направленіе: о благоговѣніи къ русскимъ царямъ, о вѣрности русскихъ дворянъ отечеству и престолу, о благодѣтельныхъ помѣщикахъ и т. п. Народа, т. е. простаго крестьянина, съ его жизнію, страданіями и лишеніями, въ журналѣ все-таки незамѣтно, несмотря на то, что Глинка и говорилъ о немъ; слова его были только фразы; чувство, выражавшееся въ „Вѣстникѣ“, было узко сословный патріотизмъ, глубоко консервативный и ненавидящій все новое, а вмѣстѣ

¹⁾ Ч. II, стр. 245.

съ нимъ, попятно, и просвѣщеніе, возможное для насъ только на европейскихъ началахъ. Это упорное ретроградное направленіе и призывъ къ возвращенію исчезнувшей старины, эта пылкая проповѣдь русскихъ началъ, неясныхъ, неопредѣленныхъ, туманныхъ для самого Глинки, конечно, не сознававшего вполне къ чему онъ призывалъ общество, должны были, несмотря на всю ничтожность нашего тогдашняго литературнаго развитія, вызвать отпоръ въ тѣхъ людяхъ, которымъ сколько нибудь дорого было просвѣщеніе и новое русское развитіе, начавшееся въ Россіи съ воцареніемъ Александра. Какъ ни далеки были тогда другъ отъ друга журналы, одинокіе и разрозненные, выражавшіе не мысль общественную, а личные вкусы своихъ издателей,—все же мы можемъ въ нихъ встрѣтить полемику, хотя и скромную, противъ направленія и проповѣди Глинки. Такъ „Московский Вѣстникъ“, еженедѣльный журналъ, издававшійся въ 1809 году карамзинистомъ Макаровымъ, возсталъ вообще противъ криковъ современныхъ патриотовъ и въ особенности журнала Глинки: „Большая часть сихъ самопроизвольныхъ заступниковъ отечественнаго, говоритъ издатель, нашли всю пользу свою или находятъ ее въ томъ, чтобъ бранить иностранное, проклипать чужихъ учителей или ученыхъ, довольствоваться единственно своимъ, хотя бы и худымъ и невѣжественнымъ; но отнюдь не перенимать ничего хорошаго и необходимаго со стороны чуждой... Лучшая система добродѣтели ихъ основывается на томъ, чтобъ учиться отъ какого-нибудь Ульяна Березкина и Вѣникова (псевдонимы Растопчина въ „Вѣстникѣ“); не спрашивая того, какъ они учены и чему учены“... Для Макарова крикуны эти—фальшивые патриоты. Онъ указываетъ имъ на примѣръ настоящаго патриота, Петра В., „который ѣздилъ нарочно по бѣлому свѣту для того, чтобъ все узнавать, все испытывать, всему научиться“... Онъ увлекся-было криками Березкиныхъ и Вѣниковыхъ и самъ сдѣлался-было патриотомъ въ ихъ родѣ, но „нѣкоторые изъ пріятелей моихъ доказали фальшь моего патриотизма, открыли мнѣ многое хорошее въ чужомъ, и я согласился, что намъ не мѣшаетъ и еще перенимать и еще научиться доброму и хорошему отъ иностранцевъ“¹⁾. Около этой мысли только и вертѣлось опроверженіе; политической стороны тенденцій Глинки возражать не касался.

Другой современный журналъ „Цвѣтникъ“, издававшійся Беницкимъ и А. Е. Измайловымъ, ограничился простою насмѣшкою надъ направленіемъ Глинки. Неизвѣстный авторъ этой насмѣшки рассказываетъ, что онъ видѣлъ во снѣ болото и въ немъ множество

¹⁾ Моск. Вѣстн., 1809 г., стр. 277.

завязшихъ людей, которыхъ вытаскиваютъ другіе. Одинъ изъ вытащенныхъ, бывший даже суше другихъ, снова „стремглавъ бросился въ болото, увязъ въ грязь, такъ что виденъ былъ лишь воротникъ его *зеленаго* кафтана (обертка „Русскаго Вѣстника“) и закричалъ: „Что вы, друзья, нашли хорошаго на солнцѣ? Оно только что па-литъ васъ; возвратитесь опять въ болото; здѣсь прохладно и спо-койно! то-то раздолье! Всѣ смотрѣли на чудака, но никто за нимъ не слѣдовалъ... Увязшій кричалъ безъ умолку, а что—того право я не могъ разобрать“ ¹⁾). Эта насмѣшливая выходка показываетъ, что въ петербургской журналистикѣ были люди, которые понимали смѣш-ную сторону увлеченій Глинки и видѣли недолговѣчность его на-правленія, не придавая ему большого значенія. Подъ патриотиче-скими выходами Глинки легко могло скрываться самодовольное не-вѣжество. Это было выражено въ той французской эпиграммѣ, ко-нецъ которой приводитъ самъ Глинка въ своихъ запискахъ ²⁾):

A présent sur un ton rempli de suffisance,
A ses concitoyens il prêche l'ignorance“...

Молодые, болѣе образованные литераторы того времени, при томъ, вовсе не серьезномъ взглядѣ вообще на нашу литературу, господ-ствовавшемъ въ кружкахъ, не желали вести полемику съ Глинкой и не придавали его дѣятельности важнаго значенія. Умный Даш-ковъ прямо говорить о бѣдности мыслей у Глинки ³⁾). Батюшковъ въ своемъ сатирическомъ „Видѣніи на берегахъ Леты“ чрезвычайно вѣрно схватилъ личность издателя „Русскаго Вѣстника“ и его лю-бовь къ фразамъ. Передъ адскимъ судьей Миносомъ, одна за другой являются тѣни русскихъ писателей, каждая въ немногихъ, но до-вольно забавныхъ стихахъ высказывая содержаніе своей дѣятель-ности. За княземъ Шаликовымъ является Глинка:

„Уф! я усталъ; подайте стугъ!—

говоритъ онъ,—

Повольте мнѣ, я очейъ славенъ!
Безсмертенъ я, пока забавенъ!“
Ктожь ты? „Я *русскій и поэтъ*.
Я самъ бѣгу, лечу за славой;
Мнѣ врагъ—чужой разсудокъ здравый,
Для русскихъ правъ—мой толкъ кривой,
И въ томъ кланусь моей душой!“
Да кто же ты? — Жанъ Жакъ я русскій,
Расинъ и Локъ и Юнгъ я русскій!

¹⁾ Цвѣтникъ 1810 г., ч. VI, стр. 358—359.

²⁾ Стр. 247.

³⁾ Русск. Арх. 1866 г., стр. 495.

Три драмы русских сочинилъ,
Для русских—нѣтъ ужъ болѣ силы!
Писалъ для русских драмы слезны,
Труды мои всѣ бесполезны:
Вина тому развратъ умовъ!¹⁾
Сказать, въ рѣку, и былъ таковъ!²⁾

Больше всего и остроумнѣе досталось Глинкѣ отъ Воейкова, который сначала даже самъ участвовалъ въ его „Вѣстникѣ“. Въ „Парнасскомъ Адресъ-Календарѣ“ Воейкова Глинка „снабжаетъ отхожій кабинетъ патриотической русской музы мягкой бумагою“²⁾, но лучше всего изображенъ онъ въ „Домѣ Сумасшедшихъ“:

„Нумеръ третій: на лежанкѣ
Истинъ Глинка возсѣдять,
Передъ нимъ духъ русскій въ склянкѣ
Не откупоренъ стоитъ.
Книга Кормчая отверста
И уста отворены.
Сложены десной два перста,
Очи вверхъ устремлены.
О, Расинъ! Откуда слава?
Я тебя, дружковъ, поймаю:
Изъ російскаго Стоглава
Ты Гофолію укралъ.
Чувствъ возвышенныхъ слянье,
Выраженъ красота
Въ Андромахѣ—подражанье
Погребенію вота!“

Такъ тѣшились наши писатели того времени другъ надъ другомъ, и мы нарочно привели часть эпиграммъ, сыпавшихся на Глинку и его направленіе, чтобъ показать характеръ тогдашней полемики.

Самъ Глинка считалъ себя „сторожемъ духа народнаго“. Это, конечно, преувеличено, но его „Русскій Вѣстникъ“ все-таки имѣетъ историческое значеніе въ русской литературѣ, и статьи его, одностороннія, но страстно преданныя одному направленію, имѣли смыслъ, приготавливая духъ народный къ тяжкимъ испытаніямъ 1812 года. Весь трудъ изданія журнала, послѣ перваго года, лежалъ на одномъ Глинкѣ. Онъ самъ говоритъ, что у него не было сотрудниковъ. Эта преданность Глинки единой, всего его поглотившей мысли была источникомъ его чрезвычайной популярности въ московскомъ простонародь въ 1812 году; онъ велъ толпы народа на встрѣчу государя въ его прїѣздъ въ Москву, весною этого года. Московскіе студенты

¹⁾ Соч. Спб. 1887 г., т. I, кн. 2, стр. 81.

²⁾ Русск. Арх. 1866 г., стр. 763.

любили Глинку, благодарили его за возбужденіе въ нихъ патріотизма. Но этимъ патріотическимъ 12 годомъ и кончилась историческая роль Глинки въ литературѣ. Все, что печаталъ онъ съ тѣхъ поръ, все это не имѣло значенія, писалось только для денегъ, для приобрѣтенія средствъ. „Русскій Вѣстникъ“ не возбуждалъ прежняго восторга; онъ падалъ; число подписчиковъ уменьшалось: „Вызовы Минина, Пожарскаго и другихъ старожиловъ лѣтописей, говоритъ онъ самъ съ грустію, утомляли слухъ. Духъ времени требовалъ освѣженія словесности“ ¹⁾, но Глинка былъ уже не способенъ на это, онъ остался при старомъ, и вся послѣдующая долгая жизнь его представляетъ только борьбу съ бѣдностію, тяжелую работу перомъ изъ-за куска хлѣба.

ЛЕКЦІЯ XXVI.

Новыя нападки Шишкова на современную литературу.—Переводъ двухъ статей изъ Лагарпа.—Д. В. Дашковъ и его критика на сочиненія Шишкова.—Отвѣтъ Шишкова.

Между тѣмъ, подъ вліяніемъ патріотическаго настроенія общества и зародившейся патріотической литературы снова появился въ печати и Шишковъ съ новыми статьями своими, наполненными однако старымъ содержаніемъ. Усиленный тѣми голосами, которые теперь, казалось, раздавались въ литературѣ въ его защиту, подрѣпляли или раздѣляли его мнѣніе, онъ думалъ, что настало удобное время снова напасть на своихъ враговъ, т.-е. на писателей, употреблявшихъ въ своихъ сочиненіяхъ новый слогъ и подражавшихъ Карамзину. Другого, внѣшняго повода къ печатному высказыванію его мыслей—не было. Онъ видѣлъ, что его убѣжденія, искренно имъ исповѣдуемыя, теперь получили перевѣсъ; онъ самъ говоритъ, что его первое извѣстное „разсужденіе“ расположило къ себѣ многихъ духовныхъ и свѣтскихъ особъ „службою, лѣтами и нравами почтенныхъ“, что даже иностранцы отозвались о ней съ почтеніемъ и „только въ господахъ журналистахъ нашихъ“ онъ не былъ такъ счастливъ. Но вся сила ихъ критики и доказательствъ, по словамъ Шишкова, заключается въ словахъ: „онъ одинъ, а насъ много“. Онъ не боится однако этого множества; за личныя оскорбленія Шишковъ не считаетъ нужнымъ вступаться... „Но когда вижу распространеніе мнѣній, способствующихъ къ упадку языка нашего и словесности, тогда ничто не удержитъ меня доказывать нелѣпость и лживость сихъ умство-

¹⁾ Записки, стр. 309.

ваній, которыя смѣшны и странны при свѣтѣ разума, но весьма вредны и заразительны при мракѣ усиливающихся заблужденій“... Эти заблужденія, заключающіяся въ *новомъ слогѣ*, Шишковъ ставитъ въ связь съ французской революціей и въ новыхъ словахъ, употребляемыхъ карамзинскою школою, онъ видитъ или желаетъ видѣть глубоко ненавидимыя имъ понятія: „когда чудовищная французская революція, поправъ все, что основано было на правилахъ вѣры, чести и разума, произвела у нихъ новый языкъ, далеко отличный отъ языка Фенелоновъ и Расиновъ, тогда и наша словесность, по образу ихъ новой и нѣмецкой, искаженной французскими названіями словесности, стала дѣлаться непохожею на русскій языкъ“¹⁾. Вотъ гдѣ источникъ ожесточенныхъ нападеній Шишкова на новую русскую словесность. Онъ стоитъ за старый авторитетъ; ему не нравится, что молодые писатели позволяютъ себѣ имѣть мнѣніе. „Вскорѣ появились у насъ не два или три, но цѣлыя полки сочинителей, которые, ничего не написавъ, ничего не прочитавъ, вдругъ возмечтали о себѣ, что они Лонгины, Квинтиліаны, Лагарпы, и стали обо всемъ судить и рядить по своему; стали проповѣдывать, что языкъ нашъ грубъ, бѣденъ, неустановленъ, удаленъ отъ просторѣчія; что надобно всѣ старыя слава бросить, ввести съ иностранныхъ языковъ новыя названія, новыя выраженія, разрушить свойство прежняго слога, перемѣнить словосочиненіе его и однимъ словомъ писать не по русски“²⁾. Вотъ на что собственно нападаетъ Шишковъ; старая цѣль постоянно у него передъ глазами: это языкъ, испорченный подражаніемъ французскому, а подражаніе начинается у насъ, по словамъ Шишкова, съ Петра. Зло глубоко пустило корень и бороться съ нимъ онъ считаетъ своею обязанностью. Съ этою цѣлію Шишковъ въ 1808 году перевелъ изъ Лагарпа: а) сравненіе французскаго языка съ древними и в) о краснорѣчій и напечаталъ ихъ тогда же, снабдивъ ихъ разными примѣчаніями, въ которыхъ высказывалъ прежде: старую борьбу свою съ новымъ слогомъ. Можетъ быть самый Лагарпъ, этотъ знаменитый критикъ и историкъ литературы XVIII вѣка, нравился ему своею ненавистью къ французской революціи. Извѣстно, что сначала Лагарпъ раздѣлялъ всѣ ея мнѣнія, оправдывалъ всѣ ея дѣйствія, но послѣ паденія Робеспьера, которому онъ льстилъ при жизни, круто измѣнилъ свои убѣжденія и сталъ ожесточенно нападать на все, чему прежде поклонялся.

Шишковъ воспользовался мыслями Лагарпа о богатствѣ латинскаго языка сравнительно съ бѣдностію французскаго, чтобъ повто-

¹⁾ Соч. и перев., ч. III, стр. 259—263.

²⁾ Ib., стр. 259—260.

рять свои старыя утверждения о богатствѣ славянскаго языка, т.-е. языка перевода книгъ священнаго писанія. Этотъ древній языкъ долженъ быть постояннымъ источникомъ новаго, какъ источникъ родной, а не чуждый. Нашъ же современный языкъ удался отъ этого источника, и наши сочиненія начинаютъ быть похожими на переводы. Это отъ того, что забыть древній славянской языкъ, отличающійся богатствомъ и зрѣлостію понятій. На него онъ смотритъ какъ на что-то священное; по его словамъ, онъ представляется „плодомъ долговременнаго умствования“¹⁾. Шишковъ предполагаетъ даже, что до перевода на славянской языкъ на немъ существовали сочиненія, теперь утраченныя; иначе нельзя объяснить его силу и богатство.

Въ предисловіи своемъ ко второй Лагарповой статьѣ Шишковъ развиваетъ любимую тему объ иностранныхъ словахъ, введенныхъ и вводимыхъ насильственно новыми писателями въ русскій языкъ и не соответствующихъ его гению. Приводя разные примѣры этихъ иностранныхъ словъ, Шишковъ въ особенности останавливается на тѣхъ, совершенно техническихъ выраженіяхъ, которыя давно уже употребляются въ наукѣ реторики, будучи заимствованы изъ языка греческаго. Почтенный ревнитель чистоты русскаго языка утверждаетъ, что и ихъ слѣдуетъ отбросить и замѣнить соответствующими русскими выраженіями. Съ этою цѣлію, чтобы показать примѣръ, въ переводѣ своемъ второй Лагарповой статьи онъ не употребляетъ ни одного иностраннаго слова и всѣ извѣстныя техническія выраженія переводитъ по русски. Исполненіе такой задачи не обходится разумѣется безъ натяжекъ, иногда довольно забавныхъ, которыя и были тотчасъ замѣчены критикою. Враговъ своихъ Шишковъ даже затронулъ впередъ выходкою, которая не имѣла ничего общаго съ предметомъ спора и старалась выставить защитниковъ новаго слова въ видѣ не очень нравственнаго. Представитель ихъ у Шихова, по словамъ его, „не читавъ ничего, кромѣ переводимыхъ по два тома романовъ въ недѣлю и не бывавъ сроду ни у заутрени, ни у обѣдни, не хочетъ вѣрить, что *благодатный*, *неискусобрачная*, *тлетворный*, *злокосметный*, *багрямородный* — суть русскія слова, и утверждаетъ это тѣмъ, что онъ ни въ *Лизъ* ни въ *Амютъ* ихъ не читалъ“²⁾. Разумѣется, больше всего возстаетъ Шишковъ противъ французскаго воспитанія нашего общества, противъ всеобщаго употребленія въ нашемъ обществѣ французскаго языка, языка нашихъ враговъ. Политическія отношенія времени придавали особенную

¹⁾ *Ib.*, стр. 249.

²⁾ *Ibid.*, стр. 316.

силу этимъ нападеніямъ. Съ грустію замѣчалъ Шишковъ, что „осьмилѣтнее дитя читаетъ у насъ, какъ самъ Лекенъ, стихи Вольтеровы, и не умѣетъ, не только наизусть, ниже по книгѣ прочитать *блаженъ мужъ* или *отче нашъ*“¹⁾, или: „наша женщина съ русскою въ рукахъ книгою, или съ письмомъ по русски написаннымъ, хотя бы то было къ старику ея дѣдушки, опасается быть выключенною изъ избраннаго общества и попасть въ толпу тѣхъ непросвѣщенныхъ людей, которые думаютъ, будто въ своей землѣ надобно умѣть говорить по своему“²⁾.

Въ этомъ нападеніи Шишкова на слогъ новыхъ писателей, какъ и въ прежнемъ его „разсужденіи“ заключались и вѣрныя замѣчанія и преувеличенія. Послѣднихъ, разумѣется, было больше, ибо критикъ невольно увлекался пристрастіемъ къ основной своей мысли. Какъ и прежде, такъ и теперь нападенія Шишкова не остались безъ опроверженія. Новымъ критикомъ явилось лицо совершенно до того неизвѣстное въ литературѣ, случайно выступившее въ ней и потомъ скоро промѣнявшее ее на государственную службу, гдѣ приобрѣло себѣ высокое значеніе и имя. Это былъ отличавшійся умомъ, широкимъ образованіемъ и твердостью своихъ убѣжденій Д. В. Дашковъ, принадлежавшій къ числу немногихъ замѣчательныхъ государственныхъ людей въ царствованіе Николая, когда онъ былъ министромъ юстиціи.

Дашковъ происходилъ изъ богатаго дворянскаго рода и получилъ образованіе свое въ концѣ прошлаго вѣка въ благородномъ Московскомъ пансіонѣ при университетѣ; онъ былъ младшимъ товарищемъ Жуковскаго, которому даже былъ порученъ своими родителями. Служба его по окончаніи курса въ пансіонѣ, гдѣ воспитанники слушали университетскія лекціи, началась въ Московскомъ Архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ; однимъ изъ товарищей его по Архиву былъ Блудовъ; съ нимъ Дашковъ подружился надолго и вмѣстѣ потомъ, почти одновременно и неразлучно, они сдѣлали свою служебную карьеру и оба стали министрами при Николаѣ.

Близкія отношенія Дашкова къ Жуковскому познакомили его, съ другой стороны, съ литературнымъ кругомъ: Дашковъ былъ друженъ съ Батюшковымъ, Тургеневыми, княземъ Вяземскимъ и поклонялся талантамъ Карамзина и Дмитріева. Литературные вопросы и интересы были дороги ему довольно долгое время, хотя онъ измѣнялъ имъ ради службы или, скорѣе, служебной карьеры. Въ молодости, какъ это видно изъ немногихъ писемъ его къ пансіонскому товарищу Грам-

¹⁾ Ibid., стр. 330.

²⁾ Ibid., стр. 333.

матину, Дашковъ очень уважалъ Вольтера; онъ былъ вообще отлично знакомъ съ французской литературой XVIII вѣка, зналъ и англійскій языкъ и цѣнилъ Шекспира ¹⁾. Переселившись изъ Москвы въ Петербургъ на службу, гдѣ ему въ особенности покровительствова-валъ И. И. Дмитріевъ, Дашковъ довольно долго не покидалъ еще ни своихъ литературныхъ друзей, ни своихъ литературныхъ симпатій; къ литературѣ его влекло образованіе и тотъ кругъ пріятельскій, въ которомъ онъ жилъ. Дашковъ случайно участвовалъ въ нѣкоторыхъ петербургскихъ журналахъ, живо интересовался современною литературною борьбою невиннаго, но остроумнаго „Арзамасскаго общества“, членами котораго были всѣ друзья его, съ „Бесѣдою“, гдѣ главными дѣйствующими лицами были Шишковъ и Державинъ, писалъ самъ эпиграммы и въ прозѣ и въ стихахъ на Шаховскаго, Шишкова, Хвостова и другихъ. Но всѣ эти литературные вкусы и стремленія оставались Дашковымъ постепенно, по мѣрѣ успѣховъ его служебной карьеры и его возвышенія. Такая измѣна литературному дѣлу случалась тогда очень часто и была вполне естественною. Въ самомъ дѣлѣ, какую привлекательность могла представлять въ то время наша литература, нѣмая, безгласная, не имѣющая никакого вліянія на общество, почти презираемая или только терпимая властію, нищая въ лоскуткахъ, оборванныхъ безмысленною цензурою— для человѣка съ талантами, съ образованіемъ, съ честолюбіемъ. Литературная дѣятельность не могла привлекать подобныхъ людей. На этомъ поприщѣ подвизались тогда люди полуобразованные, которымъ особенно дороги были ихъ жалкіе интересы, чуждые жизни и дѣйствительности. Это было даже замѣчено современными журналистами. „Наблюдая образованіе нашихъ писателей, говоритъ одинъ изъ нихъ, всякъ долженъ удивляться, что у насъ ихъ такъ много и довольно хорошихъ. Большая часть изъ нихъ, какъ портной Тришка, учились самоучкою. Рѣдкіе получили ученое воспитаніе. Выучившись читать и писать по русски (иногда и тому весьма плохо), затвердивъ наизусть нѣсколько французскихъ стихшковъ, зная, что во Франціи писали трагедіи Расинъ и Корнель, а комедіи Мольеръ, наши молодые люди почитаютъ себя совершенными и начинаютъ переводить, сочинять, печатать, издавать“...²⁾. Онъ же указываетъ на тотъ фактъ, что лучшие люди удаляются отъ литературной дѣятельности, хотя и выставляетъ тому другую причину: „Не довольно внимательная къ истиннымъ достоинствамъ публика наша (то есть многочислѣннѣйшая часть) причиною, что многіе люди съ талантомъ

¹⁾ Библ. Зап. 1895 г., т. II, стр. 257—263.

²⁾ Цвѣтникъ 1810 г., ч. VI, стр. 349.

и познаніями вскорѣ начинаютъ скучать упражненіями въ словесности и посвящаютъ свои дарованія государственной службѣ. Многие изъ нынѣшнихъ полезныхъ чиновниковъ государства (изъ которыхъ большая часть училась въ Московскомъ и нѣкоторые въ иностранныхъ университетахъ) въ молодости своей успѣшно занимались словесностью.

Хладнокровіе публики, не умѣющей цѣнить ихъ талантовъ, заставило ихъ бросить ученые занятія. Еслибъ я смѣлъ, то назвалъ бы такихъ людей двадцать и больше, занимающихъ нынѣ почетныя мѣста въ государствѣ. Вообще рѣдкій писатель трудится у насъ болѣе пяти лѣтъ сряду. Одобреніе и награда публики столь слабы, а досады и неудовольствія, сопряженныя съ состояніемъ писателя, такъ велики, что должно имѣть самую страстную любовь къ словесности, чтобъ заниматься ею долго¹⁾.

Къ числу этихъ отставшихъ отъ литературы образованныхъ и талантливыхъ людей принадлежалъ и Дашковъ. Его увлекло служебное честолюбіе, и по мѣрѣ своихъ успѣховъ, онъ забывалъ старыхъ друзей и товарищей по воспитанію и службѣ. Такъ Милоновъ, довольно замѣчательный сатирикъ, товарищъ ему по московскому пансіону, жалуется очень горько на его надменность²⁾. Въ 1817 году Дашковъ получилъ мѣсто совѣтника при посольствѣ въ Константинополь, гдѣ пробылъ около пяти лѣтъ и съ тѣхъ поръ не принималъ уже никакого участія въ литературномъ движеніи. Но въ эпоху появленія „Двухъ статей изъ Лагарпа“, переведенныхъ Шишковымъ, литература сильно занимала умъ Дашкова. Споръ Шихова съ Карамзинистами и нападенія его на новый слогъ придали ей нѣкоторое оживленіе; тутъ была борьба мнѣній, столкновение стараго съ новымъ, и Дашковъ явился на сторонѣ послѣдняго и потому, что уважалъ талантъ Карамзина и придавалъ его реформѣ слога большое значеніе, и потому, что въ нападеніяхъ Шихова было много несправедливаго. Дашковъ, конечно, не былъ филологомъ, но въ его критикѣ³⁾ очень много здраваго смысла и правды. Она отличается и достоинствомъ и безпристрастіемъ. Онъ совершенно согласенъ съ Шишовымъ относительно излишняго введенія въ языкъ нашъ несвойственныхъ ему словъ и оборотовъ, но замѣчаетъ, что требованія Шихова въ этомъ отношеніи слишкомъ парадоксальны, слишкомъ широки, хотя и повторяютъ то же самое, что высказано

¹⁾ Гл. VI, стр. 349—351.

²⁾ Библ. Зап. 1895 г., т. II, стр. 301—2.

³⁾ Цвѣтн. 1810 г., ч. VII.

было уже имъ въ его прежнемъ разсужденіи. Дашковъ справедливо замѣчаетъ преувеличеніе Шишкова въ томъ, что онъ совершенно смѣшиваетъ, соединяетъ въ одно два языка: славянскій и русскій въ *славяно-русскій*, хотя самъ совершенно ложно увѣряетъ, что русскій языкъ отдѣлился отъ славянскаго *введеніемъ множества татарскихъ словъ и выраженій*, совсѣмъ прежде неизвѣстныхъ. Соглашается Дашковъ съ Шишковымъ и въ томъ, что употребленіе славянскаго языка необходимо для возвышеннаго слога (это была дань господствующей теоріи), но употребленіе славянскихъ словъ и для этой цѣли требуетъ большой осторожности. Богатство языка, въ противность утвержденію защитника стараго слога, Дашковъ видитъ не въ его древнемъ и неизмѣняемомъ видѣ, а въ обогащеніи его новыми понятіями, а слѣдовательно и словами, только бы слова эти были хороши и точно выражали понятіе. Самъ защитникъ старыхъ словъ употребляетъ иногда выраженія, заимствованныя вовсе не изъ славянскаго языка, и употребляетъ съ большимъ успѣхомъ¹⁾.

„Хотѣть все вдругъ перемѣнить, хотѣть перевести всякое слово безъ разбора, есть также погрѣшность: ибо вмѣсто извѣстнаго и значительнаго иностраннаго слова, вездѣ употребляемаго, мнѣ вбиваютъ въ голову другое *славенорусское*, или лучше сказать—славено-варварское, совсѣмъ того смысла не выражающее“²⁾. Дашковъ указываетъ нѣсколько такихъ переведенныхъ Шишковымъ словъ, которыя не сохраняютъ смысла подлинника, напр. *лицедѣй*—актеръ, *краснословъ*—ораторъ, *вещесловіе*—матерія, произношеніе—просодія, художественныя, вмѣсто техническія названія и пр. Необходимо поэтому согласиться, что есть такія слова иностранныя, безъ которыхъ мы не можемъ обойтись, потому что не имѣемъ соотвѣтственныхъ имъ русскихъ выраженій. Чѣмъ замѣнить, напр., слова *критикъ*, *парадоксъ*, синонимъ и т. п.? Шишкову очень нравилась, и совершенно справедливо, способность русскаго языка къ составленію сложныхъ словъ; это доказываетъ богатство и особую упругость языка; но примѣры, имъ приводимые, были не совсѣмъ удачны, напр. онъ хвалилъ взятое имъ изъ священныя пѣсней прилагательное къ дереву—*благодѣтельнолиственное*, при чемъ забывалъ, что это буквальный переводъ съ языка греческаго, который скорѣе допускаетъ подобныя сложныя слова, чѣмъ русскій. Дашковъ въ насмѣшку приводитъ составленныя по этому образцу сложныя слова изъ одного современнаго рукописнаго перевода „Освобожденнаго Іерусалима“: *длинностозакоптѣмая*

¹⁾ Ibid., стр. 277.

²⁾ Ibid., стр. 296.

брада, *христоботокланяемая* страна—и доказываетъ этими примѣрами, какъ надобно быть осторожнымъ при составленіи новыхъ словъ.

У самого Шишкова критикъ находитъ тяжесть и неправильность слога и приводитъ довольно большое число примѣровъ, гдѣ онъ самъ, переводя изъ Лагарпа, не могъ удержаться отъ галлицизмовъ, отъ словъ, составленныхъ совсѣмъ не по-русски. Примѣры эти приведены были очень ловко и должны были задѣть за живое защитника чистоты русскаго слога, произвольно нарушившаго ее. Очень умно отвѣтилъ Дашковъ и на косвенный упрекъ въ неуваженіи къ религиознымъ обрядамъ, сдѣланный Шишковымъ всѣмъ Карамзинистамъ: „Показывать ошибки и опровергать должны умствованія писателей позволено всякому, говорить онъ; но не должно касаться до чести и мнѣній о вѣрѣ какого бы то ни было человѣка, даже и не называя его. Затѣмъ въ обыкновеннымъ сужденіямъ о словесности примѣшивать постороннія укоризны о неисполненіи обрядовъ, предписанныхъ церковью? Г. переводчикъ, конечно, самъ не захочетъ, чтобы мы, подражая ученымъ протекшихъ вѣковъ, при малѣйшемъ спорѣ называли другъ друга безбожниками и богохульниками¹⁾).

Такимъ образомъ становится довольно яснымъ, что подъ споромъ о словахъ скрывался споръ о понятіяхъ и убѣжденіяхъ, но высказывать послѣднія свободно и открыто и защищать ихъ было невозможно въ ту пору. Какъ бы то ни было, и писатели и журналисты раздѣлились въ то время на два лагеря: къ Шишкову, къ старикамъ литературнаго преданія, къ заслуженнымъ генераламъ литературы, у которыхъ образовался вскорѣ центръ соединенія въ „Бесѣдѣ любителей Россійскаго слова“, пристало все, чтò въ литературѣ было бездарнаго или приниженнаго и искательнаго, въ надеждѣ выиграть искательствомъ и лестью у знатныхъ стариковъ. Другая сторона, гдѣ находились люди съ дѣйствительными знаніями и талантами, образовала противоположный центръ въ такъ называемомъ „Арзамасскомъ обществѣ“. Но люди эти смотрѣли на литературу, какъ на забаву между дѣль, какъ на отдыхъ послѣ болѣе трудныхъ и болѣе уважаемыхъ занятій; вся ихъ дѣятельность ограничивалась насмѣшкой и пародіей на внѣшнюю обстановку литературныхъ занятій „Бесѣды“ и въ особенности на слогъ ея членовъ. Здѣсь, именно въ трудахъ „Бесѣды“, нашелъ себѣ пріютъ тотъ слогъ, который рекомендовалъ съ такимъ усердіемъ Шишковъ. Здѣсь находили полное одобреніе напыщенные, насыщенные славяно-церковными выраженіями вирши Боброва, кн. Ширинскаго-Шихматова, переводы Захарова и подобныя произведенія еще болѣе бездарныхъ писателей, въ родѣ доносчика Гера-

¹⁾ Ibid., стр. 430—431.

кова. Все это, разумѣется, давало обширный матеріалъ для насмѣшекъ, но дѣло и ограничивалось только ими.

Упорный Шишковъ не могъ и теперь не отвѣтить своему новому критику, какъ отвѣчалъ онъ прежнимъ. Онъ твердо стоялъ на своемъ и считалъ своимъ долгомъ защищать высказанныя имъ разубѣждения. Этотъ отвѣтъ вошелъ въ его новое „Разсужденіе о краснорѣчїи священнаго писанїа и о томъ, въ чемъ состоитъ богатство, обилїе, красота и сила Россійскаго языка, и какими средствами оный еще болѣе распространить, обогатить и усовершенствовать можно“. Разсужденіе это было имъ читано въ годовомъ собранїи Россійской Академіи въ декабрѣ 1810 года, а потомъ, печатая его въ слѣдующемъ году, онъ присоединилъ къ нему „присовокупленіе“, въ которомъ и заключенъ отвѣтъ его критику. Разсужденіе это было писано на двѣ темы, заданныя Академіей, т.-е. по всей вѣроятности, самимъ Шишковымъ; темы эти онъ соединилъ въ одно, а самое разсужденіе представляетъ слѣдующія три части: а) о превосходныхъ свойствахъ нашего языка, б) о краснорѣчїи священныхъ писанїй и с) какими средствами словесность наша обогащаться можетъ, и какими приходитъ въ упадокъ.

Нѣтъ никакой надобности входить въ подробное изложеніе этого новаго произведенїа Шишкова; настоящимъ филологомъ онъ не былъ и отличался только платоническою любовью къ славянскому языку. По его собственнымъ словамъ, этотъ языкъ былъ для него „нѣкая чудная загадка, понынѣ еще темная и не разрѣшенная“. Онъ говорилъ о языкѣ или наивныя или бессодержательныя фразы; на языкъ славянскій смотрѣлъ, какъ на первоначальный. Подражаніе звукамъ природы, впечатлѣнїя предметовъ на органы слуха и зрѣнїя—вотъ источники словъ. Поэтому Шишковъ говорилъ напр.: „ежели умъ примѣчалъ въ какой либо видимой вещи круглость, то для составленїа имени ея выбиралъ и буквы такой же образъ имѣющія: око“. Онъ останавливается на богатствѣ въ русскомъ языкѣ такихъ многозначущихъ словъ, неимѣющихся ни въ нѣмецкомъ, ни въ французскомъ языкахъ. Богатство это особенно проявилось въ древнемъ славянскомъ переводѣ книгъ Священнаго Писанїа, а потому-то въ нихъ и заключаются образцы истиннаго краснорѣчїа. Чтобы показать эти образцы, Шишковъ представляетъ довольно много выписокъ изъ книгъ священнаго писанїа; въ словахъ этого древняго перевода заключены корни всѣхъ русскихъ словъ, а потому „для украшенїа нынѣшняго нашего нарѣчїа остается только черпать изъ онаго“. Такъ и поступали всѣ поклонники Шишкова, раздѣлявшїе его взглядъ на *новый* слогъ. Оба языка, и славянскїй и русскїй—одно и то же; толки, распространенныя во многихъ нынѣшнихъ книгахъ о разно-

сти этихъ двухъ языковъ, не даютъ процвѣтать нашей словесности. А потому всѣ усилія новаго разсужденія Шишкова направлены къ тому, чтобъ доказать единство обоихъ языковъ и опровергнуть ихъ мнимое различіе, утверждаемое его противниками. Русскій языкъ, отдѣльно отъ словенскаго—мечта, загадка, по словамъ Шишкова; но славянскій языкъ стоитъ выше русскаго; это высокій, книжный, ученый языкъ, образецъ для краснорѣчія. Не понимаютъ этого и не хотятъ понять люди, испорченные французскимъ воспитаніемъ, „нѣсколько журналистовъ, неизвѣстныхъ ни именами своими, ни трудами, нѣсколько молодыхъ людей, научившихся превратно видѣть вещи“. Противъ этихъ-то людей, въ числу которыхъ принадлежитъ, разумѣется, и новый критикъ Шишкова, направлено его „присовокупленіе“. Здѣсь Шишковъ прямо приводитъ слова его авторитета Лагарпа, который доказываетъ вредъ, нанесенный Франціи журналами, появившимися въ ней со времени революціи. То же видитъ Шишковъ и у насъ. Во многихъ статьяхъ нашихъ журналовъ, по словамъ его, не щадится ни нравственность, ни разсудокъ. Хлопочать о раздѣленіи русскаго языка отъ славянскаго для того, „чтобъ умъ и сердце каждаго отвлечь отъ правоучительныхъ духовныхъ книгъ, отвратить отъ словъ, отъ языка, отъ разума оныхъ, и привязать къ однимъ свѣтскимъ писаніямъ, гдѣ столько разставлено сѣтей къ помраченію ума и уловленію невинности“. „Какое намѣреніе, спрашиваетъ Шишковъ, полагать можно въ стараніи удалить нынѣшній языкъ нашъ отъ языка древняго, какъ не то, чтобъ языкъ вѣры, ставъ невразумителенъ, не могъ никогда обуздывать языка страстей?“ Вотъ, до какихъ преувеличеній, до какихъ инсинуацій доходилъ Шишковъ въ своемъ рвеніи къ словенскому языку, обвиняя современную литературу и нашу невинную журналистику въ безбожномъ революціонномъ направленіи...

ЛЕБЦІЯ XXVII.

Книга Дашкова «О легчайшемъ способѣ возражать на критики».—«Разговоры о словесности» Шишкова.—Критика Каченовскаго на первый разговоръ.—«Бесѣда».

Новое сочиненіе Шишкова по языку или новый отвѣтъ его критикамъ, какъ мы видѣли, не прибавлялъ ничего къ высказаному уже имъ нѣсколько разъ, не усиливало его доказательствъ, но выражало только его раздраженіе, въ пылу котораго онъ забывалъ приличія литературной критики и удалялся отъ дѣла, нападая на воображаемые имъ нравственные недостатки своихъ противниковъ. Причина этихъ нападеній заключалась въ томъ, что у Шишкова вовсе не было

знаній, необходимыхъ для того предмета, который онъ взялся доказывать и защищать. Болѣе серьезнымъ образомъ доказать незнаніе Шишкова старался тотъ же Дашковъ въ своей небольшой книжкѣ, которая должна была служить отвѣтомъ Шишкову на его новыя нападенія. Эта книжка вышла въ 1811 году подъ заглавіемъ: „О легчайшемъ способѣ возражать на критики“ и могла бы считаться лучшимъ полемическимъ русскимъ сочиненіемъ того времени, еслибъ предметъ ея не былъ такъ далекъ отъ современности и общественности. Во всякомъ случаѣ она свидѣтельствуетъ о познаніяхъ, умѣ и авторскомъ талантѣ Дашкова. Можно пожалѣть, что онъ промѣнялъ поприще писателя на государственную службу.

Отвѣтъ Дашкова направленъ собственно противъ „Присовокупленія“ Шишкова, въ которомъ онъ нападалъ вовсе не литературнымъ образомъ на своихъ противниковъ. „Отвѣчать бранью на учтивую, благонамѣренную критику, значить признать себя торжественно не въ состояніи отвѣчать на оную доказательствами, говорить Дашковъ, но къ сужденіямъ о языкѣ примѣшивать нравственность и вѣру, въ неукротимой запальчивости называть противниковъ своихъ *имъющими поврежденное сердце* и укорять ихъ въ мнимомъ намѣреніи ослабить благотворную власть вѣры, забывать права общественныя и должное уваженіе къ лицу всякаго гражданина—есть разительный примѣръ, сколь сильно дѣйствуетъ оскорбленное самолюбіе и желаніе властвовать въ республикѣ словесности“... „Человѣкъ, упражняющійся въ словесности, оставляетъ почтенное сіе занятіе, вступаетъ въ поприще ругательства, присвоиваетъ себѣ право обвинять своихъ согражданъ, и все сіе, дабы отмстить за то, что ему дерзнули противорѣчить, что смѣли показать его ошибки!“..... Дашковъ доказываетъ, что Шишковъ собственно объ ошибкахъ, указанныхъ ему критикою „Двѣтника“, старается вовсе не говорить. Это и есть *легчайшій способъ возражать на критики!* „Къ сему не нужны ни ученость, ни знаніе языка, ни даже здравая логика!“¹⁾ Онъ ставитъ рѣзкую противоположность между стариками, съ младенчества приучившими себя къ нескладному сборищу славенскихъ выраженій, и юношами, воспитанными въ правилахъ здраваго вкуса. Конечно, при характерѣ критики Шишкова, спорить съ нимъ трудно: „Онъ почитаетъ всякое оружіе противъ соперниковъ своихъ законнымъ, по произволению перемѣняетъ значеніе словъ и смыслъ рѣчи, и употребляетъ насмѣшку тамъ, гдѣ самъ ошибается“²⁾, но Дашковъ очень умно и съ знаніемъ дѣла разбиваетъ всѣ слабые доводы Шишкова въ пользу

¹⁾ Ibid., стр. 14.

²⁾ Ibid., стр. 30.

его мнѣнія о тождествѣ славянскаго и русскаго языковъ; онъ старается выставить его дѣйствительно незнающимъ того предмета, о которомъ такъ давно и съ такою горячностію Шишковъ толкуетъ публикѣ. Дашковъ присоединяетъ его къ числу „мнимыхъ нашихъ Квинтиліановъ, которые, ничему не учившись въ молодости и при-
выкнувъ писать на удачу, обо всемъ судятъ, все знаютъ, переводятъ съ французскаго и другихъ языковъ, не понимая оныхъ, и никакъ не хотятъ признаться въ своемъ невѣжествѣ“¹⁾). Положенія и утвер-
жденія Шишкова онъ называетъ *видѣніями*. Въ самомъ дѣлѣ не видѣніе ли утвержденіе Шишкова, что древній славянинъ для состав-
ленія имени круглой вещи выбиралъ и буквы круглыя, напр. око.
„Прекрасно! замѣчаетъ въ этомъ случаѣ Дашковъ: потому буква о
есть несомнѣнный признакъ *круглости* во всѣхъ словахъ, гдѣ только
она находится: отчего же нѣтъ ея въ названіяхъ *круча* и *шара*,
фигуръ самыхъ круглѣйшихъ? Неужели Славеникъ, умѣвшій столь
искусно разсуждать при составленіи языка своего, забылъ при на-
званіи сихъ образцовъ круглости любимую свою систему?“²⁾). Такъ
молодой и талантливый писатель разрушалъ авторитетъ Шишкова,
разбивая его положенія и доказывая его незнаніе. Но Шишковъ не
сдавался; въ его писательствѣ было удивительное упорство, онъ все
твердилъ одно и то же. Онъ какъ будто не слушалъ ни возраженій,
ни справедливыхъ критикъ, на него направленныхъ, и очень часто
снова повторялъ свои парадоксальныя утвержденія. Въ томъ же
1811 году, когда появилась книжка Дашкова, Шишковъ напечаталъ
новое сочиненіе „Разговоры о словесности между двумя лицами Азъ и
Буки“. Разговоровъ этихъ два: одинъ о русскомъ правописаніи, дру-
гой о русскомъ стихотвореніи. Въ первомъ, согласно общему убѣж-
денію Шишкова, доказывается, что достаточныя и твердыя правила
для русскаго правописанія заключаются въ церковныхъ книгахъ,
что поэтому желаніе отдѣлать славянскій языкъ отъ русскаго есть
только незнаніе и невѣжество, что языкъ книжный отъ словеснаго
долженъ быть необходимо отдѣленъ, что порча того и другого про-
исходитъ отъ нашего воспитанія: „Еслибъ воспитаніе наше было
такое, говоритъ онъ, чтобъ мы отъ самаго дѣтства своему языку
основательно учились, своимъ языкомъ говорили, свои книги читали,
тогда бы разговорный языкъ сталъ возвышаться и чиститься отъ
книжнаго, на разумъ основаннаго, а не книжной упадать и портиться
отъ разговорнаго, невѣжественнаго языка“³⁾). Весь этотъ первый разго-

¹⁾ Ibid., стр. 50.

²⁾ Ibid., стр. 73.

³⁾ Разговоры, стр. 26—7.

воръ Шишкова касается мелкихъ вопросовъ правописанія, употребленія нѣкоторыхъ буквъ въ предлогахъ, сложныхъ съ глаголами, измененія ихъ и т. п. Въ немъ встрѣчаются тѣ же словопроизводства, которыя всегда любилъ Шишковъ, напр. *хранца* отъ храненіе, *лѣстница* отъ лезу, *обонаніе* отъ обвонаніе и пр., то же, какъ и прежде, отдѣленіе высокаго слога отъ низкаго и т. п. Словомъ, упорный ненавистникъ новаго слога стоялъ на прежнемъ; для него какъ бы не существовали критическія замѣчанія его противниковъ.

Второй разговоръ „о русскомъ стихотвореніи“ посвященъ собственно народной поэзіи и надобно поставить въ заслугу Шишкову, что онъ заговорилъ въ ту пору объ этомъ забытомъ или вовсе неизвѣстномъ для современныхъ писателей предметѣ. Онъ говорилъ о необходимости примкнуть искусственной поэзіи къ народной, говорилъ, что первая уклонилась отъ второй не только мѣрою, но слогомъ, мыслями, выраженіями и даже словами, и даетъ наконецъ образцы языка въ народной поэзіи, приводя ея отрывки. Шишковъ глубоко убѣжденъ въ достоинствѣ народной поэзіи, утверждаетъ, что первоначальный видъ нашихъ пѣсенъ и сказокъ былъ превосходный, любитъ ихъ образами и выраженіями. Онъ первый указалъ на нѣкоторыя характеристическія особенности языка нашей народной поэзіи, которыя потомъ повторяли только изслѣдователи, напр.: повтореніе, постоянные эпитеты, сокращенныя прилагательныя, употребленіе уменьшительныхъ и ласкательныхъ, вводныя поговорки, отрицаніе, выражающееся въ сравненіяхъ, простота и естественность этихъ сравненій и т. п. Изъ довольно длиннаго разговора Шишкова видно, что онъ глубоко и искренно любилъ народную поэзію и понималъ ея красоты. Онъ требовалъ отъ современной литературы знакомства съ нею. „Мы бросились на новѣйшіе иностранныя языки, заключаетъ онъ этотъ разговоръ свой, и переводя съ нихъ, стали придерживаться ихъ свойствамъ. Чего у нихъ въ языкѣ нѣтъ, того уже и мы въ сочиненіяхъ своихъ употребляемъ. Сіе излишнее подражаніе имъ отводитъ насъ отъ собственныхъ красотъ языка нашего и, стѣсня предѣлы онаго, служить болѣе ко вреду, нежели къ пользѣ словесности“¹⁾. То, что высказалъ Шишковъ въ этомъ разговорѣ о народномъ языкѣ, составляетъ его дѣйствительную заслугу, и современная критика, преслѣдовавшая всякое его сочиненіе, не задѣла это; напротивъ, отозвалась съ полнымъ одобреніемъ его мысли. Зато первый разговоръ, гдѣ снова повторялись его мысли о единствѣ славянскаго, т.-е. церковнаго языка съ русскимъ, встрѣ-

¹⁾ Ibid., стр. 156.

тель новаго и очень дѣльнаго критика въ издателѣ „Вѣстника Европы“ — Каченовскомъ (1811 г., №№ 12 и 13). Онъ оспаривалъ главное положеніе Шишкова, доказывалъ, что не въ церковныхъ книгахъ заключаются правила русскаго правописанія, а въ грамматикахъ, что славянскій языкъ нашихъ церковныхъ книгъ очень удаленъ отъ современнаго русскаго и несходствомъ словъ, и разностію въ спряженіяхъ и даже въ синтаксисѣ, что русскій языкъ не нарѣчіе славянскаго, а другой самостоятельный языкъ, что на немъ излагаются законы, пишутся книги и пр. Каченовскій доказывалъ и всю неестественность словопроизводства у Шишкова, но, конечно, не могъ убѣдить своего противника никакими доводами. Попрежнему далъ онъ отпоръ и въ „Прибавленіи къ разговорамъ о словесности“ отвѣтилъ Каченовскому (Спб., 1812 г.), опровергая его, хотя и весьма слабо. На этотъ разъ онъ по крайней мѣрѣ не затрагивалъ личностей.

Въ такомъ видѣ представляется этотъ продолжительный и, по правдѣ сказать, бесполезный для жизни и литературы споръ о языкѣ, поднятый Шишковымъ; онъ велъ этотъ споръ до 1812 года, когда новыя обязанности отвлекли Шишкова отъ любимаго предмета и когда потомъ, послѣ великихъ событій времени, общество и литература не могли уже воротиться къ прежнему. Разбирая фазисы этого спора и содержаніе рѣчей противниковъ, мы могли видѣть, что споръ этотъ былъ какъ бы чисто внѣшняго характера, касался словъ, а не идей и не понятій. Подъ словами однакожь, какъ мы замѣчали не разъ, скрывались понятія; спорящіе ихъ подразумевали только, но не высказывали. Шишковъ раздѣлялъ понятія и убѣжденія Глинки. Онъ самъ это высказывалъ въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Бардовскому, большому поклоннику его идей. Этотъ Бардовскій перевелъ одно изъ сочиненій Лагарпа, въ которомъ тотъ нападалъ на философію XVIII вѣка: „Опроверженіе злоумышленныхъ толковъ, распространенныхъ философами XVIII вѣка противъ христіанскаго благочестія“ (М. 1810 г.). Шишкову нравится „Русскій Вѣстникъ“ за то именно, что журналъ этотъ не любитъ новаго просвѣщенія. „Для того весьма охотно читаю „Русскій Вѣстникъ“ — пишетъ онъ къ Бардовскому — который не твердитъ о словахъ *эстетика, образованіе, простыщеніе* и тому подобныхъ, но говоритъ всегда объ истинной и чистой нравственности, отъ которой въ нынѣшнія времена родъ чловѣчскій, къ злополучію своему, далѣе и далѣе отпадаетъ. Онъ не смотритъ на то, что таковыя его писанія многимъ, у которыхъ голова вскружена *новыми понятіями*, не нравятся; онъ продолжаетъ, исполняя долгъ свой, и сѣетъ сѣмена общаго и давно проповѣдываемаго благомыслія, не угадывая предбудущаго и не зная, дождь ли ихъ

залеть или солнце согрѣть“¹⁾. Такъ точно смотрѣлъ и Шишковъ на свою дѣятельность: „Господа журналисты и большая часть молодыхъ людей (нынѣшняго образа мыслей) крайне меня не жалууютъ; но признаюсь, что изъявляемая ими ненависть ко мнѣ есть самое то, чѣмъ я горжусь; знавъ, что я различно съ ними думаю, а они такъ худо и вредно думаютъ, что быть съ ними различнаго мнѣнія дѣлаетъ человѣку честь“²⁾. Изъ этихъ словъ Шишкова очевидно для всякаго, что, несмотря на всю его любовь къ корнямъ русскаго языка, было ему что-то другое дороже. Это другое — старыя понятія и ненависть къ идеямъ прогресса и развитія, ненависть, соединявшаяся въ то время съ патриотизмомъ.

Кажется, съ пѣлю распространенія въ обществѣ своихъ понятій и убѣжденій Шишковъ придумалъ организовать собранія своихъ единомышленниковъ по литературнымъ взглядамъ въ нѣчто правильное, не случайное, а періодически повторяющееся. Мы говорили уже о литературныхъ друзьяхъ Шишкова, людяхъ болѣе извѣстныхъ въ литературѣ своею привязанностію къ старымъ формамъ и идеямъ, чѣмъ талантомъ. Часто собирались они другъ у друга; наконецъ, по предложенію князя Голицина³⁾, Шишкову или Державину пришло на мысль сдѣлать эти частныя собранія общественными. Частныя собранія эти возникли гораздо раньше. Писатели одного закала, поклонники Державина и Шишкова, собирались еще съ 1806 года то у того, то у другого. На собраніяхъ этихъ, кромѣ записныхъ литераторовъ, старыхъ и молодыхъ, публики впрочемъ не было. Общій характеръ ихъ и содержаніе нѣкоторыхъ чтеній съ ихъ обстановкою представлены довольно подробно въ запискахъ Жихарева, принадлежавшаго къ числу молодыхъ литераторовъ, начинающихъ свою карьеру подъ перовительствомъ старшихъ. Жихаревъ прославился въ этомъ обществѣ, какъ чтець и декламаторъ, и старикъ Державинъ любилъ слушать изъ устъ его свои оды, и часто заставлялъ его читать. Мысль сдѣлать чтенія публичными возникла въ 1810 году, по разсказу Вигеля, въ то время, когда въ Петербургъ пришло извѣстіе о томъ, что Карамзинъ въ Твери у В. К. Екатерины Павловны читалъ свою исторію и еще какое-то другое произведеніе императору Александру, который будто бы склонился къ его образу мыслей. Мы знаемъ, что Шишковъ, въ своемъ блаженномъ невѣдѣніи, все еще продолжалъ смотрѣть на Карамзина, какъ на яковинца; вѣроятно, въ публичности

¹⁾ Записки. Берлинъ 1870 г. II, стр. 319.

²⁾ Ibid., стр. 317.

³⁾ Это былъ князь Борисъ Владимір. Голицинъ (1769—1813). См. Соч. Держ. Изд. Ав. Н. т. VIII, стр. 905.

„Бесѣды“ онъ думалъ образовать противодѣйствіе возникшему вліянію Карамзина. Какъ ни былъ онъ преданъ русской словесности, какъ ни любилъ онъ старыи слогъ и изслѣдованіе корней, все же, сколько можно видѣть изъ его „Записокъ“, въ немъ была значительная доля честолюбія и онъ считалъ нужнымъ жаловаться, что его забыли. Въ это время, послѣ тильзитскаго мира, государь, по его словамъ, былъ въ негодованіи на него за какіе-то имъ написанныя французскіе стихи по поводу этого мира. Шишковъ не любилъ ни Сперанскаго, ни его преобразованій; безъ сомнѣнія, онъ рѣзко отзывался въ обществѣ о томъ и другомъ; образъ мыслей его былъ извѣстенъ, и въ этомъ, конечно, надобно искать причину, почему онъ не могъ участвовать въ высшемъ управленіи. Когда въ 1810 году, по проекту Сперанскаго, образовался Государственный Совѣтъ, Шишковъ не былъ назначенъ его членомъ по личному нежеланію Александра. Одному изъ близкихъ къ Шишкову людей—Философову Александръ будто бы сказалъ, что „лучше согласится не царствовать, нежели сдѣлать его членомъ“ ¹⁾. Тогда, говорить Шишковъ, я попрежнему обратился къ любимымъ своимъ занятіямъ словесностью. И организованная „Бесѣда“ съ своими публичными засѣданіями скоро выдвинула его впередъ.

„Бесѣда любителей Русскаго слова“ была Высочайше утверждена 17 февраля 1811 года, и первое публичное чтеніе ея съ торжественною обстановкою происходило 14 марта того же года. Организацию этого любимаго дѣтища Шишкова и Державина можно узнать изъ 1 и 13 книжки „Чтеній“, которыхъ вышло 20 книжекъ (1811—1815 г.). „Бесѣда“ имѣла четыре разряда и у всѣхъ ихъ вмѣстѣ были попечители, принадлежавшіе къ самымъ знатымъ лицамъ по служебной іерархіи. Эти попечители были, при основаніи „Бесѣды“: Н. С. Мордвиновъ, Графъ А. К. Разумовскій, И. И. Дмитріевъ, В. С. Поповъ и С. К. Вязьмитиновъ,—не всѣ, какъ видно, литераторы. Предсѣдателями разрядовъ были: Шишковъ, Державинъ, А. С. Хвостовъ и И. М. Муравьевъ-Апостолъ. Затѣмъ шли дѣйствительные члены, члены—сотрудники и наконецъ почетные члены, къ числу которыхъ принадлежали лица духовныя и, между прочимъ, нѣкоторыя дамы-писательницы, которыя подъ покровительствомъ Державина и Шишкова получили тогда литературную извѣстность, какъ княжна Урусова и дѣвицы Бунина и Волкова. Нельзя не замѣтить, что старіе организаторы „Бесѣды“, по привычкѣ служебной и согласно своимъ понятіямъ, ввели въ собраніе нѣсколько чиновничій характеръ, что,

¹⁾ Зап. I, стр. 114—115.

разумѣтся, не могло понравиться нѣкоторымъ молодымъ писателямъ. Такъ Гнѣдичъ, извѣстный впоследствии какъ переводчикъ Иліады, а тогда только что начинающій поэтъ, завелъ по поводу этого чиновничьяго доволно забавную переписку съ Державинымъ. Онъ замѣтилъ, что члены второго разряда подъ предсѣдательствомъ Державина, куда и его помѣстили, *разставляются по чинамъ*.

„Отдавая всю справедливость и уваженіе заслугамъ по службѣ, писалъ онъ, я тогда только позволю себѣ видѣть имя свое ниже нѣкоторыхъ господъ, послѣ какихъ внесенъ я въ списоки, когда дѣло будетъ идти о чинахъ“. Онъ не понималъ также разности между званіемъ дѣйствительнаго члена и члена-сотрудника и просилъ позволенія не называться просто членомъ-сотрудникомъ, а или „членомъ-сотрудникомъ Его Высокопревосходительства Державина“ или только *членомъ*. „Еслижъ на это или не дадутъ согласія гг. члены, или не буду я въ правѣ по моему чину, то въ обоихъ случаяхъ мнѣ ничего не остается, кромѣ заслуживать еще и лучшее о себѣ мнѣніе и большій чинъ“¹⁾. Такихъ, впрочемъ, независимыхъ молодыхъ писателей въ „Бесѣдѣ“ было немного.

Не безъ мысли противодѣйствовать Карамзину и его школѣ и проводить въ общество свои любимыя идеи и убѣжденія была задумана и организована со стороны Шишкова „Бесѣда“. Въ печатномъ планѣ „Бесѣды“ высказывался намекъ на Карамзина и почему публика такъ любитъ его сочиненія: „Временная слава возрастаетъ отъ нѣ котораго стеченія обстоятельствъ, говорилось здѣсь²⁾, отъ случайнаго расположенія умовъ и часто отъ размноженія пустыхъ голосовъ, повторяющихъ одинъ другого“. Въ „Бесѣдѣ“ есть и прямая выходка противъ Карамзина, написанная не безъ злости и не безъ правды, въ посланіи Марина³⁾.

„И впрямь, что нужды мнѣ въ дѣла другихъ мѣшаться?
 На свѣтѣ можетъ всякъ, чѣмъ хочетъ заниматься.
 Пускай нашъ Ахалейнъ стремится въ новый путь,
 И вздохами свою наполня томну грудь,
 Описать, свойства плакъ давъ Игорю и Кію,
 И добреньяихъ Славянъ и милую Россію“...

„Бесѣда“ была то же, что и Россійская академія; большинство членовъ первой было и членами послѣдней, но Академія не имѣла тогда никакого значенія и никакого вліянія на общество; тамъ въ эту пору засѣдали удрученные лѣтами маститые старцы; молодыхъ

¹⁾ Соч. Державина. Изд. Ак. Н. т. 8, стр. 909.

²⁾ Чтеніе въ Бесѣдѣ любителей русск. слова, кн. I. стр. IV.

³⁾ Ibid., кн. III, стр. 121.

и дѣятельныхъ членовъ не было, а между тѣмъ Шишкову, который только въ 1813 году сдѣлался президентомъ Россійской Академіи, хотѣлось имѣть вліяніе на общество: главная цѣль „Бесѣды“ состояла „въ чтеніи произведеній своихъ предъ посѣтителеми обоего пола“. Патриотическія стремленія времени, все болѣе и болѣе увеличивающіяся по мѣрѣ приближенія грознаго 12 года, способствовали участію общества къ этому учрежденію. „Воспринявшее въ разныхъ состояніяхъ чувство патриотизма, говоритъ въ своихъ „Запискахъ“ Вигель, видимо однако нерасположенный въ „Бесѣдѣ“, потому что самъ принадлежалъ въ „Арзамасу“, подѣйствовало, наконецъ, и на высшее общество: знатныя барыни на французскомъ языкѣ стали восхвалять русскій... Имъ и придворнымъ людямъ натолковали, что онъ искаженъ, зараженъ, начиненъ словами и оборотами, заимствованными у иностранныхъ языковъ, и что „Бесѣда“ составила единственно съ цѣлю возвратити ему его чистоту и непорочность“... Конечно въ этомъ поворотѣ общественнаго мнѣнія въ высшемъ кругу была виновата вовсе не пропаганда, дѣлаемая сочиненіями Шишкова, быстро сдѣдовавшими одно за другимъ, но обстоятельства времени, мода и наконецъ образъ дѣйствій самой власти, которая желала воспользоваться этимъ патриотическимъ настроеніемъ общества. Наивно было бы повѣрить Шишкову, что послѣ перваго чтенія въ „Бесѣдѣ“ „многія присутствовавшія на немъ госпожи почувствовали, что не похвально языкъ свой презирать и многихъ, прекрасныхъ на немъ сочиненій не читать, и не знать“¹⁾. Изъ всѣхъ русскихъ писателей того времени въ знатныхъ кружкахъ петербургскаго общества вращался только одинъ Крыловъ, начавшій съ 1806 года писать и печатать свои знаменитыя басни. Ихъ, конечно, слушали съ удовольствіемъ въ разныхъ домахъ, но любили Крылова въ то время вовсе не за басни, а за его шутиливость и другія свойства характера.

Собранія членовъ „Бесѣды“ были частныя и публичныя. Послѣднія происходили обыкновенно по вечерамъ; посѣтители съѣзжались не иначе, какъ по пригласительнымъ билетамъ и этимъ собраніямъ старались придать какъ можно болѣе торжественный видъ. Въ домѣ Державина была нарочно приспособленная къ этимъ собраніямъ зала, которая ярко освѣщалась. По срединѣ залы стоялъ большой круглый столъ, покрытый зеленымъ сукномъ, вокругъ котораго сидѣли члены, обыкновенно подъ предсѣдательствомъ Державина, по „мановенію котораго начиналось и перемежалось занимательное чтеніе въ слухъ и часто образцовое“, говоритъ современникъ (Стурдза). Слушатели помѣщались на сѣдалищахъ, возвышавшихся уступами вокругъ залы.

¹⁾ Записки I, стр. 117.

На часть внѣшнюю, декоративную было обращено особенное вниманіе. Она, конечно, была гораздо красивѣе самаго содержанія чтеній, которыя до 1812 года ничѣмъ не отличались отъ статей, помѣщаемыхъ въ журналѣ Глинки. Въ самомъ дѣлѣ, изъ всего, что было прочитано въ „Бесѣдѣ“ и потомъ напечатано въ ея изданіи, кромѣ нѣсколькихъ басенъ Крылова, ничего не удержалось въ исторіи нашей литературы. Едва ли большая часть публики могла слушать съ удовольствіемъ эти скучныя чтенія, въ которыхъ не было ничего живаго. Самый большій вкладъ въ „Бесѣду“ вложили главные ея представители и учредители: Державинъ и Шишковъ. Первый, въ продолженіе цѣлаго ряда чтеній излагалъ здѣсь свое длинное разсужденіе „о лирической поэзіи“—старческую компиляцію изъ разныхъ нѣмецкихъ эстетикъ, которая никого не могла интересовать. Одно мѣсто этого разсужденія подало поводъ къ продолжительнымъ насмѣшкамъ надъ легковѣріемъ Державина. Въ Петербургѣ былъ тогда какой-то любитель и собиратель древностей Селакадзевъ, плохой знатокъ древностей или, можетъ быть, плутъ ¹⁾, который продалъ Державину кожаный свитокъ, на которомъ было написано якобы славено-рунное стихотвореніе I вѣка и нѣсколько произреченій новгородскихъ жрецовъ V вѣка. Державинъ напечаталъ эти рѣдкости особенными буквами—точнымъ снимкомъ съ мнимыхъ рунъ, съ переводомъ на русскій и разсуждалъ о нихъ, какъ объ остаткахъ древнѣйшей лирической поэзіи славянъ ²⁾. Кажется, что всѣ члены „Бесѣды“ вѣрили подлинности рунъ. Вообще Державинъ былъ самымъ дѣятельнымъ членомъ „Бесѣды“. Всѣ послѣднія его стихотворенія помѣщены въ этомъ изданіи, которое и прекратилось вмѣстѣ съ его смертію. Шишкова еще раньше отвлекли отъ „Бесѣды“ другія обязанности. Но онъ открылъ эти собранія. Его рѣчь при открытіи „Бесѣды“ ³⁾ говорила вообще о словесности, и служила какъ бы введеніемъ въ предстоящія чтенія. Она наполнена множествомъ отрывковъ изъ любимыхъ имъ прозаиковъ и поэтовъ русскихъ, которыми онъ хотѣлъ возбудить любовь къ нашему языку и чтенію на немъ собственныхъ нашихъ произведеній. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ снова читалъ свою извѣстную рѣчь, или „Разсужденіе о любви къ отечеству“ ⁴⁾. Онъ рассказываетъ въ своихъ „Запискахъ“, что долго не рѣшался читать этой рѣчи, зная неблаговоленіе къ себѣ государи, боясь французскаго посла Коленкура и опасаясь „чтобъ не поставили мнѣ это въ какое нибудь смѣлое покушеніе, безъ воли правительства возбуждать гордость народну“, но наконецъ рѣшился

¹⁾ Зап. Жихарева, стр. 360—361.

²⁾ Чтеніе въ Бесѣдѣ люб. русск. слова, кн. VI, стр. 5—7.

³⁾ Соч. IV, стр. 108—146.

⁴⁾ Чтеніе, кн. V, стр. 1—54.

послѣ долгихъ колебаній. Рѣчь эта, конечно, имѣеть отвлеченный характеръ, но онъ получилъ реальное содержаніе, въ виду близившихся событій 1812 года. Рѣчь исполнена пылаго чувства; съ силою говорилъ Шишковъ о народной гордости, о вѣрѣ, воспитаніи, языкѣ. Собраніе было многочисленно; рѣчь имѣла успѣхъ; о ней заговорили въ столицѣ и безъ сомнѣнія она была причиною, что въ мартѣ 1812 года, тотчасъ по паденіи Сперанскаго, Александръ послалъ за Шишковымъ и сдѣлалъ его государственнымъ секретаремъ. Тогда сталъ онъ писать свои знаменитые манифесты, которые возбуждали народъ и общество въ эпоху отечественной войны.

ЛЕКЦІИ XXVIII и XXIX.

Крыловъ.—Комедіи его «Модная лавка» и «Урокъ дочкамъ».—Озеровъ и его трагедіи: «Ярополкъ и Олегъ», «Эдипъ въ Аѣинахъ», «Фингалъ».

Патріотическое возбужденіе общества въ годы съ 1806 по 1812 было до такой степени сильно, что люди съ несомнѣннымъ талантомъ въ какомъ-нибудь литературномъ родѣ увлекались невольно общимъ настроеніемъ и пытали свои силы въ томъ, что находило къ себѣ сочувствіе, что нравилось большинству. Къ числу такихъ талантовъ въ литературѣ, заплатившихъ дань времени, принадлежалъ Крыловъ. Имя его, правда, было уже извѣстно въ литературныхъ кружкахъ и между лицами интересовавшимися литературою, но дѣйствительный родъ поэзіи, который доставилъ ему славу, еще не вполне былъ признанъ имъ. Литературная дѣятельность знаменитаго баснописца началась давно; уже въ 1789 году онъ является издателемъ-журналистомъ, писателемъ для театра, поэтомъ, но недостатокъ серьезнаго образованія, лѣнь—характеристическая черта Крылова, различныя мелкія увлеченія, бродячая жизнь по Россіи, которая унесла безслѣдно нѣсколько лѣтъ его жизни, не позволяли Крылову ни на чемъ сосредоточиться. Первые годы царствованія Александра, не принимая ни въ чемъ участія, относясь совершенно безразлично къ признакамъ новой жизни, которая началась тогда въ Россіи, Крыловъ прожилъ въ саратовской деревнѣ стараго своего покровителя князя Голицына, вдали отъ всякаго умственнаго движенія и, повидимому, чуждый всякимъ современнымъ вопросамъ,—не то въ качествѣ учителя при дѣтяхъ, не то въ качествѣ веселаго домашняго чловѣка и собесѣдника, посреди приволья и жирныхъ блюдъ крѣпостной помѣщичьей жизни. Въ 1806 году, къ счастью Крылова, эта лѣнивая и беззаботная деревенская жизнь кончилась для него и онъ поѣхалъ въ Петербургъ, безъ сомнѣнія, искать мѣста, рассчитывая на преж-

нія занятія и связи литературныя. Этотъ годъ замѣчателенъ въ жизни Крылова въ томъ отношеніи, что тогда написаны были имъ первыя басни и онъ нашелъ такимъ образомъ тотъ литературный родъ, который доставилъ ему извѣстность. Проѣдомъ Крыловъ остановился въ Москвѣ; здѣсь возобновилъ онъ прежнее литературное знакомство съ Дмитриевымъ, который уже тогда имѣлъ славу русскаго Лафонтена. По рассказамъ біографовъ Крылова (Соч. Спб. 1859 г. I, XLVI—XLVII) Дмитриевъ, которому на судъ представилъ Крыловъ свои первыя двѣ басни, переведенныя имъ изъ Лафонтена, первый увѣрилъ его, что басня есть настоящее его призваніе.

„Дубъ и трость“ „Разборчивая невѣста“, „Старикъ и трое молодыхъ“—были первыя печатныя басни Крылова. Онѣ появились въ 1 и 2 № за 1806 годъ журнала Шаликова „Московскій Зритель“, и были переданы издателю Дмитриевымъ съ одобреніемъ, о чемъ печатно заявилъ въ журналѣ и самъ Шаликовъ. Съ этихъ поръ Крыловъ почти ничего уже не писалъ до самой смерти своей, кромѣ басенъ. Вернувшись, однако, въ 1806 году въ Петербургъ, онъ поставилъ въ слѣдующемъ году двѣ комедіи и еще волшебную оперу. Кажется, впрочемъ, что пьесы эти были имъ написаны ранѣе и онъ привезъ ихъ съ собою въ Петербургъ. Еще въ прежнюю эпоху своей литературной дѣятельности, когда онъ являлся журналистомъ, Крыловъ любилъ писать комедіи и оперы, литературный родъ, который завелся у насъ было въ концѣ XVIII вѣка. Въ 1793 году Крыловъ напечаталъ комическую оперу „Бѣшеная семья“ и комедію „Проканники“, а въ 1794 году—прозаическую комедію „Сочинитель въ прихожей“. Зная Крылова по его баснямъ, любясь въ нихъ его тонкимъ, наблюдательнымъ умомъ, насмѣшливостью и многими, чисто русскими, вполнѣ народными свойствами характера, казалось, можно было бы ожидать отъ комедій Крылова высшихъ поэтическихъ и вообще литературныхъ достоинствъ. Выходило однакожь совсѣмъ не то, и комедіи Крылова стоятъ неизмѣримо ниже писанныхъ значительно ранѣе комедій Фонъ-Визина. Общая, рутинная подражательность погубила эти комедіи. Напрасно стали бы мы искать въ нихъ наблюденія надъ русскою общественною жизнію, ея пониманія, сознательной, прочувствованной сатиры, какъ у Фонъ-Визина. Это какіе-то „образы безъ лицъ“, а не характеры, грубая каррикатура на нравы, на случаи, а не наблюденія ихъ. Интрига комедій ведена по общепринятому, господствовавшему тогда французскому образцу. Всѣмъ дѣйствіемъ заправляютъ ловкій слуга или служанка, чуждые нашимъ нравамъ; это дѣйствіе вертится обыкновенно на пустомъ волокитствѣ. Ни жизни, ни правды не было въ этомъ комическомъ мірѣ, который занималъ тогда Крылова; это былъ міръ нелѣпный и вдобавокъ еще скучный и до крайности утомительный.

Всѣми этими недостатками отличаются и двѣ комедіи Крылова, которыя были имъ поставлены на сцену въ 1807 году: „Модная лавка“ и „Урокъ дочкамъ“. Очень вѣроятно, что уродливое искаженіе нашей всеобщей тогда подражательности французскому, утрировка этого недостатка въ провинціи, гдѣ жиялъ Крыловъ до того времени, навели его на главную идею и содержаніе этихъ комедій. Безъ сомнѣнія также, что патріотическое чувство и ненависть къ Французамъ, возбужденныя современными обстоятельствами и начинавшей имѣть вѣсь патріотической литературой, коснулись и Крылова; современное содержаніе придало имъ жизнь и значеніе и способствовало успѣху комедій на сценѣ. Комедія „Модная лавка“, какъ уже показываетъ самое названіе, имѣетъ цѣлю осмѣять пристрастіе къ моднымъ, т.-е. французскимъ товарамъ. Представительницею этой страсти является деревенская помѣщица Сумбурова, пріѣхавшая въ Москву закупать приданое для падчерицы. Модная лавка, куда является эта Сумбурова, скорѣе похожая на карикатурную дуру, чѣмъ на живое лицо, выставлена притономъ разнаго мошенничества и нечистыхъ дѣлъ. Французы, введенные въ пьесу, конечно, плуты. Мужъ Сумбуровой, ненавистникъ модныхъ товаровъ и поклонникъ всего русскаго, изъза чего у него происходятъ безпрестанныя ссоры съ женою, не внушаетъ къ себѣ симпатіи, потому что весьма недалекъ, да и самое дѣйствіе поглощено любовной интригой, такъ что выходы противъ подражательности русскіхъ и слѣпое поклоненіе всему иностранному, встрѣчаются очень рѣдко. Комедія, однако, несмотря на всѣ свои недостатки, имѣла большой успѣхъ. Современникъ замѣчаетъ, что на сценѣ Сумбуровъ, жена его и деревенскій лакей ихъ Антропка являли собою настоящіе провинціальныя, всѣмъ знакомыя типы, но это, вѣроятно, происходило отъ искуснаго выполненія ролей на сценѣ¹⁾.

Другая комедія Крылова съ тѣмъ же современнымъ патріотическимъ направленіемъ „Урокъ дочкамъ“ кажется намъ еще неудачнѣе. Цѣль ея—осмѣять исключительное воспитаніе на французскомъ языкѣ и неумѣренное пристрастіе къ нему. У помѣщика Велькарова—двѣ дочери; самъ онъ вдовъ и на службѣ, а дочерей отдалъ воспитывать къ теткѣ въ Москву. Онѣ и воспитались „на послѣдній манеръ“. По возвращеніи со службы Велькаровъ пріѣхалъ посмотреть на дочерей, „чтобы до замужества ими полюбоваться“. „Ну, правду сказать, утѣшили же онѣ старика! говоритъ горничная Даша. Лишь вошли къ батюшкѣ, то поставили домъ вверхъ дномъ, всю его родню и старыхъ знакомыхъ отвалили грубостями и насмѣшками. Баринъ

¹⁾ Зап. Жихарева, стр. 443.

не знаетъ языковъ, а онѣ накливали въ домъ такихъ не-Русей, между которыхъ бѣдный старикъ шатался, какъ около Вавилонской башни, не понимая ни слова, что говорятъ и чему хохочуть“. Старикъ разсердился и увезъ ихъ изъ дома московской тетки въ деревню, гдѣ строго запретилъ имъ между собою и съ кѣмъ бы то ни было изъ гостей разговаривать по-французски. Собственно „урокъ дочкамъ“ состоитъ въ томъ, что съ вѣдома отца имъ приходится принимать простого російскаго лакея за французскаго маркиза, разговаривать съ нимъ, приходить отъ него въ восторгъ, за которымъ слѣдуетъ жестокое разочарованіе. Обѣ дочери Велькарова—характеры преувеличенные и карикатурные, но „Урокъ дочкамъ“ нравился той части русскаго общества, которая была настроена патриотически. Конечно, урокъ этотъ не послужилъ никому въ пользу, и комедія Крылова, когда прошла мода на патриотическое направленіе, скоро забылась—вѣрное доказательство той мысли, что для успѣха литературное произведеніе, кромѣ живого сочувствія къ современности, нуждается еще и въ талантѣ.

Къ этимъ же годамъ патриотическаго возбужденія въ обществѣ относится непродолжительная, но громкая слава трагическаго поэта *Озерова*, прогремѣвшаго своимъ именемъ и немногими драматическими произведеніями и потомъ вдругъ неожиданно удалившагося отъ успѣховъ и славы, въ глушь уединенія, гдѣ его постигло сумасшествіе за нѣсколько лѣтъ до смерти. Эта злополучная судьба Озерова, постигшая его послѣ необычайныхъ, до тѣхъ поръ неслыханныхъ успѣховъ на русской сценѣ, гдѣ долгіе годы послѣ его смерти давались съ успѣхомъ его пьесы, возбуждала къ нему общее сочувствіе, тѣмъ болѣе, что до сихъ поръ мы не имѣемъ положительныхъ свидѣтельствъ о тѣхъ дѣйствительныхъ нравственныхъ причинахъ, которыя привели несчастнаго поэта къ катастрофѣ; о ней существуютъ въ литературѣ только неясныя намеки и неопредѣленныя догадки, такъ что дѣло останется, вѣроятно, навсегда темнымъ. Единственная біографія поэта „О жизни и сочиненіяхъ В. А. Озерова“, приложенная къ изданію его сочиненій, была написана вяземъ Вяземскимъ еще въ 1817 году, вскорѣ послѣ смерти поэта; съ тѣхъ поръ къ неопредѣленному высказываемымъ въ видѣ предположеній и догадокъ фактамъ этой біографіи не прибавилось до сихъ поръ почти ничего. Друзья Озерова,—а онъ, будучи двоюроднымъ братомъ Блудова и даже чѣмъ-то въ родѣ опекуна его въ молодости, принадлежалъ къ кружку карамзинистовъ,—оставили о немъ и о судьбѣ его въ своихъ произведеніяхъ искреннія сожалѣнія, но ни одного положительнаго факта. Его имя, съ неясными намеками, встрѣчается въ стихахъ Батюшкова, Жуковскаго, Пушкина и др. Его, по

ихъ понятіямъ, необыкновенный геній и несчастная судьба интересовали ихъ живо.

Владиславъ Александровичъ Озеровъ былъ дворянскаго происхожденія. Онъ родился 29 Сентября 1769 года въ деревнѣ зубцовскаго уѣзда тверской губерніи. Отецъ его былъ старшій офицеръ гвардіи временъ Елисаветы Петровны, жилъ очень долго, говорятъ, пережилъ своего несчастнаго сына и имѣлъ отъ двухъ женъ 22 ребенка дѣтей. Кажется, что писатель былъ отъ первой жены, которая умерла, когда онъ былъ еще ребенкомъ. О судьбѣ другихъ дѣтей намъ ничего неизвѣстно, равно какъ и объ отношеніяхъ ихъ къ писателю. Въ раннемъ дѣтствѣ отецъ отвезъ его въ тотъ сухопутный кадетскій корпусъ, гдѣ воспитывался нѣсколько позднѣе и С. Глинка. Здѣсь Озеровъ пробылъ двѣнадцать лѣтъ, до 1788 года, учился, какъ видно, отлично, получилъ при выпускѣ изъ корпуса чинъ поручика и въ награду первую золотую медаль. По другимъ свѣдѣніямъ онъ пробылъ въ корпусѣ десять лѣтъ и выпущенъ изъ него въ концѣ 1787 года¹⁾. Выпущенный изъ корпуса Озеровъ опредѣлился въ дѣйствующую армію, былъ адъютантомъ у графа де Бальмена и подъ начальствомъ Потемкина участвовалъ во взятіи Бендеръ въ 1789 году. По заключеніи мира съ турками Озеровъ поступилъ на службу въ тотъ же корпусъ, гдѣ воспитывался, адъютантомъ къ извѣстному намъ графу Ангальту. Такія сухія официальные свѣдѣнія дошли до насъ о молодости поэта, приобрѣтшаго потомъ такую громкую извѣстность. Такъ мало эта извѣстность и слава возбудила интересъ къ его личности, несмотря на его слишкомъ печальную, трагическую судьбу. Это свидѣтельствуетъ о томъ маловажномъ значеніи, которое общество и тогда, и долго потомъ придавало литературѣ. „Повѣрить ли кто, говоритъ Гречъ въ своемъ „Опытѣ краткой исторіи русской литературы“, напечатанномъ вскорѣ послѣ смерти Озерова, что мнѣ невозможно было получить свѣдѣній о жизни и службѣ В. А. Озерова, при всемъ моемъ стараніи, при всемъ желаніи его родственниковъ“. А между тѣмъ, по выраженію критиковъ, писавшихъ о немъ, „жизнь Озерова, богатая особенностями, была игрой судьбы и людей, коихъ злоба бываетъ еще изобрѣтательнѣе и постояннѣе“. (Вяземскій). Даже самая исторія его поэтическаго развитія для насъ неизвѣстна и приходится довольствоваться сухими свѣдѣніями.

Мы знаемъ, что тотъ корпусъ, въ которомъ воспитывался Озеровъ, давалъ своимъ питомцамъ вполне французское воспитаніе и что литература Франціи была имъ гораздо извѣстнѣе своей родной, по

¹⁾ Карабановъ, Основаніе русскаго театра. Спб. 1849, стр. 68.

истинѣ жалкой и незначительной. Мы знаемъ также, что въ корпусѣ еще со временъ Сумарокова была развита между учащимися особенная страсть къ театральнымъ представленіямъ; притомъ учителемъ Озерова былъ знаменитый тогда трагикъ Князвинъ, драматическую славу котораго онъ и наслѣдовалъ. Глинка въ своихъ „Запискахъ“ передаетъ, что Озеровъ зналъ наизусть трагедіи Корнеля, Расина, Вольтера, что онъ самъ участвовалъ въ театральныхъ французскихъ представленіяхъ въ домахъ русскихъ вельможъ, гдѣ исполнялъ трагическія роли ¹⁾, и такимъ образомъ приготавлился къ своей будущей дѣятельности. Миръ греческихъ и римскихъ героевъ, изъ которыхъ состоялъ персоналъ французскихъ трагедій XVIII вѣка, былъ такимъ образомъ рано усвоенъ Озеровымъ, но, разумѣется, въ одеждѣ двора Людовика XIV. Съ этимъ увлеченіемъ французскимъ трагическимъ міромъ, по свидѣтельству біографа его князя Вяземскаго, соединилось для Озерова страстное влеченіе къ женщинѣ, имени которой никто не назвалъ, и это влеченіе „рѣшило судьбу почти всей его жизни.“ Этой любви онъ отдалъ всю свою молодость, для нея онъ игралъ во французскихъ трагедіяхъ и писалъ французскіе стихи. Эта женщина принадлежала, кажется, къ высшему кругу; она была замужняя и добродѣтельная, говоритъ біографъ. Французскіе стихи къ ней Озерова не дошли до насъ. Намъ извѣстны французскіе стихи его, написанные въ 1794 году на смерть его начальниа и покровителя — графа Ангальта ²⁾. Несмотря на условныя ходячія выраженія этихъ чисто отдѣланныхъ александрійскихъ стиховъ, позволительно видѣть въ нихъ искреннее чувство поэта, тѣмъ болѣе, что Ангальтъ былъ вполне достоинъ его. По всей вѣроятности, вскорѣ послѣ смерти Ангальта, когда начальство и самый характеръ воспитанія въ корпусѣ измѣнились, Озеровъ долженъ былъ оставить въ немъ службу и перейти въ другую. Князь Куракинъ далъ ему мѣсто въ лѣсномъ департаментѣ тогдашняго министерства финансовъ, гдѣ онъ и служилъ до самой отставки. Трагическій поэтъ долженъ былъ объѣзжать казенные лѣса Казанской и Симбирской губерніи, писать отчеты о ревизіи ихъ и придумывать средства объ извлеченіи изъ нихъ доходовъ.

Первое печатное произведеніе Озерова появилось въ томъ же 1794 году, когда были написаны и французскіе стихи на смерть Ангальта. Это былъ стихотворный переводъ Ироиды или придуманнаго, по образцу Овидія, посланія Элоизы къ Абельяру изъ незначительнаго французскаго поэта Колардо, съ довольно длиннымъ пре-

¹⁾ Записки, Спб. 1895, стр. 60.

²⁾ Караб., стр. 69—70.

дисловіем переводчика, гдѣ онъ говоритъ о причинахъ, побудившихъ его къ этому труду, и излагаетъ довольно подробно жизнь знаменитаго схоластика, сдѣлавшагося жертвой несчастной любви. Эта Иронда была уже у насъ переведена прозою въ 1786 году, но Озеровъ не доволенъ этимъ переводомъ; онъ не узнаетъ въ немъ знакомаго ему произведенія, а главное—находитъ въ немъ болѣе ума, нежели *чувства* и потому рѣшается издать свой переводъ. Озеровъ самъ говоритъ, что это первый его опытъ въ стихахъ. „У меня спросить: зачѣмъ для перваго опыта я выбралъ столь трудное твореніе? Съ обработаннаго и совершеннаго языка предпріять перевести лучшую героиду на нашъ языкъ, начинающій образовываться, конечно, было дерзко. Но на сіе отвѣчаю, что природа въ томъ виновна. Читая Колардо, я былъ восхищенъ; мнѣ открылся путь парнасскій и я почувствовалъ вдохновеніе Аполлона, о которомъ прежде и мысли не имѣлъ“¹⁾. Приваніе это любопытно; оно показываетъ какимъ искусственнымъ образомъ зародилось въ Озеровѣ желаніе быть поэтомъ. Можетъ быть впрочемъ,—но Озеровъ не говоритъ о томъ,—героида понравилась ему, какъ выраженіе несчастной любви. Во всѣхъ другихъ отношеніяхъ переводъ этотъ ничѣмъ не замѣчательнъ, но стихъ его выгодно отличается отъ современниковъ; онъ значительно глаже другихъ. Можетъ быть въ этому же начальному періоду поэтической дѣятельности Озерова относятся нѣсколько мелкихъ его стихотвореній (кромя, разумѣется, плохихъ одъ его: на смерть Екатерины и на восшествіе на престолъ Александра), но во всѣхъ ихъ нѣтъ ничего замѣчательнаго и ничего не прибавляютъ они къ поэтической характеристикѣ Озерова.

Воспитаніе, чтеніе и игра на домашнихъ театрахъ влекли его къ оперѣ и, разумѣется, къ трагедіи, какъ къ господствующему въ XVIII вѣкѣ роду драматической поэзіи, тѣмъ болѣе, что онъ подходилъ и къ сердечному настроенію Озерова. У насъ трагедія давно уже получила господство въ литературѣ; ихъ писалось очень много; онѣ доставляли извѣстность и деньги поэтамъ; притомъ писать ихъ въ ту пору, по общепринятымъ правиламъ и утвердившемуся шаблону, было дѣломъ вообще не труднымъ, особенно тому, кто былъ хорошо знакомъ съ обширнымъ репертуаромъ французскаго театра и могъ оттуда черпать и заимствовать смѣлою рукою, что было тогда вполне въ литературныхъ нравахъ, ни для кого не считалось предосудительнымъ, а напротивъ даже дѣлало честь автору. Озерову легко было выбрать эту карьеру, имѣя множество русскихъ предшественниковъ и при отличномъ знакомствѣ съ ложноклассиче-

¹⁾ Соч. Озерова. Изд. 5-ое. Спб. 1828 г., 8^о ч. III, стр. 64—65.

скими образцами. Первая трагедія его была „Ярополь и Олегъ“, поставленная имъ на сцену въ 1798 году. И заимствованіемъ сюжета изъ древней русской исторіи, и всѣмъ развитіемъ трагедіи, и даже стихомъ онъ стоитъ здѣсь на почвѣ Сумарокова и Книжнина и видимо имъ подражаетъ. И неизбежная любовная страсть въ этой трагедіи, и соперничество братьевъ, и имѣющія притязаніе на возвышенность поэтическія тирады, и самый языкъ, который ничѣмъ не хуже прочихъ трагедій Озерова, все дѣлало эту пьесу не лучше и не хуже прочихъ современныхъ, а между тѣмъ она не имѣла успѣха и была принята публикою неблагосклонно. Догадываются, что причиною этого была нетрагическая развязка трагедіи, но ей недоставало вмѣстѣ съ тѣмъ и новаго элемента, внесеннаго уже въ литературу Карамзинимъ: чувствительности, безъ которой долго съ тѣхъ поръ не могло обойтись и не могло имѣть успѣха литературное произведеніе. Послѣ паденія своей театральной пьесы, Озеровъ нѣсколько лѣтъ не является въ литературѣ, если не считать его весьма обыкновенную оду на восшествіе на престолъ Александра I. Въ это время онъ былъ усердно занятъ службою въ своемъ дѣловомъ департаментѣ и, кажется, служилъ успѣшно; по крайней мѣрѣ въ 1804 году онъ былъ уже въ чинѣ генераль-маіора. Литературныя знакомства Озерова въ это время намъ неизвѣстны, кромѣ, какъ кажется, близкихъ и давнишнихъ отношеній его къ Державину. Въ обществахъ, гдѣ появлялся Озеровъ, онъ не блисталъ ничѣмъ. О немъ говорили, что это человѣкъ ума весьма обыкновеннаго, какъ вдругъ въ 1804 году, поставленная на петербургской сценѣ его трагедія „Эдипъ въ Афинахъ“ окружила имя его необычайной громкой славой и разнесла это имя по всей Россіи. Успѣхъ трагедіи былъ полный; ему въ особенности способствовала молодая, талантливая, чрезвычайно красивая актриса — Семенова, имя которой неразрывно связано съ именемъ Озерова въ литературныхъ воспоминаніяхъ, какъ и въ извѣстномъ стихѣ Пушкина о русскомъ театрѣ:

Тамъ Озеровъ невольны дни
Народныхъ смехъ; рифмопескаміи
Съ мядой Семеновой дѣлалъ.

Сама она, для которой какъ бы нарочно были писаны трагедіи Озерова, представлявшія прекрасныя женскія роли, только и блистала въ нихъ; вскорѣ послѣ послѣдней трагедіи Озерова „Поликсена“ Семенова, сдѣлавшись княгиней Гагариной, навсегда оставила сцену.

Изъ всѣхъ литературныхъ знакомствъ своихъ того времени, Озеровъ выше всѣхъ ставилъ Державина и склонялся передъ его *genium*. Державину посвятилъ онъ своего „Эдипа“. Въ чрезвычайно льстивыхъ напыщенныхъ фразахъ восхвалялъ онъ въ этомъ посвященіи характеръ поэзіи Державина. „Вдохновеннымъ пѣснямъ вашей музы, писалъ онъ, величественнымъ какъ стройное теченіе вселенной, плѣнительнымъ, какъ свѣтлый *кюль* Гребеневской, быстрымъ, блистательнымъ, какъ *водопадъ Сумы*, поучительнымъ, какъ смерть, современница міровъ, и безсмертнымъ, какъ герои, предметы хвалы вашей, я обязанъ живѣйшими наслажденіями въ жизни; и, можетъ быть, сіянію вашей славы буду обязанъ я спасеніемъ труда моего отъ мрака забвенія“. Но Державинъ не раздѣлялъ общихъ восторговъ публики по отношенію къ трагедіи Озерова. Правда, онъ отвѣчалъ одою на посвященіе Озерова, но эта плохая ода ¹⁾ была имъ написана черезъ годъ; притомъ Державинъ, какъ самъ онъ пишетъ въ своихъ объясненіяхъ ²⁾, соглашаясь съ тѣми „многими знатоками“, которые „находили въ сей трагедіи слабости“, отзывался при свиданіи съ Озеровымъ объ „Эдипѣ“ довольно критически и обѣщавъ автору ея прислать на нее даже примѣчанія по разсмотрѣніи ея съ *приятелями*. Этими Державинъ объясняетъ поводъ на неудовольствіе къ нему со стороны Озерова. Дѣло въ томъ, что къ числу *приятелей*, о которыхъ говоритъ Державинъ, принадлежалъ сторонникъ его старческихъ взглядовъ на литературныя произведенія—Шишковъ, который „встрѣчалъ недоброжелательно всякое новое дарованіе“ (Гротъ), потому что видѣлъ въ немъ и новый слогъ и вредную новизну. Его отзывы имѣли вліяніе на сужденіе Державина и разстроили добрыя прежде отношенія поэтовъ. Потомъ Державинъ отзывался о другой трагедіи Озерова „Димитрій Донской“ весьма неблагоклонно, говорилъ что она не имѣетъ порядочнаго плана, и „характеры великихъ князей весьма въ ней подлы“, а Шишковъ написалъ даже подробный неблагопріятный разборъ „Димитрія“. Шишковъ видѣлъ въ новомъ, вдругъ прославившемся трагикѣ,—*приятелѣ* и родственникѣ *ненавистныхъ* ему *карамзинистовъ*,—представителя новаго слога, и этого было довольно для него. Озеровъ же неблагоклонность къ нему Державина объяснялъ, и довольно справедливо, завистію къ быстро вознившей его славѣ. До сихъ поръ Державинъ еще не встрѣчалъ

¹⁾ Соч., изд. Акад. Наукъ, II, стр. 580—582.

²⁾ Ibid., III, стр. 698.

соперниковъ своей славы; потомъ онъ привыкъ къ паденію своего таланта, а въ тѣ годы это было для него чувствительно. Онъ самъ сознается, что изъ соревнованія сталъ писать трагедіи; но мы уже говорили объ этихъ жалкихъ попыткахъ его.

Неслышанный, всеобщій восторгъ публики и квалёбныя привѣтствія журналовъ и другихъ поэтовъ совершенно вознаградили Озерова за эти неприятности. Уже тогда въ стихахъ его поклонниковъ говорилось о зависти къ нему. Такъ у Капниста:

„Теки-жъ, любимецъ музъ! Во храмъ Мельпомены,
Къ которому взопелъ по свольской ты горѣ,
Неувядаемый, рукой ея сплетенный,
Лавровый ждешь тебя вѣнокъ на алтарѣ.
Теки и, презря ядъ зоиловъ злоязычныхъ,
Въ опасномъ поприщѣ ты бѣгъ свой простирай;
Внемли плесканью рукъ, и вѣкъ не забывай,
Что зависть спутница однихъ даровъ отличныхъ,
Что яркимъ озаренъ сіяніемъ предметъ,
Уродливу на доль и мрачну тѣнь кладеть“.

(Озеровъ, Соч., стр. 438).

Трагедіи Озерова, за исключеніемъ одной изъ нихъ, и по достоинству своему стоящей ниже другихъ, именно „Димитрія Донского“, берутъ свое содержаніе изъ поэтическихъ преданій, принадлежащихъ обще-европейскому міру, но отъ насъ удаленныхъ пространствомъ времени и мѣста; ничего общаго съ нашею жизнію и этимъ содержаніемъ въ трагедіяхъ Озерова не было. Казалось бы поэтому, что современная публика не могла интересоваться внутреннимъ міромъ трагедій Озерова и должна была безучастно отвернуться отъ его героевъ, съ которыми у ней не было ничего общаго. Какое ей дѣло было до трагической судьбы Эдина, до борьбы чувствъ и страстей въ душѣ Фингала, до проклятій Кассандры, до слезъ и стововъ Поликсены? А между тѣмъ, содержаніе это въ высшей степени нравилось, и публика съ восторгомъ принимала трагедіи Озерова и имя его окружила славою. Это происходило отъ того, что міръ чувства, изображаемый трагикомъ, заключая въ себѣ общечеловѣческое содержаніе, въ сильной степени интересовалъ ее, что она уже выросла до пониманія этого міра чувства, что чувствительность или сентиментальность, отличавшая всѣ тогдашнія произведенія литературы, входила, какъ существенный элементъ, въ трагедіи Озерова. Но все это не составляетъ большой заслуги со стороны нашего трагика; все историческое и все литературное содержаніе своихъ трагедій онъ заим-

ствовавъ изъ французскихъ образцовъ, съ которыми только и былъ знакомъ; всѣ знаменитыя фразы и тирады онъ по большей части только переводилъ; въ наше время сказали бы съ насмѣшкою—украсть, но въ ту пору на это дѣло смотрѣли иначе и не ставили въ вину автору вольныя и невольныя его заимствованія. „Подражаніе не всегда бываетъ удѣломъ низкихъ писателей, говоритъ современный рецензентъ Озерова; нерѣдко гении не стыдились заимствовать изъ сочиненій другихъ, не говорю высокихъ, но весьма посредственныхъ“¹⁾. Заимствованіе хорошаго, усвоеніе того, что твердила вся Европа,—было честью для писателя.

„Эдипъ въ Афинахъ“ передаетъ послѣднюю судьбу знаменитаго героя греческихъ сагъ и преданій. „Доселѣ злоключенія грековъ, говоритъ тотъ же современный критикъ, не извлекали у насъ слезъ на русскомъ театрѣ“. Дѣйствительно за исключеніемъ „Демофонта“, трагедіи Ломоносова, которая по своему характеру и не могла имѣть успѣха на сценѣ, Эдипъ Озерова былъ первою у насъ греческою трагедіею; для пониманія „злоключеній“ Эдипа нужно было нѣкоторое развитіе, знакомство съ содержаніемъ преданія. Эти требованія общество могло уже выполнить. Судьба Эдипа давно сдѣлалась предметомъ сценической передачи, начиная съ безсмертной трилогіи Софокла. У Озерова для его пьесы было весьма много образцовъ, изъ которыхъ главными были: „Эдипъ въ Колонѣ“, послѣдняя часть Софокловой трилогіи, и пьеса посредственнаго французскаго трагика Дюси — „Эдипъ у Адмета“. Изъ той и другой пьесы Озеровъ заимствовалъ одинаково, но не повторилъ однако буквально ни той, ни другой. По словамъ современной критики „въ его твореніи нѣтъ ни *сухости* (!) трагика греческаго, ни любовныхъ шалостей французскихъ“. Эти слова показываютъ, какъ смотрѣли тогда, согласно риторической теоріи французовъ, на греческій театръ. И Озеровъ былъ воспитанъ въ тѣхъ же понятіяхъ. Было бы очень долго указывать здѣсь подробно отношенія трагедіи Озерова къ двумъ названнымъ нами пьесамъ Софокла и Дюси, у которыхъ заимствовалъ Озеровъ, у перваго—общій планъ и частію характеры дѣйствующихъ лицъ, у другаго — тоже характеры и подробности. Русская критика давно уже и подробно обратила вниманіе на эту сторону вопроса. О немъ говорится и въ статьѣ „Сѣвернаго Вѣстника“, но болѣе подробно и съ большимъ знаніемъ дѣла—Мерзляковымъ на его публичныхъ лекціяхъ о трагедіяхъ Озерова²⁾, а также и въ большой критической статьѣ Галахова о сочиненіяхъ

¹⁾ Сѣв. Вѣст., 1805 г. Іюль, стр. 25.

²⁾ Вѣстн. Евр. 1817 г., ч. XCII, стр. 267—295.

Озерова ¹⁾. Нечего и говорить, что ни для самого сочинителя, ни для его восторженных поклонников — зрителей его трагедии, вовсе не существовало того глубокого, религиозного и патристического содержания, которое заключено в Софоклѣ. Очень коротко сказалъ объ этомъ уже очень давно князь Вяземскій въ статьѣ своей объ Озеровѣ: „трагедія греческая заимствовала свою силу отъ всего, что было священо для греческаго сердца. Слава предковъ и современныхъ гражданъ, народныя преданія и обычаи, таинства религии, торжественныя обряды богослуженія, были, такъ сказать, сокровищемъ греческихъ трагиковъ. Мы можемъ постигать красоту ихъ искусства, но и постигнувъ ее, будемъ единственно холодными зрителями дѣйствія, а не участниками онаго. Смерть Эдипа, залогъ благоденствія Аѳинъ, можетъ ли производить надъ зрителями чуждыми то дѣйствіе, которое имѣла она на аѳинскомъ театрѣ?“ ²⁾. Чѣмъ же восторгались наши зрители въ греческой трагедіи Озерова? Ихъ влекло въ театръ прекрасное, одушевленное для времени, выраженіе обще-человѣческаго содержанія, человѣческихъ чувствъ и страстей, согласное съ новымъ развитіемъ современнаго общества. По глубинѣ душевнаго содержанія, по силѣ и интенсивности сердечнаго чувства, по красотѣ выраженія въ языкѣ—трагедія Озерова далеко ушла впередъ отъ всего предшествовавшего ей на русской сценѣ. Не страданія Эдипа, какъ Эдипа греческаго, печальной жертвы неумолимаго древняго фатума, вызывали сочувствіе въ сердцахъ зрителей, а страданія отца, оставленнаго злыми и неблагодарными сыновьями, его душевная скорбь при воспоминаніяхъ о нихъ, его прощеніе раскаявшемуся сыну, его нѣжныя отношенія къ Антигонѣ, характеръ которой принадлежитъ къ самымъ плѣнительнымъ созданіямъ трагической музы грековъ. Изящныя скульптурныя черты греческой Антигоны, ея беззапятная преданность отцу, ея нѣжное отношеніе къ братьямъ—повторились и въ Антигонѣ Озерова, но она нѣсколько потеряла свою древнюю простоту, то безмолвіе греческой женщины, которое составляло ея достоинство въ гинекееяхъ. Она—трагическая героиня новаго времени: она дѣйствуетъ и разсуждаетъ; она высказываетъ сознаніе самой себя и того, что ее окружаетъ. Озеровъ не зналъ греческаго подлинника, и если былъ знакомъ съ пьесой Софокла, то, по всей вѣроятности, во французскомъ переводѣ іезуита Вришоу. Главнымъ образцомъ повтому былъ для него Дюси, и его пьеса скроена по эстетической теоріи французовъ. Это

¹⁾ Отеч. Зап., 1847 г., т. LII, стр. 3—14.

²⁾ Соч. Озерова, изд. 5-ое, ч. III, стр. 140—141. Эта біографія вошла въ собраніе Соч. Ваз., т. I, стр. 24—60.

очевидно по многимъ отступленіямъ отъ греческаго первообраза. У Софокла, напр., Эдипъ умираетъ въ концѣ трагедіи; смерть является для него желанною, давно жданною гостею, исполнительницею воли боговъ, примирительницею послѣ долгихъ, неслыханныхъ бѣдствій и страданій; эту смерть онъ примиряется съ богами, а прахъ его, оставшійся въ аѳинскомъ предмѣстіи Колонъ, по обѣщанію оракула, дѣлается залогомъ счастья и будущаго цвѣтущаго развитія гостеприимныхъ Аѳинъ. Даже у Дюси—Эдипа поражаетъ громъ небесный. У Озерова же знаменитый страдалецъ остается въ живыхъ, и этимъ фактомъ ослабляется общее окончательное впечатлѣніе трагедіи. Что Эдипу жизнь, на что она ему послѣ всего того, что онъ выстрадалъ? Современный критикъ передаетъ объ этомъ обстоятельстве любопытный рассказъ, свидѣтельствующій о могуществѣ теоріи для тогдашнихъ авторовъ. Озеровъ желалъ первоначально кончить Эдипа такъ, какъ онъ оканчивается у Софокла, т.-е. смертью, но одинъ актеръ, воспитанный въ школѣ Сумарокова (по всей вѣроятности Дмитревскій) напугалъ его своимъ предсказаніемъ, что публика дурно приметъ конецъ, противный тогда господствующимъ понятіямъ о цѣли драматическихъ произведеній, по которымъ пороки должны быть наказаны, а добродѣтель восторжествовать въ трагедіи. И Эдипъ остался жить, а жертвою трагическаго возмездія является Креонъ—лицо, находящееся и у Софокла, гдѣ оно необходимо и служитъ для объясненія и развитія дѣйствія; въ трагедіи же Озерова этотъ Креонъ, братъ Эдиповой жены,—ходульный злодѣй, какихъ любили выставлять ложно-классическіе трагики, а не живое лицо: онъ гордится, хвалится на каждомъ шагѣ зломъ и преступленіями. Зато воспоминаніемъ греческаго театра и очень удачнымъ нововведеніемъ у Озерова являются хоры, которые онъ написалъ не столько въ подражаніе трагедіи Софокла, сколько въ подражаніе современной французской оперѣ „Эдипъ въ Колонскомъ предмѣстіи“, налагавшей то же самое содержаніе.

Какъ бы мы ни разсматривали эту первую трагедію Озерова, для насъ на первомъ планѣ стоитъ та мысль, что несмотря на все свое греческое содержаніе, она не даетъ опредѣленнаго представленія о духѣ личностей древняго театра и, кромѣ вѣшной тѣни греческой басни, не заключаетъ въ себѣ ничего греческаго. Трагедія Озерова ближе всего подходитъ къ своему французскому образцу; изъ пьесы Дюси вышелъ и Эдипъ, болѣе похожій на резонирующаго отца XVIII вѣка, чѣмъ на печальную жертву боговъ, и Антигона съ своею изысканною вѣжностью, и сынъ Эдипа—Полиникъ, обратившійся на путь добра и чистосердечно выпрашивающій себѣ прощеніе у ногъ отца. Заслуга Озерова заключалась въ хорошемъ усвоеніи

французской пьесы, въ умѣньи передать ея содержаніе сильными и прекрасными для того времени стихами, которыми любовались его современники. Заслуга, конечно, не очень большая, чисто относительная, но этими стихами передавались на сценѣ выраженія трогательныхъ чувствъ и они, удерживаясь въ памяти, невольно способствовали воспитательному элементу театра и его вліянію на общество. Очень многія изъ французскихъ трагедій XVIII вѣка, въ особенности у Вольтера, у М. Ж. Шенье, проникнуты были вполне современнымъ содержаніемъ и направленіемъ мысли: нѣкоторыя изъ нихъ являлись вдохновенною проповѣдью политической свободы, гражданского равенства, вѣротерпимости и другихъ идей, волновавшихъ современное общество. Мы не имѣемъ права искать этого широкаго общечеловѣческаго содержанія въ трагедіяхъ Озерова: онъ самъ былъ не настолько образованъ, чтобъ сочувствовать полнотѣ современной мысли, да и русская литература вся страдала тогда бѣдностію ея. Выраженія, сентенціи и отдѣльныя мысли трагедіи Озерова были слишкомъ общаго содержанія, но они были написаны прекраснымъ языкомъ и невольно удерживались въ памяти. Чуткая публика, а это было въ первые годы царствованія Александра, когда мы еще не начинали пагубныхъ войнъ, съ жадностію ловила въ пьесѣ всѣ современные намеки. Государственныя реформы того времени приводили въ восторгъ мыслящее молодое поколѣніе и, напр., при слѣдующихъ словахъ Тезея:

Мой мечъ—союзникъ мнѣ
И поданныхъ любовь къ отеческой странѣ;
Гдѣ на законахъ власть царей установлена,
Сразить то общество не можетъ и вселенна“,—

при стихахъ этихъ, въ которыхъ видѣли современный намекъ на государя,—театръ московской ломился отъ рукоплесканій и криковъ ¹⁾).

Разбирая взгляды, сужденія и отношенія современниковъ къ этой первой трагедіи Озерова, мы должны сказать, что, несмотря на общій восторгъ, возбужденный ею, мнѣнія вообще раздѣлились, и безусловными поклонниками „Эдипа“ являлись представители молодого поколѣнія, на сторонѣ которыхъ были, впрочемъ, и болѣе умные писатели, какъ, напр., Карамзинъ, Дмитріевъ, Мерзляковъ, Капнистъ, тогда какъ старое поколѣніе стояло все еще за трагическія преданія временъ Сумарокова и Княжнина: этимъ объясняется и враждебное отношеніе къ пьесѣ Державина и Шишкова. Но господствующій взглядъ, однако, состоялъ въ томъ, что до „Эдипа“ не встрѣчается въ нашей литературѣ трагедіи, столь превосходной въ теоре-

¹⁾ Записки Жихарева, стр. 82.

тическомъ отношеніи, что стихи трагедіи неподобны, выражая прелестныя мысли, и главное — множество чувства, что умилятельныя сцены трагедіи невольно исторгають слезы, что дѣйствіе ея просто и естественно ¹⁾. Словомъ, успѣхъ трагедіи былъ полный, а восторгъ отъ нея публики вездѣ единодушный; театръ былъ постоянно полонъ при ея представленіи. Необыкновенный успѣхъ *Эдипа*, казалось, указывалъ Озерову, что его призваніе есть трагическая поэзія, и черезъ годъ послѣ первой трагедіи его явилась на петербургской сценѣ (8 декабря 1805 года) вторая — „*Фингалъ*“ — также съ хорами и даже пантомимными балетами, которыхъ не знала прежде русская трагедія, но которые, однако, оживляли сцену. На этотъ разъ содержаніе трагедіи взято было Озеровымъ изъ міра, очень далекаго къ Греціи и совершенно чуждаго ей по содержанію, по характеру дѣйствующихъ лицъ, по природной обстановкѣ и религиознымъ понятіямъ. Содержаніе новой трагедіи взято изъ *Оссіановыхъ* поэмъ, которыя были въ большомъ уваженіи въ концѣ прошлаго и даже началѣ нынѣшняго вѣка въ европейскихъ литературахъ и вызвали много подражательныхъ явленій. Поэмы *Оссіана*, кромѣ множества различныхъ отрывковъ, появившихся въ журналахъ, конечно, въ переводахъ съ французскаго, были у насъ извѣстны еще въ 1792 году въ переводѣ *Кострова*. Озеровъ заимствовалъ содержаніе своей трагедіи изъ 3 пѣсней. Дѣйствіе ея раздѣлено между немногими лицами. На первомъ планѣ является старикъ *Старнъ*, царь доклинскій, бывший плѣнникомъ *Фитала*, царя Морвенскаго. *Фингалъ* убилъ когда-то въ сраженіи сына Старнова — *Тоскара*, и старикъ, постоянно оплакивая сына, только живетъ и дышитъ мыслию о мщеніи, а между тѣмъ *Фингалъ* влюбленъ страстно въ сестру убитаго *Тоскара* и дочь Старна — *Моину*, которая отвѣчаетъ ему взаимностію. Любовь *Фингала* и *Моины* исполнена лирическаго чувства и идилліи, а *Старнъ* скрываетъ отъ дочери свое негодованіе и приготовленія къ мести. *Моина* колеблется между любовью къ отцу и любовью къ *Фингалу*; она спасаетъ его отъ меча отцовскаго, но сама падаетъ отъ его руки. Вотъ содержаніе новой трагедіи Озерова, у которой, въ противность правиламъ классической теоріи, только три дѣйствія: очевидное доказательство, что у поэта недоставало содержанія на два. Справедливо въ этомъ случаѣ замѣтилъ князь *Вяземскій* объ *Оссіанѣ*: „Ровное и, такъ сказать, одноцвѣтное поле его поэмъ общаетъ ли богатую жатву для трагедіи, требующей дѣйствія сильныхъ страстей, безпрестаннаго ихъ боренія и великихъ послѣдствій? Не думаю“ ²⁾.

¹⁾ Ibid, стр. 81.

²⁾ Соч. Озерова. 5-е изд., ч. III, стр. 147.

Не оставляя своихъ классическихъ воспоминаній, Озеровъ, въ посвященіи „Фингала“ А. Оленину, съ которымъ онъ былъ соединенъ многолѣтнею дружбою, говоритъ, что и въ этомъ отношеніи содержаніе новой трагедіи получено имъ не самостоятельно, а что по его совѣту онъ рѣшился „народовъ сѣверныхъ Ахилла описать“. Оленинъ, указавшій на этотъ разъ Озерову содержаніе для новой трагедіи, принадлежалъ къ числу самыхъ образованныхъ людей въ царствованіе Александра и Николая, хотя собственно въ литературѣ имя его встрѣчается и на брошюрахъ самаго разнообразнаго содержанія, доказывающихъ, что онъ, какъ человекъ русскій, брался за многое, говорилъ о многомъ поверхностно, не изучивъ глубоко предмета, о которомъ говорилъ. Оленинъ получилъ образованіе за границею. Въ царствованіе Екатерины онъ прожилъ пять лѣтъ въ Дрезденѣ, обучаясь воинскимъ и словеснымъ наукамъ; въ этомъ городѣ, гдѣ собрано такъ много произведеній искусства и гдѣ вообще развита художественная жизнь, Оленинъ полюбилъ искусство. Его успѣхи по службѣ начались при Александрѣ и были довольно быстры, хотя Оленинъ ничѣмъ не выдавался, кромѣ любви къ художествамъ и поэзіи, къ художникамъ и литераторамъ. Это влеченіе Оленинъ могъ удовлетворять въ сильной степени, когда въ 1808 году онъ сдѣлался помощникомъ главнаго директора Императорской публичной библіотеки, а вскорѣ потомъ и директоромъ ея и наконецъ президентомъ Академіи художествъ. Его домъ, гдѣ въ двадцатыхъ годахъ господствовала умная жена его Елисавета Марковна, урожденная Полторацкая, и красивыя и образованныя дочери, былъ пріютомъ художниковъ и писателей. Самъ Оленинъ, при своей чрезвычайной любознательности, сочувствовалъ весьма многому и былъ очень полезенъ совѣтами собиравшимся къ нему писателямъ. Представитель Екатерининскаго поколѣнія, онъ не принадлежалъ однакожъ къ тѣмъ старикамъ, которые навсегда остаются при воспоминаніяхъ своей молодости и смотрятъ подозрительно и угрюмо на новыя явленія жизни. Гостиная Олениныхъ была нейтральною, гдѣ сходились представители обоихъ поколѣній. Оленинъ былъ друженъ, какъ сверстникъ, съ Державинымъ, Шишковымъ и другими литераторами стараго закала; затѣмъ онъ находился въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ съ Карамзинымъ и его послѣдователями: Жуковскимъ, Батюшковымъ, Озеровымъ и другими. Гнѣдичъ и Крыловъ были домашними людьми въ домѣ Олениныхъ. И потомъ, когда послѣ 1815 года началось у насъ быстрое развитіе либеральныхъ идей, вызванное какъ противодѣйствіе правительственному гнету, въ гостиныя Оленина радушно принимались и молодой Пушкинъ и представители новаго порядка идей, враждебныхъ идеаламъ Ка-

рамзина. Вообще имя Оленина тѣсно связано съ біографіями нашихъ писателей въ царствованіе Александра. Прибавимъ, что единственныя достовѣрныя свѣдѣнія о біографіи Озерова заключаются въ нѣсколькихъ письмахъ послѣдняго къ Оленину ¹⁾.

Совѣтъ, данный Оленинымъ Озерову, воспользоваться для новой трагедіи пѣснями Оссіана былъ, однако, не совсѣмъ удаченъ. „Фингалъ“ вышелъ гораздо слабѣе „Эдипа“. Въ послѣднемъ Озеровъ имѣлъ дѣло съ содержаніемъ давно разработаннымъ всемірною литературою. Образы древняго преданія стояли предъ нимъ ясно очерченные, выразительные, точные, какъ статуи изъ мрамора. Таланту его оставалось немного; воспользоваться чужою работою было ему легко. Расплывающіеся же, неясные, туманные образы Оссіановой поэзіи, созданные болѣзненною фантазіей человѣка XVIII вѣка, требовали гораздо болѣе глубокой обработки: имъ вообще недоставало трагическаго содержанія, а дать его Озеровъ былъ не въ состояніи по недостатку таланта. Мерзляковъ справедливо замѣтилъ въ своемъ разборѣ „Фингала“, что изъ поэмъ Оссіана обыкновенно составляли тогда на парижскихъ театрахъ оперы или балеты, ибо, говоритъ онъ, „почитали сіи басни совсѣмъ неспособными для образованной сцены по отдаленности и странности обычаевъ и по самой дикости нравовъ“ ²⁾. И Озеровъ, въ самомъ дѣлѣ, чтобы придать разнообразіе трагедіи, ввелъ въ нее хоры и танцы, что придавало особую красоту исполненію трагедіи на сценѣ. Это исполненіе, однако, многимъ было обязано, по свидѣтельству современниковъ, талантливой игрѣ въ пьесѣ Яковлева и Семеновой, произносившихъ звучные для того времени стихи Озерова ³⁾. Вся прелесть трагедіи заключалась только въ этихъ стихахъ да въ сценической обстановкѣ, которая изображала дикія скалы, грозное море и мрачную сѣверную природу. Самая же трагедія была вообще плоха и по слабому развитію дѣйствія и по неопредѣленности, невыдержанности и даже безсмыслию. Фингалъ и Моина—лица вовсе не трагическія; одна только Моина, съ ея любовью, съ ея страданіями печальной жертвы, возбуждаетъ къ себѣ сочувствіе и выкупаетъ своимъ прекраснымъ образомъ общую бѣдность содержанія трагедіи. Но пьеса нравилась публикѣ. „Самая новостъ сцены, дикость характеровъ и мѣсть, старинные храмы, игры и гризна, скалы и вертепы: все вмѣстѣ съ арфою и стихами Озерова, облеченное сѣверными туманами, придаетъ пьесѣ этой какую-то меланхолическую занимательность“ — говоритъ Мерзляковъ ⁴⁾. Это, какъ ви-

¹⁾ Гротъ. Соч. Держ. II, стр. 493 сл.

²⁾ Вѣстн. Евр. 1817 г., ч. XCIII, стр. 37.

³⁾ Записки Жихарева, стр. 265—266.

⁴⁾ Вѣстн. Евр. Ibid. стр. 46—47.

дите, были чисто внѣшнія достоинства; замѣтимъ, что трагедія „Фингалъ“ произвела сильное впечатлѣніе на воображеніе Жуковского, который оставилъ въ стихахъ своихъ полученное имъ впечатлѣніе.

Съ небольшимъ черезъ годъ (январь, 1807 г.) послѣ „Фингала“ появилась на сценѣ и третья трагедія Озерова „Димитрій Донской“, посвященная имъ въ сознаниі патриотическаго чувства императору. Представленіе происходило во время самаго разгара нашей войны съ Наполеономъ, въ 1807 году. Эти обстоятельства придали трагедіи Озерова особое значеніе, да и самъ сочинитель, создавая свою трагедію, имѣлъ ихъ въ виду. Въ своемъ посвященіи онъ сравнивалъ Александра съ Димитріемъ передъ битвою съ Мамаемъ на Задонскихъ поляхъ, говорилъ, что Александръ принялъ оружіе для спасенія разноплеменныхъ народовъ отъ ига честолюбиваго завоевателя, для защищенія свободы европейскихъ державъ, называлъ Александра покровителемъ угнетенныхъ и пр. Все это патриотическое содержаніе посвященія выражалось на каждомъ шагу въ самой трагедіи: она была написана для обстоятельствъ и общества того времени.

Эти чисто внѣшнія причины способствовали необыкновенному успѣху трагедіи; онѣ подкупили современниковъ, и пьеса приводила ихъ въ неописанный восторгъ. Многіе изъ нихъ смотрѣли на это новое произведеніе Озерова, какъ на гениальное. „Я въ восторгѣ! записываетъ въ свой дневникъ одинъ современникъ, воротившійся съ репетиціи „Димитрія Донскаго“. У насъ не слыхано и не видано такой театральной пьесы, какою завтра будетъ подчивать публику Озеровъ. Роль Димитрія превосходна отъ перваго и до послѣдняго стиха. Какое чувство и какія выраженія!.. Оттого ли, что стихи въ трагедіи мастерски принаравлены къ настоящимъ политическимъ обстоятельствамъ, или мы всѣ вообще теперь еще глубже проникнуты чувствомъ любви къ государю и отечеству, только дѣйствіе, производимое трагедіею на душу,—невообразимое.

Стоя у кулисы... я плакалъ, какъ ребенокъ, да и не я одинъ: мнѣ показалось, что самъ Яковлевъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ своей роли какъ будто захлебывался и глоталъ слезы“¹⁾.

„Димитрій Донской“ имѣлъ громадный успѣхъ, какого не помнятъ наши театральныя лѣтописи. Нѣкоторые стихи этой трагедіи, очевидно, рассчитанные на обстоятельства времени, были привѣтствуемы тогда всеобщимъ восторгомъ, напр.

Бѣды платить врагамъ настало нынѣ время!

¹⁾ Зап. Жихарева, стр. 265—266.

Или

Ах! лучше смерть въ бою, чѣмъ миръ принять безчестный!

Посланникъ Мамаю являлся для публики посланникомъ Наполеона, Дмитрій—Александромъ.

„Иди къ посланному и возвести ему,
Что Богу русский князь покоренъ одному“.

Или

„Скажи, что я горжусь Мамаевой враждой:
Къ чести, правдѣ врагъ, тотъ врагъ, конечно, мой—

говорилъ Дмитрій послу Мамаю и публикѣ казалось, что передъ ней происходило современное дѣйствіе.

Восторженное чувство зрителей доходило до крайнихъ предѣловъ, когда въ концѣ трагедіи, послѣ побѣды надъ татарами израненный Дмитрій, поддерживаемый князьями, становится на колѣни и говорить:

„Но первый сердца долгъ къ Тебѣ, Царю царей!
Всѣ царства держатся десницею Твоей:
Прославь, и утверди, и возвеличь Россію,
Какъ прахъ земной сотри враговъ кичливыхъ выю,
Чтобъ съ трепетомъ сказать иноплеменикъ могъ:
Язвы! вѣдайте: великъ Россійскій Богъ!“

Такое патріотическое содержаніе новой трагедіи „Дмитрій Донской“, гдѣ заключалось такъ много намековъ на современность, всѣхъ занимавшую, должно было совершенно скрыть отъ глазъ современниковъ всѣ недостатки ея. Относиться скептически къ достоинствамъ трагедіи, отыскивать въ ней разныя погрѣшности, выражать открыто свое мнѣніе о томъ, чѣмъ грѣшитъ она, — значило вооружать противъ себя общественное мнѣніе, являться не патріотомъ. Такое несвободное отношеніе критики къ „Дмитрію“ продолжалось довольно долгое время. Замѣчательно, что Мерзляковъ, уже по смерти Озерова, сдѣлавшій въ 1817 году на своихъ публичныхъ лекціяхъ подробный и весьма справедливый по тому времени разборъ всѣхъ трагедій Озерова, не подвергалъ однако разсмотрѣнію „Дмитрія Донскаго“, безъ сомнѣнія, по тому соображенію, что безпристрастное сужденіе о трагедіи было бы неприятно его слушателямъ. Еще въ то время всѣ были убѣждены, что „Озеровъ возвратилъ трагедіи ея истинное достоинство: питать гордость народную священными воспоминаніями и вызывать изъ древности подвиги великихъ героевъ, благодетелей современникамъ, служащихъ образцемъ для потом-

ства¹⁾. Въ 1812 году повторился вновь чрезвычайный успѣхъ „Донского“. Современники говорили, что въ этой трагедіи были предсказаны многія событія года отечественной войны.

ЛЕКЦІЯ XXX.

«Димитрій Донской.» — Служебныя неприятели Озерова. — Намѣреніе писать трагедію изъ русской исторіи. — «Поликсена.» — Неуспѣхъ пьесы. — Его причины. — Кн. А. А. Шаховской.

Трагедія Озерова „Димитрій Донской“ имѣла временное значеніе, которому помогали историческія событія, вызвавшія патриотическое настроеніе общества. Но, какъ художественное произведеніе, она стоитъ гораздо ниже прочихъ его драматическихъ произведеній и не выдержитъ самой снисходительной критики. Въ другихъ трагедіяхъ у Озерова было содержаніе, чрезвычайно разработанное европейскими литературами; трагическія лица и событія стояли передъ нимъ вполне готовы и отдѣланны; Озерову оставалось только брать смѣлою рукою и переводить на русскій языкъ, на свой звучный, для того времени, стихъ. Здѣсь, въ событіяхъ отечественной исторіи, въ ихъ отношеніи къ его поэтическому пониманію было совершенно другое дѣло. Озерову, трагическому поэту начала XIX вѣка, воспитанному вполне по-французски и на классическихъ образцахъ французской литературы, содержаніе и характеръ родной исторіи были совершенно неизвѣстны; разумѣется, онъ не читалъ ни одного лѣтописнаго разсказа о побѣдѣ Димитрія надъ Мамаемъ, ни одной древне-русской повѣсти о ней; сраженіе Куликовское представлялось въ его воображеніи въ образахъ совершенно общихъ, лишенныхъ мѣстнаго колорита, чѣмъ-то въ родѣ сраженія Мараѳонскаго. Озеровъ не зналъ русской исторіи, а если онъ и зналъ что-нибудь о настоящемъ историческомъ Димитріи, то считалъ себя въ правѣ измѣнить эту личность дѣйствительную въ необычную и идеальную фигуру средне-вѣковаго рыцаря, влюбленнаго въ столь же необычную и фантастическую княжну Ксенію, прибывшую въ русскій лагерь для брака съ княземъ тверскимъ, по волѣ отца и противъ стремленія своего сердца, влекущаго ее къ Димитрію, свободно расхаживающую со своею наперсницею и безпрестанно толкующую о своей страстной любви. Озеровъ имѣлъ, впрочемъ, право измѣнить дѣйствительное содержаніе на фантастическое, потому что и его зрители были

¹⁾ Соч. Озерова, изд. 5, ч. III, стр. 150.

совершенно равнодушны къ первому, подобно поэту не знали русской исторіи, и ихъ національное чувство нисколько не могло оскорбиться грубымъ искаженіемъ дѣйствительныхъ фактовъ. Значеніе этой трагедіи Озерова должно было быстро исчезнуть, вмѣстѣ съ обстоятельствами времени; для насъ содержаніе, состоящее изъ нелѣпой любви, наполняющей всѣ пять дѣйствій, и напыщенныя тирады о любви къ отечеству, долгѣ, рыцарскихъ чувствахъ и т. п. дѣлаютъ ее невыносимою. Для тѣхъ зрителей, которые въ сомнѣніи россійскихъ князей, бояръ и воеводъ, собиравшихся въ трагедіи для разсужденій о благѣ отечества, для рѣшенія вопроса о войнѣ или мирѣ, воображали видѣть личностей, напоминающихъ сенаторовъ древняго Рима, — ихъ рѣчи звучали и величіемъ и патриотизмомъ. Но для людей, искусившихся знаніемъ своего прошлаго, читавшихъ, что эти князья, бояре и воеводы въ княжеской московской думѣ сидѣли большею частію молча, уставя брады или грызаясь между собою изъ-за мѣсть, — ихъ рѣчи въ трагедіи Озерова звучатъ ходульной декламациею и возбуждаютъ только смѣхъ. Не то было во время представленія трагедіи. Современники были возбуждены патриотически, громкая рѣчь о любви къ отечеству казалась имъ близкою къ дѣлу.

Даже „любовныя шалости“, столь изобильно наполняющія трагедіи Озерова, за исключеніемъ одного „Эдипа“, не казались тогда приторными. Общество того времени уже было воспитано чувствительностію Карамзина; Озеровъ принадлежалъ къ его школѣ, былъ увлеченъ общимъ направленіемъ и хлопоталъ въ своихъ трагедіяхъ объ изображеніи чувства. Оно было выражено въ самомъ дѣлѣ съ значительною вѣрностію и глубиною, хотя уже, согласно духу времени, переходило въ тотъ мечтательный, неопредѣленный, расплывающійся *романтизмъ*, представителемъ котораго вскорѣ сдѣлался у насъ Жуковский. Озеровъ можетъ быть названъ въ этомъ смыслѣ его предшественникомъ. Оттого у Жуковскаго было такое сочувствіе къ Озерову. Онъ говоритъ о немъ:

„Чувствительность его сразила!
Чувствительность, которой сила
Мои ны душу создала,
Пѣвцу погибелью была“...

Эта чувствительность была наслѣдіемъ Карамзина; Жуковский придалъ ей туманный характеръ современнаго европейскаго романтизма. У Карамзина дѣло шло только о чувствительности сердца, искушеннаго любовными страданіями; у Жуковскаго эта скорбь расширялась и распространялась на всю жизнь, на весь міръ, въ которомъ человѣкъ

не видѣлъ для себя мѣста для дѣйствія, гдѣ были только разбитыя надежды, печальныя, напрасныя жертвы, гдѣ было все невѣрно, обманчиво, гдѣ человѣкъ приучался только мечтать о грядущемъ, объ очарованномъ *тамъ*, которое замѣнить и искупить земныя страданія. Начало этого болѣе широкаго романтизма, который, въ свою очередь, подобно Карамзинской чувствительности, сдѣлался однимъ изъ воспитательныхъ элементовъ нашего общества, замѣтно и у Озерова. Женскія лица всѣхъ его трагедій вполнѣ романтическія героини.

Необычайный успѣхъ „Димитрія Донскаго“ былъ однако послѣднимъ сценическимъ успѣхомъ Озерова. Вскорѣ начались его неудачи въ жизни, кончившіяся такъ печально. „Частныя неудовольствія, легкія можетъ быть для другого, но нестерпимыя для нѣжной и благородной души, удалили Озерова въ деревню“ — говоритъ кн. Вяземскій. Въ чемъ заключались эти „частныя неудовольствія“, мы не знаемъ положительно. По разсказу двоюроднаго брата Озерова, Блудова, слышанному Гротомъ, выходитъ, что неудачи эти были служебныя. Мы говорили уже, что Озеровъ дослужился до чина генераль-маіора, будучи совѣтникомъ въ лѣсномъ департаментѣ по министерству финансовъ, которымъ управлялъ государственный казначей Голубцевъ. Озеровъ терпѣлъ большія непріятности отъ своего начальника и былъ въ 1808 году уволенъ вовсе отъ службы, безъ прошенія и безъ пенсіи ¹⁾. За что нападалъ Голубцевъ на Озерова, мы не знаемъ, но честный характеръ этого Голубцева извѣстенъ намъ изъ записокъ современниковъ. Изъ писемъ самого Озерова къ пріятелю его Оленину, видно, что обвиненія падали не на него одного; онъ раздѣлялъ ихъ съ прочими лѣсными чиновниками, заподозрѣнными, какъ видно, во взяточничествѣ. Слава поэта-патріота не спасла Озерова. „Мою обязанность къ отечеству исполнилъ, пишетъ онъ къ Оленину, находясь въ службѣ болѣе тридцати лѣтъ и служивъ оберъ-офицеромъ болѣе 20 лѣтъ. Если не могъ быть ему полезенъ столько, сколько желалъ, тому не я причиною, а судьба, стѣснявшая всегда кругъ моихъ обязанностей. По лѣсному же департаменту я имѣлъ случай доставить казнѣ, въ продолженіе семи лѣтъ, болѣе милліона трехъ сотъ тысячъ рублей дохода новою и мною найденною и обработанною статьею сборовъ, которая ежегодно приноситъ отъ 50 до 70 тысячъ рублей. Но вмѣсто поощреній и награжденій я чувствовалъ одни огорченія, испыталъ несправедливости и подвергнулся со всѣми лѣсными чиновниками подозрѣнію правительства. Послѣднее довершило мое негодованіе на службу, когда я увидѣлъ, что ни моя скромная жизнь, ни отказываніе себѣ во многомъ не могли меня

¹⁾ Соч. Держ. II, стр. 581.

исключить изъ подъ ложнаго мнѣнія, по которому, можетъ быть, считаютъ, что сынъ не царскій и не боярскій, а просто дворянскій, не можетъ быть честнымъ человѣкомъ по воспитанію, по собственному понятію своему и совѣсти“¹⁾. Эти искреннія слова вполне оправдываютъ Озерова и заставляютъ убѣдиться, что общее обвиненіе, можетъ быть, въ сущности и справедливое, не должно было касаться его. Всѣ хлопоты Озерова о пенсіонѣ, который былъ ему необходимъ, чтобы имѣть возможность, при его незначительномъ состояніи, жить въ Петербургѣ, кончились неуспѣхомъ, и онъ долженъ былъ, уѣхать въ тверскую деревню отца своего, которому шель тогда 73-й годъ.

Къ этимъ служебнымъ неприятностямъ, которыя повели къ несчастной отставкѣ Озерова и заставили его оставить Петербургъ, гдѣ онъ провелъ лучшіе года своей жизни, гдѣ онъ наслаждался славою поэта и блестящими сценическими успѣхами и гдѣ были всѣ его созданныя годами привязанности, присоединился неуспѣхъ его послѣдней трагедіи „Поликсена“, почти оконченной до отъѣзда его въ деревенскую глушь. Этотъ неуспѣхъ нанесъ окончательный нравственный ударъ Озерову. Изъ писемъ къ Оленину видно, что несчастный поэтъ уѣхалъ бодрымъ изъ Петербурга. Онъ сообщаетъ насмѣшливыя замѣчанія о своей деревенской обстановкѣ, объ эстетическомъ развитіи и вкусѣ своихъ сосѣдей. Пославъ къ Оленину изъ тверской деревни осенью 1808 года свою „Поликсену“, въ чисто переписанномъ экземплярѣ и возложивъ на него всѣ заботы о постановкѣ этой трагедіи на петербургской сценѣ, съ условіемъ взять за нее съ театральной дирекціи не менѣе 3 тысячъ рублей и не уступать изъ этой суммы ни рубля, потому что „пора признать въ Россіи, что таланты не для дневнаго пропитанія трудятся“²⁾, Озеровъ наполняетъ свои письма заботами о своемъ послѣднемъ трагическомъ дѣтищѣ и спѣшитъ поправить въ ней изъ деревни тотъ или другой стихъ, который ему не нравится. Изъ тверской деревни Озеровъ долженъ былъ уѣхать дальше, именно въ деревню Красной Ярѣ, въ 30 верстахъ отъ г. Чистополя, Казанской губерніи. По его словамъ, это была его единственная собственность и въ ней требовалось необходимо его присутствіе для устройства хозяйственныхъ дѣлъ. Даль и глушь не пугали его сначала: „Исключая нѣкоторое малое число милыхъ пріятелей, которыхъ я покинулъ въ Петербургѣ, я ни о комъ и ни о чемъ, тамъ оставленномъ, не тужу,—пишетъ онъ уже изъ чистопольской деревни. Здѣсь живу я въ настоящей хижинѣ, потому что мой домъ не отдѣланный стоитъ, безъ печей и окон-

¹⁾ Русск. Арх. 1869 г. стр. 139—140.

²⁾ Ibid., стр. 131.

чить, но признаюсь вамъ, что мою безпечную и свободную жизнь не промѣняю ни на сенаторское, ни на министерское мѣсто¹⁾. Пославъ свою „Поликсену“ въ Петербургъ къ Оленину, Озеровъ составляетъ планы и выбираетъ содержаніе для будущихъ трагедій. Онъ слѣдитъ за текущею русскою литературою по журналамъ. Впереди всѣхъ шумѣлъ тогда „Русскій Вѣстникъ“ Глинки, который, какъ мы знаемъ, писалъ передъ тѣмъ трагедіи съ содержаніемъ, взятымъ изъ русской исторіи. Это требованіе Глинки—обращаться за содержаніемъ къ родной жизни—сначала, повидимому, вызываетъ ироническія замѣчанія Озерова. „Изъ его разсужденій, пишетъ онъ, выводится заключеніе, что ни Корнель, ни Расинъ, ни Вольтеръ, ни Кребильонъ не были истинными трагиками, хотя мы всѣ, упражняющіеся въ трагическомъ искусствѣ, почитаемъ ихъ своими учителями“. Но мало-по-малу теорія Глинки овладѣваетъ умомъ Озерова, и онъ думаетъ писать трагедію изъ русской исторіи, но не въ томъ, далекомъ отъ истины видѣ, въ какомъ написанъ былъ „Димитрій Донской“, а съ разработкою дѣйствительнаго историческаго содержанія; съ этою цѣлью Озеровъ обращается за совѣтомъ и помощію къ Оленину. Содержаніе думаетъ онъ взять теперь изъ царствованія Анны Ивановны, именно смерть Волинскаго, „пострадавшаго отъ Бирона за правду и защиту русскаго народа“. Мысль о такомъ содержаніи занимала Озерова еще въ Петербургѣ; оно было весьма благопріятно для трагедіи и надо удивляться, что такая мысль пришла на умъ Озерову, для котораго дороже всего были его французскіе образцы. Но Волинскій все-таки была личность неясная для трагика, для разработки матеріала въ этомъ родѣ тогда вовсе не доставало источниковъ, и, чтобы добыть ихъ, онъ обращается къ Оленину: „По вашимъ связямъ съ министрами и, другими сильными людьми въ довѣрїи и власти, не можете ли открыть производство слѣдственнаго дѣла надъ Волинскимъ и мнѣ о томъ сообщить?“ Но Озеровъ понималъ тогдашнее положеніе литературы, съ ея робкимъ и ничтожнымъ содержаніемъ, понималъ ея печальную зависимость отъ цензуры и высказывалъ грустное убѣжденіе, что его трагедія съ этимъ избраннымъ имъ содержаніемъ *никогда* не можетъ быть играна на нашемъ театрѣ, а потому онъ и намѣревался писать ее только для своихъ прїателей. А между тѣмъ его взглядъ на содержаніе и развитіе предполагаемой трагедіи былъ широкъ и свободенъ: „И какое широкое поле для сочинителя, говоритъ онъ, чтобъ показать во всемъ блескѣ правду русскаго боярина, должность вельможи и сенатора, и противоположить злоупотребленія временщика-

¹⁾ Ibid., стр. 139.

иностранца, алчущаго одной своей корысти и. можетъ быть, ненави-
 дящаго народъ, ввѣренный управленію его слабою государынею; и
 наконецъ представить настоящее положеніе народа подъ слабымъ
 и недовѣрчивымъ правленіемъ“¹⁾. „Вы чувствуете, какія истинныя
 картины можно изобразить, заимствуя кое-что изъ нашихъ вре-
 менъ“. Но для такой картины, вдали отъ Петербурга и безъ помощи
 архивовъ, у Озерова, въ его глуши, не доставало матеріаловъ. Оле-
 нинъ же не совѣтовалъ ему приниматься за Волинскаго, и Озеровъ
 снова обратился къ вѣчнымъ сюжетамъ классической трагедіи. По
 словамъ кн. Вяземскаго, онъ сжегъ написанныя имъ три дѣйствія
 новой трагедіи „Медея“, въ припадкѣ унынія и оскорбленнаго са-
 молюбія отъ неуспѣха его „Поликсены“. Онъ не хотѣлъ болѣе ничего
 писать: „Ни сей трагедіи, ни другихъ писать болѣе не хочу“—го-
 ворить онъ—„тысячи неприятностей, навлеченныхъ мнѣ званіемъ
 автора и обиды, которая, можетъ быть, оное навело мнѣ по службѣ
 (любопытный намекъ) заставляютъ меня отстать отъ стихотворства,
 бросить перо, принятая за заступъ, и обработывая свой огородъ,
 возвратиться въ толпу обыкновенныхъ людей“.

Содержаніе послѣдней трагедіи Озерова „Поликсена“, представ-
 ленной въ первый разъ на петербургской сценѣ, въ отсутствіе автора,
 14 мая 1808 года, взято имъ снова изъ классическаго міра, изъ
 круга троянскихъ сказаній. Современные критики считали эту тра-
 гедію лучшимъ изъ произведеній Озерова, а слѣдовательно, лучшею
 изъ всѣхъ русскихъ трагедій. Можетъ быть, въ этомъ сужденіи уча-
 ствовала и значительная доля сожалѣнія о несчастной судьбѣ Озе-
 рова, соединенной съ этою трагедіею. У трагика въ обработкѣ со-
 держанія „Поликсены“ было много предшественниковъ, какъ и въ
 „Эдипѣ“. Кто не пользовался, кто не обработывалъ вѣчное содержа-
 ніе Гомеровыхъ поэмъ! Три образца въ особенности лежали передъ
 Озеровымъ: „Гекуба“ — трагедія Эврипида, „Троада“ — Сенеки и
 „Троянки“ — тогда молодого и пользовавшагося уже большою славою
 французскаго писателя, Шатобріана. О своемъ подражаніи Эврипиду
 говоритъ самъ Озеровъ: „Если третье дѣйствіе нѣсколько пора-
 зило слушателей, то обязаны они симъ удовольствіемъ Эврипиду, у
 котораго я занялъ почти весь разговоръ Гекубы съ Улиссомъ“²⁾.
 Кромѣ Эврипида, и Сенека, и Шатобріанъ доставили также много ма-
 теріала Озерову. Намъ нѣтъ надобности входить въ подробности о
 содержаніи „Поликсены“. Всякому образованному человѣку извѣстны
 вѣчныя преданія, связанныя съ троянскою сагою. Здѣсь дѣло идетъ

¹⁾ Ibid., стр. 143.

²⁾ Ibid., стр. 149.

о жертвоприношеніи Поликсены, дочери Пріама и Гекубы, когда-то невѣсты Ахилла, въ угоду тѣни греческаго героя, требовавшей жертвы, которая нужна была еще и потому, что съ этою жертвою соединенъ былъ счастливый возвратъ грековъ на родину изъ подѣ стѣнъ разрушенной Трои. На троянскомъ берегу ихъ держало безвѣтріе и принесенная жертва должна была умиловать разгнѣванныхъ боговъ. Въ трагедіи нѣтъ той уже опошленной любовной страсти, которая такъ портила „Димитрія Донскаго“. Все сосредоточено на чувствѣ любви материнской и дочерней, и эта сосредоточенность чувства придаетъ особую простоту дѣйствію. Лучшій характеръ, конечно, Поликсена, какъ и другія женскія лица трагедій Озерова. Но и другіе характеры трагедіи, окружающіе Поликсену: ея мать Гекуба, сестра Кассандра, Агамемнонь, скорѣе, впрочемъ, похожій на рыцаря, чѣмъ на древняго грека, Пирръ, Улиссъ—характеры также вѣрные себѣ въ развитіи пьесы. На отдѣлкѣ характера Поликсены сосредоточился, однако, весь талантъ Озерова. Изъ рукъ его она вышла вполне романтическою дѣвою. Прощаясь съ матерью передъ тѣмъ, какъ идти на закланіе, она произноситъ слѣдующія слова, полныя романтическаго чувства:

„Благослови меня послѣднимъ цѣлованьемъ!
Но духа моего ты не смущай рыданьемъ,
И слезъ не лей: я ихъ не въ силахъ отереть.
Поверь: не стоитъ жизнь, чтобы о ней жалеть.
И Гекторъ и Пріамъ и смертный, сердцу милый,
Всѣ ждуть меня, всѣ тамъ, за темною могилой.
Тамъ мы увидимся! О мать! отпусти,
Прости въ послѣдній разъ! и ты, сестра, прости!“

Такое представленіе древней гречанки съ романтическими сторонами характера было уже въ духѣ времени, то же чувство разлито въ балладахъ Шиллера, посвященныхъ Греціи, напр., въ балладѣ „Торжество побѣдителей“. Конечно, оно одно и могло быть понимаемо, и могло нравиться зрителямъ, для которыхъ и сцена дѣйствія и содержаніе его не представляли никакого интереса. Въ душу типовъ древней Греціи вливалось новое чувство, понятное современникамъ. Пониманія древней жизни нельзя требовать отъ Озерова. То же самое романтическое чувство слышится и въ послѣднихъ словахъ Нестора, заключающихъ трагедію:

„Какой постигнетъ умъ боговъ совѣтъ чудны!
Жестоки-ль были мы, или были правосудны?
Среди тщеты надеждъ, среди страстей борьбы
Мы бродимъ по землѣ игралищемъ судьбы.
Счастливы, кто въ гробъ скорѣй отъ жизни удалится,
Счастливые стократъ, кто къ жизни не родится!“

Современный критикъ слышалъ въ словахъ этихъ отголосокъ души самого поэта. „Обманувшійся во многихъ надеждахъ, говоритъ онъ, растерзанный въ живѣйшихъ чувствахъ сердца, онъ взоромъ разочарованнымъ глядѣлъ на жизнь и съ удовольствіемъ думалъ о смерти, спокойномъ убѣжищѣ утомленныхъ странниковъ земли“¹⁾).

„Поликсена“, представленная въ первый разъ 14 мая 1808 года, появлялась на сценѣ только два раза, и въ оба раза театральнѣйшій сборъ былъ неполонъ. Отчего публика такъ неблагоприятно встрѣтила послѣднюю трагедію Озерова, тогда какъ она только годъ тому назадъ привѣтствовала его единодушнымъ восторгомъ на представленіяхъ „Димитрія Донского“, объяснить едва ли возможно. Дѣло это представляется до того темнымъ, до того закрытымъ разными современными и послѣдующими намеками и догадками, что теперь, за неимѣніемъ положительныхъ свидѣтельствъ, о немъ ничего нельзя сказать точнаго. По заведенному порядку, директоръ театровъ, послѣ втораго представленія пьесы, долженъ былъ дать предписаніе кому слѣдуетъ о выдачѣ Оленину 3 тысячъ р., которые Озеровъ просилъ за „Поликсену“; два представленія были даны, а деньги, которыя такъ нужны были Озерову, не выдавались, и разсерженный трагикъ писалъ въ Петербургъ къ своему другу, чтобъ онъ не допускалъ трагедіи до третьяго представленія и взялъ ее обратно изъ дирекціи. Это были послѣднія слова послѣдняго письма его, написаннаго къ Оленину. „Для моей славы довольно и двухъ представленій“—говорилъ онъ. Изъ дѣлъ театральной дирекціи видно, что „Поликсена“ была отдана ей за 3 тысячи р. съ условіемъ получить ихъ „если она будетъ имѣть успѣхъ и принесетъ выгоды дирекціи“. Въ два представленія „Поликсена“ дала сбору только 1846 р. 25 к., изъ чего дирекція, заключая, что представленія трагедіи невыгодны, приостановилась давать ее, но „дабы у автора, сдѣлавшаго уже себѣ имя прежними твореніями, не отнять охоты къ сочиненію впредь, говорилось въ докладѣ директора Нарышкина императору Александру, несмотря на малый успѣхъ его трагедіи, дирекція не имѣя суммъ на заплату, испрашивала на то Высочайшаго соизволенія“. Докладъ Нарышкина представленъ былъ черезъ кн. А. Н. Голицына Государю, но Александръ не разрѣшилъ уплаты, основываясь на точномъ исполненіи условія²⁾).

Все это дѣло и восхождение его на утвержденіе императора, который отказываетъ въ незначительномъ количествѣ рублей Озерову, только годъ тому назадъ написавшему имѣвшую чрезвычайный успѣхъ патріотическую трагедію, и самая оцѣнка „Поликсены“ послѣ

¹⁾ Соч. Озерова, ч. III, стр. 156.

²⁾ Русск. Арх. 1869 г., стр. 2031—2032.

двухъ представленій, куда публика могла обратиться не въ полномъ количествѣ и совершенно случайно, — представляется чрезвычайно страннымъ. Въ ходѣ этого дѣла, отъ условія, заключеннаго Озеровымъ и до доклада императору, все кажется естественнымъ, нигдѣ не проглядываетъ та личная къ Озерову вражда, способствовавшая неуспѣху „Поликсены“, а слѣдовательно, и погубившая поэта, о которой единогласно говорятъ современники. Изъ разсмотрѣнія всего этого дѣла, сдѣланнаго княземъ Вяземскимъ ¹⁾, является очевиднымъ, что къ Озерову не были враждебно расположены ни Нарышкинъ, ни Голицынъ, ни самъ императоръ, что подъ всею этою вполнѣ законною обстановкою скрывается, однако, какая-то темная пружина, руководившая всѣми обстоятельствами, враждебными Озерову, что было какое-то лицо, которое желало вредить ему и имѣло на то средства. Всѣ показанія современниковъ единогласно указываютъ на такое лицо; одно только странно, что обвиненія стали высказываться, не ранѣе 1815 года, т.-е. за годъ до смерти Озерова, а до тѣхъ поръ нието ни слова не говорилъ въ теченіе семи лѣтъ. Лицо, которое называли сознательнымъ врагомъ Озерова, былъ князь Александръ Александровичъ *Шаховской* (род. 24 Апр. 1777 года), извѣстный авторъ множества комедій и водевилей, весьма долго державшихся на русской сценѣ и любопытныхъ для изученія, такъ какъ изъ нихъ можно извлечь многія черты для характеристики общества во вторую половину царствованія Александра ²⁾. Шаховской былъ самъ страстнымъ поклонникомъ театра, вообще сцены и закулиснаго міра; онъ самъ имѣлъ большой комическій талантъ и, по рассказамъ современнымъ, былъ превосходнымъ актеромъ, такъ что игра его заставляла совершенно забывать о неуклюжей и безобразной его фигурѣ ³⁾. Эта страсть къ театру и сценическія способности сдѣлали Шаховского извѣстнымъ директору императорскихъ театровъ Нарышину; онъ сдѣлалъ Шаховского начальникомъ репертуарной части, что придадо ему большое значеніе, такъ что судьба авторовъ, актеровъ и пьесъ находилась вполнѣ въ его рукахъ. Шаховской принадлежалъ къ тремъ разнымъ кругамъ общества: и къ знатному, по рожденію, и къ литературному, и къ закулискому. Изъ этихъ круговъ сосредоточивались въ домѣ Шаховского всевозможныя сплетни. Самъ онъ отличался удивительною раздражительностью характера и, по свидѣтельству современниковъ, завистливостью ко всякому таланту, обра-

¹⁾ Русск. Арх. 1869 г., стр. 2036—2041.

²⁾ „О заслугахъ вн. Шаховского въ драматической словесности“. Полное собраніе соч. С. Т. Аксакова, СПб. 1886 г., т. IV, стр. 144—149.

³⁾ Записки Вигеля, III, стр. 126.

щавшему на себя вниманіе общества. При всемъ томъ, всѣ свидѣ-
 тельствуютъ о его добротѣ и мягкости: виною всѣхъ его выходовъ
 была раздражительность, которая однако скоро проходила. По своимъ
 литературнымъ вкусамъ и убѣжденіямъ, Шаховской былъ съ самаго
 начала своего писательства сторонникомъ Шишкова и врагомъ Ка-
 рамзина и его школы. Въ своей комедіи „Новый Стернь“ онъ прежде
 всего вывелъ на сцену Карамзина и старался осмѣять его сентимен-
 тальность; разумѣется, это было неприятно поклонникамъ Карамзина.
 Въ другой, позднѣйшей комедіи „Липецкія воды“ онъ осмѣивалъ Жу-
 ковскаго и его романтизмъ. Говорятъ, вообще въ его комедіяхъ много
 современныхъ личностей, почему либо возбудившихъ къ себѣ неблаго-
 воленіе Шаховскаго. Понятно, что поклонники Карамзина и Жуков-
 скаго, такъ называемые „Арзамасцы“ не любили Шаховскаго и сдѣлали
 его мишенью для выстрѣловъ своихъ многочисленныхъ эпиграммъ, въ
 которыхъ онъ обыкновенно назывался *Шутовскимъ*. Другое литера-
 турное имя его, за современные намеки въ комедіяхъ, было Ари-
 стофанъ. Вдругъ возникшая слава, дѣйствительный талантъ, и не-
 обыкновенный успѣхъ трагедій Озерова—должны были сильно подѣй-
 ствовать на завистливый характеръ Шаховскаго; эти неожиданные
 лавры раздражали его воображеніе; этихъ успѣховъ Шаховской пе-
 ренести не могъ. Были ли какія-нибудь личныя причины вражды
 его къ Озерову, намъ неизвѣстно, но самое мягкое объясненіе дѣй-
 ствій Шаховскаго (въ чемъ они состояли, мы также положительно не
 знаемъ) будетъ то, что онъ, какъ человѣкъ другихъ литературныхъ
 убѣждений, думалъ, что „въ самомъ дѣлѣ оказываетъ услугу русской
 литературѣ, затормозивъ дальнѣйшее движеніе Озерова. Во всякомъ
 случаѣ было бы непрослительно допустить, что онъ могъ предвидѣть
 пагубныя и плачевныя послѣдствія, которыя повлекло за собою про-
 тиводѣйствіе его успѣхамъ Озерова“¹⁾.

ЛЕКЦІЯ XXXI.

Интриги Шаховскаго противъ Озерова. — Сумасшествіе Озерова. — Отзывъ Спе-
 ранскаго объ Озеровѣ. — Трагедіи Крюковскаго. — Записка Карамзина „о древней
 и новой Россіи“.

Всѣ современники согласны въ томъ, что причиною несчастья,
 постигшаго Озерова, и причиною сознательною—былъ князь Шахов-
 ской. По рассказамъ Блудова, переданнымъ въ его біографіи Кова-
 левскимъ, Шаховской „затѣялъ противъ него интригу“ и для паде-

¹⁾ Рус. Арх. 1869 г., стр. 2044.

нія „Поликсены“ „подготовили общественное мнѣніе, а можетъ быть и самихъ актеровъ“¹⁾). Какъ дѣйствовали Шаховской и какія средства употреблялъ онъ для достиженія своей цѣли—намъ неизвѣстно. Всѣ однако-жъ говорятъ въ одинъ голосъ объ интригахъ, сгубившихъ Озерова, и о зависти, породившей ихъ. Батюшковъ, въ своей баснѣ „Пастухъ и Соловей“, посвященной Озерову, намекаетъ на „зюловъ строгихъ, богатыхъ завистью, талантами убогихъ“. Въ своей статьѣ о Петраркѣ тотъ же Батюшковъ, говоря о „любимцѣ Мельпомены“, упоминаетъ о завистникахъ дарованія и заключаетъ мыслію, выражающею взглядъ его на поэзію: „Великое дарованіе и великое страданіе почти одно и то же“. Жуковский также говоритъ о зависти²⁾).

„Увы! Дмитрія творецъ
Не отличилъ простыхъ сердецъ
Отъ хитрыхъ, полныхъ вѣроломства:
Зачѣмъ онъ свой сплетать вѣнецъ
Давалъ завистникамъ съ друзьями?
Пусть дружба нѣжными перстами
Изъ лавровъ себѣ вѣнецъ свила—
Въ нихъ зависть тернія вилела;
И торжествуетъ: растерзали
Ихъ нглы славное чело“.

Дашковъ, въ своемъ ироническомъ „письмѣ къ новѣйшему Аристофану“, подъ названіемъ котораго онъ и друзья его разумѣли кн. Шаховского, остроумно подсмѣивается надъ нимъ, увѣряя, что онъ совершенно не причастенъ зависти: „Зависть! Можетъ ли сіе слово вамъ приличествовать! Подобно Вольтеру, который Вамъ однимъ вашему участію въ переводѣ его трагедій обязанъ истинною своею славю, подобно ему вы чуждаетесь низкихъ страстей челоуѣчества. De qui dans l'univers peut il être jaloux“; говоритъ онъ также и объ отношеніяхъ Шаховскаго къ Озерову: „Явился писатель, коего образованію природа и искусство равно содѣйствовали, который заслужилъ безсмертное имя въ лѣтописяхъ русскаго театра, и разительными красотоми своихъ трагедій заставилъ забыть свои недостатки. Такъ мы судили: Вы одни, М. Г., открыли грубую ошибку нашу и всѣми силами стремились сокрушить несправедливую славу творца Поликсены и Дмитрія... Ахъ! Вы ли виною, что небольшія огорченія (можетъ быть, съ самымъ лучшимъ намѣреніемъ причиненныя) раздражили глубокую чувствительность, неразлучную съ гениемъ, и погубили его. О несправедливости! о суетѣ славы!“³⁾. Когда пришла

¹⁾ Ковалевскій. Графъ Блудовъ и его время, стр. 37.

²⁾ „Посланіе къ кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину“.

³⁾ Сынъ Отеч. 1815 г., ч. XXV, № 42, стр. 143—144.

въ Петербургъ первое извѣстіе о смерти Озерова, въ томъ же „Сынѣ Отечества“ появилась слѣдующая эпитаграмма ¹⁾:

„Угасъ нашъ Озеровъ, лучъ славы Россіянъ:
Уможь пѣвецъ Фингала, Поликсены!
Рыдайте, невскія камены!
Ллеуѣй, *Аристофанъ!*“

Молодой, только что начинающій Пушкинъ, въ своемъ посланіи къ Жуковскому, зоветъ даже литературныхъ друзей своихъ, на мѣсть за Озерова:

„Смотрите! Пораженъ враждебными стрѣлами,
Съ потушимъ факеломъ, съ недвижными крылами,
Къ вамъ Озерова духъ, взываетъ, други, мѣсть!“

Такимъ образомъ, всѣ современники, болѣе другихъ интересовавшіеся литературою, желавшіе ей успѣха, новаго содержанія и новыхъ формъ, сходились въ общемъ мнѣніи, что зависть была причиною гибели Озерова и что лицомъ, способствовавшимъ ей какими-то темными продѣлками и интригами, былъ князь Шаховской. Можетъ быть, все это было преувеличено; можетъ быть, поклонники таланта Озерова въ своемъ рвеніи заходили далеко, и на нихъ могла имѣть вліяніе несчастная судьба Озерова. Онъ былъ до крайности самолюбивъ и раздражителенъ и „чувствительность его сгубила“ — по выраженію Жуковскаго. Мы приводили уже мѣсто изъ писемъ его къ Оленину, гдѣ онъ совершенно отказывается отъ поэзіи, въ первое время по полученіи извѣстія о неуспѣхѣ на сценѣ его „Поликсены“. За неудовольствомъ и раздраженіемъ наступило отчаяніе; вѣроятно, деревенское уединеніе развило больше это отчаяніе и сомнѣніе въ своемъ талантѣ и все кончилось тѣмъ, что Озеровъ сошелъ съ ума въ своей чистопольской деревнѣ. Оттуда старикъ отецъ перевезъ его въ Зубцовскій уѣздъ и лѣтъ семь, до смерти своей въ ноябрѣ 1816 года, несчастный поэтъ не приходилъ въ сознаніе. Озеровъ долженъ быть, такимъ образомъ, причисленъ къ тѣмъ напраснымъ и несчастнымъ жертвамъ, которыхъ довольно представляетъ русская литература. Нельзя, однако, припоминая печальную судьбу Озерова, не сдѣлать замѣчанія о положеніи поэта въ тогдашнемъ обществѣ. Неужели возможно въ болѣе развитомъ состояніи послѣдняго такое обстоятельство, что чиновничьи продѣлки могутъ возвысить и уронить славу поэта, что литературная судьба его можетъ зависѣть отъ канцелярскихъ отношеній и отъ формы доклада, хотя бы и самому государю?

¹⁾ Ibid., 1816 г., ч. XXXIII, стр. 267.

Судить о значеніи Озерова и о его положеніи въ исторіи нашей литературы, конечно, можно только съ современной ему точки зрѣнія, принимая во вниманіе тогдашніе вкусы, тогдашнія требованія отъ поэзіи и литературы. Для насъ даже тотъ родъ произведеній, въ которомъ упражнялся Озеровъ, не существуетъ; мы требуемъ отъ поэзіи и вообще отъ искусства, чтобъ они изображали передъ нами жизнь дѣйствительную, жизнь настоящую, а такой родъ поэзіи, гдѣ эта жизнь является въ преувеличенныхъ, неестественныхъ размѣрахъ, гдѣ передъ зрителями выходятъ на сцену не простые люди, а герои,—не можетъ удовлетворить насъ. Господство французской теоріи и французскихъ образцовъ, которымъ Озеровъ подражалъ и по воспитанію и по убѣжденіямъ,—давно прошло. Но въ свое время трагедіи Озерова были дѣйствительнымъ шагомъ впередъ, потому что онѣ вносили новыя понятія и новыя представленія на сцену и расширяли сферу ея содержанія, трактуя о томъ чувствѣ, котораго не было въ прежнихъ трагедіяхъ, и выражая его прекраснымъ для того времени языкомъ и звучнымъ стихомъ. Въ этомъ смыслѣ, по словамъ современнаго критика, Озерова можно дѣйствительно назвать „преобразователемъ“ нашего театра; но говорить о немъ, какъ о гени, могли только увлеченные современники. Въ Озеровѣ не было ничего самобытнаго, ничего оригинальнаго; онъ былъ созданіемъ французской теоріи и французскихъ образцовъ, и только совершенно случайныя, временныя обстоятельства придали ему чрезвычайное значеніе и увеличили восторгъ современниковъ, подкупаемыхъ, кромѣ того, и изяществомъ стиха Озерова, и романтическимъ выраженіемъ. Приведемъ, однако, въ заключеніе сужденіе объ Озеровѣ одного изъ чрезвычайно умныхъ современниковъ, чуждаго, впрочемъ, литературѣ. Оно доказываетъ, что и тогда были люди, не увлекавшіеся общимъ восторгомъ и смотрѣвшіе на дѣло другими глазами: „Эдипъ Озерова точно таковъ, какъ ты его понимаешь,—пишетъ въ частномъ письмѣ къ своей дочери Сперанскій. Слабое, натянутое подражаніе, сборъ разныхъ мѣстъ изъ французскихъ трагедій. Озеровъ никогда и ни въ чемъ не имѣлъ истиннаго таланта. Это трудолюбивая посредственность. Я зналъ его коротко. Онъ лучше писалъ по-французски и весьма поздно принялся за русскій. Но, еслибъ онъ и ранѣе началъ, то не болѣе бы сдѣлалъ. Меня раздражаетъ не то, что онъ могъ ошибиться въ своемъ родѣ, но то, что вкусъ нашей публики такъ еще мало образованъ, въ такомъ ребячествѣ, что всякая мишура его веселитъ и восхищаетъ. Впрочемъ, мы поздно пришли, чтобъ желать или надѣяться имѣть у себя драматическихъ стихотворцевъ; родъ сей вообще проходить или уже прошелъ во всей Европѣ (надобно ду-

мать, что Сперанскій говоритъ здѣсь о ложно-классической трагедіи). Поэзія, языкъ боговъ, перелилась нынѣ вся въ политику. Нынѣ не стихи строить воображеніемъ, но государства“¹⁾). Отзывъ этотъ, конечно, одностороненъ, такъ какъ принадлежитъ человѣку, для котораго интересы литературы составляли второстепенное дѣло, но нельзя отказать ему въ нѣкоторой доли справедливости.

Что обстоятельства времени могли способствовать въ ту пору успѣху даже нисколько не замѣчательной по таланту и выраженію пьесѣ, только потому, что въ ней заключалось много намековъ на современныя событія и высказывалось сильно возбужденное патріотическое чувство,— можетъ служить доказательствомъ чрезвычайный успѣхъ трагедіи Крюковского „Пожарскій или освобожденная Москва“, поставленной на сцену въ одинъ годъ съ „Димитріемъ Донскимъ“ Озерова. Авторъ этой трагедіи, тогда еще очень молодой человѣкъ (род. 1781 г.), Матвѣй Васильевичъ Крюковский, не былъ замѣчательнъ ничѣмъ, но вдругъ, отъ восторга публики, поднялся на верхъ человѣческой славы. Подобно Озерову, онъ учился въ томъ же кадетскомъ корпусѣ и также былъ выпущенъ изъ него въ чинѣ поручика. Служилъ онъ переводчикомъ въ комиссіи для составленія законовъ, а потомъ въ банкѣ и до своей трагедіи не писалъ ничего. Трагедія его имѣла необычайный успѣхъ на сценѣ; всѣ называли Крюковского вторымъ Озеровымъ, а были и такіе, которые ставили его по таланту выше. Самое содержаніе пьесы высказано въ заглавіи ея, но исторіи, какъ и у Озерова, здѣсь искать не слѣдуетъ. Въ трагедіи нѣтъ ни дѣйствія, ни характеровъ, ни страстей; вся она состоитъ изъ патріотическихъ тирадъ и возгласовъ, отъ которыхъ трепетали сердца современниковъ. Крюковской вдругъ сдѣлался знаменитостью, его приглашали въ дома знатныхъ на расхвалить. Службу свою онъ забылъ, къ должности пересталъ являться и былъ за то уволенъ; но императоръ Александръ, которому была поднесена трагедія, смотрѣлъ благосклонно на Крюковского и даже велѣлъ спросить у него: чего бы онъ желалъ²⁾). Крюковской сознавалъ свой талантъ и высказалъ желаніе быть отправленнымъ за границу. Дѣйствительно, онъ, былъ отправленъ на казенный счетъ въ Парижъ „для усовершенствованія трагическаго таланта“. Но изъ этого путешествія не вышло ничего, онъ прожилъ въ Парижѣ два года совершенно бесполезно, закутилъ тамъ повидимому, и вывезъ оттуда болѣзнь, которая и свела его въ могилу въ 1811 году, на 30-мъ году жизни. Вторая трагедія Крюков-

¹⁾ Русск. Арх. 1868 г., стр. 1730—1731.

²⁾ Карабановъ. Основаніе русск. театра, стр. 81.

ского „Елисавета, дочь Ярослава“, содержаніе которой составляет любовь норвежскаго принца Гаральда къ русской княжнѣ, такъ слаба вообще, что даже не могла быть поставлена на сценѣ. Она напечатана въ 1820 г. „Пожарскій“ — тоже слабое произведеніе въ художественномъ отношеніи, поставленъ былъ *кстати*, вовремя, и оттого имѣлъ чрезвычайный успѣхъ на сценѣ; стихи, которые кажутся намъ напыщенной декламацией, приводили слушателей въ полный восторгъ, особенно, когда произносилъ ихъ звучнымъ голосомъ знаменитый трагическій актеръ того времени—Яковлевъ. Стихи эти говорили о любви къ отечеству: „Любови къ отечеству сильна надъ сердцемъ власть“ — или о ненависти къ врагамъ, говорили о томъ, что чувствовалъ въ то время каждый мыслящій русскій. Поэтъ все-таки былъ человѣкъ умный. Онъ умѣлъ понять данное настроеніе общества и выразить его въ звучныхъ стихахъ. Та же ненависть къ иностранцамъ и нападенія на нравственный вредъ ихъ вліянія, которыя обильно заключались въ произведеніяхъ патріотической литературы, у Шишкова, Растопчина, Глинки, проповѣдуется и Крюковскимъ:

„Они и въ сердце намъ разврата ядъ вливають,
И нравы нѣгою постыдной разслабляютъ.
Обычай суетный почто перенимать
И рабски чуждому примѣру подражать?
Не пользу отъ сего, какъ мыслятъ, обрѣтаемъ,
Но русскій духъ въ мѣнѣ толь низкой мы теряемъ;
Издѣлій роскоши не зная Россѣ дѣвнѣтъ, —
Умѣлъ карать пороки и добродѣтель чтить“.

Тѣ же и упреки въ недостаткѣ патріотизма, котораго было гораздо больше встарину, чѣмъ теперь:

„Прошли на вѣкъ сіи счастливы времена,
И истинныхъ сыновъ Россіа лишена:
Отечество у насъ одно лишь изреченье“.

Стихи оставались надолго въ памяти современниковъ и многіе изъ нихъ, имѣвшіе отношеніе къ Москвѣ, потомъ въ эпоху 1812 года, считались пророческими, такъ какъ въ самомъ дѣлѣ между обѣими знаменательными эпохами русской исторіи было много общаго. Такова, на примѣръ, слѣдующая тирада Пожарскаго:

„Погибни лучше все! и градъ, порабощенный
Въ отеческой странѣ рукой иноплеменной,
Готовъ разрушить я, въ прахъ зданія попать,
Во храмы бросить огонь и пламенемъ объять
Ихъ гордыя главы, что въ золотѣ сияютъ,
И блескъ протекшаго величія являютъ“.

Когда Москва въ 1812 году была уступлена Кутузовымъ безъ боя французамъ, и когда это событіе сильно поразило и огорчило современниковъ, а въ депешахъ Кутузова и въ тогдашней печати выражалось убѣжденіе, что съ потерей Москвы не соединяется еще гибель отечества,—то же говорилось и въ стихахъ Пожарскаго, въ трагедіи Крюковского, гдѣ было столько словъ и фразъ, посвященныхъ Москвѣ:

„Россія не въ Москвѣ—среди сыновъ она,
Которыхъ вѣрна грудь любовью къ ней полна...“

Самый сильный, однако, восторгъ производилъ тотъ знаменитый стихъ, который произноситъ Пожарскій, узнавшій въ одно время и объ измѣнѣ Заруцкаго и объ опасностяхъ, въ которыхъ находится его семейство. Онъ жертвуетъ семейными привязанностями общему чувству любви къ Москвѣ, не слушаетъ друзей своихъ, уговаривающихъ его спѣшить на помощь къ семьѣ:

„Родные!—но Москва не мать ли мнѣ?“

Все подобное могло имѣть мѣсто только въ извѣстное время. Прошли годы возбужденія, перемѣнились обстоятельства и трагедія Крюковского, въ которой не было почти художественнаго достоинства, была совершенно забыта. Мы видѣли, что онъ и самъ не былъ въ состояніи написать что-либо другое. Возбужденія достало у него только на „Пожарскаго“.

Не то бываетъ съ произведеніями, написанными авторомъ съ дѣйствительнымъ талантомъ и опирающимися на положительное знаніе и опытъ. Къ тому же кругу идей, вызванныхъ къ жизни обстоятельствами времени, къ тому же патріотическому возбужденію, которое проникало большинство литературныхъ произведеній времени, принадлежитъ сочиненіе, написанное также въ виду грозныхъ, современныхъ обстоятельствъ, передъ страшною войною съ Наполеономъ, уже грозившимъ своимъ нашествіемъ, сочиненіе, не предназначенное однако для печати, для обращенія въ публикѣ, для дѣйствія на общественное мнѣніе, но, по таланту и положенію автора, несмотря на эту таинственность происхожденія, имѣвшее гораздо болѣе вліянія, чѣмъ, даже иное талантливое сочиненіе въ печатной литературѣ. Сочиненіе это, если оно и не предназначалось для печати, то было написано съ цѣлію произвести вліяніе на образъ мыслей и на образъ дѣйствій человѣка, котораго мнѣніе значило гораздо больше, чѣмъ все общественное мнѣніе тогдашней Россіи. Записка Карамзина „О древней и новой Россіи въ ея политическомъ, и гражданскомъ отношеніяхъ“, ибо объ этомъ сочиненіи будетъ

теперь рѣчь, имѣла вліяніе и на того, для кого она была писана, и на высшія правительственныя сферы послѣдующаго царствованія, которыя какъ бы соображали свои дѣйствія, свои мѣры съ сужденіями и мнѣніями, высказанными Карамзинымъ. Мы очень далеки отъ мысли придавать его „Запискѣ“ именно такое значеніе; она была написана для другого времени, для другихъ обстоятельствъ; но кодексъ консервативныхъ идей, въ ней заключающійся, но ея взглядъ на направленіе и содержаніе русской исторіи остались надолго въ употребленіи у извѣстной партіи. Вокругъ этого сочиненія до сихъ поръ сосредоточивается борьба противоположныхъ взглядовъ на русское развитіе и на русскую политическую жизнь, на дѣли и стремленія въ будущемъ. Эта борьба мнѣній изъ-за „Записки“ Карамзина высказывалась однако не совсѣмъ полно и не совсѣмъ ясно, потому что самое сочиненіе, о которомъ спорили, было не вполне извѣстно публикѣ или было извѣстно въ извлеченіяхъ, сдѣланныхъ невѣрно. Только изданіе „Записки“ въ „Русскомъ Архивѣ“ позволило наконецъ познакомиться съ мыслями Карамзина во всей ихъ полнотѣ. Постараемся представить, по возможности безпристрастно, содержаніе этого замѣчательнаго сочиненія Карамзина, гдѣ онъ является публицистомъ-историкомъ и говоритъ, какъ власть имѣющій.

Карамзинъ, прекративши изданіе „Вѣстника Европы“ и получивъ по ходатайству Муравьева, при посредствѣ друга своего, И. И. Дмитриева, званіе историографа, отдался весь съ любовію избранному имъ труду надъ русской исторіей. Онъ жилъ въ Москвѣ и до 1810 года не былъ лично извѣстенъ государю. Но друзья Карамзина и, главнымъ образомъ, Дмитриевъ, назначенный министромъ юстиціи и близкій къ государю, часто говорили о немъ съ Александромъ, интересовавшимся ходомъ его труда. Въ 1810 году Карамзинъ былъ награжденъ орденомъ и чиномъ. Сближенію его съ государемъ способствовала сестра Александра, Екатерина Павловна. Воспитанная въ консервативныхъ убѣжденіяхъ и въ ненависти къ французской революціи и къ новому Наполеоновскому господству во Франціи своею матерью, императрицею Марією Феодоровною, великая княгиня, женщина очень умная и образованная, любила являться патриоткою, покровительницею всего русскаго, а въ томъ числѣ и литературы. Мѣстопробываніе ея было въ Твери, при мужѣ, принцѣ Георгѣ, который былъ главнымъ директоромъ путей сообщенія. Здѣсь у нихъ былъ небольшой дворецъ, къ которому Екатерина Павловна любила собирать избранное общество и людей почему-либо замѣчательныхъ. Карамзинъ былъ первымъ лицомъ въ тогдашней литературѣ. Не могла она не обратить на него вниманія, а позна-

комившись съ нимъ, не могла не полюбить его, такъ какъ во взглядахъ ихъ и убѣжденіяхъ было очень много общаго. Въ Москвѣ въ 1810 году она узнала Карамзина и пригласила его посѣтить ее въ Твери. Карамзинъ воспользовался этимъ приглашеніемъ въ первый разъ въ февралѣ 1810 года, пробылъ тамъ шесть дней и читалъ отрывки изъ своей исторіи ей и великому князю Константину Павловичу, цесаревичу. Объ этомъ чтеніи Карамзина счелъ нужнымъ сообщить своему правительству сардинскій посланникъ Ж. де-Местръ, передавшій при этомъ случаѣ нѣсколько любопытныхъ подробностей о самой великой княгинѣ. Дворъ ея, по его словамъ, походитъ на монастырь; по вечерамъ тамъ нѣтъ другого развлеченія, кромѣ чтенія. Она сама учитъ своего мужа русскому языку и знакомитъ его съ простолюдинами. „Ея голова способна на дальновидные планы и на сильную рѣшимость“ — прибавляетъ де-Местръ. Константинъ Павловичъ, вернувшись въ Петербургъ послѣ чтенія, рассказывалъ со смѣхомъ, что онъ изъ русской исторіи только и знаетъ то, что узналъ въ тотъ вечеръ ¹⁾. Послѣ того Карамзинъ былъ еще два раза въ Твери, въ декабрѣ 1810 года, и въ февралѣ 1811 года. Карамзинъ былъ въ полномъ восторгѣ отъ приѣма великой княгини и отъ своихъ отношеній съ нею. Ея дворецъ онъ называетъ „очарованнымъ замкомъ“; онъ не нахвалится ея любезностію, ангельскою добротою и „необыкновенными познаніями“ принца, ея мужа ²⁾. Карамзинъ, кромѣ чтенія своихъ отрывковъ изъ исторіи, долго и много бесѣдовалъ съ великою княгинею. То было время общаго патріотическаго настроенія умовъ; ни о чемъ другомъ не могла быть ихъ бесѣда, какъ о современномъ состояніи Россіи, въ виду великихъ приближающихся событій и грозной тучи нашествія, которая подымалась на дальнемъ западѣ. Всѣ умы были заняты однимъ, и Екатерина Павловна съ перваго знакомства съ Карамзинымъ оцѣнила его консервативныя убѣжденія и взгляды, основанные, по ея мнѣнію, на глубокомъ изученіи прошедшей исторіи Россіи. Она смотрѣла на него, какъ на человѣка государственнаго и, конечно, много толковала съ нимъ о современныхъ государственныхъ реформахъ въ Россіи, полезности которыхъ она не вѣрила. Когда во второй разъ Карамзинъ посѣтилъ Тверь въ декабрѣ 1810 года, она просила его изложить свои мысли о современномъ положеніи Россіи на бумагѣ и даже торопила его этою работою. Такъ возникла эта знаменитая „Записка“ Карамзина, которую онъ въ февралѣ 1811 года, переписанную рукою жены, отвезъ въ Тверь и прочиталъ великой княгинѣ, долго бесѣдуя

¹⁾ Русск. Арх. 1871 г., стр. 0192.

²⁾ Письма Карамзина къ Дмитріеву, стр. 137.

съ нею о ея содержаніи. По прочтеніи „Записки“ она взяла рукопись у Карамзина и оставила у себя. Цѣль ея была передать „Записку“ своему брату, сблизить его съ Карамзинимъ. Она думала, что факты, изложенные въ „Запискѣ“ краснорѣчивымъ языкомъ Карамзина, сужденія и мнѣнія его о современномъ положеніи Россіи, вполнѣ ею раздѣляемые, произведутъ впечатлѣніе на государя, и не ошиблась. Заинтересованный разсказами и рекомендаціей сестры, Александръ самъ пожелалъ сблизиться съ Карамзинимъ и послушать его. Александръ долженъ былъ въ Мартѣ того же 1811 года быть въ Твери у сестры, и великая княгиня пригласила Карамзина пріѣхать также въ этоу времени. Сближеніе послѣдовало, и Карамзинъ, разумѣется, былъ въ восхищеніи отъ пріема государя, какъ это видно изъ писемъ его къ Дмитріеву ¹⁾. Онъ обѣдалъ вмѣстѣ съ нимъ, болѣе двухъ часовъ читалъ ему свою исторію, говорилъ съ нимъ о самодержавіи, при чемъ даже былъ не согласенъ съ нѣкоторыми мыслями государя (вѣроятно, Карамзинъ былъ въ этомъ разговорѣ *plus royaliste que le roi*). Александру понравился и Карамзинъ и его исторія. Онъ любезно звалъ его въ Петербургъ съ женою, предлагалъ для житія комнаты въ Аничковскомъ дворцѣ и сдѣлалъ какое-то милостивое предложеніе, о содержаніи котораго Карамзинъ, однако, умалчиваетъ. Вообще, Карамзинъ пишетъ, что государь выѣхалъ изъ Твери съ благопріятнымъ къ нему расположеніемъ. Въ сущности это было не совсѣмъ такъ, и Александръ былъ сначала недоволенъ Карамзинимъ и недоволенъ именно за „Записку“, о чемъ тотъ не могъ писать Дмитріеву, потому что знаменитая записка эта тогда, да и долго потомъ, считалась государственною тайною. Карамзинъ не читалъ ея самъ императору. Великая княгиня передала ее брату наканунѣ его отъѣзда изъ Твери и, вѣроятно, онъ успѣлъ познакомиться съ ея содержаніемъ тогда же, потому что на другой день онъ „обошелся съ исторіографомъ холодно, не говорилъ съ нимъ ни слова, какъ будто не замѣчалъ его, и уѣхалъ не простившись съ Карамзинимъ“ (Гротъ). Чѣмъ при чтеніи „Записки“ Карамзина остался тогда недоволенъ Александръ: оскорбила ли его самая форма сочиненія, гдѣ подданный принималъ смѣлость свободно говорить съ своимъ самодержавнымъ монархомъ, не разглядѣлъ ли онъ, подъ наружнымъ видомъ свободной грубости рѣчи того фиміама лести, который курилъ здѣсь Карамзинъ самодержавной власти, или ему дороги еще были тогда его учрежденія первыхъ лѣтъ царствованія, его реформы, о которыхъ онъ когда-то мечталъ, будучи юношей, и

¹⁾ Ibid., стр. 139—141.

онъ былъ недоволенъ за нихъ на Карамзина? Отвѣчать положительно на вопросъ этотъ невозможно.

Прошло нѣсколько лѣтъ, и самыхъ замѣчательныхъ, конечно, въ русской исторіи. Ходъ событій, европейскія вліянія, люди, окружавшіе Александра, исчезновеніе прежнихъ либеральныхъ друзей его молодости, появленіе новыхъ совѣтниковъ, которые подъ наружнымъ видомъ преданности, умѣли на пользу себѣ лстать, самая слабость характера, все влекло Александра по другой, совершенно противоположной дорогѣ, на которой онъ могъ только раздражительно осуждать идеальныя стремленія своей молодости. Тогда, въ эти годы нравственнаго поворота, онъ оцѣнилъ консервативное содержаніе „Записки“ Карамзина, оно пришлось ему по мыслямъ, а Аракчеевъ усиль его примирить не только съ Карамзинымъ, но и со многими другими, гораздо худшими. Александръ приблизилъ къ себѣ Карамзина; послѣдній считалъ государя своимъ искреннимъ другомъ. Въ 1816 году, пожаловавъ Карамзину ленту, Александръ замѣтилъ, что онъ награждаетъ его *не за исторію, а за записку*. Тогда онъ вполнѣ уже раздѣлялъ ея сужденіи. Странная судьба, однако-жъ, этой „Записки“, имѣющей такую историческую важность по своему вліянію на правительство. Отдавая рукопись Екатеринѣ Павловнѣ, Карамзинъ не оставилъ у себя съ нея копій. Она стала дѣлаться извѣстною въ высшихъ сферахъ петербургскаго общества только въ 1826 году. Первые, весьма незначительные отрывки ея были напечатаны въ „Современникѣ“ 1837 года ¹⁾ и только въ 1871 году она появилась вполнѣ. А между тѣмъ, вокругъ нея сталкиваются до сихъ поръ противоположныя взгляды на русское развитіе.

ЛЕКЦІИ XXXII, XXXIII и XXXIV.

Содержаніе „Записки“ Карамзина.

Для знакомства съ самимъ Карамзинымъ, для изученія его взглядовъ и убѣжденій по исторіи русскаго развитія и по внутренней политикѣ государства „Записка“ представляетъ очень много, такъ какъ, во всей вѣроятности, несмотря на ея вытощенный, гладкій языкъ, составляющій особенность Карамзина, какъ писателя, онъ менѣ думалъ въ ней о сочинительствѣ, чѣмъ въ другихъ случаяхъ. Въ ней высказываетъ онъ свои убѣжденія вполнѣ искренно, не стараясь скрывать ихъ подъ формою придуманной фразы; нельзя

¹⁾ Т. V, стр. 89—112.

не отдать также полной справедливости смѣлости его выраженія, желанію высказать въ ней вполнѣ то, что онъ думалъ, желанію не скрывать своей мысли. Очевидно, Карамзинъ писалъ не для цензуры, какъ привыкли писать всѣ русскіе сочинители, и эта смѣлость выраженія была причиною того, что „Записка“ такъ долго не могла появиться въ печати. Кромѣ того, „Записка“ весьма важна и въ томъ отношеніи, что въ ней высказался вполнѣ опредѣленно весь кодексъ тогдашней охранительной партіи, ея взгляды и убѣжденія относительно прошлаго и настоящаго Россіи и въ особенности относительно реформъ, въ которыхъ преимущественно выражалась государственная дѣятельность Сперанскаго, единственнаго совѣтника Александра со времени эрфуртскаго свиданія. На этомъ человѣкѣ, поднявшемся такъ быстро въ Имперіи, сосредоточилась вся ненависть консервативной партіи, дошедшая до крайностей въ началѣ 1812 года, когда Александръ долженъ былъ уступить ея крикамъ и рѣшиться на ссылку Сперанскаго. Конечно, Карамзинъ нигдѣ въ своихъ нападеніяхъ на реформы не говоритъ о Сперанскомъ прямо, не называетъ его имени, но эти оуждаемыя имъ реформы были созданіемъ Сперанскаго, и оужденіе, разумѣется, падало косвенно и на него. Карамзинъ, мы сказали, въ „Запискѣ“ своей является выразителемъ мнѣнія тогдашнихъ охранителей; онъ представилъ въ изящной литературной формѣ, что выражалось болѣе просто и грубо въ разговорахъ партіи, всю ту ненависть къ реформамъ, которая накипѣла въ сердцахъ этой партіи. Если мы употребляемъ здѣсь слово *партія*, то считаемъ, однако, необходимымъ оговориться. Партія охранителей, партія консерваторовъ,—выраженія эти предполагаютъ существованіе партіи либераловъ и прогрессистовъ; но послѣдней-то мы и не видимъ въ тогдашнее время. Мы знаемъ уже, какъ слаба была тогда либеральная печать наша, которая могла бы оправдывать и защищать реформы, задумываемыя правительствомъ, и готовить къ нимъ общественное мнѣніе. Все, что слабо говорилось въ этомъ духѣ и въ этомъ родѣ, все это смолкло вдругъ въ эпоху войны, и раздавался громко только голосъ патриотической литературы, которая, нападавая на наши заимствованія отъ иностранцевъ, требуя возвращенія къ роднымъ началамъ, вмѣстѣ съ тѣмъ косвенно осуждала все то, что было сдѣлано правительствомъ въ послѣдніе годы. Если и находились люди, вступавшіе въ споръ съ господствовавшимъ направленіемъ, то мысль ихъ не могла быть ясно формулирована и представлена въ полномъ видѣ. Споръ шелъ, какъ мы видѣли, о старыхъ и новыхъ словахъ, а не о томъ, что занимало мысль каждаго, не о тѣхъ реформахъ, которыя касались коренныхъ основъ государственной жизни. Гдѣ же тутъ могла быть прогрессив-

ная партія, которая бы защищалась и вступила въ борьбу съ охранителями? Ея не было. Прогрессивную партію собственно составляло одно правительство, но у него не было нравственной точки опоры, не было и силы убѣжденія, которой не допускалъ слабый, колеблющійся характеръ самого Александра. Правда, у правительства были цѣлые полки чиновниковъ-исполнителей, орудій его воли, но это была безмолвная масса, слѣпое орудіе, которое, исполняя порученное ему дѣло, могло относиться къ нему совершенно равнодушно и даже враждебно. Правительство было одиноко. Реформы, задуманныя имъ, не смотря на всю ихъ неотложную необходимость, стояли выше понятій невѣжественнаго большинства общества, всегда защищающаго свои эгоистическія цѣли, и вотъ, когда подзадоренное войною и грубыми криками патріотической литературы, не встрѣчая ни въ чемъ себѣ отпора, громко поднялось невѣжественное мнѣніе этого большинства,—правительство должно было уступить ему и пойти по противоположной дорогѣ, на которую оно уже отчасти вступило при началѣ войны. Александръ не былъ Петромъ Великимъ и не могъ до конца вести свое дѣло, одолевая препятствія и вѣря въ могущество идеи, вводимой имъ въ русскую жизнь. Какъ прежде онъ безусловно вѣрилъ преобразовательнымъ планамъ Сперанскаго, такъ теперь онъ повѣрилъ Карамзину и его ненависти къ реформамъ, высказанной въ „Запискѣ“. Сочиненіе это принадлежитъ къ тѣмъ же явленіямъ патріотической литературы передъ войною 1812 года, но оно стоитъ выше ихъ всѣхъ и по полнотѣ содержания, и по силѣ выраженія, и по вліянію, которое оно получило впоследствии.

Карамзинъ въ своей „Запискѣ“ хотѣлъ представить общій ходъ всего русскаго развитія, всей русской исторіи со времени основанія государства, разумѣется, съ своей исключительной точки зрѣнія, руководствуясь мыслию, высказанною имъ въ самомъ началѣ: „Настоящее бываетъ слѣдствіемъ прошедшаго. Чтобъ судить о первомъ, надлежитъ вспомнить послѣднее“. Очеркъ древняго русскаго развитія не отличается у Карамзина, однако, полнотою и обстоятельностью; вся сила его краснорѣчія и убѣжденія оставлена для новаго времени. Но и въ прошедшемъ Россіи Карамзинъ старается выставить событія въ свѣтѣ своей любимой теоріи и доказать ее. Взглядъ его здѣсь тотъ же, что и въ „Исторіи Государства Россійскаго“. Все древнее величіе Руси заключалось въ самодержавіи, оно одно только спасало ее въ трудные моменты исторической жизни, и Карамзинъ поэтому останавливается съ особеннымъ уваженіемъ и любовью на политическомъ возвышеніи и развитіи Москвы и на дѣйствіяхъ ея князей. Для „мудрой политики“ ихъ онъ не находитъ

достаточно похвалъ, равно какъ для описанія величія и благоденствія московскаго государства. Отсюда онъ не замѣчаетъ вовсе разложенія этого государства въ эпоху самозванцевъ и междоусобствія, и ограничивается только слѣдующими сентенціями по поводу изложенія Самозванца. „Самовольныя управы народа бываютъ для гражданскихъ обществъ вреднѣе личныхъ несправедливостей или заблужденій государя. Мудрость цѣлыхъ вѣковъ нужна для утвержденія власти; одинъ часъ народнаго изступленія разрушаетъ основу ея, которая есть уваженіе нравственное къ сану властителей“. Карамзинъ, разумѣется, не на сторонѣ бояръ или „мятежной аристократіи“, и съ восторгомъ привѣтствуетъ Романовыхъ на престолѣ. Время царей изъ этого рода вызываетъ новыя похвалы публициста. „Отечество успокоилось подъ сѣнію самодержавія“. „Народъ не жалѣлъ о своихъ древнихъ вѣчахъ и сановникахъ, которые умѣряли власть государеву; довольный дѣйствиємъ не спорилъ о правахъ“...

Карамзинъ замѣтилъ сближеніе наше съ Европою и вслѣдствіе этого постепенное измѣненіе нашей государственной жизни и въ періодъ прежнихъ царей и царей изъ дома Романовыхъ. „Еще предки наши усердно слѣдовали своимъ обычаямъ, но примѣръ начиналъ дѣйствовать, и явная польза, явное превосходство одерживали верхъ надъ старымъ обычаемъ“... Но „сіе измѣненіе дѣлалось постепенно, тихо, едва замѣтно, какъ естественное возрастаніе, безъ порывовъ и насилія: мы заимствовали, но какъ бы нехотя, примѣняя все къ нашему и новое соединяя съ старымъ“. Съ этой точки зрѣнія Карамзинъ смотритъ и на реформу Петра. Ея насильственный, рѣзкій характеръ не могъ ему нравиться. Онъ забылъ, что источникъ этой рѣзкости надобно искать въ томъ же самодержавіи, отъ котораго онъ приходитъ въ восторгъ, и его взглядъ на реформу совершенно соответствуетъ тому, который принадлежитъ позднѣйшимъ славянофиламъ.

Карамзину, съ его консервативными убѣжденіями, которыя никогда его не покидали, съ его привязанностію къ старинѣ и преданію, натура и дѣйствія Петра должны были казаться въ высшей степени антипатичными. Петръ былъ величайшимъ реформаторомъ, крутымъ и радикальнымъ революціонеромъ, не задумывающимся надъ средствами, и Карамзинъ, въ жертву своего идеала *тишайо* и постепеннаго развитія, не обращая вниманія на историческія обстоятельства, какъ это было бы желательно для настоящаго историка, сводитъ Петра съ пьедестала. Правда, онъ ссылается на исторію, но, очевидно, это только одна пустая оговорка. „Мы, Россія, не имѣя предъ глазами свою исторію, говоритъ онъ, подтвердимъ ли мнѣніе несвѣдущихъ иноземцевъ и скажемъ ли, что Петръ есть

творецъ нашего величія государственнаго? Забудемъ ли князей московскихъ: Іоанна I, Іоанна III, которые, можно сказать, изъ ничего воздвигли державу ослънную, и, что не менѣе важно, учредили въ ней твердое правленіе единовластное? Слава славное въ семь монархѣ, оставимъ ли безъ замѣчанія вредную сторону его блестящаго царствованія?“

Но Карамзинъ не „славить славное“ въ Петрѣ, не видитъ исторической необходимости реформы, не хочетъ сознать, что она была единственнымъ нашимъ выходомъ изъ душнаго китаизма московскаго государства, а напротивъ, сваливаетъ на Петра всевозможныя обвиненія. „Страсть Петра къ новымъ для насъ обычаямъ преступила въ немъ границы благоразумія“. Онъ оскорбилъ народный духъ, тѣ особенныя свойства народа, которыми онъ отличается отъ другихъ. „Искореняя древніе навыки, представляя ихъ смѣшными, глухими, хвала и ввода иностранныя, государь Россіи унижалъ россиянъ въ собственномъ ихъ сердцѣ“. И Карамзинъ отстаиваетъ тѣ русскія особенности, которыя старался уничтожить Петръ, желая, чтобъ и по наружному виду его подданные походили на европейцевъ. Доказательства Карамзина, повидимому, имѣютъ на своей сторонѣ справедливость: „Русская одежда, нища, борода не мѣшали заведенію школъ. Два государства могутъ стоять на одной степени гражданскаго просвѣщенія, имѣя нравы различныя“. Последнее положеніе, впрочемъ, вовсе несправедливо: просвѣщеніе находится въ полной зависимости отъ нравовъ и обычаевъ, и Петру, именно, нужно было бороться съ нравами и обычаями, чтобъ проложить широкую дорогу для просвѣщенія. Что за бѣда, если на этой дорогѣ попались и мелочи, которыя пришлось устранить, а говорить объ униженіи народнаго духа и упрекать за него Петра едва ли было справедливо со стороны историка, тѣмъ болѣе, что и въ московской Руси, которая ему такъ нравится, едва ли онъ могъ замѣтить со стороны царей особенное уваженіе къ народу. Уваженія этого не было никогда, ни прежде Петра Великаго, ни потомъ. Воюя съ мелочными наружными формами народности, Петръ, конечно, понималъ, что не въ нихъ заключается истинное величіе народа, что послѣднее создается только развитіемъ, просвѣщеніемъ, успѣхами гражданственности, и на нихъ было обращено его главное вниманіе. Карамзинъ былъ, по меньшей мѣрѣ, сентименталенъ и здѣсь, какъ и вездѣ, сожалѣя о бородахъ, кафтанѣ и т. п. Не то говорилъ онъ въ своихъ „Письмахъ“, когда находился подъ обаяніемъ европейской жизни и развитія.

Петру онъ приписываетъ разладъ въ русской жизни, разбединеніе между собою классовъ народа, потому что онъ ограничилъ свое

преобразование дворянством. „Со время Петровых,—говорит онъ,—высшія степени отдѣлились отъ нижнихъ, и русскій земледѣлецъ, мѣщанинъ, купецъ, увидѣлъ нѣмцевъ въ русскихъ дворянахъ, ко вреду братскаго, народнаго единодушія государственныхъ состояній“. „Въ теченіе вѣковъ народъ обыкъ чтить бояръ, какъ мужей, ознаменованныхъ величіемъ, поклонялся имъ съ истиннымъ *уничтоженіемъ*, когда они съ своими благородными дружинами, съ азиатскою пышностью, при звукѣ бубновъ, являлись на стогнахъ, шествуя во храмъ Божій, или на совѣтъ къ государю“... Эта идиллическая картина въ сентиментальномъ родѣ едва ли свидѣтельствуешь о томъ, что въ древней Руси не было розни сословій. Карамзину не нравится, что Петръ уничтожилъ бояръ и понадѣлалъ чиновниковъ. Въмѣстѣ съ боярами онъ сожалеетъ о патріархѣ и жалуется, что съ уничтоженіемъ патріаршества упало въ народѣ достоинство духовенства. И здѣсь, на патріаршество онъ смотритъ съ своей сентиментальной точки зрѣнія. „Первосвятители имѣли у насъ одно право,—говоритъ онъ:—вѣщать истину государямъ, не дѣйствовать, не мятежничать, право благословенное не только для народа, но и для монарха, коего счастье состоитъ въ справедливости“. Но мы хорошо знаемъ, пользовались ли представители высшаго духовенства нашего правомъ „вѣщать истину царямъ“, знаемъ также и то, что именно въ нихъ—то Петръ встрѣтилъ самыхъ сильныхъ противниковъ задуманнаго имъ преобразования. Представители духовенства отличались невѣжествомъ и недостаткомъ развитія. Духовенство должно было пасть не потому, что было уничтожено достоинство патріарха, а потому, что свѣтская образованность опередила его. И даже самая столица Петра, на которую сыпались проклятія позднѣйшихъ славянофиловъ, вызываетъ сентиментальное осужденіе Карамзина: „Основаніе новой столицы, на сѣверномъ краѣ государства, среди избытокъ болотныхъ, въ мѣстахъ, осужденныхъ природою на безплодіе и недостатокъ“—онъ считаетъ ошибкою Петра.

Забывая исторію и законы исторической необходимости, игнорируя время и его условія, Карамзинъ собираетъ всевозможныя обвиненія на дѣло Петра и старается унижить его преобразование; онъ сходится въ этомъ протестѣ противъ реформы съ славянофилами, но послѣдніе не признаютъ въ немъ своего, по различію своихъ идеаловъ. Если славянофилы цѣнятъ народное самоуправленіе, уважаютъ форму вѣча, судъ и голосъ народный, то для Карамзина нѣтъ спасенія внѣ самодержавія, „ибо нѣтъ порядка безъ власти самодержавной“,—говоритъ онъ. Во всемъ остальномъ они сходятся. „Честію и достоинствомъ Россіянъ сдѣлалось подражаніе“. Русь пала, а не возвысилась, утративъ прежнія, коренныя добродѣтели. „Чѣмъ

болѣе мы успѣвали въ людскости, въ обходительности, тѣмъ болѣе слабѣли связи родственныя: имѣя множество пріятелей, чувствуемъ менѣе нужды въ друзьяхъ и жертвуемъ свѣту союзомъ единокровія“. И сюда ввелъ Карамзинъ свою чувствительность, какъ ни была она не у мѣста.

Нравственный вредъ реформы Петра, по словамъ Карамзина, состоитъ въ томъ, что въ насъ исчезло всякое патріотическое чувство. „Должно согласиться, что мы съ пріобрѣтеніемъ добродѣтелей человѣческихъ утратили гражданскія. Имя русскаго имѣетъ ли теперь для насъ ту силу неисповѣдиму, какую оно имѣло прежде? И весьма естественно: дѣды наши уже въ царствованіе Михаила и сына его, присвоивая себѣ *многія обычи* иноземныхъ обычаевъ, все еще оставались въ тѣхъ мысляхъ, что правовѣрный Россіянинъ есть совершеннѣйшій гражданинъ въ мірѣ, а *святая Русь*—первое государство. Пусть назовутъ то заблужденіемъ, но какъ оно благопріятствовало любви къ отечеству и нравственной силѣ онаго! Теперь же, болѣе ста лѣтъ находясь въ школѣ иноземцевъ, безъ дерзости можемъ ли похвалиться своимъ гражданскимъ достоинствомъ? Нѣкогда называли мы всѣхъ иныхъ европейцевъ *неотрными*, теперь называемъ *братьями*. Спрашивается: кому бы легче было покорить Россію (намекъ на собиравшуюся грозу): *неотрнымъ* или *братьямъ*, т.-е. кому бы она, по вѣроятности, долженствовала болѣе противиться? При царѣ Михаилѣ или Ѳеодорѣ, вельможа руссійскій, обязанный всѣмъ отечеству, могъ ли бы съ веселымъ сердцемъ на вѣки оставить его, чтобы въ Парижѣ, Лондонѣ, Вѣнѣ спокойно читать въ газетахъ о нашихъ государственныхъ опасностяхъ? Мы стали гражданами міра, но перестали быть въ нѣкоторыхъ случаяхъ гражданами Россіи, — виною Петръ“. Всѣ эти громкія фразы для безпристрастнаго, критическаго взгляда должны показаться только превеличеніемъ. Въ русскомъ обществѣ того времени такъ мало было развитъ космополитизмъ, въ такомъ жалкомъ видѣ представлялось просвѣщеніе, на которое будто бы мы промѣняли древнія гражданскія доблести, что іереміады Карамзина и его сожалѣнія о старинѣ и о святой Руси—скорѣе смѣшны, чѣмъ заслуживаютъ опроверженія. Черезъ годъ слова Карамзина получили блестящее опроверженіе въ историческихъ фактахъ, и если масса народа, нетронутая европейскимъ развитіемъ, въ 1812 году выказала свой старинный религіозный патріотизмъ и ту же ненависть къ иноземцамъ, которая отличала ее въ эпоху междоусобія, то и образованные по европейски общественные классы, которыхъ Карамзинъ укорялъ въ недостаткѣ патріотизма вслѣдствіе просвѣщенія, твердо стояли за Русь и одинаково, вмѣстѣ съ народомъ, умѣли умирать.

„Онъ великъ, безъ сомнѣнiя,—говорить Карамзинъ свои заключительныя слова о Петрѣ,— но еще могъ бы возвеличиться гораздо болѣе, когда бы нашелъ способъ просвѣтить умъ Россiянъ безъ вреда для ихъ гражданскихъ добродѣтелей“. Въ немъ онъ оуждаетъ даже самовластiе, даже самодержавiе, которому поетъ хвалебный гимнъ во всей древней Россiи. „Предписывать уставы обычаямъ,— говоритъ онъ, — есть насилiе незаконное и для монарха самодержавнаго“. Но кто же можетъ писать уставы для самодержавiя, если въ немъ все благо народа и государства, по мнѣнiю Карамзина, и кто же осмѣлится спорить, если это самодержавiе пойдетъ по одной дорогѣ, а не по другой? Кто имѣетъ право судить его? Очевидно, Карамзинъ въ своихъ выводахъ и заключенiяхъ былъ невѣренъ себѣ. Остальныя царствованiя, до Александра, Карамзинъ обозрѣваетъ довольно бѣглымъ образомъ, представляя только общiя заключенiя или останавливаясь на самыхъ рельефныхъ фактахъ, но все-таки удерживая главную мысль, что Россiя была потрясена насильственными переменами, и видя въ нихъ источникъ зла. „Питмеи спорили о наслѣдiи великана. Аристократiя, олигархiя губили отечество....“, а потому самодержавiе сдѣлалось необходимѣе прежняго для охраненiя порядка... Несмотря, однако, на торжество этого самодержавiя при Аннѣ, положенiе Россiи не стало лучше; при Елизаветѣ тоже было не хорошо. Перехода къ царствованiю Екатерины, которую онъ называетъ „истинною преемницею величiя Петрова и второю образовательницею новой Россiи“, Карамзинъ оставляетъ, однако, тонъ панегирика, которымъ онъ описалъ это царствованiе при воцаренiи Александра и находитъ въ немъ много темныхъ пятенъ. Онъ хвалитъ Екатерину, что „ею смягчилось самодержавiе, не утративъ силы своей“. „Ея душа, гордая, благородная, боялась унизиться робкимъ подозрѣнiемъ, и страхи тайной канцелярiи исчезли“. Похвала эта, конечно, преувеличена, и публицистъ не принялъ въ соображенiе различные перiоды этого царствованiя и различные случаи, которые опровергли бы его мысль. Не смотря на это увлеченiе, Карамзинъ смотритъ на царствованiе Екатерины правильно. „Правы болѣе развратились въ палатахъ и хижинахъ... Богатства государственныя принадлежатъ ли тому, кто имѣетъ единственно лицо красивое?... Замѣтимъ еще, что правосудiе не цвѣло въ сiе время... Въ самыхъ государственныхъ учрежденiяхъ Екатерины видимъ болѣе блеска, нежели основательности, избиралось не лучшее по состоянiю вещей, но красивѣйшее. по формамъ... Екатерина хотѣла умогнательнаго совершенства въ законахъ, не думая о легчайшемъ, полезнѣйшемъ дѣйствии оныхъ; дала намъ суды, не образовавъ судей, дала правила безъ средствъ исполненiя... Екатерина... дремала на

розахъ, была обманываема, или себя обманывала, не видѣла, или не хотѣла видѣть многихъ злоупотребленій...“ Всѣ эти вѣрно подмѣченныя черты царствованія Екатерины очень далеки отъ панегирика, а между тѣмъ, по словамъ Карамзина, „время Екатерины было счастливѣйшее для гражданина россійскаго; едва ли не всякій изъ насъ пожелалъ бы жить тогда, а не въ иное время...“ Откуда это противорѣчье? Вѣроятно, происходило оно отъ слабости мысли, подкупленной внѣшнею славой Екатерининскаго царствованія. Время Павла представлено за то съ полною откровенностью; Карамзинъ какъ бы забылъ о томъ, что онъ говорилъ сыну объ отцѣ, и это дѣлаетъ ему большую честь. „Что сдѣлали яковинцы въ отношеніи къ республикамъ, то Павелъ сдѣлалъ въ отношеніи къ самодержавію: заставилъ ненавидѣть злоупотребленія онаго“. По словамъ Карамзина, Павелъ хотѣлъ быть Іоанномъ IV: „онъ началъ господствовать всеобщимъ ужасомъ, не слѣдуя никакимъ уставамъ, кромѣ своей прихоти; считалъ насъ не подданными, а рабами; казнилъ безъ вины, награждалъ безъ заслугъ“. Царствованіе Павла есть „царствованіе ужаса“, по выраженію Карамзина. Но въ обществѣ жило „великодушное остервенѣніе противъ злоупотребленія власти“, а потому, когда узнали о смерти Павла, то „вѣсть о томъ въ цѣломъ государствѣ была вѣстью искупленія: въ домахъ, на улицахъ люди плакали отъ радости, обнимая другъ друга, какъ въ день Свѣтлаго Воскресенія“. Несмотря на это изображеніе крайностей самодержавія, Карамзинъ, однако, не подвергаетъ его критикѣ, не думаетъ о возможности устранить на будущее время злоупотребленія самодержавной власти, которая въ Павлѣ дошла до полнаго, все отрицающаго произвола, какъ того желалъ Александръ, вступая съ тяжелою думою на отцовскій престолъ послѣ катастрофы 11 марта. Карамзинъ говоритъ, что „благоразумнѣйшіе россіяне сожалѣли, что зло вреднаго царствованія было пресѣчено способомъ вреднымъ“. Этотъ вредный способъ былъ заговоръ, и Карамзинъ востаетъ, и совершенно справедливо, противъ этого способа. „Заговоры суть бѣдствія, колеблющія основу государствъ, говоритъ онъ, и служащія опаснымъ примѣромъ для будущности. Если нѣкоторые вельможи, генералы, тѣлохранители присвоятъ себѣ власть тайно губить монарховъ, или смѣнять ихъ, что будетъ самодержавіе? Играницемъ олигархіи, и должно скоро обратиться въ безначаліе“... Эти заговоры были, однако, такъ часты у насъ въ XVIII вѣкѣ, что прямо указывали на постоянную причину ихъ—безграничный произволъ самодержавія, приводившій людей къ самоуправству, а между тѣмъ Карамзинъ ни слова не говоритъ объ этихъ историческихъ причинахъ, а старается проповѣдать обществу, вмѣсто пріисканія дѣйствительныхъ, законныхъ средствъ,

только пассивную покорность неисповѣдимымъ путямъ провидѣнія: „кто вѣритъ провидѣнію, говоритъ Карамзинъ, да видитъ въ зломъ самодержцѣ бичъ гнѣва небеснаго! Снесемъ его, какъ бурю, землетрасеніе, язву, феномены страшныя, но рѣдкія, ибо мы въ теченіе 9 вѣковъ имѣли только двухъ тирановъ... Заговоры да устрашаютъ народъ для спокойствія государей! Да устрашаютъ и государей для спокойствія народовъ!“ Въ словахъ этихъ слышится полное отрицаніе всего того, что занимало Александра при вступленіи его на престолъ, именно желанія ограничить произволь самовластиа, опредѣлить власть закономъ. Мы знаемъ, что Александръ и тогдашніе либеральныя друзья его желали конституціи. Этого послѣдняго понятія, какъ мы увидимъ далѣе, Карамзинъ не могъ переварить. Не понимая дѣйствительности, строго держась своихъ консервативныхъ взглядовъ и теоріи божественнаго права, Карамзинъ отнималъ у народа возможность даже мысли объ улучшеніи порядка вещей, подъ властію котораго ему пришлось жить, отнималъ всякую идею совершенствованія и проповѣдывалъ безусловную, слѣпую покорность судьбѣ или случаю, смотря потому, какъ кто понимаетъ. На основаніи этой теоріи понятно, какими глазами долженъ онъ былъ смотрѣть на все, сдѣланное въ царствованіе Александра для развитія государственной жизни.

Вторая и самая важная половина „Записки“ Карамзина имѣла тогда живой современный интересъ; она относилась къ царствованію Александра, къ тому, что было сдѣлано имъ и его совѣтниками для преобразованія государства, и вообще къ современному состоянію Россіи, котораго Александръ, конечно, не зналъ вполнѣ или смотрѣлъ на него глазами тогдашнихъ своихъ приближенныхъ. Особенный вѣсъ словамъ Карамзина придавали великія современныя событія и то грозное ополченіе, которое уже собиралъ Наполеонъ противъ Россіи. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ тогдашней, совершенно естественной тяжелой думѣ о будущихъ судьбахъ своей страны, Александръ долженъ былъ обратить вниманіе на слова Карамзина, долженъ былъ подчиниться ихъ вліанію, тѣмъ болѣе, что въ ту пору около него не было ни одного человѣка, который бы могъ парализовать вліаніе Карамзина и опровергать печальныя выводы его одинокой проповѣди. А между тѣмъ грозная туча все ближе и ближе подвигалась на горизонтъ. Россія была въ опасности; нужны были крутыя рѣшительныя мѣры. Карамзинъ принималъ на себя судъ дѣлъ Александра, строгую критику всего совершеннаго въ его царствованіе и принималъ на себя видъ искренняго патріота. „Какое имѣю право? спрашивалъ онъ.—Любовь къ отечеству и монарху, нѣкоторыя, можетъ быть, данныя мнѣ Богомъ способности, нѣкоторыя знанія, приобрѣтенныя мною въ лѣтописяхъ міра и въ бесѣдахъ съ мужами вели-

ними, то есть въ ихъ твореніяхъ. Чего хочу? Съ добрымъ намѣреніемъ испытать великодушіе Александра и сказать, что мнѣ кажется справедливымъ и что нѣкогда скажетъ исторія“.

И онъ даетъ рѣзкую критику либеральныхъ начинаній и различныхъ мѣръ, предпринятыхъ при Александрѣ. Въ началѣ царствованія, замѣчаетъ онъ, было два мнѣнія, двѣ партіи. Одни желали, чтобъ „Александръ взялъ мѣры для обузданія неограниченнаго самовластія, столь бѣдственнаго при его родителяхъ“; другіе желали восстановленія Екатерининской системы. Карамзинъ, понятно, съ своей стороны, высказываетъ мнѣнія, принадлежавшія второй партіи; онъ противъ всякаго ограниченія самодержавія, откуда бы оно ни шло, и съ замѣчательною логикою и силою убѣжденія возстаетъ противъ конституціонныхъ порядковъ, введеніе которыхъ, въ самомъ дѣлѣ, было затруднительно въ тогдашнемъ положеніи общества и государства. Но Карамзинъ считаетъ эту затруднительность постоянною, вѣчною, онъ знать не хочетъ ни о какомъ послѣдующемъ развитіи. „Самодержавіе основало и воскресило Россію, говоритъ онъ, съ перемѣною государственнаго устава ея она гибла и должна погибнуть, составленная изъ частей столь многихъ и разныхъ, изъ коихъ всякаѣ имѣетъ свои особенныя гражданскія пользы. Что, кромѣ единовластія неограниченнаго, можетъ въ сей машинѣ производить единство дѣйствія?“ Въ этомъ вопросѣ Карамзинъ остался неподвижнымъ. Онъ былъ противъ всѣхъ тѣхъ, которые думали въ то время не о полной конституціи для Россіи, что, разумѣется, было невозможно, а только объ исправленіи стараго. Съ этою цѣлью Карамзинъ совѣтовалъ государямъ только править *добродѣтельно* и довольствовался совершенно этою вялою сентиментальною фразою.

Приступая къ характеристикѣ современнаго царствованія, Карамзинъ говоритъ о добрыхъ, человѣческихъ свойствахъ Александра и объ общей любви къ нему всѣхъ. вмѣстѣ съ тѣмъ онъ „собираетъ твердость духа“, чтобъ „сказать истину“. Эта „истина“ заключается въ слѣдующемъ изображеніи того времени: „Россія наполнена недовольными, жалуются въ палатахъ и въ хижинахъ; не имѣютъ ни довѣренности, ни усердія къ правленію, строго осуждаютъ его цѣли и мѣры“. Недовольство это, выставленное Карамзиннымъ, какъ всеобщее, было нѣсколько преувеличено; недовольны были, конечно, всѣ ретрограды, но причины ихъ недовольства легко объяснить: онѣ были чисто личныя. Карамзинъ въ своей „Запискѣ“ объясняетъ это горестное расположеніе умовъ „несчастными обстоятельствами Европы и важными, какъ думаю, ошибками правительства“. Очень рѣзко осуждаетъ Карамзинъ нашу тогдашнюю внѣшнюю политику и отношенія къ Европѣ: ошибки дипломатіи, вмѣшательство въ войну,

проигранныя сраженія, постыдный тильзитскій миръ. Осужденія эти легко было сдѣлать Карамзину, потому что они высказывались уже послѣ совершившихся событій, когда судить можетъ всякій. Тутъ не нужно было ни особаго ума, ни знанія дѣла; такія сужденія оправдываетъ успѣхъ или неуспѣхъ дѣйствія, а потому сужденія Карамзина, въ родѣ, напр., слѣдующихъ словъ: „Никто не увѣритъ Россіянъ, чтобы совѣтники трона, въ дѣлахъ внѣшней политики слѣдовали правиламъ истинной мудрой любви къ отечеству и къ доброму государю“ — ничего не доказываютъ. Карамзинъ обвиняетъ этихъ совѣтниковъ или „сихъ несчастныхъ“, какъ онъ выражается, въ томъ, что они „думали единственно о пользѣ своего личнаго самолюбія“. Намъ извѣстно, насколько было это справедливо.

Переходя къ внутреннимъ дѣламъ государства, т.-е. къ тѣмъ немногимъ преобразованіямъ, которыя допустили сдѣлать обстоятельства времени, Карамзинъ откровенно высказываетъ свои охранительныя убѣжденія и свою нелюбовь ко всякаго рода преобразованіямъ: „Вмѣсто того, чтобы немедленно обращаться къ порядку вещей Екатеринына царствованія, утвержденному опытомъ 34 лѣтъ и, такъ сказать, оправданному безпорядками Павлова времени, вмѣсто того, чтобы отмѣнить единственно излишнее, прибавить нужное, однимъ словомъ, *исправлять* по основательному разсмотрѣнію, — совѣтники Александровы захотѣли новостей въ главныхъ способахъ монаршаго дѣйствія, оставивъ безъ вниманія правила мудрыхъ, что *всякая новостъ въ государственномъ порядкѣ есть зло*, къ коему надобно прибѣгать только въ необходимости: ибо одно время даетъ надлежащую твердость уставамъ“. Идеаломъ Карамзина, слѣдовательно, было время Екатерины, но онъ самъ уже представилъ въ „Запискѣ“ темныя стороны этого времени, а Александръ еще при жизни Екатерины видѣлъ всю тогдашнюю неурядицу: и всеобщій грабежъ, и бѣдствія угнетеннаго народа, и царствовавшее вездѣ и во всемъ неправосудіе и пр. Можно ли было, зная все это и сочувствуя бѣдствіямъ массъ, не затыкая ушей и не закрывая глазъ, оставаться при старыхъ порядкахъ? Но Карамзинъ считаетъ правленіе Екатерины лучшимъ, нежели реформы, введенныя въ началѣ царствованія Александра. „Сія система правительства, говоритъ онъ, не уступала въ благоустройствѣ никакой иной европейской, заключая въ себѣ, кромѣ общаго со всѣми, нѣкоторыя особенности, сообразныя съ мѣстными обстоятельствами Имперіи“. Такъ Карамзинъ нападаетъ на министерства и ихъ учрежденіе въ 1802 году, и, повидимому, на поверхностный взглядъ, замѣчанія его кажутся справедливыми. Прежде всего онъ замѣчаетъ „излишнюю постыдность“ въ учрежденіи министерствъ. Съ своей точки зрѣнія онъ убѣжденъ, что съ этимъ

учрежденіемъ правительство лишилось консервативнаго характера и потеряло послѣдовательность въ своихъ дѣйствіяхъ. Онъ доказываетъ, что Сенатъ утратилъ прежнее свое правительственное значеніе (эту мысль раздѣлялъ съ Карамзинымъ и Державинъ), и жалѣеть о прежнихъ коллегіяхъ и ихъ порядкахъ. Карамзинъ нападаетъ также и на Государственный Совѣтъ, придуманный, по словамъ его, чтобы ограничить нѣсколько неограниченную власть министровъ. Онъ даже впередъ осуждаетъ всѣ нововведенія, всѣ новыя преобразованія, которыя разрабатывались тогда главнымъ образомъ Сперанскимъ. Все сдѣланное доселѣ, по словамъ его, имѣетъ характеръ неожиданности. „Спасительными уставами бывають единственно тѣ, коихъ давно желаютъ лучшіе умы въ государствѣ, и которые, такъ сказать, предчувствуются народомъ, будучи ближайшимъ цѣлебнымъ средствомъ на извѣстное зло: учрежденіе министерствъ и совѣта имѣло для всѣхъ дѣйствіе внезапное“. Карамзинъ требуетъ, чтобы для этихъ новыхъ учреждений были приготовлены умы, чтобы объяснены были намѣренія, цѣли правительства и смыслъ вводимаго, забывая, что все это несообразно съ самодержавіемъ. Противорѣчія его мнѣній особенно вѣрно выставлены въ біографіи Сперанскаго барона Корфа, въ статьѣ о Сперанскомъ Дмитріевѣ ¹⁾ и въ книгѣ Пыпина „Общественное движеніе въ Россіи при Александрѣ I“. Останавливаясь подробно на критикѣ противорѣчій Карамзина и указывать то, что было въ его замѣчаніяхъ вѣрнаго и невѣрнаго,— не стоитъ, да и далеко отъ нашей цѣли. То онъ нападаетъ на всемогущество министровъ, на ихъ безответственность, то недоволенъ тѣмъ, что въ учрежденіи о министерствахъ говорится о возможности суда надъ ними. Этотъ судъ нарушаетъ самодержавіе; ответственность министровъ несовмѣстна съ послѣднимъ, потому что выборъ ихъ зависитъ отъ государя. „Пусть государь награждаетъ достойныхъ своею милостію, а въ противномъ случаѣ удаляетъ недостойныхъ безъ шума, тихо и скромно. Худой министръ есть ошибка государя; должно исправлять подобныя ошибки, но скрытно, чтобы народъ имѣлъ довѣренность къ личнымъ выборамъ царскимъ“.

На каждомъ шагу въ „Запискѣ“ Карамзина сквозитъ не только недовѣріе ко всему тому, что было до сихъ поръ сдѣлано въ царствованіе Александра съ искреннимъ желаніемъ добра и блага народу и государству, но и рѣзкое осужденіе всѣхъ реформъ въ соединеніи съ сожалѣніемъ о старомъ. Къ преобразователямъ относится онъ съ глубокимъ преврѣніемъ, какъ къ людямъ только одной теоріи:

¹⁾ Р. А. 1868 г.

„Вообще новые законодатели Россіи, говоритъ онъ, славятся наукою писемводства болѣе, нежели наукою государственною“. Понятно, что прежде все было лучше, и Россія болѣе была счастлива: „Разсматривая такимъ образомъ сіи новыя государственныя творенія и видя ихъ незрѣлость, добрые Россіане жалѣютъ о бывшемъ порядкѣ вещей. Съ Сенаторомъ, съ коллегіями, съ генераль-прокуроромъ у насъ шли дѣла, и прошло блестящее царствованіе Екатерины“. Въ своемъ консерватизмѣ Карамзинъ доходитъ до тупости: „Зло, къ которому мы привыкли, для насъ чувствительно менѣе новаго, а новому добру какъ то не открытися; переменны сдѣланныя не ручаются за пользу будущихъ; ожидаютъ ихъ болѣе со страхомъ, нежели съ надеждою, ибо къ древнимъ государственнымъ зданіямъ прикасаться опасно; Россія же существуетъ около 1000 лѣтъ и не въ образѣ дикой орды, а въ видѣ государства великаго. А намъ все твердятъ о новыхъ образованіяхъ, о новыхъ уставахъ, какъ будто мы недавно вышли изъ темныхъ лѣсовъ американскихъ. Требуемъ болѣе мудрости хранительной, нежели творческой“. Всякое нововведеніе, по мысли Карамзина, благопріятствуетъ произволу. Пугая Александра будто бы всеобщимъ недовольствомъ противъ правительства, Карамзинъ старается доказать, что одна изъ главныхъ причинъ этого неудовольствія есть „излишняя любовь правительства къ государственнымъ преобразованіямъ, которыя потрясаютъ основу имперіи и коихъ благотворность остается доселѣ сомнительною“. Таковъ общій взглядъ Карамзина на значеніе совершившихся преобразованій. Нѣкоторыя изъ нихъ онъ разбираетъ. Въ особенности сильно досталось отъ Карамзина министерству народнаго просвѣщенія и преобразованіямъ, сдѣланнымъ по этой части, что составляетъ самое лучшее дѣло изъ царствованія Александра. „Онъ употребилъ *милліоны* для основанія университетовъ, гимназій, школъ; къ сожалѣнію, видимъ болѣе убытка для казны, нежели выгодъ для отечества. Для выписанныхъ профессоровъ не было учениковъ приготовленныхъ; ученики, по незнанію латинскаго языка, не понимаютъ профессоровъ“... „У насъ нѣтъ охотниковъ для высшихъ наукъ“; „выгоды ученаго состоянія у насъ неизвѣстны“. По Карамзину, ни одно сословіе, ни одна профессія въ Россіи не нуждается въ высшемъ образованіи, и потому нужно было заводить его въ размѣрахъ втрое меньшихъ. „Строить, покупать дома для университетовъ, заводить бібліотеки, кабинеты, ученыя общества, призывать знаменитыхъ иноземныхъ астрономовъ, филологовъ, есть — пускать пыль въ глаза. Чего не преподаютъ нынѣ даже въ Харьковѣ и Казани“. Такъ скептически смотрѣлъ Карамзинъ на то, что было сдѣлано правительствомъ для образованія вообще и высшаго въ особенности. Онъ былъ недоволенъ и уставомъ

внутренняго устройства университетовъ, тѣмъ, что профессора должны заниматься дѣлами хозяйственными или вѣдѣть осматривать училища. „Вообще, говорить онъ, министерство *такъ называемо* просвѣщенія въ Россіи донынѣ дремало, не чувствуя своей важности и какъ бы не вѣдая, что ему дѣлать, а пробуждалось отъ времени до времени единственно для того, чтобы требовать денегъ, чиновъ и крестовъ отъ государя“. Конечно, въ словахъ Карамзина заключалась часть правды, но насъ поражаетъ въ нихъ это неуваженіе въ наукѣ и просвѣщенію цѣлей страны, болѣе чѣмъ странное въ писателѣ, пользовавшемся заслуженною извѣстностью.

Гораздо болѣе Карамзинъ былъ правъ, нападая на извѣстный указъ объ экзаменахъ 1809 года, хотя и здѣсь нельзя не сказать, что пренебрежительный отзывъ его страдаетъ преувеличеніемъ. Государство желало, чтобы его органы-чиновники были люди сколько-нибудь образованные. Указъ былъ задуманъ и приведенъ въ исполненіе по волѣ государя только однимъ Сперанскимъ и потому на него одного обрушилось негодованіе заинтересованныхъ въ немъ людей. Указъ этотъ, объясняя предпринимаемую мѣру, говорилъ, что „всѣ части государственнаго служенія требуютъ свѣдущихъ исполнителей, и чѣмъ далѣе будетъ отлагаемо твердое и отечественное образованіе юношества, тѣмъ недостатокъ впоследствии будетъ ощутительнѣе“. Причина, по словамъ указа, заключалась въ легкости достигать чиновъ не заслугами и отличными познаніями, но однимъ пребываніемъ и численіемъ лѣтъ службы. Чтобы прекратить этотъ вредный порядокъ вещей, было постановлено не производить никого въ чинъ коллежскаго assessora безъ университетскаго свидѣтельства объ окончаніи курса или вообще о знаніяхъ. То же самое требовалось и для производства въ статскіе совѣтники. При указѣ приложена была довольно обширная программа предметовъ общаго образованія, знаніе которыхъ требовалось отъ чиновника, желавшаго пріобрѣсти высшій чинъ. Понятно, какое сильное негодованіе долженъ былъ произвести этотъ неожиданный указъ въ многочисленной арміи нашихъ невѣжественныхъ чиновниковъ того времени, въ странѣ, которая была лишена тогда всякихъ средствъ для высшаго образованія. Старики чиновники, долго служившіе, лишались вдругъ возможности дальнѣйшаго повышенія. Злоба противъ Сперанскаго, противъ этого выскочки-поповича, изъ столицъ распространилась по провинціямъ. На него посыпались злобные сарказмы, анонимныя письма, ругательныя стихотворенія. Но не одни чиновники нападали на указъ; съ ихъ голоса стали кричать въ обществѣ и тѣ, которые были недовольны реформами Сперанскаго. Указъ былъ, въ самомъ дѣлѣ, отчасти несправедливъ, потому что онъ нисколько не цѣнилъ

продолжительную опытность чиновника и требовалъ отъ него только общихъ теоретическихъ знаній, которыя, повидимому, вовсе ни на что не годились въ его специальной службѣ. Когда для такихъ стариковъ чиновниковъ открыты были особенные экзаменные комитеты при университетахъ, то, понятно, что экзамены эти превратились въ пустую формальность, а профессора-экзаменаторы брали съ чиновниковъ взятки. Началась торговля университетскими свидѣтельствами. Самый главный недостатокъ этого указа Сперанскаго состоялъ въ томъ, что онъ былъ очень крутъ и касался не только будущаго, но и настоящаго; онъ вводился тотчасъ же; не было положено срока, послѣ котораго слѣдуетъ требовать университетскаго свидѣтельства. Но это былъ единственный недостатокъ указа 1809 года. Сперанскій явился настоящимъ государственнымъ человѣкомъ, требуя отъ чиновника общаго университетскаго свидѣтельства, а не спеціальнаго административнаго экзамена, который былъ рѣшительно невозможенъ при тогдашнемъ состояннн у насъ спеціальной науки. Служба, однако, во всякомъ случаѣ, выигрывала, когда пріобрѣтала людей, развитыхъ умственнымъ и нравственнымъ образомъ. Другихъ требованій невозможно было и дѣлать въ ту пору. Въ этомъ отношеннн указъ Сперанскаго составилъ дѣйствительную эпоху и принесъ несомнѣнную пользу. Съ него начинается паденіе сословія подъячихъ и невѣжественныхъ чиновниковъ-взятчиковъ, этой старинной язвы нашего общества. Въ темный міръ брошена была искра свѣта, начала честности и правды, которыя даются общимъ развитіемъ.

Карамзинъ, нападая на этотъ указъ, который онъ называетъ *несчастливымъ*, не выказалъ ни такта государственнаго человѣка, который смотритъ не на одно настоящее, ни любви къ просвѣщенію и наукѣ. Онъ говоритъ объ одномъ только настоящемъ и дѣлается, такимъ образомъ, отголоскомъ всеобщаго воли невѣжественныхъ чиновниковъ. Карамзинъ ограничивается только сарказмами, правда, злыми и язвительными, но едва ли справедливыми съ широкой государственной точки зрѣннн. Онъ согласенъ на спеціальннй, административннй экзаменъ, который, какъ мы сказали, не былъ возможенъ тогда въ Россіи, и негодуетъ на требованіе общаго образованнн.

„У насъ предсѣдатель гражданской палаты обязанъ знать Гомера и Θεоврита; секретарь сенатскій — свойства оксигена и всѣхъ газовъ; вице-губернаторъ — Пиеагорову фигуру; надзиратель въ домѣ сумасшедшихъ — римское право, или умруть коллежскими и титулярными совѣтниками... Нивогда любовь къ наукамъ не производила дѣйствнн столь несогласнаго съ ихъ цѣлью!“ Кромѣ вреда Карамзинъ ничего хорошаго не ожидаетъ отъ этого указа и въ особен-

ности налегаетъ на *принудительный* характеръ его, вызванный, впрочемъ, бездѣйствіемъ, инерціей самого общества.

Далѣе Карамзинъ разсуждаетъ о крѣпостномъ вопросѣ и о тѣхъ мѣрахъ, которыя задумывались въ началѣ царствованія Александра для облегченія участи крѣпостного сословія. Достаточно зная уже Карамзина, мы не имѣемъ никакого права ожидать, чтобы въ этомъ случаѣ онъ былъ особенно либераленъ и шелъ въ своихъ требованіяхъ впередъ общественнаго мнѣнія. Напротивъ, какъ помѣщикъ и строгій консерваторъ, онъ раздѣлялъ и поддерживалъ мнѣніе большинства, стоялъ за *statu quo*, вовсе не желая освобожденія, такъ что невольно приходитъ въ голову весьма естественная мысль: не привело ли Карамзина желаніе сохранить *statu quo* въ крестьянскомъ вопросѣ вообще къ его консерватизму. Странное впечатлѣніе производитъ этотъ умный и талантливый писатель своими отсталыми мнѣніями по крестьянскому вопросу въ то время, когда все живое и молодое было предано идеямъ свободы и хлопотало объ облегченіи угнетенныхъ массъ. Мы привели съ XVIII вѣка говорить, что наша литература шла впередъ общественнаго развитія, что она всегда проповѣдовала любовь къ человѣчеству и развитіе. На этотъ разъ вышло не такъ, и человѣкъ, который такъ много въ своихъ сочиненіяхъ наговорилъ сентиментальныхъ фразъ о свободѣ, о любви къ человѣчеству, о просвѣщеніи и пр., дѣлается защитникомъ темнаго дѣла и стоитъ за принципъ крѣпостного права.

Прежде всего, въ своей защитѣ крѣпостного права, Карамзинъ осуждаетъ указъ, которымъ запрещалась продажа и купля людей съ цѣлю отдать ихъ въ рекруты; это былъ обычай, который велъ ко многимъ злоупотребленіямъ, какъ всякая торговля людьми. Карамзинъ посмотрѣлъ на этотъ указъ весьма односторонне; онъ жалѣеть, что онъ отнялъ средство у „небогатыхъ владѣльцевъ“ сдавать дурныхъ людей въ рекруты и у хорошей крестьянской семьи возможность нанять за себя рекрута. Собственно объ освобожденіи крестьянъ Карамзинъ не могъ говорить прямо и открыто, потому что желанія правительства, въ началѣ, повидимому, весьма широкія, ограничились въ этомъ дѣлѣ слабыми полумѣрами, но онъ считалъ своею обязанностію высказать въ запискѣ свои мнѣнія вообще по предмету освобожденія.

„Нынѣшнее правительство, говоритъ онъ, имѣло, какъ увѣряютъ, намѣреніе дать господскимъ людямъ свободу“. Поэтому онъ исторически разбираетъ у насъ рабство и старается доказать, что крестьяне никогда не имѣли права на землю, всецѣло принадлежащую помѣ-

щико. Онъ не допускаетъ даже мысли о возможности освобожденія крестьянъ съ землею, а на освобожденіе безъ земли, по его словамъ, не рѣшится „благоразумный самодержавецъ“. Карамзинъ рисуетъ бѣдственное положеніе государства и самихъ крестьянъ въ случаѣ, если послѣдуетъ освобожденіе. Онъ какъ бы старается нанугать правительство ужасающими для порядка послѣдствіями. Связь между помѣщиками и крестьянами разрушится. „Дотогѣ падали они въ крестьянахъ свою собственность,—тогда корыстолюбивые владѣльцы захотятъ взять съ нихъ все возможное для силъ физическихъ“. Начнутся безконечныя тяжбы между тѣми и другими, когда придется юридически опредѣлять отношенія или заключать контракты. Когда крестьянинъ не будетъ болѣе прикрѣпленъ къ землѣ, казна неминуемо потерпитъ убытокъ въ сборѣ подушныхъ денегъ и другихъ податей, самое земледѣліе потерпитъ. Поля останутся не обработанными, житницы пустыми. Крестьяне, не имѣя надъ собою безденежнаго суда помѣщичьяго, стануть ссориться между собою, судиться въ городахъ; отсюда ихъ общее разореніе. Лишенные помѣщичьей опеки, лучшей чѣмъ всѣ земскіе суды, крестьяне стануть пьянствовать, злодѣйствовать: „какая богатая жатва для кабаковъ и мздоимныхъ исправниковъ, но какъ худо для нравовъ и государственной безопасности!“ Карамзинъ пугаетъ даже правительство его безсиліемъ, если оно лишится содѣйствія дворянъ-помѣщиковъ. „Дворяне, разсѣянные по всему государству, содѣйствуютъ монарху въ храненіи тишины и благоустройства; отнявъ у нихъ сію власть блюстительную, онъ, какъ Атласъ, возьметъ себѣ Россію на рамена... Удержитъ ли? Паденіе страшно!“ Свобода земледѣльцевъ вредна для государства. Освобожденные отъ власти господской, они не будутъ счастливы, „преданные въ жертву ихъ собственнымъ порокамъ, отгупщикамъ и судымъ безсовѣстнымъ“. Помѣщичьи крестьяне и теперь гораздо счастливѣе казенныхъ. „Знаю, что теперь неудобно возвратитъ крестьянамъ свободу—говоритъ Карамзинъ, а что если и есть злоупотребленія помѣщичьей властію, то лучше *подъ рукою* взять мѣры для обузданія господъ жестокихъ. Въ заключеніе своей защиты крѣпостного состоянія Карамзинъ считаетъ своимъ долгомъ обратиться къ доброму монарху съ слѣдующими словами: „Государь! Исторія не упрекнетъ тебя зломъ, которое прежде тебя существовало (положимъ, что неволя крестьянъ и есть рѣшительное зло), но ты будешь отвѣтствовать Богу, совѣсти и потомству за всякое вредное слѣдствіе твоихъ собственныхъ уставовъ!“

Такимъ образомъ, въ вопросѣ столь важномъ, такъ глубоко затрагивающемъ всѣ основы государственной и народной жизни, въ вопросѣ, который занималъ лучшихъ людей того времени, воспользо-

вавшихся идеями гуманной и просвѣтительной философіи прошлаго вѣка, Карамзинъ стоялъ на неподвижной, строго консервативной точкѣ зрѣнія. Онъ отсталъ отъ передовыхъ писателей, даже русскихъ. Пусть онъ не былъ человѣкомъ съ государственными тактомъ и широкимъ взглядомъ, смотрѣвшимъ въ даль будущаго, но онъ былъ писатель—филантропъ, воспитанный въ гуманной масонской школѣ; въ своихъ сочиненіяхъ онъ безпрестанно твердилъ о любви къ человѣчеству и свободѣ, а когда пришлось примѣнять слова къ дѣлу, оказалось, что всѣ красивыя слова, имъ когда-то произнесенныя, были только фразами безъ содержанія, оказалось, что вмѣсто филантропа-писателя передъ нами риторъ—помѣщикъ, изъ низкихъ эгоистическихъ цѣлей старающійся защищать даже торговлю людьми!

Въ защитѣ крѣпостного права, въ виду уже созрѣвшей мысли передовыхъ людей и даже самого правительства, которое относилось къ угнетенной массѣ простого народа болѣе гуманно, чѣмъ человѣкъ, считавшійся первымъ писателемъ своего времени, высказался весь тупой консерватизмъ Карамзина. Аргументы, приводимые имъ, конечно, не принадлежали ему собственно; они составляли кодексъ убѣжденій рабовладѣльческаго большинства. Съ тою же силою и убѣжденіемъ они высказывались еще недавно, и несправедливость ихъ доказана временемъ. Мы не знаемъ, насколько аргументы Карамзина подѣйствовали въ этомъ вопросѣ на умъ и волю Александра, но при извѣстной слабости его характера, надобно полагать, что теоретически сочувствуя бѣдственному положенію крѣпостного сословія, онъ едва ли рѣшился бы на практическое рѣшеніе вопроса: такъ много было вокругъ него совѣтниковъ, раздѣлявшихъ изъ личныхъ выгодъ мнѣнія, высказанныя Карамзинымъ.

Но „Записка“ не оканчивается крѣпостнымъ вопросомъ. Карамзинъ далъ себѣ задачу разобрать всѣ главныя правительственныя мѣры въ царствованіе Александра, оцѣнить ихъ критически и во всемъ представить бѣдственное положеніе государства. Далѣе слѣдуетъ разборъ *финансовой мѣры*, о которомъ упомянемъ коротко вслѣдствіе его специальности. Карамзинъ осуждаетъ множество ассигнацій, неравномѣрность и увеличеніе налоговъ, расточительность казны, въ противоположность съ личною, дворцовой бережливостью самого Александра. „Сколько изобрѣтено новыхъ мѣстъ, сколько чиновниковъ ненужныхъ! Здѣсь три генерала стерегутъ туфли Петра Великаго; тамъ одинъ человѣкъ беретъ изъ пяти мѣстъ жалованье; всякому столовыя деньги; множество пенсій излишнихъ; даютъ въ займы безъ отдачи и кому? Богатѣйшимъ людямъ!“ Расточительность, казнокрадство, тунеядство и роскошь—вотъ черты финансоваго поло-

женія Россіи въ то время, по словамъ Карамзина. Но между средствами ограничить лишнюю расточительность казенныхъ денегъ Карамзинъ рекомендуетъ между прочимъ: „отказываться невѣждамъ, требующимъ денегъ для мнимаго успѣха наукъ“. Это былъ прямой упрекъ тогдашнему министерству народнаго просвѣщенія, котораго Карамзинъ не любилъ.

Послѣ осужденія финансовыхъ мѣръ и неудовлетворительности тогдашняго финансоваго положенія Россіи, самыя сильныя обвиненія Карамзина падаютъ на законодательныя мѣры того времени, гдѣ главнымъ дѣятелемъ былъ Сперанскій. Нельзя сказать, чтобъ въ этихъ нападеніяхъ его присутствовали только желчь и раздраженіе; было въ нихъ и довольно правды, потому что законодательное дѣло при Александрѣ шло весьма поспѣшно и необдуманно, для него неоставало у насъ тогда людей съ научнымъ юридическимъ образованіемъ, на что горько жаловался и Сперанскій, первый человекъ, который сталъ дѣятельно заботиться о развитіи у насъ юридическаго образованія. Поговоривъ о прежнихъ попыткахъ законодательства у насъ, съ самыхъ древнихъ временъ, Карамзинъ переходитъ къ разбору того, что сдѣлано было при Александрѣ. „Александръ, ревностный исполнить то, чего всѣ монархи російскіе желали, образовалъ новую комиссію, набрали многихъ секретарей, редакторовъ, помощниковъ, не сыскали одного и самаго необходимѣйшаго—человѣка способнаго быть ея душою.“ Этимъ человѣкомъ, главнымъ дѣятелемъ въ комиссіи до Сперанскаго, былъ Розенкампфъ. На его работы нападать было не трудно. Томъ предварительныхъ работъ его Карамзинъ характеризуетъ такъ: „Множество ученыхъ словъ и фразъ, почерпнутыхъ въ книгахъ, ни одной мысли, почерпнутой въ созерцаніи особеннаго гражданскаго характера Россіи. Добрые соотечественники наши ничего не могли понять, кромѣ того, что голова авторовъ въ лунѣ, а не на землѣ русской!“ Но „вотъ опять новая декорачія: видимъ законодательство въ другой рукѣ“. Это былъ Сперанскій. Онъ напечаталъ двѣ первыя книжки „Проекта новаго уложенія“, и хотя онѣ были предназначены только для членовъ совѣта, но сдѣлались извѣстными и въ публикѣ, которая изъ ненависти къ Сперанскому находила въ ней одни недостатки. Достоинство законодательныхъ работъ Сперанскаго, какъ предварительныхъ при Александрѣ, такъ и послѣдующихъ, при составленіи „Свода“ въ царствованіе Николая, признано наукою. Карамзинъ отнесся къ нимъ, однако, съ крайнимъ порицаніемъ и раздраженіемъ, и видѣлъ въ нихъ только недостатки. Въ двухъ томахъ „Проекта“ онъ находитъ „Переводъ Наполеонова кодекса!“ „Какое изумленіе для Россіяны! Какая пища для злословія! Благодаря Всевышняго, мы еще не подпали желѣзному

скипетру сего завоевателя; у насъ еще не Вестфалія, не Итальянское королевство, не Варшавское герцогство, гдѣ кодексъ Наполеоновъ, со слезами переведенный, служить уставомъ гражданскимъ. Для того ли существуетъ Россія, какъ сильное государство, около тысячи лѣтъ, для того ли около ста лѣтъ трудимся надъ сочиненіемъ своего полного уложенія, чтобы торжественно предъ лицомъ Европы признаться глупцами и подсунуть сѣдую нашу голову подъ книжку, слѣвленную въ Парижѣ 6-ю или 7-ю эксъ-адвокатами и эксъ-якобинцами!" Такъ презрительно третируетъ Карамзинъ,—конечно, не пріестъ и даже не ученый—лучшій законодательный памятникъ той эпохи, который „вполнѣ соотвѣтствовалъ всѣмъ тогдашнимъ требованіямъ науки и общества“—по словамъ барона Корфа ¹⁾). Конечно, трудъ Сперанскаго былъ слишкомъ поспѣшенъ, но это былъ только проектъ, и высокомѣрное отношеніе къ нему Карамзина, съ разнообразными мелкими натяжками въ обвиненіяхъ, не оправдывается ничѣмъ. Баронъ Корфъ въ своей біографіи Сперанскаго приписываетъ только раздражительности Карамзина его упрекъ Сперанскому въ томъ, что въ его проектѣ говорится *о правѣ гражданскихъ* (т.-е. о правѣ собственности, завѣщаніяхъ и т.п.). Ихъ, по словамъ Карамзина, „въ истинномъ смыслѣ не бывало и нѣтъ въ Россіи“. У насъ только политическія или особенныя права разныхъ государственныхъ состояній: у насъ дворяне, купцы, земледѣльцы и пр.; всѣ они имѣютъ свои особенныя права. При поспѣшности работы Сперанскаго, легко было Карамзину нападать на ошибки перевода съ французскаго, но ненависть его къ кодексу Наполеона можно объяснить только тогдашними нашими политическими отношеніями и общимъ тономъ всей патріотической литературы того времени, къ которой принадлежала и „Записка“ Карамзина. „Оставляя все другое, говорилъ онъ, спросимъ: время ли теперь предлагать Россіянамъ законы французскіе, хотя бы оныя и могли быть удобно примѣнены къ нашему гражданскому состоянію? Мы всѣ—всѣ любящіе Россію, государя ея, славу, благоденствіе, — такъ ненавидимъ сей народъ, обогранный кровію всей Европы, осыпанный прахомъ столь многихъ державъ разрушенныхъ. И въ то время, когда имя Наполеона приводитъ сердца въ содроганіе, мы положимъ его кодексъ на святой олтарь отечества!“

Вмѣсто систематическаго кодекса, основаннаго на современныхъ понятіяхъ науки и болѣе развитого общества, Карамзинъ предлагалъ только систематическое собраніе и изложеніе законовъ, заключающихся въ указахъ и постановленіяхъ, изданныхъ отъ временъ царя

¹⁾ Жизнь графа Сперанскаго. Спб., 1861 г., т. I, стр. 162.

Алексѣя Михайловича до нашихъ: „вотъ содержаніе кодекса“—говорилъ онъ.—„Для стараго народа не нужно новыхъ законовъ“. Нужно было только кое-что исправить, кое-что прибавить. Этотъ же самый способъ предлагалъ и Сперанскій, но это, по его мнѣнію, былъ худшій родъ законодательства; у Карамзина это лучший. „Сей трудъ великъ,—говорилъ онъ,—но онъ такого свойства, что его нельзя поручить многимъ. Одинъ человѣкъ долженъ быть главнымъ, истиннымъ творцемъ Уложенія Россійскаго; другіе могутъ служить ему только совѣтниками, помощниками, работниками. Здѣсь единство мыслей необходимо для совершенства частей и цѣлаго, единство воли необходимо для успѣха; или мы найдемъ такого человѣка, или долго будемъ ждать кодекса“. Замѣчательно,—и это служитъ доказательствомъ вліянія „Записки“ Карамзина въ послѣдующее время,—что дѣло законодательное приняло у насъ такой ходъ, каковой совѣтовалъ Карамзинъ, хотя единственнымъ составителемъ „Свода Законовъ“ въ царствованіе Николая является тотъ же Сперанскій, на котораго Карамзинъ нападалъ.

Разобравъ такимъ образомъ и осудивъ внутреннее состояніе Россіи въ то время, Карамзинъ опять возвращается къ тому, съ чего началъ, т.-е. къ общему недовольству правительствомъ въ Россіи. „Удивительно ли, спрашиваетъ онъ, что общее мнѣніе столь не благопріятствуетъ правительству? Не будемъ скрывать зла, не будемъ обманывать себя и государя, не будемъ твердить, что люди обыкновенно любятъ жаловаться и всегда недовольны настоящимъ: сіи жалобы разительны ихъ согласіемъ и дѣйствіемъ на расположеніе умовъ въ государствѣ“. Но Карамзинъ не отчаивается въ будущемъ Россіи, хотя и видитъ въ ней „еще обширное поле для всякихъ новыхъ твореній самолюбиваго, неопытнаго ума“. Онъ предлагаетъ для излѣченія всеобщаго зла нѣсколько цѣлебныхъ средствъ, по его словамъ, самыхъ простѣйшихъ. Возвратиться къ прежнему, т.-е. къ системѣ Екатерины, составлявшей идеалъ Карамзина, уже поздно; надобно искать другихъ средствъ. „Главная ошибка законодателей сего царствованія состоитъ въ излишнемъ уваженіи формъ государственной дѣятельности“, а потому надобно перемѣнить систему, думать и хлопотать не о формахъ, а о *модяхъ*. Главное правило—*искать моды*; „теперь всего нужнѣе люди“ — говоритъ Карамзинъ. Люди эти нужны вездѣ и въ особенности на губернаторскихъ мѣстахъ. Пусть будутъ вездѣ хорошіе губернаторы, и министрамъ и совѣту можно тогда „отдыхать на лаврахъ“. Губернаторами того времени Карамзинъ совершенно недоволенъ, но, несмотря на то, онъ желаетъ увеличенія губернаторской власти, сожалѣетъ, что много частей въ составѣ губерніи не принадлежатъ къ вѣдомству губер-

натора, требуетъ возвысить его санъ и сдѣлать его похожимъ на Екатерининскаго намѣстника. Карамзинъ хлопоталъ, такимъ образомъ, объ усиленіи власти, о ея централизаціи, что соотвѣтствовало его представленію о неограниченномъ самодержавіи. Та же мысль является и во второмъ его правилѣ: „умѣйте обходиться съ людьми“. Здѣсь требуетъ онъ силы правительственной, а не мягкости, — грозы и страха, но только изъ рукъ монарха. Личная строгость монарха — все въ государствѣ. Онъ самъ — „живой законъ“. „Сирены могутъ пѣть вокругъ трона: „Александръ! воцари законъ въ Россіи“ и пр. Карамзинъ это объясняетъ такъ: „Александръ, дай намъ именемъ закона господствовать надъ Россіею, а самъ покойся на тронѣ, изливай единственно милости, давай намъ чины, ленты и деньги!“ Карамзинъ востаетъ, такимъ образомъ, противъ силы закона; въ нее онъ не вѣритъ и все спасеніе видитъ въ *хорошихъ модяхъ*. Но кому неизвѣстно это, рекомендуемое имъ средство, и не приготовляются ли сами люди, для настоящаго исполненія своихъ обязанностей хорошими законами, высшимъ образованіемъ, наконецъ, личнымъ участіемъ въ дѣлахъ государственныхъ, согласно конституціоннымъ порядкамъ, — а Карамзинъ не признаетъ силу первыхъ, считаетъ ненужнымъ для Россіи второе и рѣшительно вооружается противъ третьяго. Не отзываются ли его *цѣлебныя средства* тѣмъ же вялымъ сентиментализмомъ, какъ и вся его прежняя литературная дѣятельность?

Подъ конецъ своей „Записки“ Карамзинъ считаетъ почему-то нужнымъ вставить цѣлую патетическую тираду въ пользу дворянства, какъ будто на него было сдѣлано особое нападеніе или Александръ особенно не благоволилъ къ нему. „Самодержавіе есть палладіумъ Россіи, говоритъ онъ; цѣлость его необходима для ея счастья; изъ сего не слѣдуетъ, чтобы государь, единственный источникъ власти, имѣлъ причины унижать дворянство, столь же древнее, какъ и Россія“. Дворянству предоставляетъ онъ единственно служебное поприще, а потому совѣтуетъ государю какъ можно болѣе „возвышать санъ дворянина“. Блескъ его „можно назвать отливомъ царскаго сіянія“. Для этого хорошо бы монарху являться самому въ торжественныхъ собраніяхъ дворянства и не въ гвардейскомъ мундирѣ, а въ дворянскомъ. Точно такъ же Карамзинъ желаетъ поднятія значенія духовенства, чтобы, по крайней мѣрѣ, синодъ имѣлъ болѣе важности въ составѣ его и дѣйствіяхъ, чтобы іереи были лучше и образованнѣе, чтобы по закону они болѣе „пеклись о нравственности прихожанъ“ и пр. Вотъ программа исцѣленія язвъ Россіи, по правдѣ сказать, слишкомъ неопредѣленная и не глубокая. „Дворянство и духовенство, сенатъ и синодъ, какъ хранилища законовъ.

надъ всѣми государь, единственный источникъ властей, — вотъ основаніе россійской монархіи, которое можетъ быть утверждено или ослаблено правилами царствующихъ“. При наличности этихъ условий Карамзинъ не вѣритъ въ возможность бѣдствій Россіи, не видитъ близкой гибели для нея; но Александру нужно быть „осторожнѣе въ новыхъ государственныхъ твореніяхъ, стараясь всего болѣе утвердить существующія и думая болѣе о людяхъ, нежели о формахъ“. Это любимая мысль Карамзина. Онъ не любитъ *формы*, нападаетъ на нихъ и хочетъ остаться при старомъ произволѣ. Подъ поклоненіемъ формамъ разумѣется Карамзинимъ конституціонный проектъ Сперанскаго, опередившій далеко то общество, для котораго онъ былъ писанъ, и раздѣляемый только государемъ и самымъ ничтожнымъ меньшинствомъ развитыхъ людей.

Таково было общее содержаніе знаменитой „Записки“ Карамзина. Долго она являлась чѣмъ-то запретнымъ, таинственнымъ; это обстоятельство придавало ей особое значеніе и воображаемыя достоинства. Теперь запретъ снятъ; мысль Карамзина знакома намъ въ полнотѣ, а не въ преднамѣренныхъ пересказахъ. Критика свободно можетъ разбирать это произведеніе; для общества же не бесполезно прошли годы развитія и его не подкупать красивыя фразы Карамзина. Мы знаемъ мысль Карамзина и видимъ, что она не была ни глубока, ни блестяща по своему содержанію, не отличалась ни знаніемъ дѣла, ни безкорыстіемъ. „Записка“ была выраженіемъ цѣлой системы консерватизма въ обществѣ невѣжественномъ, своекорыстномъ, напуганномъ задуманными и отчасти начатыми реформами. Но консерватизмъ этотъ, по характеру литературной дѣятельности Карамзина, получилъ какой-то туманный, сентиментальный видъ, облекся въ красивыя, но крайне безсодержательныя фразы. „Несмотря на странныя несообразности и недомолвки, „Записка“ Карамзина имѣетъ для насъ, потомковъ, большую историческую цѣну, говоритъ биографъ Сперанскаго, вовсе не по внутреннему ея достоинству и не по краснорѣчивому изложенію въ ней индивидуальныхъ его мыслей, но какъ искусная компиляція того, что онъ слышалъ вокругъ себя. Карамзинъ, гораздо болѣе литераторъ, нежели человекъ государственный или вообще политическій, говорилъ здѣсь, разумѣется, не одно свое. Если современная ему публика нашла въ его „Запискѣ“ свое собственное темное неудовольствіе, облеченное въ форму изящной рѣчи, то нѣтъ сомнѣнія, что взаимно и та среда, въ которой онъ жилъ, не могла остаться безъ широкаго на него вліянія. Въ этомъ смыслѣ „Записка о старой и новой Россіи“, представляя собою общій, такъ сказать, итогъ толковъ тогдашней консервативной оппозиціи и тѣхъ массъ, которыя, обетшавъ, требо-

вали обновления, еще болѣе подтверждаетъ мысль, выше нами высказанную, что Александръ и первый его министр, въ порывѣ восторговъ своихъ увлеченій, опережали возрастъ своего народа, даже между образованнѣйшими его классами¹⁾.

Существованіе „Записки“ Карамзина и ея содержаніе сдѣлались извѣстными, къ сожалѣнію, въ такую эпоху русской жизни, когда ея начала и мысли стали господствующими и когда свободное отношеніе къ ней критики было немислимо. Все, что только въ обществѣ и литературѣ было либеральнаго по взглядамъ и убѣжденіямъ, все это было разсѣяно бурей или задавлено новымъ тяжелымъ порядкомъ вещей. А между тѣмъ имя Карамзина, глубоко уважаемое по личному характеру и по разнымъ другимъ отношеніямъ, напр., хотя бы потому, что, будучи другомъ Александра, онъ ничего не искалъ лично для себя и отклонялъ разныя блестящія предложенія, окружено было въ передовомъ литературномъ кругу славой и почетомъ. Уваженіе къ нему перешло въ массу общества, и каждое слово Карамзина принималось какъ откровеніе свыше, — тѣмъ болѣе, что никто не вникалъ въ настоящій смыслъ его „Записки“, никто не зналъ даже вполнѣ ея текста; принимали на вѣру, какъ авторитетъ. Только одинъ русскій изгнанникъ, Н. И. Тургеневъ, счастливо избѣгнувшій послѣдствій катастрофы 14 декабря, уже въ поздніе годы могъ свободно разсуждать за границею о содержаніи „Записки“ Карамзина. Но онъ, подобно прочимъ современникамъ, относится съ особеннымъ пѣтетомъ къ личности Карамзина, говоритъ о его благородной и возвышенной душѣ и отдаетъ справедливость той смѣлости, съ какою онъ говорилъ Александру, хотя послѣдній легко и скоро, конечно, могъ простить грубость Карамзина, именно потому, что источникъ этой грубости заключался въ его любви къ абсолютизму. Но Тургеневу не нравится въ „Запискѣ“ защита дворянскихъ привилегій, желаніе возвысить это сословіе, неуваженіе къ русскому народу, для котораго Карамзинъ считалъ какъ бы невозможнымъ всякій прогрессъ, и видѣлъ прогрессъ только въ дѣйствіяхъ абсолютной власти, безъ которой онъ считалъ невозможнымъ существованіе и развитіе Россіи. Въ особенности Тургеневу, всю жизнь мечтавшему объ освобожденіи крѣпостныхъ крестьянъ и положившему такъ много труда для этого дѣла, не нравились взгляды Карамзина на крѣпостной вопросъ. Но критика Тургенева была единственною справедливою критикою „Записки“; къ сожалѣнію, у насъ она не имѣла вліянія, будучи напечатана за границею. Первый баронъ Корфъ въ своей біографіи Сперанскаго, вышедшей въ 1861 г.,

¹⁾ Корфъ. Жизнь Сперанскаго, I, стр. 143.

сказалъ о запискѣ Карамзина нѣсколько дѣльныхъ и мѣткихъ замѣчаній и наконецъ Пыпинъ въ 1870 году (Вѣстникъ Евр., кн. V, стр. 202—246)¹⁾ подробно и вѣрно разобралъ ея содержаніе и указалъ значеніе ея для того и послѣдующаго времени. Всѣ остальные лица, писавшія объ этомъ произведеніи Карамзина, только хвалили его.

Мы должны перейти теперь къ совершенно иному кругу идей, который не имѣетъ ничего общаго ни съ современными вопросами государственнаго устройства, ни съ общимъ содержаніемъ патристической литературы, господствовавшей въ описываемое время въ обществѣ, но который, тѣмъ не менѣе, имѣетъ право на существованіе, потому что выражаетъ извѣстную духовную потребность общества, и заслуживаетъ быть упомянутымъ въ исторіи русскаго умственнаго развитія. Мы говоримъ о масонствѣ и мистицизмѣ, которые возродились къ жизни въ первые годы царствованія Александра, чему способствовалъ нѣкоторый относительный просторъ мысли и гуманной взглядъ на это направленіе ума со стороны самого императора. Направленіе это высказалось въ литературѣ цѣлымъ рядомъ сочиненій, переводовъ и даже періодическихъ изданій, проникнутыхъ одною мыслию, преимущественно мыслию и содержаніемъ христіанскаго піетизма, применувшаго тогда къ нѣкоторымъ именамъ мистиковъ-піетистовъ Германіи, сдѣлавшихся у насъ неопровержимыми авторитетами. Сочиненія ихъ были переведены почти въ полномъ объемѣ. Въ сущности, эта мистическая литература первыхъ временъ царствованія Александра была продолженіемъ такого же движенія, начавшагося еще въ XVIII вѣкѣ въ кружкѣ Новикова и друзей его, составившихъ тогда общество масоновъ и мистиковъ, разогнанное преслѣдованіями Екатерины въ послѣдніе годы ея правленія. Теперь, однако, и самый характеръ цѣлей и стремленій мистиковъ нашихъ долженъ былъ измѣниться, сообразно обстоятельствамъ. Не было дѣтски-нелѣпныхъ увлеченій прежняго времени розенкрейцерствомъ, не было слишкомъ пестраго внѣшняго ритуала и обрядности, но зато не было также и прежнихъ широкихъ филантропическихъ и педагогическихъ цѣлей, которыми отличалось „Дружеское общество“ Новикова. Все дѣло ограничивалось чисто-нравственными стремленіями, исключительно христіанскимъ мистицизмомъ, возникшимъ изъ недовольства догматическою стороною религіи, плохо объясняемою грубымъ и невѣжественнымъ духовенствомъ официальной церкви, и изъ желанія развить и усвоить себѣ это христіанство болѣе разумнымъ, внутреннимъ и сердечнымъ образомъ. Тутъ стрем-

¹⁾ См. „Общественное движеніе въ Россіи при Александрѣ I“.

ленія нашихъ мистиковъ встрѣтились съ одинаковыми же стремленіями мистиковъ протестантскихъ, идущихъ и развивающихся непрерывнымъ рядомъ со временемъ знаменитаго Якова Бема. Но связь этого литературнаго мистицизма первой половины царствованія Александра (во второй его половинѣ, при другихъ обстоятельствахъ, появился правительственный мистицизмъ) съ нашимъ московскимъ масонствомъ XVIII вѣка была, однако, очевидна. Тогда жилъ еще знаменитый страдалецъ Новиковъ. Удрученный болѣзнями, онъ слѣдилъ за этимъ движеніемъ въ своемъ сельскомъ уединеніи, куда являлись на поклонъ болѣе молодые мистики. Въ этомъ движеніи принималъ участіе и товарищъ его—старикъ Лопухинъ. Въ мистической литературѣ дѣйствовали ихъ прямые ученики и воспитанники. Мы укажемъ главныхъ представителей и главныя черты этой мистической литературы.

ЛЕКЦІЯ XXXV.

Масонство и мистицизмъ.—Новиковъ.

Масонство и мистицизмъ XVIII вѣка, съ Новиковымъ во главѣ, облеченное тайной и окруженное преслѣдованіями, долго въ сознаніи общества являлось чѣмъ-то неяснымъ, неопредѣленнымъ и до крайности отрывочнымъ; содержаніе этого движенія долго было неуловимо. Только въ недавнее время, изъ довольно многочисленныхъ изслѣдованій и документовъ, опубликованныхъ по дѣлу и дѣятельности Новикова и друзей его, выяснилось достаточнымъ образомъ это нравственно-общественное движеніе, въ которомъ сказалось такъ много различныхъ сторонъ времени, выяснились всѣ дурныя и хорошія стороны этого движенія, обусловливаемого, разумѣется, обстоятельствами. Въ особенности ясно выступила передъ нами въ масонствѣ XVIII вѣка цѣль филантропическая и педагогическая, служеніе общему благу, которое имѣли въ виду главные и самые энергическіе представители масонства и мистицизма—Новиковъ и Шварцъ, хотя, конечно, и эти цѣли и это служеніе они понимали одностороннимъ мистическимъ образомъ. Обстоятельства времени и бессмысліе правительства ввели нашихъ масоновъ, людей честныхъ и искреннихъ, но не глубокихъ, и легкомысленныхъ по своимъ увлеченіямъ, въ политическій процессъ и сдѣлали изъ нихъ напрасныя жертвы, пріостановивъ внутреннее движеніе масонства и не позволивъ ему развиваться дальше. Это преслѣдованіе сдѣлало еще болѣе загадочнымъ для мысли масонское движеніе, которое выражало собою, ко-

нечно, одну изъ любопытнѣйшихъ сторонъ состоянія нашего общества въ прошломъ вѣкѣ. Массонство обусловливалось у насъ не подражаніемъ, не модою, не увлеченіемъ личностью одного человѣка, хотя бы эта личность была и Новиковъ. Тутъ были болѣе глубокія общественныя причины. Конечно, главная причина появленія у насъ массонскихъ ученій заключалась въ той общей съ Европою духовной жизни, которою мы стали пользоваться болѣе сознательнымъ и глубокимъ образомъ въ концѣ XVIII вѣка. Самое явленіе массонства, въ основѣ котораго лежала идея личнаго дѣятельнаго нравственнаго совершенствованія, возникло въ самой Европѣ не ранѣе начала этого вѣка, богатаго вообще идеями, и очень скоро, въ первой его половинѣ, перешло уже и на нашу грубую и необработанную общественную почву: и у насъ, какъ и въ Европѣ, люди, конечно, лучшіе, стали искать въ массонскихъ ложахъ отвѣта на свои индивидуальныя нравственныя стремленія. Этотъ переходъ массонскихъ идей въ нашу жизнь доказываетъ уже значительное духовное общеніе наше съ Европою. Въ нравственныхъ, въ общественныхъ идеяхъ, которыми руководилось европейское массонство XVIII вѣка, господствовалъ тотъ же духъ деизма, гуманности и филантропіи, которымъ была проникнута вся литература того времени, только онъ получилъ въ массонскихъ ложахъ осязательное выраженіе въ различныхъ формулахъ и обрядахъ, говорившихъ фантази и сердцу, потому что массонство удовлетворяло болѣе всего этимъ сторонамъ человѣческаго существа. Очень скоро, однако, какъ во всякомъ человѣческомъ дѣлѣ, въ массонству, какъ выраженію чистаго нравственнаго стремленія, привились посторонніе факторы: подражаніе, мода, обманъ. Почвою самаго разнообразнаго движенія массонства сдѣлалась въ XVIII вѣкѣ особенно Германія, гдѣ для этого было много благоприятныхъ обстоятельствъ, и отсюда заимствовали мы и піетизмъ и мистицизмъ, и наконецъ различныя бредни, которыми такъ богата была эта страна въ концѣ того вѣка, напр. дѣланіе золота, добываніе жизненнаго элексира и т. п., что проповѣдывалось, какъ чудеса вѣры въ безчисленныхъ тайныхъ сектахъ иллюминатовъ, розенкрейцеровъ, тамплиеровъ и т. п. Эти бредни, эта экзальтація были крайнимъ развитіемъ піетистической вѣры, которая въ своемъ увлеченіи могла видѣть чудеса въ природѣ. Это было, слѣдовательно, извращеніе религіознаго протестантскаго движенія, но не въ немъ заключалась главная сущность массонства. Кромѣ восторженныхъ піетистовъ въ общество шли и другіе люди, въ особенности, какъ мы увидимъ потомъ, у насъ въ XIX вѣкѣ, люди, недовольные официальною церковностью, ея неподвижностью и безжизненностью. Въ обществѣ

масоновъ было много людей дѣйствительно просвѣщенныхъ, которые искали въ немъ себѣ духовнаго удовлетворенія, не находя его въ дѣйствительности. Конечно, не стоитъ говорить о тѣхъ, которые искали въ ложахъ развлечения, моды, веселыхъ собесѣдниковъ. Масса искала въ ложахъ какого-то высшаго знанія, которое давалось легко, безъ большихъ трудовъ и усилій, требуемыхъ дѣйствительною наукою. Здѣсь, для приобрѣтенія этого высшаго знанія, которымъ отрывалось все,—стоило только исполнить нѣкоторыя обрядности въ ложахъ.

Нѣмецкое масонство, сказали мы, перешло къ намъ въ концѣ XVIII вѣка. Лучшие люди нашего общества того времени, искавшие и желавшіе развитія, должны были невольно увлечься идеями, до которыхъ дошла Европа, тѣмъ болѣе, что въ тогдашнихъ условіяхъ, при слабости научнаго образованія, при ничтожности нашей самостоятельной литературы, это увлеченіе было легко. Общественная русская жизнь въ XVIII вѣкѣ представляла такъ много мрачныхъ, возмущающихъ душу явленій, что они невольно вызывали на протестъ. Самостоятельнымъ образомъ, законными и естественными средствами бороться съ ними, при недостаткѣ умственныхъ и нравственныхъ силъ въ обществѣ, было невозможно, и вотъ лучшие люди наши ухватились за масонское движеніе Германіи, видя въ немъ якорь спасенія. Бороться противъ этого наплыва чужихъ идей, весьма темныхъ, туманныхъ, дивихъ и фантастическихъ, были тогда не въ состояніи у насъ даже такія энергическія личности, какъ Новиковъ, потому что у нихъ недоставало образованія и науки, спасающихъ вообще отъ такого рода увлеченій. У насъ, къ тому же, было просвѣщеніе призрачное, а не настоящее, не допускавшее самостоятельной умственной работы; недостатокъ знанія и логики естественно влекъ, такимъ образомъ, нашихъ лучшихъ людей къ печальному явленію масонства, къ дикой фантастикѣ мистицизма, которыми даже въ кружкѣ Новикова доходили до крайней нелѣпости. Все нелѣпное нѣмецкихъ ложъ было имъ усвоено почти цѣликомъ. Новиковъ и друзья его увлеклись самымъ дикимъ толкомъ нѣмецкаго масонства—розенкрейцерствомъ, или какъ у насъ переводили тогда— „златорозоваго креста“. Увлеченіе этихъ лучшихъ нашихъ людей того времени крайними нелѣпостями — представляется въ исторіи нашего духовнаго развитія прошлаго вѣка чрезвычайно печальнымъ явленіемъ: оно свидѣтельствуетъ, что въ обществѣ нашемъ были и жизнь и стремленія, но лишеныя всякаго основанія, всякаго сознанія, и люди бросались въ туманъ, не имѣя руководительной идеи. Удивительное дѣтство и легкомысліе этихъ людей, при множествѣ хорошихъ другихъ сторонъ,—свидѣтельствуетъ только о

слабости нашего умственного развитія. Умъ молчалъ въ нихъ, но это забвеніе и неразвитость мысли искупались другими дѣйствительно благородными сторонами нашего масонства. Кружокъ Новикова представлялъ лучшихъ по нравственному развитію, искреннеубѣжденныхъ людей: для нихъ служеніе общественному благу было не пустою фразою и филантропическія цѣли ихъ, вытекавшія изъ братской любви къ людямъ, заставляютъ невольно смотрѣть сквозь пальцы на ихъ умственные заблужденія. Тутъ были они вполне безпомощны; Новиковъ самъ говорилъ, что не имѣя точки опоры, онъ неожиданно попалъ въ масонское общество. Онъ искалъ въ немъ, подобно нѣкоторымъ другимъ, нравственнаго совершенствованія, о которомъ такъ много говорили масонскія ложи на своемъ вычурномъ языкѣ. Это исканіе нравственнаго совершенствованія составляло завѣтную думу Новикова, оно выразилось въ его волненіяхъ, въ его безпрестанныхъ колебаніяхъ, въ переходѣ отъ одной системы къ другой, пока онъ не успокоился на дивномъ розенкрейцерствѣ, въ составъ упражненій котораго входили и алхимія и каббалистика. Понятно, что съ такимъ жалкимъ духовнымъ запасомъ, наше масонство прошлаго вѣка было почти безплодно для общественнаго развитія, оно не давало обществу никакого здороваго содержанія; оно было совершенно безсильно при рѣшеніи вопросовъ о религіи, о нравственности, объ общественной жизни. Въ особенности печально было это явленіе масонства и мистицизма по отношенію къ наукѣ, которая едва только зарождалась тогда въ нашей жизни. Естественно, что мистицизмъ долженъ былъ бояться здоровой научной критики, потому что разлетался въ прахъ при первомъ соприкосновеніи съ нею, но эту боязнь онъ замѣнялъ высокомернымъ отношеніемъ къ наукѣ, презрѣніемъ къ ней, старался выставить всю ея недостаточность для познанія истины. Между людьми съ сколько-нибудь строгимъ научнымъ образованіемъ мистицизмъ не могъ найти сочувствія. Онъ распространялся, подобно суевѣрію, въ той средѣ, гдѣ умъ уступаетъ воображенію, между людьми, не знакомыми съ наукою, и это главнымъ образомъ обуславливало успѣхъ масонства и мистицизма въ русскомъ обществѣ XVIII вѣка. Этотъ кругъ идей, въ родѣ популярной философіи, удовлетворялъ вполне людей съ незавиднымъ образованіемъ. Его гораздо легче было заимствовать изъ Европы, чѣмъ другія, болѣе строгія, научныя явленія; послѣднія были тогда не по плечу нашему обществу. Главное содержаніе въ этомъ заимствованномъ кругу идей составлялъ пѣвтизмъ, но у Новикова онъ не могъ быть ни смѣлымъ, ни послѣдовательнымъ, какъ у нѣмецкихъ пѣвтистовъ, опиравшихся на протестантизмъ; ему хотѣлось только болѣе разумнаго или, скорѣе, болѣе сердечнаго пониманія православнаго ученія, хотѣлось болѣе

простора, самостоятельности, поменьше официальнаго отношенія къ церкви, однимъ словомъ — самодѣтельности. Но въ этомъ мистицизмѣ, къ сожалѣнію, очень часто сказывалось недовѣріе къ наукѣ и даже враждебное отношеніе къ ней.

Была, однакожь, въ масонствѣ и мистицизмѣ прошлаго вѣка одна сторона, по которой они занимаютъ въ исторіи нашего общественнаго развитія почетное мѣсто. Въ нихъ мы видимъ первыя попытки общественной самодѣтельности, желаніе служить нравственнымъ интересамъ общества свободно, безъ вызова, безъ правительственной указки, по одному внутреннему убѣжденію въ пользѣ дѣла. Въ Новиковѣ и друзьяхъ его присутствовала дѣятельная любовь къ человечеству, и въ этомъ отношеніи эти натуры были чистыя натуры, рѣзко выдѣлявшіяся на общемъ мрачномъ фонѣ грубой жизни, гдѣ царили чувственность, своекорыстіе и презрѣніе къ людямъ. За эту нравственную, чистую сторону можно простить нашимъ мистикамъ и масонамъ разныя вздорныя бредни ихъ и увлеченія.

Въ своихъ двухъ главныхъ проявленіяхъ, въ мистицизмѣ и нравственно-общественной инициативѣ, масонство у насъ было заимствовано, какъ уже сказано выше, съ Запада. Мистицизмъ былъ стариннымъ явленіемъ христіанской жизни Европы. Онъ вытекалъ изъ религіознаго чувства, недовольнаго положительною религіею, и проповѣдывалъ чудесное соединеніе съ Богомъ, безъ всякаго участія разсудочной дѣятельности, — однимъ чувствомъ и экстазомъ. Естественно, что мистицизмъ, въ этихъ стремленіяхъ своихъ, постоянно твердилъ о тщетѣ и недостаточности человѣческаго разума. Онъ увлекался и до галлюцинацій и до фанатическаго преслѣдованія науки, до обскурантизма, какъ это всегда бываетъ съ разсужденіями, основанными только на чувствѣ. Но мистицизмъ гораздо понятнѣе и увлекательнѣе для неразвитыхъ массъ всякаго сколько-нибудь раціональнаго отношенія къ предмету, и это способствовало его обширному распространенію и существованію чрезвычайно плодотворной мистической литературы, явленія которой идутъ до нашего времени. Она не признаетъ раціональной науки, нападаетъ на нее, считаетъ ее вредною и опасною. Это направленіе, къ сожалѣнію, было усвоено и нашими мистиками и по преемственности мистической литературы породило у насъ, во второй половинѣ царствованія Александра, когда мистицизмъ проникъ въ правительственныя сферы и сдѣлался такъ сказать официальнымъ, — весьма печальныя явленія. Такovy были дѣйствія Магницкаго.

Хотя главнымъ представителемъ мистицизма для нашихъ масоновъ былъ французскій мистикъ Сень-Мартень, имѣвшій много личныхъ знакомыхъ и адептовъ между членами высшей русской ари-

стократіи ¹⁾, масоны наши увлекались и мистицизмом нѣмецкаго розенкрейцерства. Это было общество, возникшее въ Германіи въ началѣ XVIII вѣка, въ противоположность школьному протестантскому богословію, желавшее основываться только на словахъ Писанія и хлопотавшее о преобразованіи общества на христіанскихъ началахъ, объ усовершенствованіи человѣчества и объ улучшеніи всѣхъ общественныхъ отношеній. Впослѣдствіи это общество, въ которомъ сначала господствовалъ чистый кальвинистскій мистицизмъ, вслѣдствіе разнообразныхъ условій нѣмецкой исторіи, дошло до величайшихъ недѣльностей, стало принимать участіе въ іезуитскихъ проискахъ и играть политическую роль. Новиковъ, увлеченный Шварцемъ, думалъ черпать въ этомъ мутномъ источникѣ, конечно, не будучи знакомъ со всею его грязью.

Не говоря о ложахъ, дѣйствіе которыхъ на общество совершалось болѣе внѣшнимъ образомъ, при инициативѣ Новикова и его кружка возникла у насъ обширная литература для распространенія масонскихъ идей въ обществѣ, для приготовленія его къ тайнамъ масонства. Правда, дѣйствіе этой литературы было насильственно остановлено, но она, съ нѣскольکو измѣненнымъ характеромъ, продолжалась во все время царствованія Александра. Главнымъ дѣйствующимъ лицомъ этой литературы, вызывателемъ ея является Новиковъ. Масонскія убѣжденія пришли къ нему совершенно естественно. Человѣкъ этотъ, безъ сколько-нибудь серьезнаго образованія, не зная даже иностранныхъ языковъ, выступилъ въ очень молодыхъ еще годахъ сатирическимъ журналистомъ и, возмущенный многими явленіями русской общественной жизни, обличалъ ихъ съ энергіею и страстію. Недовольный жалкимъ состояніемъ русскаго просвѣщенія того времени, онъ требовалъ отъ русской литературы гораздо больше, чѣмъ всѣ современники. Вспомнимъ, что онъ первый заговорилъ съ настоящей точки зрѣнія о крѣпостномъ вопросѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, тогда же въ его журналѣ высказывалось и недовольство наукою вообще съ ея „физическими доказательствами“, и вражда къ французской просвѣтительной философіи того вѣка, и недовѣріе къ духовнымъ учителямъ, т.-е. къ священникамъ официальной церкви. Всѣ эти убѣжденія его выходили изъ глубины сердца, и онъ былъ преданъ имъ всею душою. Недовольный современной наукою, въ которой онъ видѣлъ только грубый матеріализмъ, Новиковъ искалъ религіозно-нравственнаго идеала. Этотъ идеалъ представился ему въ масонствѣ, облеченномъ тайною,

¹⁾ Сочиненіе Сень-Мартеня „О заблужденіяхъ и истинѣ“ было напечатано у насъ въ переводѣ въ 1785 г.

разукрашенномъ восторженными описаніями друзей его, бывавшихъ и въ русскихъ и въ заграничныхъ ложахъ. Относится критически къ масонству и даже къ увлеченіямъ розенкрейцерства Новиковъ не могъ по недостатку своего образованія и сдѣлался масономъ, потому что масонство вполне удовлетворяло его и въ религіозномъ отношеніи своимъ мистицизмомъ, и въ научномъ, открывая ему легкій доступъ къ самымъ таинственнымъ и казавшимся столь глубокими знаніямъ, и въ политическомъ, такъ какъ масонство примирялось со всѣми государственными формами, а Новиковъ былъ слишкомъ вѣрно-подданный, чтобъ примириться съ такою системою идей, которая отрицала существующій у насъ порядокъ вещей. Такова была исторія и всѣхъ нашихъ мистиковъ и масоновъ, друзей Новикова, ихъ учениковъ и послѣдователей.

Мистицизмъ ихъ, однако, не доходилъ до тѣхъ крайнихъ предѣловъ, до которыхъ доходило розенкрейцерство въ Германіи. Наши мистики не думали о дѣланіи золота, не искали философскаго камня, не бредили алхиміей. Можетъ быть, это потому, что они не были посвящены въ такъ называемые „вышіе градусы“, но, кажется, все ихъ направленіе было чуждо этихъ увлеченій. Главная дѣятельность Новикова и друзей его была литературная; для нея образовывали они „Дружеское типографское общество“ и ею думали они приготовить публику къ пониманію масонскихъ идей и распространить ихъ. Такъ возникла наша обширная мистико-масонская литература, существовавшая и въ XIX вѣкѣ. Надобно сказать вообще объ этой литературной дѣятельности, что въ ней было весьма мало самостоятельнаго и что она отличалась эклектическимъ характеромъ. Кромѣ сочиненій общаго содержанія, которыя естественно выходили изъ типографіи Новикова, какъ изъ всякой другой, онъ печаталъ книги по христіанской философіи и по аскетизму и въ особенности много чисто мистическихъ книгъ и съ христіанскимъ и съ не-христіанскимъ содержаніемъ, такъ какъ масоны всякую древнюю отдаленную мудрость старались представить какою то откровеніемъ свыше. Разумѣется, что главное мѣсто въ этой мистической библиотекѣ занимали сочиненія знаменитыхъ протестантскихъ мистиковъ Ардта, Я. Бема, Таулера и др., въ особенности Бема, сочиненія котораго были давно переведены у насъ и обращались въ рукописи въ масонскихъ кругахъ. Они же были оракуломъ и для мистиковъ Александровскаго времени. Собственно масонскія сочиненія, напечатанныя Новиковымъ, тоже были эклектическаго содержанія и тоже всѣ почти переводныя. Они говорили намеками, неопредѣленно, языкомъ туманнымъ, не отрывали всей тайны масонства, а какъ бы давали предчув-

ствовать ее тому, для котораго она вполне раскроется въ ложахъ. Наконецъ въ этой масонской литературѣ принадлежало также много сочиненій, написанныхъ розенкрейцерами и трактовавшихъ объ алхиміи, съ самымъ фантастическимъ и нелѣпнымъ содержаніемъ. Оригинальныхъ русскихъ масонскихъ сочиненій было очень мало, и всѣ они не выдерживаютъ никакого сравненія съ переводными, — ясно, что явленіе у насъ масонства было скорѣе случайно, чѣмъ коренилось въ дѣйствительныхъ потребностяхъ русскаго общества. Вся эта литература доказываетъ, что понятія нашего масонства были чрезвычайно смутны и скорѣе походили на мистическую теософію въ общемъ своемъ составѣ. Новиковъ самъ думалъ, что посредствомъ масонства онъ достигнетъ лучшаго пониманія Бога и христіанства; онъ былъ глубоко-религіозный человѣкъ, но лишенный образованія и науки.

Лучшею стороною нашего масонства прошлаго вѣка было, конечно, то, что перешло къ нимъ отъ англійскихъ масоновъ: идеи естественной религіи и братская любовь къ человѣчеству — филантропія. Въ этомъ масонствѣ воспитывались уваженіе ко всѣмъ вѣроисповѣданіямъ и космополитическое чувство. Филантропія нашла свое примѣненіе у московскихъ масоновъ въ разныхъ человелюбивыхъ заведеніяхъ, основанныхъ Новиковымъ въ Петербургѣ и въ Москвѣ, въ воспитаніи молодыхъ людей, которымъ масоны давали всѣ средства, и въ обширномъ благотвореніи неимущимъ. Всѣ старые масоны отличались нищелюбіемъ. Походяшинъ роздалъ почти все свое имѣніе на помощь народу во время голода, Лопухинъ прожилъ свое на нищихъ. Въ масонствѣ воспитывалась нравственная человѣческая личность, а это было важнымъ приобретеніемъ для тогдашняго русскаго общества, которое нигдѣ на практикѣ не встрѣчало глубокихъ нравственныхъ понятій. Къ сожалѣнію, мистическій элементъ преобладалъ въ масонствѣ и затемнялъ то немногое въ немъ, что было сдѣлано въ нравственно-человѣческомъ направленіи.

Нельзя отрицать, такимъ образомъ, того, что русское масонство имѣло нравственное вліяніе на общество. Наша русская жизнь въ XVIII вѣкѣ была крайне бѣдна въ умственномъ и нравственномъ отношеніяхъ, не говоря уже о сторонѣ политической. Наука и литература занимали немногихъ и были ничтожны по своему содержанию и вліянію на общество. Внѣшность, стремленіе къ грубымъ чувственнымъ удовольствіямъ, матеріализмъ, рядомъ съ внѣшнею обрядностью церкви — вотъ чѣмъ жило наше общество. Въ такомъ обществѣ и масонскіе идеалы, при всей своей неопредѣлен-

ности и неясности, были уже значительнымъ успѣхомъ; сравнительно съ грубымъ содержаніемъ общества, они были и широки и прогрессивны. Кромѣ того въ нашемъ масонствѣ проявилась, какъ мы сказали, общественная самодѣятельность, индивидуальная свобода мысли и проявилась въ первый разъ, хотя это проявленіе и шло рядомъ съ проповѣдью обскурантизма. Вотъ въ чемъ историческое значеніе нашего масонства прошлаго вѣка.

Дальнѣйшее развитіе нашего масонства въ XVIII вѣкѣ, очевидно, невозможное и по самому ходу общественнаго развитія, которое вскорѣ уже не могла удовлетворить эта туманная и неопредѣленная форма, было однако приостановлено насильственно дѣйствіями правительства, вслѣдствіе различныхъ, вовсе неосновательныхъ опасеній его. Два враждебныя начала встрѣтились здѣсь лицомъ къ лицу: начало авторитета и государственной опеки, и начало общественной инициативы; первая давно уже, и въ особенности въ царствованіе Екатерины, все брада на себя и не могла терпѣть рядомъ съ собою свободы и простора выбора со стороны общества. Рядомъ съ правительствомъ, въ масонствѣ возникла свободная нравственная сила, гдѣ главнымъ двигателемъ былъ Новиковъ; его изданія выражали образъ мыслей, появившійся совершенно независимо отъ инициативы правительства, и Екатерина, конечно, не могла помириться съ этимъ. Съ другой стороны и масса неразвитого русскаго общества смотрѣла съ недовѣріемъ и подозрительностію на возникшее въ средѣ его явленіе, видѣла въ немъ что то вредное и опасное. Въ угоду этимъ общественнымъ толпамъ и по противоположности своего внутренняго развитія, Екатерина давно преслѣдовала масонство и сатирическими сочиненіями и комедіями. Этотъ литературный способъ борьбы былъ единственно справедливъ. Но европейскія тайныя общества, къ которымъ передъ революціей примѣшались политическіе элементы, и разнообразныя обвиненія противъ нихъ обскурантовъ въ литературѣ—увеличили подозрѣніе и нелюбовь Екатерины къ русскимъ масонамъ, и она сочла ихъ якобинцами. Началось преслѣдованіемъ и запрещеніемъ масонскихъ книгъ, кончилось ссылками, допросами и тюрьмами для главныхъ представителей масонства. На Новикова преимущественно обрушилось гоненіе, именно потому, что онъ главнымъ образомъ развилъ общественный характеръ масонства, онъ способствовалъ нравственному пробужденію общества и вызывалъ всю филантропическую и образовательную дѣятельность кружка. Кружокъ масоновъ, конечно, рѣзко выдѣлялся изъ всего общества своими особенностями. Всѣ они считались „братьями“, несмотря на различіе своего общественнаго положе-

ніа,—а это нарушало укоренившіяся въ обществѣ понятія. Всѣ масоны были болѣе или менѣе оригиналами, и на глаза, привыкшіе къ обыкновеннымъ общественнымъ типамъ, должны были казаться чрезвычайно странными, тѣмъ болѣе, что образомъ жизни и мыслей своихъ они выражали твердое убѣжденіе, а его въ массѣ не было. Не правилось обществу также и вліяніе масонства на молодое поколѣніе, что масоны считали необходимымъ для пропаганды своихъ идей. Все это увеличивало въ немъ непріязнь общества. Началось революціонное движеніе во Франціи, и близорукіе современники сваливали всю вину его на личности. Такъ возникло нелѣпное подозрѣніе невинныхъ масоновъ въ революціонныхъ замыслахъ, началось, по выраженію Лопухина, „сраженіе съ тѣнью“, кончившееся пораженіемъ и страданіемъ слабыхъ.

ЛЕКЦІЯ XXXVI.

Мистическая литература при Александрѣ I.—Судьба старыхъ масоновъ.—Лопухинъ.—Его «Разсужденіе о злоупотребленіи разума». — Записки Лопухина. — Защита духоборцевъ.

Памятникомъ русскаго масонства въ XVIII вѣкѣ осталась для потомства обширная мистическая и масонская литература, стоившая много трудовъ, много усилій, которые могли быть употреблены съ гораздо большею пользою. Въ этой массѣ произведеній съ самымъ дикимъ и нелѣпнымъ содержаніемъ, писанныхъ тяжелымъ неконятымъ языкомъ, похоронено много стремленій честныхъ, благородныхъ людей, не находившихъ, къ несчастію, въ тогдашней русской жизни лучшей, болѣе полезной для общества дѣятельности. Едва ли есть какая-нибудь возможность въ настоящее время читать всѣ эти масонскія и мистическія книги; во всей этой массѣ произведеній только съ величайшимъ трудомъ можно выслѣдить общую первоначальную мысль масонства: такъ много постороннихъ наростовъ появилось на ней. Но литература эта, съ своимъ страннымъ содержаніемъ, находила, однако, читателей, ея произведенія покупались. Послѣ нѣсколькихъ годовъ преслѣдованія, она возродилась снова въ царствованіе Александра, правда, въ нѣсколько измѣненномъ видѣ, но въ столь же многочисленныхъ произведеніяхъ, какъ и прежде и также не самостоятельныхъ, а по большей части переводныхъ. На эту мистическую литературу и ея представителей при Александрѣ мы обратимъ теперь вниманіе.

Послѣ Екатерининскаго преслѣдованія наше масонство замолкло на нѣсколько лѣтъ. При Павлѣ, хотя онъ освободилъ изъ крѣпости Новикова, и многіе прежніе масоны получили при немъ важныя мѣста въ служебной іерархіи, время было вообще неблагопріятно для возстановленія дѣятельности ложъ, тѣмъ болѣе, что вмѣсто масонскаго ордена, новый Императоръ покровительствовалъ ордену мальтійскихъ рыцарей, который изъ политическихъ видовъ выбралъ его гротъ-мейстеромъ. Естественно было, что съ воцареніемъ Александра, любившаго свободу, отличавшагося мягкостію характера и ненавидѣвшаго на первыхъ порахъ всякое преслѣдованіе, масонскія ложи должны были открыться и выказать свою дѣятельность. Открытію ложъ и ихъ дѣятельности способствовало то обстоятельство, что многіе старыя московскіе масоны были въ живыхъ; вокругъ нихъ, какъ оболочка учителей, группировалось нѣсколько болѣе молодыхъ учениковъ ихъ, приготовленныхъ ими прежде для спеціальныхъ цѣлей масонства, было много и другихъ разрозненныхъ членовъ прежнихъ ложъ. Подъ влияніемъ обстоятельствъ времени и новаго общественнаго развитія, старыя преданія, конечно, должны были ослабѣть или измѣниться, тѣмъ болѣе, что старыя масоны почти не участвовали въ новыхъ ложахъ. Въ нихъ мы не видимъ ни Новикова, ни Гамалѣи, ни Лопухина, ни Поздѣева, ни Карпѣева и др., не смотря на то, что эти лица пользовались большимъ авторитетомъ и глубокимъ уваженіемъ между братьями новыхъ ложъ; этотъ авторитетъ поддерживался главнымъ образомъ письмами и личными бесѣдами. Въ началѣ царствованія Александра не было дано официальнаго разрѣшенія на открытіе масонскихъ ложъ, но тѣмъ не менѣе онѣ скоро возникли и существовали сначала тайно. Говорятъ, что при вступленіи на престолъ Александръ возобновилъ указъ Павла противъ масонскихъ ложъ, но въ 1803 году самъ сдѣлался масономъ, подъ влияніемъ убѣжденій стараго масона Бебера. Это обстоятельство должно было дать свободное движеніе масонскимъ лохамъ и, дѣйствительно, вскорѣ начали возобновляться старыя ложи и основываться новыя. Исторія этихъ ложъ еще неполнѣе извѣстна. Официальное разрѣшеніе ложъ послѣдовало только въ 1810 году, когда онѣ сдѣлались извѣстными министру полиціи, а до тѣхъ поръ на нихъ смотрѣли съвозъ пальцы. Почти всѣ сколько нибудь выдающіяся личности царствованія Александра были тогда членами ложъ, но о внутреннемъ содержаніи ихъ дѣятельности мы мало имѣемъ свѣдѣній. Одно только можно сказать, что характеръ масонства измѣнился. Въ немъ было гораздо меньше того пустого розенкрейцерскаго суевѣрія, которое занимало простодушныхъ московскихъ масоновъ, но попрежнему въ ложахъ господствовали чужія вліянія, теперь новыя нѣмецкія, и эти вліянія отра-

зились въ возникшей тогда между учениками старыхъ масоновъ религиозно-мистической литературѣ, проповѣдывавшей обществу вмѣсто розенкрейцерства—пѣтизмъ и аскетизмъ.

Взглянемъ сначала на судьбу прежнихъ масоновъ, доживавшихъ свой вѣкъ, но оказывавшихъ замѣтное вліяніе на новыя движенія. Освобожденный изъ крѣпости Павломъ въ 1797 году, Новиковъ, съ разстроеннымъ отъ заключенія здоровьемъ, все остальное время до самой смерти своей въ 1818 году провелъ подъ Москвою въ небольшомъ имѣніи своемъ Бронницкаго уѣзда въ очень стѣсненныхъ обстоятельствахъ, такъ какъ процессъ и потомъ тюрьма прервали весь ходъ его предпріятій и запутали всѣ дѣла. Старое масонство походило нѣсколько на секту, гдѣ члены были связаны между собою искреннею, почти родственною любовью. Въ домѣ своемъ Новиковъ пріютилъ стараго друга своего, масона С. И. Гамалѣю (1743—1822), малороссіянина, воспитанника Кіевской духовной академіи, человѣка глубоко-религіознаго, честнаго и безкорыстнаго, получившаго за свои душевныя качества прозваніе „Божьяго человѣка“. Гамалѣя очень много переводилъ изъ мистической литературы и часть его переводовъ была напечатана Новиковымъ; но большая часть осталась въ рукописи. Вмѣстѣ съ нимъ у Новикова жила вдова его друга Шварца, такъ какъ у нея не было другихъ средствъ къ существованію. Образъ жизни Новикова и его занятія въ этотъ послѣдній періодъ ея довольно подробно описаны въ книгѣ Лонгинова.¹⁾ Повидимому, знаменитый вождь стараго масонства былъ преданъ тогда исключительно набожности и благотворительности. Онъ не принималъ уже участія въ новомъ движеніи масонскихъ ложъ и въ мистической литературѣ того времени. Тогда не вышло ни одного его сочиненія въ печать, но онъ писалъ очень много и велъ обширную переписку, изъ которой опубликована весьма незначительная и незамѣчательная часть; всѣ прочія рукописи, по словамъ Лонгинова, неизвѣстно куда дѣвались. Думалъ онъ было въ 1805 году снова взять на откупъ университетскую типографію и начинать дѣло, но оно почему-то не состоялось. Въ 1812 году онъ опять было сдѣлался подозрительнымъ въ глазахъ Растопчина, потому что по челоуѣколюбію не различалъ среди раненыхъ и больныхъ—своихъ отъ враговъ. Посѣщали его нѣкоторые друзья и сотрудники по прежней его дѣятельности; посѣщали и нѣкоторые ученики его, напр. Карамзинъ, къ которому остались два очень замѣчательныя письма Новикова, рисующія ихъ прежнія отношенія, но вообще о связяхъ Новикова и о его дѣятельности въ продолженіе болѣе, чѣмъ двадцати послѣд-

¹⁾ Новиковъ и московскіе мартинисты. М. 1867.

нихъ лѣтъ его жизни, мы знаемъ очень мало. Онъ умеръ въ глухомомъ уединеніи.

Гораздо больше свѣдѣній за это время мы имѣемъ о другомъ вождѣ масоновъ прошлаго вѣка, — Лопухинѣ, благодаря тому, что, служа при Александрѣ сенаторомъ, онъ входилъ въ сношенія съ разными лицами и оставилъ намъ довольно любопытныя „Записки“ о своей дѣятельности масонской и служебной, которыя могутъ служить матеріаломъ для опредѣленія нравственнаго вліянія масонства на тогдашнихъ людей. Лопухинъ былъ годами тринадцатью моложе Новикова. Онъ родился въ Москвѣ въ 1756 году, принадлежалъ къ знатной и богатой фамилии, родственной по женѣ Петру I. Его первоначальное домашнее воспитаніе и образованіе по его собственному разсказу, было крайне недостаточно. „Русской грамотѣ училъ меня домашній слуга. По-французски училъ Савояръ, незнавшій совсѣмъ правилъ языка. По-нѣмецки Берлинецъ, который ненавидѣлъ языка нѣмецкаго и всячески старался сдѣлать мнѣ его противнымъ, а хвасталъ французскимъ, и сколько умѣлъ, училъ меня ему тихонько, пользуясь охотою моею къ чтенію. Нѣмецкія же книги держали мы на учебномъ столѣ моемъ для одного виду“. Этому языку онъ выучился уже послѣ „отъ сильнаго желанія читать духовныя книги“. Съ такимъ плохимъ образованіемъ Лопухинъ поступилъ на 17-мъ году въ военную службу, къ которой приготавливалъ его отецъ, старшій служака. Онъ разсказываетъ, что здоровье его было вообще очень слабо, что ему часто приходилось быть больнымъ, и онъ пользовался этимъ временемъ болѣзни для чтенія. Такимъ образомъ всѣ познанія Лопухина, до поступленія въ масоны, были ничтожны. Приобрѣтались случайно, самоучкою, и мы не видимъ на немъ никакого сколько-нибудь сильнаго духовнаго вліянія. Въ началѣ 1782 года, когда масонская дѣятельность Новикова уже получила развитіе, Лопухинъ вышелъ въ отставку полковникомъ и пріѣхалъ въ Москву на житье. Безъ сомнѣнія, до этого времени встрѣчался онъ съ Новиковымъ и другими масонами; по крайней мѣрѣ, по его разсказу, еще въ 1780 году съ нимъ совершился умственный и нравственный переворотъ, и онъ сталъ вдругъ писателемъ. По разсказу Лопухина, до того времени онъ былъ вольнодумцемъ, т.-е. раздѣлялъ и еи французской философіи прошлаго вѣка, читалъ Вольтера, Руссо и др. и даже перевелъ изъ извѣстной тогда книги *Système de la Nature*, въ которой проповѣдывался матеріализмъ, „Уставъ Натуры“, а такъ какъ по цензурнымъ отношеніямъ его напечатать было нельзя, то онъ рѣшился раздавать его въ рукописи знакомымъ. Когда онъ сѣлъ для этого переписывать рукопись, имъ овладѣло, по его собственному наивному признанію, сильное раскаяніе. Рукопись свою

онъ сжегъ и въ очищеніе совѣсти написалъ опроверженіе того, что такъ недавно ему правилось. Это небольшое его „Разсужденіе о злоупотребленіи разума нѣкоторыми новыми писателями, и опроверженіе ихъ вредныхъ правилъ, и чтущимъ Бога и любящимъ добродѣтель усердно посвящаемое“ напечатано въ 1780 году. Содержаніе его видно изъ самого заглавія. Хотя Лопухинъ и не называетъ именъ тѣхъ писателей, на которыхъ нападаетъ, но ясно, что это представители свободной философіи того вѣка, которые „разумъ свой содѣлываютъ орудіемъ погубленія людей“. Разсужденіе Лопухина похоже на дѣтское риторическое упражненіе; онъ опирается на одно нравственное чувство и старается доказать бытіе Бога и безсмертіе души, опровергаемая авторомъ *Systeme de la Nature*. Эта точка зрѣнія Лопухина была совершенно масонская, и дѣйствительно, черезъ два года онъ сдѣлался масономъ. На образъ мыслей его имѣли большое вліяніе двѣ, весьма уважаемыя масонами книги: Сентъ-Мартеня „О заблужденіяхъ и истинѣ“ и Арндта „О истинномъ христіанствѣ“. Съ этихъ поръ Лопухинъ полюбилъ чтеніе духовныхъ книгъ, удовлетворявшихъ его религіозной потребности и приготовившихъ его къ масонству. Вскорѣ онъ вступилъ въ масонское общество и сдѣлался однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ членовъ его, но на дѣло масоновъ и мартинистовъ смотрѣлъ, повидимому, только съ религіозной стороны. „Цѣль сего общества, говоритъ онъ въ „Запискахъ“¹⁾, была издавать книги духовныя и наставляющія въ нравственности истинно евангельской, переводя глубочайшихъ о семъ писателей на иностранныхъ языкахъ, и содѣйствовать хорошему воспитанію, помогая особливо готовящимся на проповѣдь слова Божія чрезъ удобнѣйшія средства приобрѣтать знанія и качества, нужныя къ оному званію, для чего и воспитывались у насъ больше 50 семинаристовъ, которые отданы были отъ самихъ епархіальныхъ архіереевъ съ великою признательностію“. Все дѣло масоновъ, по его словамъ, было „упраженіе въ познаніи самого себя, творенія и Творца, по правиламъ той науки, о которой говоритъ Соломонъ въ книгѣ премудрости (VII, 17—22), науки, содержащейся въ библии, и писаніяхъ мужей, непосредственнымъ откровеніемъ просвѣщенныхъ отъ Бога, открывающей начало всѣхъ вещей, безъ познанія коихъ никогда *натура вещей* истинно извѣстна быть не можетъ“. Наука эта, какъ видите, всеобъемлющая, дается откровеніемъ, т.-е. чувствомъ, сер-

¹⁾ Записки нѣкоторыхъ обстоятельствъ жизни и службы д. т. сов. сенатора И. В. Лопухина, сочиненныя имъ самимъ. М. 1860. Изъ II и III книжекъ Чтеній въ Общ. ист. и древн., стр. 15.

Другое изданіе, съ предисловіемъ А. Герцена, въ Лондонѣ 1860 г.

цемъ. Изъ его объясненій и признаній видно, что масонство имѣло для него религіозно-нравственный характеръ, и Лопухинъ не увлекался тѣми алхимическими бреднями розенкрейцеровъ, которыя излагались во множествѣ масонскихъ книгъ. Онъ удивляется, какъ мало даже самые разумные люди занимаются тѣмъ, что необходимо нужно для ихъ вѣчнаго благополучія и для истиннаго блага въ здѣшней жизни. Это необходимое есть духъ Христовъ, духъ чистой любви къ Богу и ближнему, источникъ настоящей добродѣтели. „Въ шлокахъ и на каедрахъ твердятъ, говоритъ Лопухинъ: люби Бога, люби ближняго, но не воспитываютъ той натуры, коей любовь сія свойственна, какъ бы разслабленнаго больного, не выдѣливъ и не укрѣпивъ, заставляли ходить и работать“. Человѣку нужно переродиться нравственно, и это перерожденіе достигалось въ масонствѣ. „Тогда евангельская нравственность будетъ ему возможна и природна. тогда онъ будетъ любовію къ Богу любить ближняго“. Что слова эти о любви къ ближнему не были для Лопухина ничего не значащими фразами, а вошли въ содержаніе всей его жизни, сдѣлались твердыми убѣжденіями его ума, свидѣлствуютъ многія стороны его жизни. Въ томъ же 1782 году, когда Лопухинъ вступилъ въ общество масоновъ, онъ сдѣлался совѣтникомъ Московской уголовной палаты, а въ 1784 году председателемъ ея. Стоитъ только вспомнить общую грубость и жестокость нравовъ того времени, то презрѣніе къ человѣчеству, которымъ было проникнуто тогда общество, чтобы убѣдиться, сколько человѣкъ съ нравственно-чистыми взглядами и христіанскою любовію къ ближнему, каковую высказывалъ Лопухинъ, могъ сдѣлать добра людямъ по мѣсту своего служенія. „Въ должности сей принялъ я за правило наблюдать, говоритъ онъ, чтобы какъ невинной не былъ никогда осужденъ, такъ бы и виноватой не избѣжалъ наказанія, но по человѣколюбію сколько можно больше умѣреннаго, не удаляясь, однакожь, отъ силы законовъ“. Лопухинъ считалъ цѣлью наказанія—исправленіе преступника. Онъ возставалъ противъ жестокости въ наказаніяхъ, которую называлъ „плодомъ злобнаго презрѣнія къ человѣчеству“ и „безполезнымъ тиранствомъ“. Лопухинъ былъ, конечно, самый гуманнѣйшій судья въ тотъ желѣзный вѣкъ; это человѣколюбіе было въ немъ воспитано не „Наказомъ“ Екатерины, а масонскими книгами; съ ихъ помощью ему легче было понять нравственное ученіе христіанства. У Лопухина это была единственная точка зрѣнія. Въ ту пору, въ уголовной палатѣ, очень часто шла рѣчь о количествѣ ударовъ вкutomъ преступнику, и Лопухинъ всегда стоялъ за меньшее число ихъ и входилъ по этому въ споры съ своими сослуживцами и московскими

генераль-губернаторами, смотрѣвшими на такую мягкость, какъ на нарушеніе строгости законовъ. Надобно думать, что сила убѣжденія и искренность чувства не разъ давали перевѣсъ словамъ и доводамъ Лопухина, о чемъ онъ и самъ говоритъ. Свой взглядъ на человѣколюбиваго судью Лопухинъ высказалъ въ слѣдующихъ словахъ: „Какъ странно видѣть, когда люди напрягаютъ всѣ силы свои, чтобъ найти виноватаго, для того только, чтобъ его наказать, и безъ совершеннаго увѣренія въ его винѣ, спѣшать осудить его, и сіе часто изъ мнимаго правосудія и усердія къ сохраненію порядка, какъ будто безъ того онъ совершенно бы возмущился, и остановилось бы дѣйствіе невидимо, но всегда и вездѣ безпогрѣшно дѣйствующаго источника его. Страннѣе еще иногда видѣть, съ какимъ рвеніемъ нѣсколько грабителей и злодѣйцевъ, при чувствахъ, самой видѣ добраго усердія имѣющихъ, стараются натянуть доказательства къ обвиненію каковаго-нибудь бѣдняка, впадшаго и въ неважное преступленіе, и по какому нибудь, можетъ быть, особливо несчастному стеченію обстоятельствъ“¹⁾. Смертную казнь Лопухинъ называетъ бесполезною и возстаетъ противъ нея изъ христіанскаго чувства. И впослѣдствіи, когда Лопухинъ, уже при Александрѣ, сдѣлался сенаторомъ въ Москвѣ, онъ не измѣнялъ своимъ прежнимъ взглядамъ и человѣколюбію. „Большаго труда стоило мнѣ, говорить онъ, успѣвать въ пощадѣ человѣчества, по причинѣ того несчастнаго предубѣжденія, коимъ исполнены были мои товарищи, что государю будто угоденъ судъ самый строгій“²⁾. И тутъ много разъ приходилось ему защищать человѣчество передъ сенаторами, которые, по его выраженію, часто не могутъ разглядѣть „мелкое человѣчество въ людяхъ породы незватной или скудной благами земли“. Лопухинъ умѣлъ объяснять преступления тою средою, къ которой принадлежалъ преступникъ; онъ не смотрѣлъ безусловно и допускалъ многія извиняющія обстоятельства. Онъ позволялъ себѣ ставить на одни вѣсы, съ одной стороны судью-сенатора съ его привилегированною обстановкою, а съ другой „какого нибудь крестьянскаго сына, въ грубомъ невѣжествѣ выросшаго, развращеннаго пьянствомъ, который, заворовавшись, укрывается въ лѣсахъ и рѣжетъ людей для того, чтобъ чрезъ нихъ не быть пойманнымъ и сосланнымъ на каторгу“....³⁾. Но въ Сенатѣ Лопухину было гораздо труднѣе дѣйствовать, чѣмъ прежде въ уголовной палатѣ. Сенаторы рѣдко поддавались его убѣжденіямъ, особенно когда прошли лучшіе годы

¹⁾ Ibid., стр. 4—5.

²⁾ Ibid., стр. 71.

³⁾ Ibid., стр. 82.

царствованія Александра. Консерваторы приободрились и явились строгими защитниками и исполнителями законовъ. „Были голоса, чтобъ сѣчь по жеребью десятаго“—говорить Лопухинъ. Его называли „мартинистомъ и спорщикомъ“. „На ихъ языкѣ мартинистомъ называется тотъ, говоритъ онъ, кто вѣритъ Христу и Евангелію, а спорщикомъ—кто не соглашается на все изъ угожденія Двору и имъ не притаиваетъ“¹⁾.

Такъ практическое пониманіе христіанства въ масонствѣ привело Лопухина къ дѣятельному человѣколюбію, къ желанію видѣть ближняго и въ преступникѣ. Съ другой стороны, тотъ же образъ масонскихъ мыслей развилъ въ Лопухинѣ вѣротерпимость, конечно, рѣдкую въ томъ обществѣ, потому что въ устахъ Екатерины, преслѣдовавшей раскольниковъ, она была только фразою. Въ 1801 году, Лопухинъ, въ качествѣ сенатора, съ товарищемъ своимъ, Нелединскимъ-Мелецкимъ, ревизовалъ Слободско-Украинскую губернію. Тамъ встрѣтился онъ въ первый разъ съ сектою *духоборцевъ*. Въ мѣстномъ архіерей онъ нашель только строгаго для нихъ судью. Земскій исправникъ называлъ ихъ „злодѣями“, потому что они не похожи на христіанъ: „кровинки въ лицѣ нѣтъ“. Лопухинъ захотѣлъ познакомиться съ тѣми изъ нихъ, которые въ началѣ воцаренія Александра были возвращены изъ наторги и поселенія, куда они были сосланы указами Екатерины и Павла. Ихъ велѣно было водворить на прежнихъ мѣстахъ жительства и наставлять ихъ, въ случаѣ нужды, безъ принужденія. Но архіерей послалъ тотчасъ же для увѣщанія духоборцевъ двухъ, по его словамъ, ученѣйшихъ священниковъ, и при нихъ отправился засѣдатель земскаго суда съ командою—по распоряженію губернатора. Слѣдствіемъ этихъ дѣйствій было непослушаніе раскольниковъ, названное бунтомъ; они отказались отъ уплаты податей и отъ рекрутъ, а засѣдатель прислалъ ихъ религиозные стихи, какъ доказательство безбожія. Лопухинъ взялся поправить дѣло и представилъ Александру особый докладъ о духоборцахъ, послужившій поводомъ человѣколюбивыхъ для нихъ мѣръ. Кротость отношеній къ сектѣ и стремленіе какъ можно менѣе насиловать совѣсть сектантовъ—вотъ что рекомендуетъ Лопухинъ, какъ главный образъ дѣйствій въ сношеніяхъ съ духоборцами. Любопытенъ отзывъ Лопухина о нихъ въ донесеніи къ императору, свидѣтельствующій о томъ, что масоны видѣли во всякой сектѣ искреннюю вѣру и за нее прощали увлеченія: „Кромѣ безмѣрныхъ, фанатическихъ, можно сказать, предрасудковъ противъ всякой наружности и скептическаго особничества и предпочтенія себя, нашель я въ нихъ понятія о

¹⁾ Ibid., стр. 125.

христіанствѣ самыя коренныя и правильныя. Сила вѣры въ нихъ весьма замѣчательная и общая. Никто почти изъ нихъ грамотѣ не знаетъ хорошенько, писать изъ многихъ, бывшихъ тогда у насъ, худо умѣлъ только одинъ, а всякой о законѣ говорить какъ книга¹⁾. По представленію Лопухина, всѣ харьковскіе духоворцы избѣгли дальнѣйшихъ преслѣдованій и были переселены въ особую мѣстность, извѣстную подъ именемъ „Молочныя Воды“, съ щедрымъ пособіемъ отъ правительства. Защита Лопухинимъ духоворцевъ, полное любви и чуждое фанатизма отношеніе къ нимъ возбудили противъ него недовольство высшаго духовенства, что было совершенно естественно, такъ какъ послѣднее не понимало широкаго взгляда его и не могло отказаться отъ своихъ узкихъ обличеній и преслѣдованій. Противъ Лопухина кричали, его называли покровителемъ раскольниковъ и даже раскольниковомъ. Первенствующій членъ синода въ письмѣ своемъ прямо обвинялъ Лопухина, что отъ его именно дѣйствій увеличивается число духоворцевъ. По словамъ Лопухина, за духоворцевъ возстало противъ него большинство общества, что и свидѣтельствуетъ, на какомъ низкомъ уровнѣ развитія оно стояло. „Бранили меня нѣсколько ученыхъ монаховъ, говоритъ онъ, которые думаютъ, что все, касающееся религіи, есть ихъ монополія, и что безъ рясы и клобука не можно имѣть истиннаго просвѣщенія въ сей религіи, коея начало и конецъ есть сый вездѣ и вся исполняй“. Эта замѣтка Лопухина, къ великому несчастію русскаго общества, гдѣ религія существуетъ только какъ внѣшняя обрядность, употребляемая въ извѣстныхъ обстоятельствахъ жизни, и до сихъ поръ не утратила своей свѣжести. Люди безъ клобука и рясы у насъ не могутъ писать о религіи. Извѣстный Хомяковъ, для котораго религіозные вопросы составляли потребность духа, долженъ былъ первоначально печатать статьи свои въ защиту православія за границею и по-французски, а когда ихъ напечатали по-русски, то книга была недопущена цензурою къ обращенію въ русское общество. Естественно, Лопухинъ долженъ былъ вызвать осужденіе этого общества своимъ гуманнымъ обращеніемъ съ духоворцами. „Бранили меня благочестивыми слышущіе старцы, кои не пропускаютъ обѣдней и прилежно разбираютъ, рыба ли вязига и можно ли въ постные дни чай пить съ сахаромъ, потому что въ него-де кладется кровь, и которые готовы безъ разбора подписывать людямъ ссылку, и всякую неправду для пріятели, особливо для вельможи придворнаго“²⁾. Лопухинъ принужденъ былъ оправдывать свой образъ мыслей и дѣйствій въ особой книжкѣ,

¹⁾ Ibid., стр. 98.

²⁾ Ibid., стр. 105—106.

оставшейся въ рукописи, „Отзывъ искренности“, любопытной потому, что въ ней раскрывается взглядъ масона на секты. Между масонами было въ большомъ уваженіи извѣстное сочиненіе протестанта Арнольда „Исторія ересей и расколовъ“. Оно воспитало ихъ вѣротерпимость и ихъ уваженіе къ ересямъ, въ которыхъ они замѣчали присутствіе живой вѣры. За эту вѣру Лопухинъ и защищалъ духоборцевъ. Для насъ важно то, что эта вѣротерпимость, уваженіе къ чужому вѣрованію воспитаны въ немъ масонствомъ. Точно также и дѣятельная помощь неимущимъ составляла отличительную черту нравственного характера Лопухина, также воспитанную въ немъ масонствомъ. Правительство смотрѣло даже на милостыню, раздаваемую Лопухинимъ, подозрительно. Онъ раздавалъ ее въ такихъ обширныхъ размѣрахъ, что московскій главнокомандующій при Екатеринѣ, князь Прозоровскій, думалъ, не дѣлаетъ ли онъ фальшивыхъ денегъ. Въ своихъ „Запискахъ“ Лопухинъ безусловно стоитъ за милостыню изъ чувства человеколюбія. Что за бѣда, если иной пропьетъ нѣсколько поданныхъ копѣекъ? Лопухинъ роздалъ все свое имѣніе неимущимъ. Карамзинъ называетъ его „нищелюбивымъ“. Его дворъ былъ полонъ всегда нищими и ни одинъ не уходилъ отъ него безъ помощи — говорить о немъ Н. И. Тургеневъ.

ЛЕКЦІЯ XXXVII.

Лопухинъ въ царствованіе Павла и Александра.—Эккартсгаузенъ.

Въ разныхъ сторонахъ характера и общественной дѣятельности Лопухина, какъ мы видѣли, отразилось сильное нравственное вліяніе масонства, котораго онъ былъ дѣятельнымъ членомъ, принимая участіе во всѣхъ издательскихъ, педагогическихъ и благотворительныхъ предпріятіяхъ Новикова. Мы уже видѣли, какую цѣль искалъ Лопухинъ въ масонствѣ: это было нравственное совершенствованіе человѣка, какъ онъ самъ высказывалъ; средства для этой цѣли давались религіознымъ, въ духѣ масонства, воспитаніемъ. На эту сторону масонской дѣятельности больше всего обращалъ вниманіе Лопухинъ и жертвовалъ для нея своимъ состояніемъ. Онъ имѣлъ даже своихъ собственныхъ воспитанниковъ, имъ самимъ выбранныхъ. Такъ онъ отправилъ на свой счетъ за границу учиться медицинѣ двухъ молодыхъ воспитанниковъ Новиковской семинаріи, Невзорова и Колокольникова, изъ которыхъ первый сдѣлался въ Александровское время весьма дѣятельнымъ мистическимъ писателемъ и въ своихъ изданіяхъ отзывался самымъ восторженнымъ образомъ о благодѣлѣ

своёмъ Лопухинѣ. Въ исторіи масонства, кромѣ того, Лопухинъ извѣстенъ своимъ усердіемъ къ распространенію новыхъ ложъ въ провинціи и завербованію членовъ въ братство, чему способствовали его богатство, связи, частыя поѣздки въ имѣнія и общительный характеръ. вмѣстѣ съ прочими мартинистами и онъ подвергнулся допросамъ и преслѣдованіямъ, но избѣжалъ, однако, ссылки. Его оставили въ Москвѣ, кажется, изъ уваженія къ престарѣлому отцу его, заслуженному генералу, когда-то очень любимому прусскимъ королемъ Фридрихомъ В. Онъ и жилъ въ Москвѣ до самой смерти Екатерины, впрочемъ, окруженный шпіонами.

Царствованіе Павла, отмѣнявшаго всѣ распоряженія своей матери, выдвинуло впередъ Лопухина, но на короткое время. Вскорѣ послѣ вступленія Павла на престоль, Лопухинъ получилъ письмо отъ своего пріятеля, близкаго къ новому императору—Плещеева, тоже масона, съ увѣдомленіемъ, что Павелъ желаетъ поступленія на службу Лопухина. Это было вскорѣ послѣ освобожденія Новикова. Затѣмъ Лопухинъ получилъ уже именное повелѣніе императора ѣхать въ Петербургъ и лично явиться къ нему. Павелъ давно зналъ о дружбѣ Лопухина съ Плещеевымъ и извѣстнымъ масономъ, княземъ Н. В. Репнинымъ, которыхъ уважалъ. Онъ настоятельно требовалъ къ себѣ Лопухина и торопилъ его, принялъ его въ высшей степени ласково и сдѣлалъ тотчасъ же статсъ-секретаремъ. Довѣріе Павла къ Лопухину, согласно свойствамъ его увлекающейся натуры, на первыхъ порахъ было безгранично, но Лопухинъ, лишенный всякаго честолюбія и изъ христіанскаго смиренія, не воспользовался своимъ положеніемъ, не искалъ ни почестей, ни наградъ. Зная челоувѣколюбіе Лопухина, Павелъ поручилъ ему, конечно, пріятное для него дѣло. Въ его вѣдѣніе перешли всѣ дѣла по тайной канцеляріи, ему открытъ былъ свободный доступъ ко всѣмъ заключеннымъ и дано право присутствовать при всѣхъ слѣдствіяхъ. Но Лопухину, не имѣвшему свойствъ придворнаго челоувѣка, нельзя было долго удержаться въ милости при Павлѣ.

Близость къ императору возбудила сначала зависть, но завистники, по словамъ Лопухина, успокоились вскорѣ, видя неспособность его характера для придворной жизни. Вскорѣ Павелъ, дѣйствительно, сталъ выказывать холодность Лопухину; объясниться откровенно и положить конецъ недоразумѣніямъ было невозможно, да и друзья Лопухина не совѣтовали. Притомъ, несмотря на свою холодность къ Лопухину, самъ Павелъ долго не рѣшался отпустить его отъ себя. Наконецъ придворная служба его кончилась благополучно и, конечно, къ полному удовольствію Лопухина. Онъ былъ произведенъ въ тайные совѣтники и назначенъ сенаторомъ въ

Москву. Онъ вынесъ, какъ и слѣдовало ожидать, не совсѣмъ благоприятное представленіе о придворной жизни. „Картина ея, говоритъ онъ, весьма извѣстна и всегда та же, только съ нѣкоторою переменною въ тѣняхъ. Корысть — идолъ и душа всѣхъ ея дѣйствій. Угодничество и притворство составляютъ въ ней весь разумъ, а острое словцо въ толчокъ ближнему — верхъ его“¹⁾).

Мы уже говорили, что служебная дѣятельность Лопухина въ Москвѣ происходила по уголовному департаменту, гдѣ онъ старался по возможности смягчать тяжесть наказаній и облегчать участь преступниковъ. Въ послѣдній годъ царствованія Павла Лопухинъ, вмѣстѣ съ другимъ сенаторомъ, Спиридовымъ, отправленъ былъ для ревизіи Вятской губерніи. Памятникомъ этой ревизіи осталась небольшая книжка, напечатанная Лопухинымъ въ 1800 году, „Выписка наставленій и приказаній, данныхъ гг. сенаторами при осмотрѣ Вятской губерніи“. Она представляетъ первый, хотя, конечно, довольно ограниченный, опытъ примѣненія гласности къ дѣламъ административнымъ и судебнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ любопытное изображеніе губерніи въ этихъ отношеніяхъ. Лопухинъ очень подробно обревизовалъ ее, нашелъ въ ней множество злоупотребленій, и послѣдствіемъ ревизіи, уже при Александрѣ, было строгое наказаніе виновныхъ. Въ губерніи было много взяточничества, и вотъ какъ Лопухинъ, съ своей точки зрѣнія, смотритъ на эту язву: „Кажется, справедливо сказать можно, что едва ли не тщетны почти всѣ старанія о искорененіи взятокъ. Надобно сдѣлать прежде, если можно, чтобъ въ людяхъ лакомства не было, чтобъ они нужды и прихотей не имѣли, чтобъ наконецъ боялись Бога, какъ свидѣтеля всего, или бы страстно любили правду, что безъ любви къ небесному ея источнику невозможно, или весьма ненадежно“. Это былъ идеальный, масонскій взглядъ.

По вступленіи на престолъ Александра, Лопухинъ исполнялъ, въ качествѣ сенатора, тоже нѣсколько порученій императора. О его поѣздкѣ въ Харьковскую губернію и о его отношеніи къ духоборцамъ мы уже говорили. По окончаніи этой ревизіи, Лопухинъ былъ избранъ въ Москвѣ въ совѣстные судьи, но Александръ почему-то не утвердилъ этого выбора и, неожиданно для Лопухина, назначилъ его предсѣдателемъ комиссіи для разбора споровъ и опредѣленія повинностей на Крымскомъ полуостровѣ. Это удалило его на нѣсколько лѣтъ на неизвѣстный ему югъ Россіи и заставило изучать также совершенно неизвѣстныя ему отношенія края. Несмотря на успѣхи предпринятыхъ имъ мѣръ, Лопухину не правилась эта слу-

¹⁾ Ibid., стр. 70.

жебная дѣятельность. Ему хотѣлось отставки, которую онъ и получилъ въ 1805 году, воротившись снова къ сенаторскимъ обязанностямъ. Въ концѣ 1806 года Лопухинъ снова выступаетъ, однако, на государственную дѣятельность. Въ это время, по поводу войны съ Наполеономъ, была учреждена въ Россіи милиція. Нѣсколько сенаторовъ было послано въ разныя губерніи для наблюденія за сохраненіемъ порядка и тишины. Надзору Лопухина ввѣрены были губерніи: Тульская, Калужская, Владимірская и Рязанская. Изъ донесеній его къ государю, писанныхъ имъ въ это время и включенныхъ въ „Записки“, видно, что Лопухинъ не раздѣлялъ общаго восторженнаго взгляда правительства на милицію и видѣлъ въ ней чрезвычайную тягость для народа.

„Нѣтъ никого, кромѣ видимыхъ личными видами выгодъ, пишетъ онъ, кто бы не находилъ учрежденіе милиціи тягостнымъ и могущимъ разстроить общее хозяйство и мирность поселенской особливо жизни. Кто скажетъ Вамъ иное, Государь, тотъ обманщикъ“. Точно также Лопухинъ возстаетъ и противъ возбужденія къ денежнымъ пожертвованіямъ, которыми выказывалось тогдашнее патріотическое увлеченіе. Такъ онъ былъ свидѣтелемъ громаднаго приношенія московскаго купечества посредствомъ общей раскладки по гильдіямъ. „Видѣлъ я отъ того ропотъ даже не между бѣднымъ купечествомъ, говоритъ Лопухинъ, а у послѣдняго видѣлъ я и слезы отчаянія. Впрочемъ, они же за это наложатъ на товары, и возвышеніемъ цѣнъ усугубится общественная трата“¹⁾. Такая откровенность Лопухина, впрочемъ, не поправилась Александру и онъ далъ ему это замѣтить. Къ этому времени относятся также нѣсколько мыслей Лопухина по поводу крѣпостного вопроса, изложенныхъ въ донесеніяхъ къ государю. Лопухинъ былъ противникомъ освобожденія помѣщичьихъ крестьянъ, и такой взглядъ на вещи кажется весьма страннымъ и необъяснимымъ въ человѣкѣ, столь гуманномъ и воспитанномъ по масонскимъ идеаламъ. Объяснить такой взглядъ можно, кажется, только преувеличенною боязнью Лопухина за спокойствіе государства при общемъ недовольствѣ тяжелымъ бременемъ милиціи. „Усердствуя именно о спокойствіи“, по его словамъ, Лопухинъ представляетъ государю о томъ, чтобъ „не возобновлялся указъ, раздѣляющій время работъ крестьянскихъ на себя и на помѣщиковъ, ограничивающій власть послѣднихъ, несходно съ общею пользою,— указъ, котораго памятенъ слѣдствіи при изданіи его, и который, смѣю сказать, хорошо, что оставался какъ бы безъ исполненія“²⁾. Ло-

¹⁾ Ibid., стр. 136.

²⁾ Ibid., стр. 137.

пухнинъ былъ человѣкъ осторожный; онъ близко видѣлъ положеніе вещей въ губерніяхъ и, можетъ быть, причина его страха была нѣсколько основательна въ то время; до взглядовъ настоящаго государственнаго человѣка онъ не могъ возвыситься, но онъ старается отстранить отъ себя всякое подозрѣніе въ чисто личныхъ, эгоистическихъ, помѣщичьихъ разчетахъ: „Въ Россіи ослабленіе связей подчиненности крестьянъ помѣщикамъ, говоритъ онъ, опаснѣе самаго нашествія непріятельскаго, и не въ настоящемъ положеніи вещей. Я могу о семъ говорить безпристрастно, никогда истинно не дороживъ правами господства, стыдяся даже выговаривать слово холопъ, до слабости можетъ быть снисходителенъ будучи къ своимъ крестьянамъ. Первый, можетъ быть, желаю, чтобъ не было на русской землѣ ни одного несвободнаго человѣка, еслибъ только то безъ вреда для нея возможно было; и наконецъ, будучи наванунѣ, по извѣстнымъ Вашему Величеству обстоятельствамъ долговъ моихъ, не имѣть, можетъ быть, ни одной деревни“ ¹⁾). Въ другомъ мѣстѣ Лопухинъ высказываетъ свою боязнь мятежей и волненій, которые ему были также страшны, какъ и „ложное просвѣщеніе, на безвѣрїи основанное“. Последнее онъ не любилъ, какъ масонъ. Эти мысли и убѣжденія привели Лопухина къ консерватизму и къ нелюбви вообще европейскаго просвѣщенія, въ которомъ онъ видѣлъ ни болѣе ни менѣе, какъ заразу для своей родины: „Главное искусство россійской политики должно состоять въ томъ, говоритъ онъ, чтобъ сколько можно не только меньше завистѣть отъ Европы, но и меньше связей съ нею имѣть, какъ политическими сношеніями, такъ и нравственными. Подъ именемъ послѣднихъ разумѣю я обычай, коихъ заразительная гнилость снѣдаетъ древнее здравіе душъ и тѣлъ россійскихъ“ ²⁾). Мысль объ освобожденіи помѣщичьихъ крестьянъ, по его мнѣнію, принадлежитъ также къ этой европейской заразѣ и Россіи она можетъ принести только вредъ. Когда въ московскомъ сенатѣ, гдѣ Лопухинъ присутствовалъ, разбирались дѣла крѣпостныхъ, ищущихъ вольности отъ помѣщиковъ, какихъ дѣлъ во время существованія крѣпостнаго права было у насъ вообще много, и когда прочіе сенаторы, въ угоду мысли объ освобожденіи, которая никогда не покидала Александра, старались угодить государю, поддерживая, иногда съ натяжками, права ищущихъ вольность, то Лопухинъ, „никогда не соглашался удовлетворять просьбамъ такихъ ищущихъ вольности, безъ совершеннаго, по законамъ, ихъ на то права“. Вообще въ мысляхъ о крѣпостномъ состояніи Лопухинъ сходилъ во

¹⁾ Ibid., стр. 137—138.

²⁾ Ibid., стр. 153.

взглядъ на тотъ же предметъ съ Карамзинимъ. Дѣйствительно, можно сказать, что идея освобожденія не была у насъ въ то время глубоко сознаваема лучшими представителями русскаго общества, не была воспитана собственнымъ развитіемъ, а существовала только какъ общая идея, была плодомъ свободной европейской философіи прошлаго вѣка. Лопухинъ боялся освобожденія въ видахъ государственной пользы.

„Еще скажу, что я первой, можетъ быть желаю, говорить онъ, чтобъ не было на русской землѣ ни одного несвободнаго человѣка, еслибъ только то безъ вреда для нея возможно было. Но народъ требуетъ обузданія и для собственной его пользы. Для сохраненія же общаго благоустройства нѣтъ надежнѣе полиціи, какъ управленіе помѣщиковъ (то же говорилъ и Карамзинъ). Тираны изъ нихъ должны быть обузданы, но сіе должно быть такъ расположено, чтобъ начальники губерній, при обузданіи тиранства, столько же бы страшились наказанія за малѣйшее при томъ излишество или пристрастіе, и столькожъ бы увѣрены были не избѣжать того наказанія, сколько тираны за тиранство“.

„И еще скажу, что по сіе время въ Россіи ослабленіе связей подчиненности помѣщикамъ опасѣе нашествія непріятельскаго. Свойственно мягкосердечію жалѣть и о томъ, когда не совсѣмъ еще отъ болѣзней оправившіеся могутъ только прогуливаться въ больничномъ саду и ѣсть только то, что имъ велятъ лекари, свойственно доброму сердцу желать, чтобъ они какъ можно скорѣе воспользовались полною для всѣхъ свободою; но дѣтъ ее имъ прежде времени, было бы ихъ же уморить“¹⁾. Изъ приведенныхъ мыслей и словъ Лопухина очевидно, что масоны никогда не думали о совершеніи какихъ-нибудь реформъ въ государственномъ строѣ страны, хотя бы эти реформы совершенно соотвѣтствовали нравственнымъ цѣлямъ масонства. Они, какъ это извѣстно, примирялись съ государственными формами всякаго рода, со всякимъ правительствомъ, что и доказываетъ, какъ бессмысленно было преслѣдованіе ихъ со стороны власти. Масоны хлопотали только о нравственномъ и религіозномъ совершенствованіи внутренняго человѣка. Такова была вся масонско-мистическая литература; такова, въ особенности, и замѣчательная литературная дѣятельность Лопухина. Она очень цѣнилась мистическими писателями Александровскаго времени.

Мы уже говорили, что писательская дѣятельность Лопухина началась нападками съ его стороны на матеріальныя ученія француз-

¹⁾ Ibid., стр. 158—159.

скихъ философовъ. Самое масонство отчасти возникло изъ противо-дѣйствія этому матеріализму, а потому Лопухинъ, еще не будучи масономъ, уже раздѣлялъ мысли масоновъ. Дальнѣйшая его литера-турная дѣятельность развилась въ особенности во время преслѣдо-ванія масоновъ. Его возмущало невѣжественное недоувѣріе власти къ тѣмъ мыслямъ, которыя занимали масоновъ. Въ разговорахъ съ ми-трополитомъ Платономъ, который также не одобрялъ масоновъ, воз-никла, по словамъ Лопухина, первая мысль небольшого сочиненія, въ которомъ онъ выступилъ на защиту ученія своихъ единомышлен-никовъ и гдѣ хотѣлъ „представить въ самыхъ истинныхъ и крат-кихъ чертахъ всѣ начала науки и нравственности нашего общества“. То былъ „Нравоучительный Катихизисъ истинныхъ франкъ-масоновъ“, сочиненіе, переведенное Лопухинымъ по французски и анонимно на-печатанное въ компанейской типографіи, а потомъ пущенное въ про-дажу будто книга, присланная изъ-за границы. Въ этомъ катихизисѣ Лопухинъ старается доказать, что въ масонствѣ и заключается истин-ное пониманіе христіанства и что оба понятія равнозначущи. Онъ доказываетъ, что масоны отличаются духомъ братства, одинаковымъ съ христіанствомъ, что цѣли ихъ одинаковы, что истинный масонъ долженъ также любить Бога больше всего и ближняго, какъ самого себя, подобно христіанину, что главное упражненіе масоновъ есть послѣдованіе Иисусу Христу. Далѣе слѣдуетъ уже собственное уче-ніе масоновъ и ихъ представленія, выраженные на не совсѣмъ по-нятномъ языкѣ. Искусство франкъ-масоновъ состоитъ въ наукѣ вѣ-дать тайны царствія Божія; живутъ они въ обновленномъ Эдемѣ и таинство ордена приобрѣтается *возрожденіемъ*. Это таинство открыва-етъ „то, чего око не видѣло и ухо не слышало, и на сердце че-ловѣку не всходило“. Затѣмъ идутъ опредѣленія, какихъ нравствен-ныхъ свойствъ долженъ быть настоящій франкъ-масонъ, въ чемъ заключаются его обязанности къ государю, къ властямъ, къ прави-тельственной церкви, къ подвластнымъ, къ людямъ вообще, къ вра-гамъ и проч., затѣмъ къ роднымъ, къ женѣ, дѣтямъ и къ самому себѣ, — правила, которыя легко могутъ найти мѣсто и во всякомъ катихизисѣ, изданномъ официальной церковью. Дѣятельность масо-новъ опять излагается языкомъ мистическимъ, понятнымъ только для однихъ посвященныхъ. Истинная работа въ нравственности на-чинается тогда, когда человѣкъ начнетъ „совлекаться ветхаго Адама, а оканчивается, когда ветхій Адамъ совлеченъ совершенно. Всякой трудъ и работа (т.-е. дѣло масонства) перестанутъ тогда, „когда не останется на землѣ ни единой воли, которая бы не совершенно предалась Богу; когда золотой вѣкъ, который Богъ хочетъ прежде внутренне возстановить, въ маломъ своемъ избранномъ народѣ, рас-

пространится вездѣ и явится внѣшне, и когда царство самой природы освободится отъ проклятій и возвратится въ средоточіе солнца“. Такими неопредѣленными, широкими фразами, повидимому, удовлетворялись масонскіе братья; подъ ними можно было разумѣть какое угодно содержаніе. А въ заключеніе они говорили: „Могій вмѣстити да вмѣститъ“. Впрочемъ, всѣ эти опредѣленія „Нравственнаго Катихизиса франкъ-масоновъ“ были поддержаны текстами, почерпнутыми Лопухинимъ изъ Св. Писанія, такъ что, присоединяя это сочиненіе къ другому, нѣсколько позднѣе вышедшему, „Нѣкоторыя черты о внутренней церкви“, Лопухинъ могъ справедливо назвать этотъ катихизисъ, составленный въ вопросахъ и отвѣтахъ, „Братское изображеніе качествъ и должностей истиннаго христіанина, почерпнутое изъ Слова Божія“. Небольшое сочиненіе это, какъ апологію масоновъ, Лопухинъ считалъ очень важнымъ. Онъ присоединилъ его и къ другому сочиненію, вышедшему также въ 1791 году, подъ названіемъ „Духовный рыцарь или ищущій премудрости“, подъ которымъ разумѣется также масонъ. Сочиненіе это написано тѣмъ непонятнымъ и туманнымъ языкомъ, которымъ привыкли писать масоны, и потому даетъ, къ сожалѣнію, самое неопредѣленное представленіе о догматической сторонѣ масонскаго ученія. По словамъ самого Лопухина, въ этой книгѣ представлены имъ „главные пункты герметической науки, образъ ея святилища, ходъ внутренняго обновленія чловѣка и начала самопознанія и глубокой морали“¹⁾. Все это изложено туманнымъ мистическимъ языкомъ, и читатель, конечно, не пойметъ изъ этой книги, что такое герметическая или тайная наука. Лопухинъ, повидимому, налаетъ на тайную науку. Онъ называетъ въ этомъ сочиненіи членами Антихристовой церкви тѣхъ „духовныхъ сластолюбцевъ“, которые „прилежатъ къ тайнымъ наукамъ не по любви къ истинѣ, но для удовлетворенія самолюбію своему“, которые „прилѣпляются къ златодѣланію, къ продолженію грѣховной своей жизни, къ упражненію въ букввахъ теософіи, каббалы, алхиміи“. Отсюда однако легко вывести заключеніе, что Лопухинъ не причисляетъ къ Антихристовой церкви тѣхъ, кто занимается этими предметами не изъ самолюбія, а по любви къ истинѣ. Слѣдовательно, въ ту пору, и Лопухинъ вѣрилъ въ возможность тайныхъ наукъ и, подобно Новикову, былъ зараженъ вздоромъ нѣмецкаго розенкрейцества. Общія правила „духовнаго рыцаря“ — тѣ же, что и въ катихизисѣ. Очень любопытно постановленіе, что масонами могутъ быть только христіане.

¹⁾ Ibid., стр. 30.

Самымъ важнымъ для масонства и мистицизма сочиненіемъ Лопухина, весьма уважаемымъ мистиками нашими, были „Нѣкоторыя черты о внутренней церкви, о единомъ пути истины и о различныхъ путяхъ заблужденія и гибели“. Сочиненіе это напечатано было въ первый разъ уже въ царствованіе Павла (СПБ., 1798), когда прекратились преслѣдованія масоновъ, но написано оно было, по разсказу Лопухина, еще въ 1791 году, вмѣстѣ съ другими сочиненіями, посвященными защитѣ и объясненію масонства. Книгѣ этой вообще посчастливилось между мистиками. Въ 1799 году она была переведена на французскій языкъ, подѣ наблюденіемъ самого Лопухина и напечатана въ Петербургѣ; въ 1801 году въ Парижѣ была сдѣлана перепечатка этого перевода, и вышло второе русское изданіе. Въ 1803 и 1804 годахъ оно было переведено Эвальдомъ на языкъ вѣмецкій и напечатано въ его духовномъ журналѣ „Christliche Monatschrift“, а потомъ отдѣльно (Нюрнбергъ, 1809 г.). Самъ Лопухинъ считаетъ это свое сочиненіе лучшимъ и важнѣйшимъ. Сочиненіе этой книги будетъ для Лопухина, по его словамъ, всегдашнимъ утѣшеніемъ, онъ увѣренъ въ пользѣ ея и убѣжденъ, что помощь Божія присутствовала при сочиненіи этой книги. И ученики Лопухина, напр., Невзоровъ, не находили словъ для похвалы этой книги. „Необходимымъ долгомъ почитаю, говоритъ Невзоровъ, единственную въ своемъ родѣ въ нынѣшнія времена сію книгу совѣтовать читать всѣмъ, кто не хочетъ довольствоваться одною поверхностью и наружностью христіанства, а желаетъ быть участникомъ внутреннихъ сокровищъ“¹⁾. Но для Невзорова и въ особенности Лопухина, чрезвычайно важна была похвала этому сочиненію, сдѣланная Эккартсгаузенемъ, величайшимъ авторитетомъ для мистиковъ Александровскаго времени, котораго всѣ сочиненія были переведены тогда ими и котораго самъ Лопухинъ считаетъ однимъ изъ „величайшихъ свѣтилъ божественнаго просвѣщенія, извѣстныхъ въ нашемъ времени“²⁾. Лопухинъ съ этого времени сталъ съ нимъ переписываться. Здѣсь стоитъ сказать нѣсколько словъ объ этомъ забытомъ теперь и не упоминаемомъ въ курсахъ исторіи нѣмецкой литературы имени. Вся его дѣятельность принадлежитъ XVIII вѣку, но его теософическія и мистическія сочиненія, изложенныя туманнымъ и дикимъ языкомъ, были писаны имъ подѣ конецъ жизни и сдѣлались у насъ извѣстны преимущественно въ переводахъ Лабзина и другихъ мистиковъ Карль Эккартсгаузенъ, баварецъ, былъ побочнымъ сыномъ какого-то

¹⁾ Др. Юн. 1811 г. Мартъ, стр. 112.

²⁾ Зап. стр. 31.

графа, родился въ 1752 году и получилъ сначала блестящее домашнее воспитаніе, которое развило въ немъ духовныя стремленія и жажду знанія. Потомъ изучалъ онъ въ Мюнхенѣ и Ингольштадтѣ юридическія науки, поступилъ на службу и до самой смерти своей, въ 1803 году, жилъ въ Мюнхенѣ въ довольно скромной должности перваго архивариуса двора баварскаго курфюрста. Экартсгаузенъ оставилъ послѣ себя множество литературныхъ произведеній и его справедливо называютъ самымъ плодовитымъ писателемъ Баваріи. Извѣстность литературную и уваженіе общества Экартсгаузенъ приобрѣлъ своими первыми сочиненіями, посвященными распространенію чистой нравственности и вообще просвѣщенію. Въ нихъ старался онъ опредѣлить отношеніе религіи и науки между собою, не нарушая правъ ни той ни другой. Сочиненія эти проникнуты любовью къ человѣчеству. Въ особенности имѣли успѣхъ посвященные защитѣ оскорбленныхъ правъ человѣчества „Судейскія исторіи“ (Rittergeschichten, Münch., 1782), написанныя для молодыхъ юристовъ. Потомъ написаны были имъ „Нравственное ученіе для всѣхъ сословій“ (1784), „Рѣчи о благѣ человѣчества“ (1784), посвященные общей нравственности; въ томъ же духѣ издавалъ онъ еженедѣльный журналъ „Sittenblatt“. Но самымъ извѣстнымъ его сочиненіемъ, переведеннымъ на нѣсколько языковъ, было сочиненіе, напечатанное въ Мюнхенѣ въ 1790 году, „Gott ist die reinste Liebe“ („Богъ есть любовь чистѣйшая“. Перев. Як. Утеинъ, СПб., 1817). Уже въ этихъ сочиненіяхъ Экартсгаузена проглядываетъ мистицизмъ, но въ болѣе чистомъ видѣ; за то въ послѣдніе годы своей жизни онъ отдался ему съ особеннымъ увлеченіемъ и сталъ писать и издавать множество сочиненій, посвященныхъ магіи и теософско-алхимическимъ бреднямъ. Онъ сдѣлался авторитетомъ въ тайныхъ наукахъ и думалъ, что ему раскрыты тайнава природы. Сочиненія его въ этомъ родѣ отрицали всякую возможность мысли, были въ постоянномъ спорѣ съ разумомъ, распространяли самый туманный и вредный мистицизмъ и между тѣмъ эти-то именно сочиненія Экартсгаузена пользовались у насъ величайшимъ уваженіемъ, переводились и распространялись въ обществѣ нашими мистиками. Они даже вѣрили въ дѣйствительность его видѣній, о которыхъ онъ печаталъ, и старались объяснить ихъ разумнымъ образомъ, а не какъ галлюцинаціи. Вообще у Экартсгаузена, какъ у всѣхъ мистиковъ, преобладало сердце надъ головою и оказывался недостатокъ положительныхъ знаній.

ЛЕКЦІЯ XXXVIII.

Соч. Лопухина «Нѣкоторыя черты о внутренней церкви». — Драма «Торжество правосудія и добродѣтели». — «Отрывки».

Сочиненіе Лопухина „Нѣкоторыя черты о внутренней церкви“, столь уважаемое мистиками, было написано имъ въ защиту и объясненіе масонства, подобно упомянутому нами прежде сочиненію его, „*O Zηλωσοφος*, Искатель премудрости или духовный рыцарь“. По словамъ Лопухина, сочиненіе это навлекло ему много неприятностей, особенно со стороны духовенства, и только похвала Эккертсгаузена ободрила его. Оно очень важно и любопытно для знакомства съ тѣмъ понятіемъ о масонствѣ, которое имѣли Новиковъ и его друзья. Къ сожалѣнію, въ немъ, какъ и въ прочихъ писаніяхъ нашихъ масоновъ, мистическія и теософическія увлеченія смѣшаны съ дикими представленіями объ алхиміи, магіи и каббалѣ, такъ что понятіе о „внутренней церкви“ дается слишкомъ смутное и нисколько не ео³ отвѣтствующее христіанству. Очень вѣрно рецензентъ по богословію въ *Goetting. gelehrte Anzeigen* 1804 г., когда вышелъ нѣмецкій переводъ книги Лопухина, замѣтилъ, что она написана въ духѣ и языкомъ Арндта и что всѣ подобныя слова, какъ „возрожденіе, вѣчная любовь, распинаніе плоти, совлечь съ себя ветхаго Адама“ и т. п. заимствованы у Арндта,—замѣчаніе не понравившееся поклонникамъ Лопухина ¹⁾. Для насъ любопытно ознакомиться съ общимъ очеркомъ и главнымъ содержаніемъ книги Лопухина, чтобъ понять, какъ смутны вообще представленія мистиковъ, нашихъ въ особенности, и какъ неопредѣленъ и фантастиченъ ихъ языкъ, въ которомъ люди увлеченные видѣли что-то чрезвычайно глубокое. Глава I говоритъ „О началѣ и продолженіи внутренней церкви“. Тутъ общія христіанскія представленія о грѣхопаденіи, о перво-родномъ грѣхѣ и пр. выражаются мистическими образами и языкомъ. Начало идетъ съ Адама, съ его блаженнаго состоянія въ раю. „Злоупотребленіе воли, преслушаніе Адамово, изгнало его изъ рая, погасило въ умѣ его свѣтильникъ небесной Премудрости, и низринуло его и въ немъ весь человѣческій родъ въ царство болѣзней, труда и смерти—на землю, покрытую терніемъ и волчцами“ (§ 4). Но „вѣчная любовь“ въ самую минуту паденія Адама, уже думала о его восстановленіи и „премудростію своею уготовляла средство возжечь въ душѣ его искру того свѣтильника, который освѣщаль его до паденія“ (§ 5). „Первый

¹⁾ Др. Юн. 1811 г. Мартъ, стр. 105, сл.

вдохъ покаяніа Адамова былъ, можно сказать, первый лучъ возсіяніа въ немъ онаго Свѣта (онъ же и Слово), и первая точка основанія *внутренней церкви* Божіей на землѣ“. Эту церковь составляютъ патриархи, праведники, души благочестивыя. Въ ней Богъ творитъ великое дѣло обновленія. Съ другой стороны создалась на землѣ *церковь Антихристова*; ее составляютъ „воспаленные духомъ Каиновымъ“ (§ 7). Главное содержаніе книги Лопухина составляетъ изложеніе противоположныхъ свойствъ двухъ этихъ церквей. Церковь Христова описывается мистически въ видѣ Соломонова храма. Это и есть масонство, въ которомъ сохраняется лучшее пониманіе христіанства. Церковь Антихристову составляютъ главнымъ образомъ: „духовные сластолюбцы, прилежащіе къ тайнымъ наукамъ *не по любви къ истинѣ*, но для удовлетворенія самолюбію своему“. Они ищутъ познаній изъ любопытства, корысти и эгоизма, стремятся къ дѣланію золота, ищутъ средствъ для продолженія грѣховной жизни своей, упражняются въ теософіи, каббалѣ, алхиміи, тайной медицинѣ и магнетизмѣ. Изъ этого видно, что Лопухинъ не вводилъ всѣ эти такъ называемыя тайныя науки въ область предметовъ занятій настоящихъ масоновъ, а между тѣмъ, какъ извѣстно, они не только писали объ этихъ предметахъ, но дѣйствительно занимались ими: разница та только, что масоны думали заниматься этимъ не для удовлетворенія самолюбіа или изъ эгоистическихъ расчетовъ, а по любви къ истинѣ, упражняться „не въ буквахъ только, а въ самой сущности“, какъ говорилъ Лопухинъ. Тутъ же онъ придаетъ большое значеніе какой-то *истинной* химіи для высшаго просвѣтленія человѣка, но всякому понятно, что такое была эта истинная химія у масоновъ, для которыхъ вовсе не существовало положительной науки; они были врагами ея ¹⁾).

Главные орудія въ Антихристовой церкви, по Лопухину, суть *духовные фарисеи* (III, § 3), а дѣйствительными орудіями и проповѣдниками ея являются *модные философы*, старающіеся доказать, что душа смертна, что основаніе всѣхъ дѣйствій человѣческихъ—самолюбіе, что христіанство есть фанатизмъ (III, § 4). Подъ этими словами Лопухинъ разумѣлъ просвѣтительную философію вѣка. Эти же *пустословы* „содѣйствовали къ порожденію буйнаго стремленія ко мнимому равенству и своеволію, въ противность порядка небснаго и земнаго благоустройства... Сей духъ круженія воцарился въ погибающей Франціи“ (III, § 6). Изъ этого видно, въ какомъ отношеніи находился масонскій мистицизмъ къ современной мысли и къ современному политическому движенію, которое было антипатично ему.

¹⁾ Ешевскій, Соч. III, стр. 427.

Въ главѣ IV Лопухинъ разсуждаетъ „О знакахъ“ (т.-е. признакахъ) истинной церкви Божіей и членовъ ея. Всѣ свойства, которыя можно бы было назвать свойствами истинной природы христіанской, напр., вѣра, молитва, постъ, видѣнія, чудеса, могутъ являться и безъ нея. Дѣйствительный признакъ настоящаго члена церкви Христовой составляетъ только одна любовь, начальное свойство божественной природы. Посредствомъ любви человекъ возрождается или обновляется въ Исусѣ Христѣ и посредствомъ этого возрожденія освобождается отъ преобладанія Антихристовой церкви. Главный факторъ этого возрожденія есть глубокое самоотверженіе, гдѣ должно быть совершенно забыто свое Я, и здѣсь Лопухинъ пускается въ такую глубину мистицизма и выражается такъ темно, что дѣлается рѣшительно непонятнымъ. Путь возрожденія человека есть путь Христовъ въ душѣ, состоящій въ подражаніи Исусу Христу, образу и ученію его, которые открыты въ Евангеліи. „На семъ пути должно упражнять волю свою въ насилуваніи всѣхъ естественныхъ свойствъ и силъ своихъ на исполненіе заповѣдей Христовыхъ, на подражаніе внутренне и внѣшне его примѣру“ (VII, § 1). Совершающій этотъ путь къ Христу долженъ искренно любить добро. „Наипаче должно упражняться въ любленіи ближняго“, говоритъ Лопухинъ, выдвигая такимъ образомъ впередъ практическую сторону масонскаго мистицизма (§ 4). На пути къ божественной жизни или на пути къ началу возрожденія во Христѣ, рекомендуются слѣдующія упражненія: а) насилуваніе своей воли, б) молитва, в) воздержаніе, d) дѣла любви и e) поученіе въ познаніи природы и самого себя (VIII, § 1). Изъ этого очевидно, что мистицизмъ Лопухина граничитъ близко съ монашескимъ аскетизмомъ. Таково, напр., предписаніе относительно разума: „Разумъ должно воздерживать не только отъ упражненія въ томъ, что явно вредно; но и отъ всякихъ размышленій бесполезныхъ и отъ изученія того, что токмо служитъ къ удовлетворенію любопытства, а не нужно для преуспѣянія въ жизни христіанской и для отправленія должностей человека, живущаго въ обществѣ, гражданина или подданнаго“ (VIII, § 15). Съ этимъ легко было дойти до отрицанія всякой науки, кромѣ мистической. За то въ возможность послѣдней Лопухинъ исполнѣ вѣрить. Онъ убѣжденъ, что „сотворшая премудрость“ открыла избраннымъ тайну творенія, что имъ доступенъ „внутреннѣйшій составъ и различныя дѣйствія глубоко сокровеннаго духа природы“, но что такое „истинное, живое познаніе тайны творенія“ открывается только при свѣтѣ благодати, озарящемъ душу въ новой жизни возрожденія“ (VIII, § 21, 22). Наука эта, слѣдовательно, не похожа на общепринятую и идетъ совершенно инымъ путемъ. Весьма немногимъ избраннымъ дано было это по-

знаніе тайнъ природы: „Многимъ и святымъ, и угодникамъ Божиимъ, не опредѣлено было созерцать сіяніе онаго свѣта въ натурѣ“. По-средствомъ этой науки люди ея просвѣщенные „раздѣляютъ, разрушаютъ существа, развиваютъ ихъ составъ и возвращаютъ въ источ-ныя (первоначальныя) ихъ стихіи; и при семъ дѣйствіи собствен-ными очами своими созерцаютъ таинства Иисуса Христа, послѣдствіе страданія Его, и въ сокращеніи и въ химическихъ явленіяхъ видятъ все происшествіе и слѣдствія Его воплощенія!“ (VIII, § 24). Науки, пре-подаваемыя въ обыкновенныхъ школахъ, напр., математика, физика, химія и пр. даютъ познаніе только самыхъ, такъ сказать, наружныхъ нитей грубой, стихійной одежды природы. Если и это познаніе по-лезно, „то koliko уже полезно для ищущихъ царства Божія должно быть изученіе теоріи познанія природы, происходящаго изъ училища небеснаго?“ Не всѣмъ дано упражняться въ этомъ изученіи таинствъ природы. Эта наука есть только средство къ пути въ царствіе Божіе. Съ этою наукою нужно обращаться осторожно и не обращать ее на нечистые виды собственности. „Да страшатся даже и для удовлетво-ренія только любопытству своему, или для забавы, упражняться въ таинственномъ семъ ученіи!“ (VIII, § 27). Оно только для избранныхъ, а для массы довольно познаніе самого себя, которое постепенно открывается человѣку, при совлеченіи ветхаго Адама.

Вотъ положительное ученіе нашихъ масонскихъ мистиковъ, про-повѣдуемое ими съ такимъ убѣжденіемъ, съ такою вѣрою въ дѣй-ствительность и глубину содержанія ихъ туманныхъ фразъ и нахо-дившее такъ много вѣрующихъ прозелитовъ. Лопухинъ только на-мекнулъ, только указалъ на это высшее знаніе, которымъ, путемъ благодатнаго осіянія свыше, открывается счастливому избраннику познаніе глубочайшихъ тайнъ природы, закрытыхъ для глазъ непо-священныхъ. Другіе пошли дальше и увѣровали въ тайныя науки, посредствомъ которыхъ открывается „первое то вещество, нетлѣнная та персть, изъ коея все сотворено“. Мысли Лопухина и его понятіе о таинственномъ знаніи—не новость въ исторіи человѣческихъ заблу-жденій и не представляютъ ничего оригинальнаго, сколько-нибудь характеризующаго наше русское общество масоновъ и мистиковъ. Съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ христіанская мистика, даже еще раньше, въ теософическихъ экстазахъ неоплатониковъ, мы найдемъ тѣ же самыя представленія. Въ особенности много ихъ въ сочине-ніяхъ нѣмецкихъ протестантскихъ мистиковъ, начиная съ эпохи Возрожденія. Въ XVIII вѣкѣ въ Германіи мистицизмъ этотъ былъ въ большомъ развитіи, онъ такъ былъ силенъ, что даже философія природы Шеллинга заразилась довольно сильно этими мистическими представленіями. Изъ Германіи они церешли и къ намъ. Понятно,

какой вредъ они должны были приносить нашему неразвитому и лишенному всякихъ положительныхъ знаній обществу и какъ много, можетъ быть, хорошихъ и дѣятельныхъ натуръ погубило въ этихъ туманныхъ, нелѣпыхъ стремленіяхъ, которыми самообольщались наши наивные масоны. Выдается, однако, во всѣхъ этихъ неопредѣленныхъ фразахъ Лопухина, напоминающихъ таинственныя изреченія древнихъ гіерофантовъ, одна, хотя и не оригинальная, особенность, которую мы встрѣтимъ и у позднѣйшихъ мистиковъ нашихъ,—это частое употребленіе чисто христіанскихъ образовъ и представленій въ смѣшеніи съ неопредѣленными масонскими понятіями. Примѣры этого смѣшенія можно было видѣть изъ нѣкоторыхъ приведенныхъ мною мѣстъ Лопухинской книги. Это служитъ намъ доказательствомъ, что увлеченія нашихъ масоновъ и бредни нашихъ мистиковъ вытекали изъ чистаго источника — изъ желанія объяснить себѣ праотеческую вѣру, изъ стремленія придать наивному вѣрованію болѣе глубокой смыслъ, уяснить его до такой степени, чтобъ оно могло удовлетворять умъ. Но, лишенные настоящаго философскаго и богословскаго образованія, которое боится мистическихъ толкованій, они запутались въ собственныхъ представленіяхъ, встали въ противорѣчіе и съ официальною церковью и съ положительною наукою, возбудили недовѣріе и той и другой, и сами презрительно относились и къ той и къ другой, не имѣя на то никакого права. Этотъ мистицизмъ не могъ принести русскому обществу ничего иного, кромѣ вреда. Онъ сталъ въ отрицательное положеніе къ политическимъ теоріямъ времени.

Сочиненій Лопухина, написанныхъ противъ этихъ теорій и въ особенности противъ французской революціи,—нѣсколько. Они напечатаны въ 1794—1796 годахъ и не заслуживали бы вовсе упоминанія—такъ мало въ нихъ достоинства мысли и изложенія, еслибъ не доказывали ту мысль, что мистицизмъ дѣлалъ человѣка совершенно не способнымъ къ пониманію положительной стороны жизни. „Изліяніе сердца, чувствующаго благодать единоначалія и ужасающагося, взирая на пагубные плоды мечтанія, равенства и буйной свободы“ и пр. (Калуга, 1794), или „Описаніе нѣсколькихъ картинъ и списковъ съ нѣкоторыхъ отрывковъ, находящихся въ магазинѣ дивнаго смотрѣнія на внутреннія причины дѣйствій и на слѣпоту развращенныхъ французовъ“ (Москва, 1796), какъ показываютъ сами длинныя названія ихъ, суть не что иное, какъ небольшія статейки въ родѣ риторическихъ упражненій. „Равенство! Свобода буйная! мечты, порожденныя чадомъ тусклаго свѣтильника лжемудрія, распложденныя безумными писаніями нечестивыхъ татей философскаго имени, адскимъ пламенемъ стремящихся отвращать взоръ человѣче-

скій даже отъ тѣни пресвѣтлаго Софіна лица“¹⁾). Таковъ слогъ и тонъ этого рода статей Лопухина. Ненависть къ французской революціи и фантастическое преувеличеніе ея злодѣйствъ—полныя. „Безначаліе и своеволіе Франціи—исчадіе папистическаго изувѣрія и новой философіи“. Лопухинъ старается доказать, что единоначаліе самый лучшій образъ правленія. Ни одна страна въ мірѣ больше счастливой Россіи не „насладилась отъ рѣвъ милосердія Монаршаго“²⁾). Французовъ Лопухинъ пугаетъ гнѣвомъ Екатерины: „А вы, варвары, расторгшіе узы законной священной власти и покорившіе себя нечестивому самовластію многоглавнаго чудовища звѣрскихъ тирановъ,—трепещите побѣдителяго Екатеринина скипетра. Несчастныя! трепещите“...³⁾). Лопухинъ доказываетъ, что въ природѣ и въ жизни нѣтъ и не можетъ быть равенства, что это только буйная мечта, что на землѣ не можетъ быть и ничего похожаго на золотой вѣкъ. Какъ мистикъ онъ не цѣнилъ дѣйствительность, съ презрѣніемъ относился къ міру. „Что есть міръ сей? Зеркало тѣнноты и смерти. Сонъ немощей и внезапно подсвѣваемой силы, здравія, какъ сельный цвѣтъ увядающаго, и скорбей ежедневныхъ, смѣховъ мгновенныя радости, которыя съ болью изъ груди вылетая, въ туманѣ печалей исчезаютъ, и горестей, многіе годы душу терзающихъ“⁴⁾). Мистика доводила именно до этого мрачнаго аскетическаго взгляда на міръ, и понятно, что всякое въ немъ движеніе на ея глаза казалось подозрительнымъ и грѣховнымъ.

Юридическіе вопросы, въ особенности по уголовному праву, сильно занимали Лопухина. Лопухинъ не былъ однако настоящимъ юристомъ; для этого недоставало у него ни образованія, ни свѣдѣній. Его интересовали не частные случаи, а общая внутренняя нравственная сторона дѣла. Не имѣя никакого литературнаго таланта, Лопухинъ написалъ драму въ пяти дѣйствіяхъ: „Торжество правосудія и добродѣтели или доброй судья“. (М. 1798 г.) Она не была вовсе представлена на сценѣ, да вѣроятно, и не имѣла бы сценическаго успѣха. Цѣль этой драмы была совершенно дидактическая. Русскому обществу, воспитанному на безправіи, на незаконности отношеній, привыкшему къ тайному суду и взяткамъ, авторъ желалъ показать идеаль безкорыстнаго и честнаго судьи, неподкупнаго и строгаго, жертвующаго даже собственными выгодами, даже счастіемъ своего сына, только для того,

¹⁾ Др. Юв. 1809 г. Апрѣль, стр. 32.

²⁾ Ibid., Мартъ, стр. 38.

³⁾ Ibid., стр. 45.

⁴⁾ Ib., Апр., стр. 40.

чтоб торжествовала истина. Лопухинъ самъ говоритъ въ своемъ послѣсловіи въ драмѣ, что у него была эта нравственная поучительная цѣль, и нисколько не претендуетъ на драматическій талантъ: „Говорятъ, что драма сія неудобна для театра, что много въ ней противнаго его правиламъ и пр., но смели чтеніе ея можетъ принести хотя малую пользу, то весьма награжденъ будетъ трудъ автора, который никогда не занимался театромъ и его правилами, и который всегда думалъ, что если не единственный, то, по крайней мѣрѣ, главный предметъ всѣхъ книгъ долженъ быть *польза* или умноженіе способовъ распространяться добродѣтели“ ¹⁾. Къ пользѣ необходимо, однако, долженъ присоединяться талантъ, чтобы литературное произведеніе дѣйствовало на массу, а его не было у Лопухина, и драма его совершенно забыта. Честный судья, выведенный имъ на сцену, чрезвычайно далекъ отъ дѣйствительности; его рѣчи, въ которыхъ онъ непрерывно говоритъ о правосудіи, законности и любви къ истинѣ и людямъ, похожи на сухую мораль, легко наскучивающую; дѣйствіе и развитіе въ драмѣ совершенно ничтожно, а изъ лицъ ни одно не возбуждаетъ къ себѣ сочувствія живостію изображенія и характеромъ.

То же желаніе представить въ настоящемъ свѣтѣ достоинство судьи въ томъ обществѣ, которое не могло его цѣнить и уважать, видно въ небольшомъ сочиненіи Лопухина „Отрывки. Сочиненіе одного стариннаго судьи“ (М. 1809. 12^о) ²⁾, посвященномъ имъ юношеству. Онъ предлагаетъ ему въ этихъ „Отрывкахъ“, написанныхъ въ видѣ небольшихъ афоризмовъ, „нѣчто, могущее не бесполезно занять размышленіе о гражданскомъ званіи“. Этому юношеству, которое тогда, въ XVIII и началѣ XIX вѣка, все стремилось въ военную службу, пренебрегая должностью и званіемъ судьи, Лопухинъ говоритъ о достоинствѣ этого званія: „Добродѣтели судьи, блюстителя земскаго устройства, законосуднива, правосудіе однимъ предметомъ имѣющаго, не меньше для отечества нужны, не меньше почтенны, какъ и доблести воинскія“. Для строгаго, настоящаго исполненія этой обязанности нужно не меньше мужества, какъ и для войны съ врагами внѣшними. „Тысячами считаемъ мы людей, неустрашимо жертвующихъ своею жизнію на битвахъ съ неприятелями, и сколько не часты тѣ, кои бы не только ею, но какими нибудь выгодами собственной корысти жертвовали правдѣ въ судахъ“. „Отрывки“ говорятъ въ общихъ словахъ объ обязанностяхъ судьи, повторяютъ то, что въ своихъ „Запискахъ“ Лопухинъ показалъ жиз-

¹⁾ Изд. 1798 г., стр. 131.

²⁾ Др. Юн. 1808 г. Октябрь, стр. 9—30.

неннымъ примѣромъ. И въ нихъ нашелъ онъ случай напасть на политическія теоріи вѣка; онъ возстаетъ противъ „Contrat social“ Руссо и совѣтуетъ подданнымъ пассивное подчиненіе всякой власти, какъ бы жестока и тяжела ни была она. „Не только зло, во всякомъ правленіи человѣческомъ неотвратимое, терпѣливо сносить должно, говорить онъ; но лучше терпѣть величайшее притѣсненіе и тиранство, нежели возмущаться и частнымъ людямъ предпринимать перемѣну правленія“. Такія скромныя правила гражданскихъ отношеній требовало масонство отъ своихъ членовъ. Старость, кажется, прекратила служебную дѣятельность Лопухина, но онъ считался на службѣ до самой смерти своей. По словамъ его „Записокъ“, послѣдніе годы онъ жилъ въ Москвѣ, какъ въ пустынѣ. „Лучшіе друзья мои почти всѣ разлучены со мною смертью или отсутствіемъ“. Но литературное движеніе мистицизма при Александрѣ было не чуждо ему; напротивъ, онъ принималъ въ немъ самое дѣятельное участіе, вызывалъ его, возбуждалъ его. Съ новымъ заграничнымъ оракуломъ мистицизма — Юнгомъ Штиллингомъ, котораго сочиненія были переведены тогда на русскій языкъ, Лопухинъ даже вступилъ въ переписку. Онъ, кажется, гордился нѣсколько этою перепискою и называлъ Штиллинга „сей небомъ просвѣщенный проповѣдникъ истины и предвѣстникъ явленій ея царства“¹⁾. Мы дадимъ понятіе объ этомъ теософѣ, когда будемъ говорить о русскихъ переводахъ его сочиненій. Для мистиковъ нашихъ онъ стоялъ выше Эккартсгаузена. Когда въ началѣ царствованія Александра стали заводиться и въ Москвѣ масонскія ложи, то Лопухинъ смотрѣлъ на это неблагоосклонно и не желалъ имѣть никакого сношенія съ этими новыми ложами. Его примѣру слѣдовали и его ученики. Они считали ложи въ это болѣе свободное время ненужными. „Люди, представлявшіе себя правителями ихъ здѣсь (въ Москвѣ), по репутаціи своей не могли быть для меня приманкою для вступленія съ ними въ масонскій союзъ“, говоритъ Невзоровъ²⁾. „Это были не Иванъ Владиміровичъ (Лопухинъ) и подобные ему свободные каменщики“. Главное вниманіе Лопухина и его единомышленниковъ было обращено на мистицизмъ, на распространеніе мистическихъ сочиненій, которыхъ тогда выходило много. Любопытно, что Лопухинъ желалъ даже посвятить въ мистическую литературу Сперанскаго, съ которымъ находился въ перепискѣ и по дѣламъ службы и по своимъ собственнымъ о долгахъ по имѣнію, хлопоча о нихъ у государя. Изъ снисходительности ли или изъ научнаго любопытства интересовался Сперанскій мистическою литературою, мы не знаемъ, но онъ просилъ

¹⁾ Зап., стр. 169.

²⁾ Библ. Зап., т. I, 1858 г., стр. 658.

у Лопухина о доставленіи ему разныхъ книгъ и указаній. Лопухинъ посылалъ ему множество книгъ съ своими о нихъ заключеніями. „Тому вкусу въ чтеніи, который вы, любезный другъ, описываете, пишетъ онъ въ Сперанскому, надобно радоваться... Главное искусство, если можно такъ сказать, въ этомъ дѣлѣ не знать стараться о свѣтѣ и истинѣ, но умѣть стараться о соединеніи съ ними или о способахъ давать имъ въ насъ раскрываться и дѣйствовать, не мѣшая только имъ“ ¹⁾. Лопухинъ хлопоталъ у Сперанскаго о помощи въ его разстроенныхъ дѣлахъ. Причиною этого расстройства была собственно его благотворительность: онъ нажилъ долги, которые лежали на его имѣніи, и сталъ тягаться объ этихъ долгахъ, желая, вѣроятно, сохранить свое имѣніе. До насъ дошло одно очень жесткое письмо Сперанскаго къ Лопухину по поводу этихъ хлопотъ его. Оно наполнено горькими истинами: „Быть богатымъ и употреблять богатство на благотворенія, конечно, хорошо, пишетъ Сперанскій, но дѣлать долги и потомъ тягаться о долгахъ, какое бы ни было впрочемъ ихъ начало, сіе и въ обыкновенномъ человѣкѣ есть дѣло непохвальное, а въ васъ оно и совсѣмъ непонятно... Развѣ все дѣло наше состоитъ въ томъ, чтобы исповѣдовать словами имя Христово и услаждаться въ кабинетѣ размышленіемъ о семъ великомъ имени, а внѣшнія дѣла попускать идти такъ, какъ бы они шли и безъ него, по внѣшнему движенію страстей? Развѣ на крестъ надобно смотрѣть съ умиленіемъ, а несть его не наше дѣло? Развѣ словами только надобно намъ здѣсь считать себя изгнанниками и пришельцами, а на дѣлѣ за каждый кусокъ земли воевать съ цѣлымъ свѣтомъ и всѣхъ, съ нами разномыслящихъ, считать за беззаконниковъ?“ ²⁾. Мы не знаемъ хорошо обстоятельствъ жалобъ Лопухина на его кредиторовъ, но нельзя не признать справедливости словъ Сперанскаго, хотя съ другой стороны намъ извѣстно, что въ жизни Лопухина не было замѣтно противорѣчія между словомъ и дѣломъ.

Послѣдніе годы своей жизни Лопухинъ дѣятельно заботился о распространеніи мистическихъ сочиненій и изданій, которыя стали тогда появляться. Онъ самъ писалъ очень много въ этомъ родѣ и печаталъ преимущественно въ журналѣ Невзорова „Другъ Юношества“. Въ статьяхъ его замѣтно что-то дѣтское; о прежнемъ масонствѣ не было и помину, и все содержаніе ихъ какой-то добродушный, старческій религіозный мистицизмъ. Онъ вѣритъ въ возможность распространенія и пользу „благодатнаго свѣта“ и совершенно

¹⁾ Русск. Арх. 1870 г., стр. 610—611.

²⁾ Ibid., стр. 623—625.

чуждъ дѣйствительности. „Надобно пользоваться модою на благочестіе“, пишетъ онъ къ Руничу. „Она, конечно, подвержена переменѣ; но непрочно быть не можетъ. Чтѣ издано, то издано. А чтеніе такое — тинктура, которая непримѣтными капельками дѣлаетъ спасительныя превращенія въ тысячахъ, и многіе годы“...¹⁾

ЛЕКЦІИ XXXIX и XL.

Ковальковъ. — Невзоровъ. — Лабзинъ.

Мистики Александровскаго времени и во главѣ ихъ старикъ Лопухинъ вели такую-то почти монастырскую жизнь, вдали отъ волненій свѣта, и чуждаясь совершенно вопросовъ общественныхъ. Крѣпостное владѣніе и его удобства помогли обставить Лопухину свое деревенское уединеніе разными художественными вѣтвями въ мистическомъ родѣ. Было въ этомъ что-то добродушное и даже забавное на глаза современнаго человѣка, но мистикамъ нравилась эта обстановка, они приходили отъ нея въ умиленіе, и въ журналахъ того времени встрѣчались описанія жизни Лопухина въ его деревнѣ. „Живучи въ глубокомъ уединеніи, пишетъ онъ къ другу своему Руничу, утѣшаюсь только упражненіями въ своей *маленькой домашней церкви*, которая продолжаетъ заниматься сочиненіями и переводами“²⁾. Сюда, въ эту „маленькую церковь“, въ изысченное уединеніе Лопухина, недалеко отъ Москвы, являлись молодые мистическіе писатели на поклонъ къ нему, жили у него, пользуясь гостепріимствомъ и бесѣдами его въ извѣстномъ родѣ. Тутъ соображались, по выраженію Лопухина, разныя деревенскія проповѣди. Самымъ дѣятельнымъ и плодовитымъ писателемъ этой домашней Лопухинской церкви былъ его воспитанникъ, дитя его сердца, племянникъ жены его, Александръ *Ковальковъ*, который сталъ писать подъ руководствомъ Лопухина чуть-ли не съ дѣтскаго возраста и писалъ изумительно много. „Онъ написалъ тысячи листовъ, пишетъ о немъ Лопухинъ, и всякій день пишетъ или, лучше сказать, выливаетъ“. Для него онъ былъ „чудо въ своемъ родѣ“. Его первое печатное произведеніе „Плодъ сердца, полюбившаго истину, или собраніе краткихъ разсужденій о ея сущности, написанныхъ пламенною къ ней любовью“ (М. 1811 г.) появилось въ печати на счетъ Лопухина и съ портретомъ автора, когда ему было только 17 лѣтъ. Оно было встрѣ-

¹⁾ Русск. Арх. 1870 г., стр. 1219.

²⁾ Русск. Арх. 1870 г., стр. 1233.

чено восторгомъ со стороны мистиковъ. Невзоровъ говорилъ, что эта книга „принесла бы честь и самому почтенному старцу писателю“¹⁾. Содержаніе ея, по словамъ ея издателя Лопухина, есть „сущность христіанства, которую составляютъ: любовь къ Богу и смерть самолюбію“. Въ дѣйствительности, это какая-то аскетическая проповѣдь, весьма печальная для юности 17-ти лѣтъ, говорящая о покаяніи, о принесеніи въ жертву воли, о врестѣ, объ умерщвленіи ветхости, т.-е. плоти и пр. Ковальковъ былъ слабый, болѣзненный юноша, подвергнувшійся вполне вліянію Лопухина. Онъ писалъ очень много и все въ одномъ и томъ же родѣ. Въ кругу мистиковъ впрочемъ сочиненія его находили и порицаніе, а не одни хвалебные отзывы. Изъ словъ самого Лопухина видно, что нѣкоторые изъ того же круга, разумѣется, письменно, нападали на непонятность, кудреватость, темноту его сочиненій, а одинъ пріятель Лопухина даже писалъ къ нему: „сдѣлайте милость, запретите ему писать!“ такъ что послѣдній, въ защиту своего воспитанника, долженъ былъ напечатать большую статью: „Нѣсть пророкъ во отечествіи своемъ“²⁾, доказывающую способности и талантъ Ковалькова и нападающую на несправедливыхъ критиковъ, которые осуждали въ Ковальковѣ его молодость. Въ 1815 году Лопухинъ напечаталъ въ Орлѣ мистическія сочиненія своего воспитанника въ двухъ томахъ, писанныя имъ на 18 и 19 году жизни: „Созданіе церкви внутренней и царства свѣта Божія“, „Иисусъ пастырь добрый своего стада, свѣтъ и камень, глава, жрецъ и жертва своей церкви“ и „Мысли о мистикѣ и ея писателяхъ“. Сочиненія эти, по словамъ издателя, заключаютъ въ себѣ внутреннюю сущность христіанства и ни слова не говорятъ о его внѣшности, о его обрядахъ. Конечно, этимъ никто не долженъ соблазняться, говоритъ Лопухинъ. „Описаніе путей духа и внутренняго поклоненія души не отвергаетъ пользу только нужныхъ средствъ внѣшняго и образовъ; но нѣтъ надобности всегда писать вмѣстѣ о томъ и о другомъ“. Для насъ любопытно въ этихъ твореніяхъ Ковалькова, которыя ведутъ ожесточенную войну съ разумомъ и его свободною дѣятельностію, то представленіе о мистикѣ, которое онъ самъ высказываетъ. „Мистика или изліаніе духа языкомъ человѣческимъ должна имѣть своимъ непремѣннымъ закономъ любовь чистую, отдаленную отъ корыстей и собственности, дабы изреченіе ея не смѣсилось съ *плотскимъ естественнымъ мудрованіемъ*, и гласъ бы ея чистѣйшій проникалъ въ самый мракъ нечистоты и заустѣнія и *заглушалъ бы всякой гласъ ума соб-*

¹⁾ Др. Юн. 1811 г., Авг., стр. 111.

²⁾ Др. Юн. 1812 г., Ноябрь, стр. 88—136.

ственнаго“¹⁾. Умъ даетъ одну только теорію, а мистика есть вмѣстѣ съ тѣмъ и практика. Эта практика есть соединеніе съ вѣчнымъ Словомъ, съ Иисусомъ. „Философія міра сего и собственнаго ума есть самая жесткая, гнилая, противная, вредная пища душъ и изліаніе духа нечистоты“²⁾. Разумъ, эта игра чувствъ и воображенія, нуженъ только тому, кто не имѣетъ истиннаго свѣта. Познанія, исходящія отъ тварей, исполнены мертвенности и слабости ученія³⁾, потому что они произведенія собственнаго разума; для мистическаго познанія нуженъ разумъ человѣка возрожденнаго, тогда онъ дѣлается премудростію⁴⁾. Все, что разумъ производитъ отъ самого себя и въ самомъ себѣ, безъ помощи премудрости Иисуса, — чуждо истины, есть буйство, заблужденіе и одна мертвенность, злобныя идеи. Сущность ихъ заключается въ слабости или пустотѣ и въ ядовитости⁵⁾. Ученіе такого ума есть пища плоти⁶⁾. Три свойства заключаются въ этомъ ученіи: 1) буйство, исполненное невѣрія, матеріализма или атеизма: тогда разумъ есть эхидна⁷⁾; 2) ученіе страстей, совѣтъ слѣдовать ихъ наклонностямъ и ни въ чемъ не противиться побужденіямъ природы, называя ее матерью, которой слѣдуетъ повиноваться; такое ученіе есть похоть очесъ и похоть плоти и гордость житейская⁸⁾; 3) неполное понятіе истины, потому что ученіе основывается на одномъ собственномъ умозрѣніи; такое ученіе учитъ добродѣтелямъ не христіанскимъ, а фарисейскимъ⁹⁾. Всего этого нечистаго дѣла разума стоитъ неизмѣримо выше мистика, опредѣленію сущности которой авторъ посвящаетъ большую часть своихъ разсужденій. Руководителями его являются Бемъ, Дютуа и „божественная“ Гюнша (Гюнъ де ла Мотъ—мистическая писательница). Мистика эта даетъ совершенное познаніе существъ движущихся и вещей бездыханныхъ и сокровенныхъ, но оно невозможно безъ содѣйствія той *maim*, которою они сотворены; она открываетъ ихъ истинную квинтъ-эссенцію, ихъ тинктуру. Познать эту силу можетъ только человѣкъ свыше просвѣщенный¹⁰⁾. Ему дается настоящее познаніе не только природы нижней, но и высшей — природы ангеловъ и всей небесной іерархіи и даже духа Иисусова или „тинктуры всей

¹⁾ Мысли о мистикѣ, стр. 5—6.

²⁾ Ibid., стр. 20.

³⁾ Ibid., стр. 36.

⁴⁾ Ibid., стр. 42.

⁵⁾ Ibid., стр. 57.

⁶⁾ Ibid., стр. 58.

⁷⁾ Ibid., стр. 62.

⁸⁾ Ibid., стр. 65.

⁹⁾ Ibid., стр. 74.

¹⁰⁾ Ibid., стр. 130—131.

вѣчной природы“¹⁾. До такихъ неясныхъ опредѣленій договорилась наша мистика, объявивъ непримиримую вражду наукѣ и разуму. И это писаль юноша едва двадцати лѣтъ. Мы не знаемъ, что вышло изъ него впоследствии. Умирая въ 1816 году, Лопухинъ поручилъ его извѣстному покровителю мистиковъ въ Александровское время, человѣку, увлекавшемуся всякимъ религіознымъ движеніемъ, А. Н. Голицину; о Ковальковѣ хлопоталъ также Жуковский, изъ уваженія къ Лопухину²⁾. Кажется впрочемъ, что Ковальковъ умеръ въ молодыхъ годахъ, а то изъ него выпелъ бы непременно такой же гонитель просвѣщенія и науки, какимъ былъ Магницкій и другіе ему подобные.

Для того, чтобы погружаться въ эти волны мистическаго познанія, надобно было имѣть совершенно спокойное существованіе, безъ заботъ внѣшнихъ. Способы для этого, какъ мы сказали, давало тогда вѣрностное право. Лопухинъ былъ большой охотникъ до садовъ и разводилъ ихъ съ помощію своихъ крестьянъ дешевымъ способомъ въ своихъ имѣніяхъ. И въ стихахъ и въ прозѣ описывали его друзья и поклонники эти сады, украшенные мистическими символами и посвященные мистическимъ удовольствіямъ. Таково „прово-поэмическое твореніе“ того же Ковалькова: „Мирное уединеніе въ садахъ сельца Савинскаго, во время нашествія враговъ“³⁾. Тутъ былъ знаменитый Юнговъ островъ, о которомъ часто упоминали друзья и поклонники, съ памятниками, сооруженными тѣмъ героямъ, кои „отличались терпѣніемъ на крестномъ пути своемъ во слѣдъ крестоносцу Иисусу“: Гюншѣ, Фелелону и Дютуа. Подъ памятниками этими хранились волосы ихъ, на холмѣ, окруженномъ сосновымъ кустарникомъ, стоялъ крестъ съ мистическими фигурами, поставленный въ честь знаменитаго теософа Вема, а бюстъ его находился у подножія креста. Оттуда идетъ дорожка къ холму, на которомъ опять стоитъ урна въ честь Гюнши, Дютуа и Фелелона; далѣе хижина, посвященная имени Ж. Ж. Руссо; затѣмъ большой мраморный столбъ съ урною и съ надписью: „памяти мудраго“, посвященный Экартсгаузену. Тутъ же памятникъ и извѣстному протестантскому мистіку XVII вѣка Квирину Кульману, который, по настоянію пасторовъ и ортодоксовъ протестантизма, былъ сожженъ въ Москвѣ въ 1689 году. Рядомъ *пустышка*, посвященная уединенію и мистическому размышленію. На стѣнѣ ея крестъ съ надписью: „крестъ дражайшій! вождь вѣрный мой!“ На столѣ въ пустынькѣ *письмо*, содержащее въ себѣ „правила душамъ, желающимъ побѣдить

¹⁾ Ibid., стр. 148.

²⁾ Русск. Арх. 1867 г., стр. 804, 807.

³⁾ Др. Юн. 1813 г., Февраль, стр. 1—127.

міръ со всіми его престелами". Колоколъ на верху пустыньки, конечно, напоминаетъ „спасительную силу божественнаго гласа, возбуждающаго отъ сна грѣховнаго во бдѣнію во храмъ истины и любви“. Въ гротѣ два памятника: одинъ Тихону Задонскому, незадолго передъ тѣмъ признанному святымъ, другой—мистикъ Краевичу, другу Лопухина. Въ такомъ же родѣ была и „Орлиная пустынь“, англійскій садъ, устроенный и описанный самимъ Лопухинымъ¹⁾. Эта пустынь находилась въ другомъ имѣніи Лопухина, въ селѣ Воскресенскомъ или Ретязи, Орловской губерніи, Кромынскаго уѣзда. Эта пустынь была устроена какъ *памятникъ* страданіямъ какаго-то *Андрея*, „знаменитаго твердостію духа въ послѣдней половинѣ прошлаго вѣка“. По всей вѣроятности, это былъ Арсеній Мацѣевичъ, митрополитъ Ростовскій, знаменитый своимъ энергическимъ отпоромъ только что вступившей на престолъ Екаторинѣ, послѣдній защитникъ старыхъ правъ духовенства, разрушенныхъ регламентомъ Петра В. Извѣстно, что въ мартѣ 1763 года онъ послалъ въ синодъ пространный протестъ противъ распоряженія Екаторины, вторымъ учреждался надзоръ за доходомъ съ имѣній духовенства; въ этомъ протестѣ онъ нападалъ также очень рѣзко на современное равнодушіе къ религіи. Въ апрѣлѣ того же года Арсеній былъ лишень архіерейства и сосланъ въ Никольскій Корельскій монастырь подъ Архангельскомъ. Здѣсь онъ сдѣлался въ мнѣніи народа мученикомъ и пророкомъ; его пророчества были направлены всё противъ Екаторины, которую онъ ненавидѣлъ. Черезъ четыре года какакой-то монахъ подалъ донесъ на Мацѣевича; было произведено слѣдствіе и его лишили монашества и по собственному распоряженію Екаторины переодѣли въ простое крестьянское платье и подъ нарочно-придуманномъ императрицею именемъ *Андрея Врала*, заперли въ Ревельскую крѣпость, гдѣ онъ и умеръ въ 1772 году, до самой смерти своей не вида при себѣ ни одного живого существа. Эта чрезвычайная жестокость окружила Арсенія вѣнцемъ мученичества и святости; о немъ сложилась легенда, и въ представленіяхъ народа онъ является страдальцемъ за правду, хотя въ сущности защищалъ неправо дѣло. Какимъ образомъ этотъ представитель прерогативъ духовенства, котораго сочиненія имѣютъ чисто церковный характеръ, сдѣлался достойнымъ особаго уваженія и поклоненія со стороны масона и мистика Лопухина? Повидимому, въ характерѣ и дѣятельности Арсенія не было для Лопухина ничего сочувственнаго; всего вѣроятнѣе, онъ видѣлъ въ немъ поборника независимости церкви отъ государства и религіознаго челоуѣка, искренно преданнаго церкви, и сверхъ того врага современнаго просвѣщенія.

¹⁾ Др. Юв. 1814 г., Мартъ, стр. 20—38 и Августъ, стр. 113—128.

Но главнымъ образомъ, страданія Мацѣвича, жестокое обращеніе съ нимъ власти и его христіанское смиреніе влекли къ себѣ Лопухина. Въ его тюрьмѣ остались написанными углемъ на стѣнѣ слова: „благо мнѣ, яко смирилъ мя еси“, и эти слова повторены Лопухинымъ на его памятникѣ Андрею ¹⁾). Лопухинъ въ своемъ памятникѣ Арсенію Мацѣвичу сдѣлалъ его какимъ-то розенкрейцеромъ: изъ мертвой головы вырастаетъ роза; на стѣнахъ изображеніе розоваго креста, по угламъ гіероглифическія изображенія: оковы, переломленный посохъ, закрытая книга и горящій трисвѣчникъ. Вверху надпись: „вѣрному до смерти, вѣнецъ живота“. Эта Андреева пустынь была любимымъ мѣстомъ для прогулокъ Лопухина: въ ней все символически изображало страданія Мацѣвича. Вообще у Лопухина была особая какая-то любовь къ памятникамъ и монументамъ, которые онъ ставилъ по разнымъ случаямъ. Такъ въ томъ же Орловскомъ имѣніи были памятники въ честь русскихъ побѣдъ въ 1812 году, въ память убитыхъ на этой войнѣ воиновъ изъ окрестныхъ жителей; въ память взятія Парижа въ 1814 году и проч. Вообще Лопухинъ незадолго до своей смерти впалъ въ дѣтство. Въ письмѣ къ Руничу онъ передаетъ, какъ онъ праздновалъ у себя торжественно похороны славы Бонапартовой, дѣтъ за семь до настоящей смерти Наполеона, созывая на этотъ праздникъ своихъ деревенскихъ сосѣдей особыми для того приготовленными пригласительными билетами. Лопухинъ самъ является на этомъ торжествѣ какимъ-то первосвященникомъ. Онъ громко провозглашаетъ слова: „И память вражія погибе съ шумомъ“, велитъ стрѣлять изъ домашнихъ пушекъ и раздаетъ крестьянамъ 500 крестиковъ для обыкновеннаго ношенія въ память торжества о побѣдѣ и одолѣніи врага ²⁾). Такъ забавлялись наши мистики.

Самымъ пылкимъ и восторженнымъ поклонникомъ Лопухина былъ дѣйствительно многимъ ему обязанный Максимъ Ивановичъ *Невзоровъ*; изъ своей преданности Лопухину онъ сдѣлалъ какъ бы особый культъ, которому оставался вѣренъ до самой смерти своей. Онъ не былъ ревностнымъ мистическимъ писателемъ, мало вообще пускался въ мистическій туманъ, былъ скорѣе практическимъ человѣкомъ и честнымъ дѣятелемъ, довольно полезнымъ по времени журналистомъ и оригинальною личностью, всѣмъ хорошо знакомою въ Москвѣ, но тѣмъ не менѣе, его можно считать распространителемъ мистическихъ убѣжденій и врагомъ свободнаго просвѣщенія, основаннаго не на исключительно религіозныхъ началахъ. Воейковъ въ

¹⁾ Лонгиновъ. День, 1862 г., № 19.

²⁾ Русск. Арх. 1770 г., стр. 1226—1227.

своемъ знаменитомъ „Сумасшедшемъ Домѣ“ съ насмѣшливой ироніей отозвался о немъ слѣдующимъ четверостишіемъ:

Я взглянулъ: Максимъ Невзоровъ
Углемъ пишетъ на стѣнѣ.
Если-бъ такъ, какъ на Вольтера,
Былъ на мой журналъ расходъ,
Пострадала-бъ горько вѣра:
Я вреднѣй чѣмъ Дидеротъ.

Воейковъ становится какъ-бы на сторону официальной церкви, враждебной мистикѣ.

Невзоровъ родился въ 1762 или 1763 году, слѣдовательно, онъ принадлежалъ уже къ молодому поколѣнію масоновъ и мистиковъ Новиковскаго кружка, да и вся его дѣятельность принадлежитъ къ Александровскому времени. Происходилъ онъ изъ духовнаго званія, былъ сыномъ священника изъ окрестностей Рязани и первое образованіе получилъ въ семинаріи этого города. Какъ самый лучшій ученикъ ея, онъ былъ присланъ епархіальнымъ начальствомъ въ 1779 году въ Москву по вызову „Дружескаго общества“ Новикова; на его счетъ и подъ его надзоромъ поступилъ онъ на юридическій факультетъ Московскаго университета, а потомъ перешелъ на медицинскій, такъ что въ университетѣ онъ пробылъ около девяти лѣтъ. Безъ сомнѣнія, въ эти годы Невзоровъ слушалъ вліятельныя лекціи Шварца, вербовавашаго членовъ въ масонское общество: отрывки этихъ лекцій были помѣщены потомъ Невзоровымъ въ его журналъ. Безъ сомнѣнія, онъ былъ также участникомъ въ собраніяхъ масонскихъ ложъ. Въ своемъ „убѣдительно“ посланіи къ Поздѣеву, своему товарищу и также масону, Невзоровъ положительно говоритъ о своемъ масонскомъ воспитаніи. Масонство и И. В. Лопухинъ—вотъ два источника, отъ которыхъ Невзоровъ, по его словамъ, получилъ все: „отъ незабвеннаго и одного Ивана Владиміровича получилъ все наружное свое состояніе, такъ какъ отъ свободнаго каменничества внутреннее, гдѣ также всего главнымъ и для меня, можно сказать, единственнымъ орудіемъ былъ тотъ же Иванъ Владиміровичъ“ ¹⁾. Посланіе это писано черезъ много лѣтъ послѣ его масонскаго воспитанія; въ немъ сохранились его прежнія воспоминанія и для насъ любопытны слова его о томъ, чѣмъ онъ обязанъ масонству. „Мое исповѣданіе объ ордени свободнаго каменничества, говоритъ онъ, въ которомъ мнѣ по волѣ Бога милосердаго посчастливилось учиться, есть таковое, что я его собственно для себя почитаю истинною женою, облеченною въ солнце,

¹⁾ Библ. Зап. I, стр. 645.

о коей упоминается въ 22 главѣ Апокалипсиса, и породившею во мнѣ чадо истины“... Это, конечно, мистическое и неопредѣленное выраженіе. „Болѣе же всего къ такому рожденію во мнѣ истины служилъ поводомъ бывшій мой великій мастеръ въ ложѣ Влѣствующей Звѣзды, неподражаемый мой благодѣтель во всемъ И. В. Лопухинъ, который истинно одинъ изъ не послѣднихъ, и, можно сказать, изъ первыхъ драгоцѣнныхъ камней, украшающихъ корону вышеозначенной жены“... Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ, что „послѣ Бога и простыхъ бѣдной матери моей наставленій, ежели есть во мнѣ что хорошаго, я всѣмъ обязанъ ему“¹⁾. Гораздо положительнѣе говоритъ Невзоровъ о значеніи для него масонства въ слѣдующихъ словахъ: „Орденъ свободныхъ каменщиковъ, въ которомъ я былъ членомъ, для меня былъ лучшимъ училищемъ христіанскимъ, и я по милости Бога не хотѣлъ иначе понимать его“²⁾. Каноническою книгою масонства Невзоровъ считаетъ „Пастырское Посланіе“ (СПБ., 1806). Ученіе и обязанность масона должны состоять въ подражаніи Христу... Затѣмъ говоритъ онъ съ полнымъ одобреніемъ о практической или филантропической сторонѣ масонства и о его литературѣ, которой призваніе есть борьба съ философскимъ невѣріемъ вѣка. „Самая же лучшая услуга тогдашнихъ членовъ свободнаго каменничества российскому отечеству въ особенности, а христіанству вообще, состояла въ изданіи безчисленныхъ душевспасительныхъ книгъ, которыхъ цѣлое море на российскомъ и другихъ языкахъ противопоставили они адской водѣ вольнодумческихъ и безбожныхъ книгъ, прорвавшейся тогда со всѣхъ сторонъ. Словомъ сказать, Богъ явилъ тогдашнихъ свободныхъ каменщиковъ въ Россіи точно въ самое нужное время, дабы противопоставить ихъ антихристовскому племени, со всѣхъ сторонъ начавшему воевать противъ истинной церкви Христовой“³⁾. Эту же цѣль предполагаетъ онъ и для своей литературной дѣятельности.

Въ 1788 году, будучи такимъ образомъ увлеченнымъ поклонникомъ масонства, Невзоровъ, вмѣстѣ съ товарищемъ своимъ Колбкольниковымъ, также воспитанникомъ Дружескаго общества, былъ отправленъ за границу на счетъ общества, какъ для усовершенствованія въ наукахъ, такъ, по всей вѣроятности, и для специальныхъ цѣлей масонства. Цѣлью ихъ путешествія былъ знаменитый тогда Лейденскій университетъ, гдѣ оба они выслушали полный курсъ наукъ и получили степень доктора медицины. Довольно долго про-

¹⁾ Др. Юн., 1812 г., Авг.

²⁾ Библ. Зап. т. I, стр. 646.

³⁾ Библ. Зап., т. I, стр. 649.

жилъ Невзоровъ въ Германіи и познакомился со многими нѣмецкими университетами, въ которыхъ остался недоволенъ анти-христіанскимъ духомъ и направленіемъ науки. Конечно, человѣку, воспитанному въ школѣ Новикова, нечего было дѣлать въ нѣмецкихъ университетахъ, гдѣ преподавалась свободная протестантская наука; онъ явился туда уже съ сложившимися убѣжденіями, и московское вліяніе было сильнѣе заграничнаго, тѣмъ болѣе, что Невзоровъ не былъ хорошо знакомъ съ языкомъ нѣмецкимъ. Отсюда постоянная ненависть его къ профессорамъ и къ наукѣ нѣмецкихъ университетовъ, которая такъ часто проглядываетъ въ его сочиненіяхъ, особенно въ его журналѣ. Точно также и въ политическомъ отношеніи масонскія вліянія остались преобладающими. Осенью 1790 года былъ онъ вмѣстѣ съ Колокольниковымъ въ Страсбургѣ. Весь Эльзасъ былъ полонъ тогда революціоннымъ движеніемъ. Въ Страсбургѣ образовалось патриотическое общество для революціонной пропаганды, и нашихъ масоновъ приглашали посѣтить его не только нѣкоторые жители Страсбурга, но и бывшіе тогда въ немъ русскіе путешественники, но они рѣшительно отъ того отказались, почитая, по словамъ Невзорова, „всѣ таковыя заведенія плодомъ мятежнаго буйства“, и не поѣхали въ Парижъ, куда имъ слѣдовало ѣхать, потому что тамъ господствовала революція ¹⁾. У нихъ были масонскія цѣли и порученія. Въ чемъ они состояли однако, кромѣ продажи и покупки книгъ, намъ неизвѣстно. Находясь подъ вліяніемъ московскихъ масоновъ, даже наслаждаясь чтеніемъ масонскихъ книгъ за границею, Невзоровъ однако не сближался съ заграничными масонами и, по совѣту Лопухина, избѣгалъ посѣщенія тамошнихъ ложъ. Въ 1791 году его приглашали посѣтить дожу въ Геттингенѣ, но онъ отказался и потомъ высказывалъ свою радость, что отказался, потому что въ собраніи этой ложи великій мастеръ, профессоръ Бюргеръ, говорилъ похвалу французскому равенству. Нѣмецкіе университеты и въ особенности Геттингенскій, по словамъ Невзорова, „сіе молодое, но слишкомъ далѣе другихъ забѣжавшее въ новомъ безуміи дитя Германіи (замѣтимъ, что въ немъ учились нѣкоторые лучшіе люди царствованія Александра) были первѣйшими орудіями, разсадниками и распространителями всякаго разврата и безбожія и послѣдовавшаго оттого несчастія своего отечества“. Все это Невзоровъ писалъ въ спокойное время, въ частномъ письмѣ, въ полномъ убѣжденіи, а не изъ боязни преслѣдованія.

Не смотря, однако, на такой безвредный образъ мыслей молодыхъ масоновъ, ихъ пребываніе за границею во время революціоннаго

¹⁾ Библ. Зап., I, стр. 650.

движенія, напугавшаго уже правительство Екатерины, ихъ связи съ мартинистами, противъ которыхъ начались тогда преслѣдованія, сдѣлали ихъ людьми подозрительными для власти. По приѣздѣ Невзорова и Колокольникова въ февралѣ 1792 года въ Ригу, ихъ тотчасъ взяли подъ стражу и повезли въ Петербургъ въ Невскій монастырь, подъ именемъ якобинцевъ, а оттуда въ Петропавловскую крѣпость. Началось слѣдствіе, веденное пресловутымъ Шешковскимъ. Въ его вопросахъ было много забавнаго, напр., онъ спрашивалъ у Невзорова: „отчего произошла французская революція?“ Невзоровъ доказывалъ, что революція, „сіе чудовищное произведеніе кровопролитственной философіи просвѣщенной политики“, не имѣетъ ничего общаго съ масонствомъ, что напротивъ того всѣ дѣйствія масонства имѣютъ цѣлью борьбу съ нею. На слѣдствіи Невзоровъ показалъ большую твердость духа и достоинство характера, даже тогда, когда Шешковский грозилъ пыткою; онъ ничего не хотѣлъ отвѣчать безъ депутата отъ университета, къ которому принадлежалъ, ссылаясь на законъ. Слѣдствіе, однако, несмотря на то, что не привело ни къ какимъ результатамъ, произвело такое сильное впечатлѣніе на умъ молодыхъ людей, что оба они изъ крѣпости переведены были въ домъ сумасшедшихъ при Обуховской больницѣ, гдѣ Колокольниковъ вскорѣ и умеръ, а Невзоровъ подъ тяжестью душевной болѣзни оставался нѣсколько лѣтъ, до самаго воцаренія Павла и одновременнаго освобожденія Новикова. Невзоровъ рассказываетъ, что Павелъ самъ посѣтилъ его въ больницѣ пять разъ и однажды съ императрицею и наследникомъ ¹⁾ Только въ 1798 году можно было взять Невзорова изъ больницы, и по Высочайшему повелѣнію онъ былъ отправленъ въ Москву на попеченіе прежняго его воспитателя—Лопухина. Онъ жилъ въ его домѣ, какъ родственникъ. Это пребываніе его въ домѣ Лопухина напоминало ему прежнее время: Невзоровъ жилъ въ обществѣ масоновъ и мистиковъ, которыхъ давно привыкъ уважать,—слѣдовательно, онъ не разрывалъ связей съ прошедшимъ, не могъ понять новаго времени, и никакая другая дѣятельность не могла замѣнить той, которая ему была такъ хорошо знакома. Литературная дѣятельность Невзорова (до тѣхъ поръ онъ ничего не печаталъ) началась стихотвореніями, которыя были собраны имъ потомъ въ одну книжку (М., 1804). Это были обычныя оды на разныя событія или въ честь лицъ, которыхъ особенно уважалъ Невзоровъ, но поэтическаго таланта въ немъ не было.

Невзоровъ, нигдѣ не служившій и не имѣвшій никакихъ средствъ къ существованію, жилъ въ домѣ Лопухина и на его счетъ. Въ

¹⁾ Библ. Зап. I, стр. 653—654.

1800 году Лопухинъ взялъ его съ собою въ качествѣ секретаря во время ревизіи имъ Вятской губерніи. Плодомъ этого путешествія съ Лопухинимъ было описаніе его, изданное въ 1803 году: „Путешествіе въ Казань, въ Вятку и Оренбургъ въ 1800 году“, въ формѣ писемъ, въ подражаніе Карамзину и В. Измайлову, но безъ сентиментальнаго направленія, господствовавшаго у нихъ. По плану Невзорова должно было появиться пять частей этого описанія, но все дѣло ограничилось первой. Авторъ остановился на описаніи Казани. Описаніе его путешествія отличается преобладаніемъ въ немъ фактической стороны; Невзоровъ сообщаетъ факты по исторіи, географіи и статистикѣ, но весьма кратко. Почему не продолжалось изданіе — намъ неизвѣстно.

По возвращеніи изъ этой поѣздки, Невзоровъ по ходатайству Лопухина опредѣленъ былъ въ канцелярію Московскаго университета, съ употребленіемъ по ученой части, и съ тѣхъ поръ служилъ этому университету въ разныхъ должностяхъ, особенно въ качествѣ начальника типографіи, шестнадцать лѣтъ, до самой отставки своей въ 1816 году. На этой службѣ Невзоровъ отличался рѣдкимъ въ нашемъ обществѣ безкорыстіемъ и презрѣніемъ къ матеріальнымъ выгодамъ. Два раза жертвовалъ онъ значительныя суммы изъ денегъ, слѣдовавшихъ ему по закону съ доходовъ университетской типографіи: разъ въ пользу университета, а въ другой бѣднымъ чиновникамъ и наборщикамъ типографіи, потерпѣвшимъ отъ непріятельскаго нашествія въ 1812 году, 6.000 р. Въ это время онъ до самой послѣдней крайности въ виду непріятели оставался при типографіи и своими заботами спасъ ее отъ разоренія, хотя и съ трудомъ выбрался изъ Москвы. Свои испытанія и волненія этого времени Невзоровъ описалъ въ замѣчательной статьѣ „Исходъ мой изъ Москвы во время нашествія французовъ“¹⁾. По возвращеніи въ Москву онъ съ тѣмъ же рвеніемъ отдался своей службѣ, жертвуя собственными средствами на устройство и приведеніе въ порядокъ типографіи послѣ непріятельскаго нашествія. Личный характеръ Невзорова отличался прямою, соединенною съ нѣкоторою раздражительностію, что приводило его нерѣдко въ непріятныя столкновенія съ разными лицами и въ особенности съ начальниками. Непріятности эти увеличивались съ годами и повели къ тому, что онъ долженъ былъ покинуть службу въ 1816 году, оставивъ по себѣ память вполне честнаго человѣка.

Почти вся литературная дѣятельность Невзорова, почти все дѣло его жизни, на которое онъ употреблялъ всѣ свои способности и

¹⁾ Др. Юн., 1812 г., Октябрь.

всѣ свои познанія, соединены съ изданіемъ журнала „Другъ Юношества“, къ чему въ послѣдствіи онъ прибавилъ: „и всякихъ лѣтъ“. Большую помощь въ основаніи и распространеніи этого журнала оказалъ Невзорову извѣстный тогдашній попечитель Московскаго университета Муравьевъ, который именно желалъ, чтобъ университетъ имѣлъ свое педагогическое изданіе. Съ 1807 года Невзоровъ и сталъ издавать свой журналъ, посвященный М. Н. Муравьеву, котораго онъ называетъ „другомъ юношества“. По разсказу Невзорова, онъ пригласилъ къ себѣ въ сотрудники „двухъ старинныхъ своихъ почтенныхъ пріятелей“, но именъ ихъ назвать не желаетъ¹⁾. Это были Багрянскій и Дмитріевскій. Кромѣ нихъ былъ Лопухинъ, всегда и во всемъ помогавшій Невзорову. Изданіе, впрочемъ, шло не вполне удачно. Въ первый годъ помогалъ деньгами Лопухинъ, да и въ остальные годы число подписчиковъ было незначительно. Невзоровъ говоритъ, что онъ вовсе не ищетъ выгодъ и прибылей отъ журнала, а желалъ бы только, чтобъ онъ окупался, но и этого едва ли всегда достигалъ: журналъ былъ слишкомъ серьезенъ, отвлеченъ, не по-плечу тогдашней публикѣ и совершенно чуждъ современнымъ вопросамъ. Сначала въ первые годы онъ былъ исключительно посвященъ вопросамъ и предметамъ воспитанія, но многіе ли тогда могли интересоваться этимъ? „Хотя съ большимъ сожалѣніемъ, однако должно сказать, говоритъ издатель, что у насъ многіе называютъ воспитаніемъ дѣтей то, когда они отдадутъ сына въ какую школу или пенсіонъ, или наймутъ въ домъ учителя, и особенно иностранца, и заплатя деньги, сами никогда не хотятъ болѣе имъ заниматься“²⁾. По смерти Муравьева, въ 1813 году журналъ былъ посвященъ Лопухину и сталъ называться „Другъ юношества и всякихъ лѣтъ“. Еще прежде измѣнился исключительно педагогическій характеръ изданія и стали помѣщаться статьи мистическаго содержанія, въ особенности принадлежащія Лопухину. Самъ Невзоровъ сталъ писать въ этомъ родѣ, не забывая, однако, первоначальной цѣли изданія. Онъ былъ глубоко преданъ этому дѣлу. Въ 1814 году, по собственному его признанію, онъ былъ такъ утомленъ препятствіями, встрѣчавшимися при изданіи журнала, что желалъ совсѣмъ прекратить его, какъ вдругъ въ Августѣ мѣсяцѣ того года вышелъ указъ Александра въ комиссію духовныхъ училищъ, въ которомъ уже проглядывалъ правительственный мистицизмъ, и Невзоровъ счелъ своимъ долгомъ продолжать изданіе.

Поддержку своему журналу, какъ нравственную, такъ и матеріальную—въ подписчикахъ, Невзоровъ находилъ преимущественно въ лю-

¹⁾ Др. Юн., 1809 г., Январь.

²⁾ Ibid. V—VI.

дахъ одного съ нимъ направленія, частію въ тѣхъ, которые принадлежали къ старому кругу Новикова, частію въ ихъ послѣдователяхъ и воспитанникахъ. Это было понятно потому, что „Другъ Юношества“ былъ совершенно чуждъ современности, и, имѣя задачей сначала улучшеніе воспитанія, распространеніе пригодныхъ для юношества свѣдѣній и чисто нравственно-христіанское направленіе, склонился потомъ къ содержанію масонскому и высказывалъ постоянно на страницахъ своихъ недовѣріе къ современной наукѣ и просвѣщенію. Общество уходило впередъ въ своемъ развитіи, а Невзоровъ не думалъ удовлетворять его потребностямъ. Никто изъ сколько-нибудь извѣстныхъ тогда литературныхъ талантовъ не принималъ участія въ журналѣ, и Невзоровъ принужденъ былъ довольствоваться писателями только что начинающими, неизвѣстными. Весь трудъ изданія лежалъ на одномъ издателѣ, но у него не было вовсе художественнаго таланта, а научныя статьи его писаны были исключительно съ педагогическими цѣлями. Въ объявленіяхъ своихъ о журналѣ Невзоровъ постоянно повторялъ, что не принимаетъ къ напечатанію эпитагмы, сатиры, комедіи, романы, ссылаясь въ этомъ случаѣ на нравственный долгъ свой и говорилъ, что не намѣренъ служить вкусу. Можно сказать положительно, что онъ боролся въ своемъ журналѣ со вкусомъ времени, съ духомъ вѣка, презиралъ ихъ, какъ и человѣческую науку, основанную на доводахъ и доказательствахъ, а не на мистикѣ, а потому и былъ все время изданія своего журнала цѣлю насмѣшекъ и эпитагмъ.

Невзоровъ былъ человѣкъ ученый, воспитанный въ строгой классической школѣ, а потому въ журналѣ его встрѣчается много статей, посвященныхъ древнему міру, міеологіи, исторіи и проч., но правильному и свободному взгляду на этотъ предметъ мѣшала исключительно религіозная точка зрѣнія, которая вела его къ поученію, да и статьи его не были самостоятельны, а составлялись по французскимъ переводамъ. На исторію всемірную Невзоровъ также смотрѣлъ съ нравственной точки зрѣнія, выдѣляя изъ нея только тѣ лица, которыя по содержанію своему сколько нибудь соответствовали его масонско-мистическому воспитанію въ школѣ Новикова и Шварца: таковы были вообще реформаторы и протестантскіе мистики, о которыхъ онъ говоритъ съ особеннымъ уваженіемъ. Но вся исторія новой Европы казалась ему только приготовленіемъ къ французской революціи, которую онъ ненавидѣлъ всѣми силами души своей. Постоянная война идетъ въ его журналѣ противъ энциклопедистовъ и вообще французской философіи XVIII вѣка. Здѣсь онъ высказывалъ свои собственныя сужденія, обязанныя существованіемъ масонскому воспитанію его. Статей, написанныхъ имъ противъ знаменитыхъ пред-

ставителей мысли въ XVIII вѣкѣ и противъ нѣмецкой науки, зарожженной, по мнѣнію Невзорова, тѣмъ же нехристіанскимъ направле-ніемъ,—въ журналѣ много. Нападѣнія его на западную науку особенно сильны въ статьѣ: „Все ли хорошо, что въ чужихъ земляхъ водится?“¹⁾ Съ своей точки зрѣнія онъ нападалъ на чрезвычайное развитіе преподаванія въ университетахъ и гимназіяхъ классическихъ писателей и почти совѣтовалъ замѣнить изученіе древнихъ поэтовъ изученіемъ псалмовъ Давида и другихъ священныякъ пѣсенъ, которыя, конечно, были гораздо нравственнѣе произведеній древней музы.

Современное развитіе естественныхъ наукъ въ Германіи было также не по вкусу Невзорову. Онъ не могъ примириться съ чисто опытнымъ ихъ направленіемъ и совѣтовалъ лучше вѣрить, чѣмъ прибѣгать къ какимъ-нибудь научнымъ гипотезамъ. Также своеобразно смотрѣлъ онъ на созданія нѣмецкой литературы. Шиллера бранилъ за то, что разбойниковъ сдѣлалъ героями, Гёте за его „безнравственнаго“ Вертера и за подобострастіе къ Наполеону. Онъ пророчилъ умственное паденіе Германіи. „Германія! говорилъ Невзоровъ. Я гласомъ соотчича твоего, сочинителя предлагаемой здѣсь статьи, реку тебѣ и всему бѣдотворною мудростію міра упоенному Вавилону, что ежели не престануть въ васъ толикія безумства и ослѣпленія поражать горестныя плоды свои, то вся мнимо-великая громада Вавилона, какъ брошенный въ море тяжелый жерновъ, погрязнетъ въ немъ и во всемъ пространствѣ владѣній его лживыя хитрости и изящества исчезнутъ, цвѣты поблекнутъ, свѣтъ погаснетъ и не будетъ слышно ни веселаго пѣнія, ни гласа жениха и невѣсты; възыщется кровь всѣхъ истинныхъ учителей, учащихъ словомъ и дѣломъ, избіенныхъ и избиваемыхъ мнимо—мудрыми вашими философами—мудрецами“²⁾ А для Германіи начиналось тогда только что время политическаго возрожденія. Яркій лучъ свѣта истиннаго просвѣщенія Невзоровъ общалъ Европѣ отъ Сѣвера, только что побѣдившаго втораго Навуходоносора. Отсюда и славянофильство Невзорова и постоянныя совѣты презрѣть западную наукою и западнымъ образованіемъ, остерегаться слѣпого подражанія. Онъ убѣжденъ, что иностранцы принесли намъ больше вреда, чѣмъ пользы. „Любезныя юноши! говоритъ Невзоровъ. Уважайте просвѣщенныхъ и добродѣтельныхъ иностранцевъ, но не перенимайте всего того, что водится, дѣлается и славится въ чужихъ краяхъ, а слѣдуйте во многомъ простодушнымъ своимъ предкамъ, подражайте имъ особливо въ томъ, что надлежитъ до Богопочитанія и будьте по

¹⁾ Другъ Юношества. 1811 г., Ноябрь.

²⁾ Ibid., 1819 г., Апрель.

примѣру ихъ привержены къ вѣрѣ, закону и религіи¹⁾. Эти убѣжденія и мысли особенно усилились въ Невзоровѣ со времени отечественной войны. Въ 1813 году онъ взялъ на свою отвѣтственность, кромѣ „Друга Юношества“, еще изданіе „Политическаго журнала“. Онъ издавался отъ московскаго университета, но издатель его, профессоръ Гавриловъ во время Наполеонова нашествія уѣхалъ изъ Москвы, и журналъ прекратился. По изгнаніи французовъ онъ отказался отъ продолженія изданія, и дѣло это добровольно и безвозмездно взялъ на себя Невзоровъ, по словамъ его, „для сохраненія чести университета и не желая лишить удовольствія читателей прерваніемъ столькихъ лѣтъ современной исторіи“. Невзоровъ продолжалъ изданіе журнала полтора года и наполнялъ его статьями противъ Наполеона, французовъ и „философіи міра сего“. Лучшія статьи его въ этомъ родѣ составили потомъ особое сочиненіе: „Наполеонова политика или царство гибели народной и состояніе Европейскихъ государствъ до войны 1812 года“. (М. 1813).

Въ „Другѣ Юношества“ Невзоровъ является и сатирикомъ-памфлетистомъ, рѣзко нападающимъ на современные нравы и на то, что казалось ему увлоненіемъ отъ настоящей нравственности. Въ журналѣ его встрѣчается множество мелкихъ замѣтокъ, высказанныхъ имъ по разнымъ поводамъ, нападеній на разныхъ мелкихъ слабости окружавшей жизни. Нападенія эти, впрочемъ, рѣдко попадали въ цѣль и едва ли могли имѣть какое-либо вліяніе на читателей по недостатку таланта въ ихъ авторѣ. Ихъ, конечно, любопытно изучить тому, кто желалъ бы всестороннимъ образомъ ознакомиться съ тогдашней эпохой, но вообще примѣръ Невзорова и его журнала, несмотря на твердость и честность его убѣжденій, несмотря порою даже на оригинальность его мысли, служить намъ доказательствомъ бесплодности масонско-мистическаго направленія въ литературѣ. Невзоровъ не понималъ современности, и, оставаясь вѣренъ полученному имъ направленію, онъ является какою-то аномаліей въ эпохѣ, какъ и вся мистика.

Вполнѣ мистическимъ писателемъ Невзоровъ не былъ; онъ не употреблялъ даже туманный и вычурный языкъ мистики, но, конечно, уважалъ ее и даже писалъ о ея значеніи и содержаніи. Такъ въ статьѣ своей, заключающей разборъ задачи, данной Геттингенскимъ ученымъ обществомъ, написать разсужденіе объ исторіи мистицизма, гдѣ мистицизмъ называется *родомъ философствованія*, Невзоровъ опровергаетъ это, говоритъ о сочиненіяхъ Таулера, Парацельза, Арндта и доказываетъ, что мистика есть „не что иное, какъ христіанское

¹⁾ Ibid., 1808 г., Ноябрь.

ученіе о дѣятельномъ послѣдованіи Іисусу Христу, или, что одно и то же, о любви къ Богу и ближнему“¹⁾. Такимъ образомъ, Невзоровъ желалъ какъ бы практическаго христіанства, но вмѣстѣ съ тѣмъ мистика, по его словамъ, должна учить не прямому, а таинственному смыслу св. Писанія, а это давало естественно широкое поприще личному произволу. Впрочемъ, чисто мистическихъ статей, гдѣ бы простой смыслъ христіанства смѣшивался съ мистическими выраженіями, и опредѣленнаго мистическаго направленія въ журналѣ Невзорова не было, и это спасло его отъ цензурныхъ преслѣдованій въ началѣ царствованія Александра, когда императоръ самъ еще не любилъ мистики, и она строго преслѣдовалась нашимъ духовенствомъ.

Бартеневъ, въ своей большой статьѣ, посвященной М. И. Невзорову²⁾, дѣлаетъ изъ него какого-то героя, исполненнаго высокой доблести и глубокаго сознанія своего долга не только въ жизненныхъ его отношеніяхъ, но и во всей литературной его дѣятельности. Въ жизни своей Невзоровъ былъ дѣйствительно глубоко честный человѣкъ, исполненный сознанія долга, безкорыстный и прямой, чуждый эгоистическихъ цѣлей, человѣкъ, каковыхъ вообще было очень мало въ нашемъ обществѣ, съ нѣсколькими оригинальными особенностями, какъ у многихъ старыхъ масоновъ,—лицо типическое въ своемъ родѣ. Въ запискахъ современнаго московскаго студента (Жихарева) сохранилось нѣсколько воспоминаній объ этой оригинальной личности, которая влекла къ себѣ даже вѣтренаго молодого человѣка: „Что за умный и добрый человѣкъ этотъ Максимъ Ивановичъ! какихъ гоненій онъ не натерпѣлся за свою рѣзкую правду и вѣрность въ дружбѣ, какъ искренно прощаетъ онъ врагамъ своимъ и какъ легко переноситъ свое положеніе! При всей своей бѣдности онъ не ищетъ ничьей помощи, хоть многие старинные сотоварищи его (масоны) принимаютъ въ немъ живое участіе и желали бы пособить ему. Ходитъ себѣ въ холодной шинелишкѣ по знакомымъ своимъ, большею частію изъ почетнаго духовенства, и не думаетъ о будущемъ. Говоритъ: *довольтъ днєви злоба єго*“³⁾. Въ такомъ же родѣ, какимъ-то стойкомъ является Невзоровъ и въ замѣткахъ о немъ Лопухина⁴⁾. По выходѣ въ отставку, получая пенсію по университетской службѣ, Невзоровъ постоянно однако нуждался, потому что всѣ деньги свои раздавалъ бѣднымъ. Изъ этихъ послѣднихъ лѣтъ жизни сохранилось о немъ нѣсколько анекдотовъ, рисуя-

¹⁾ Ibid., 1812 г., Янв., стр. 132.

²⁾ Русск. Вѣст. 1856 г., III.

³⁾ Записки Жихарева, стр. 21.

⁴⁾ Др. Юв. 1812, Ноябрь.

щихъ его какъ оригинала. Рассказываютъ, что онъ каждый день ходилъ къ обѣднѣ и послѣ словъ „оглашеннн изыдите“ всегда спѣшилъ выйти изъ церкви, считая себя недостойнымъ быть при окончанн обѣдни. Невзоровъ дожилъ до 1827 года и умеръ въ крайней бѣдности, такъ что при смерти нашлось у него нѣсколько копѣекъ, и друзья похоронили его на свой счетъ.

Что касается до значенн литературной дѣятельности Невзорова, то мы уже отчасти говорили о ней. Еслибъ онъ былъ вполне мистическимъ писателемъ, то мы и имѣли бы съ нимъ дѣло, какъ съ представителемъ этого рода идей, и смотрѣли бы на его сочиненн, какъ на извѣстное заблужденн ума человѣческаго, подѣ влияннемъ разныхъ историческихъ и общественныхъ обстоятельствъ. Но Невзоровъ желалъ быть публицистомъ, думалъ статьями своего журнала дѣйствовать на развитн общества и вести его къ опредѣленной цѣли. Для этого не достало у него ни таланта, ни знанн, ни достаточнаго знакомства съ духомъ времени. Положимъ, что онъ хотѣлъ бороться съ послѣднимъ, но во имя чего? Цѣль у него была неясна. Воспитанный европейскою наукою, всѣмъ обязанный ей, Невзоровъ сдѣлался потомъ недоволенъ ею и нападалъ на нее при всякомъ удобномъ случаѣ. За что же онъ не любилъ ее, были ли у него какня нибудь для того основанн? А не любилъ онъ науку за то, что она была наука и противорѣчила его сердечнымъ вѣрованнмъ. Примирить эти два противорѣчн онъ былъ не въ состоянн. Нападая на западное образованн, онъ не сознавалъ однакожь ясно, въ чемъ заключаются коренныя русскн основн, потому что не зналъ ихъ и не вдумывался въ нихъ. Источникомъ всѣхъ его сатирическихъ выводовъ было масонско-мистическое воспитанн, но мы знаемъ, какъ неопредѣленно было содержанн его. Однимъ словомъ, во всей литературной дѣятельности Невзорова было что-то недосказанное; вся она имѣетъ какой-то неопредѣленный и вмѣстѣ съ тѣмъ несимпатичный характеръ и о ней не стоило бы долго говорить въ исторн русской литературы, еслибъ не нужно было на этомъ оригинальномъ публицистѣ показать, какъ бесплодно было влиянн на общество масонско-мистическихъ началъ.

Съ гораздо болѣе опредѣленными чертами дѣятельности и стремленн является передъ нами въ Александровское время другой воспитанныкъ стараго московскаго общества масоновъ, глава петербургскихъ мистиковъ, дѣйствовавшн чрезвычайно энергически и плодovitо въ мистической литературѣ во все время царствованн Александра—А. *Ө. Лабзинъ*. Человѣкъ большого ума и значительнаго образованн, отличавшнся, по рассказамъ современниковъ, силою воли, энергнєю характера и практическою дѣятельностню, Лабзинъ образо-

валь вокруг себя довольно значительный кружок единомышленниковъ въ мистическомъ направленіи, изъ которыхъ сдѣлалъ своихъ сотрудниковъ, какъ въ журналѣ имъ издаваемомъ, такъ и въ многочисленныхъ переводахъ нѣмецкихъ мистическихъ сочиненій. Обладая значительною духовною силою, Лабзинъ господствовалъ въ этомъ кружкѣ деспотически и всѣ подчинялись его власти. Онъ давалъ тонъ и направленіе; онъ имѣлъ вліяніе. Лабзинъ пережилъ при Александрѣ гоненіе, торжество и снова гоненіе мистицизма. Когда онъ палъ и долженъ былъ отправиться въ ссылку, то извѣстный представитель ортодоксальной партіи духовенства, архимандритъ Фотій, словившій министра духовныхъ дѣлъ кн. А. Н. Голицина, называлъ его „гордый Лабзинъ, отецъ и ересіархъ“¹⁾. Съ этой стороны и съ другихъ Лабзинъ нажилъ себѣ много враговъ, но онъ былъ истинно увлеченный человекъ и глубоко преданный своему дѣлу — своеобразному пониманію христіанства. Его дѣятельность въ этомъ отношеніи, конечно, должна была возбуждать разные толки въ обществѣ, тѣмъ болѣе, что Лабзинъ вездѣ, не разбирая источниковъ, искалъ удовлетворенія своей духовной потребности. „Писатель, который въ теченіе двадцати лѣтъ непрестанно занимается изданіемъ христіанскихъ книгъ, по необходимости долженъ быть ненавидимъ и злословимъ, пишетъ о немъ Сперанскій къ Столыпину; для меня сіе не новость и сіе злословіе именно составляетъ его достоинство. Люди безъ религіи никакъ не понимаютъ, какъ можно ея заниматься постоянно, не бывъ сумасшедшимъ или лицемеромъ“²⁾ Александръ Федоровичъ Лабзинъ происходилъ изъ дворянъ и родился въ Москвѣ въ 1766 году. Первоначальное образованіе получилъ онъ дома и, по разсказу его воспоминаній, съ дѣтства любилъ ариметику, что сдѣлало его потомъ хорошо знакомымъ вообще съ математикою. Изъ дѣтства же, въ которомъ пробудилось въ немъ религіозное чувство, Лабзинъ вынесъ любопытное воспоминаніе о томъ, въ какомъ положеніи находилось тогда, да и теперь находится, въ образованныхъ русскихъ семействахъ чтеніе книгъ Св. Писанія, сравнительно не только съ протестантскими, но и съ католическими семействами. „Библию, если кто и не презиралъ вовсе, разсказываетъ Лабзинъ, то по крайней мѣрѣ почиталъ книгою, для церквей только потребною, для поповъ однихъ годною... Никто къ чтенію Библии не увѣщевался, и никто не предполагалъ, что Библия служитъ даже и къ просвѣщенію разума; напротивъ того, самые набожные люди имѣли тогда несчастную мысль,

¹⁾ Русск. Арх. 1363 г. I, стр. 851.

²⁾ Русск. Арх. 1870 г., стр. 1152.

что отъ чтенія священной сей книги люди съ ума сходятъ. Въ малолѣтствѣ моемъ я разъ наказанъ былъ отъ матери моей *изъ набожности* (?) за то, что читалъ Библию и предлагалъ въ стихи плачь Иереминъ“ ¹⁾. Воспоминаніе очень любопытное и весьма характерное.

Лѣтъ десяти Лабзинъ поступилъ въ гимназію, находившуюся при университетѣ, а въ 1780 г. сдѣлался уже студентомъ (четырнадцать лѣтъ). По разсказу самого Лабзина, въ университетѣ онъ занимался больше древними писателями, но изучалъ ихъ не для содержанія, а для языка и по выходѣ изъ университета, разумѣется, забылъ ихъ и не принимался за нихъ. Потомъ, впрочемъ, случайно прочитавъ сочиненіе Цицерона „О должностяхъ“ (*de officiis*), пораженный его чистыми понятіями о нравственности, Лабзинъ сталъ читать и другихъ древнихъ писателей и убѣдился, что „древніе вообще были ближе къ понятіямъ и истинамъ христіанскимъ, нежели мы, имѣющіе писанное евангеліе и называющіеся христіанами“. Лабзинъ сравниваетъ мысли Цицерона съ мыслями Бентама и ставитъ послѣдняго, конечно, гораздо ниже ²⁾. Очень рано, еще въ университетѣ, Лабзинъ подчинился нравственному вліянію кружка московскихъ масоновъ, которое воспитало его и на всю жизнь дало направленіе его духовной дѣятельности, сдѣлало его тѣмъ, чѣмъ онъ былъ, — мистикомъ. Вѣроятно, его способности и успѣхи обратили на него вниманіе со стороны профессора Шварца, набиравшаго умныхъ молодыхъ людей для масонскихъ цѣлей. Вліянію Шварца Лабзинъ обязанъ всѣмъ внутреннимъ содержаніемъ своимъ и съ глубокимъ чувствомъ передавалъ онъ потомъ, по воспоминаніямъ, какимъ образомъ Шварцъ спасъ его отъ современной философіи. „Издатель имѣлъ счастье, говоритъ Лабзинъ о себѣ, бывъ еще 15 лѣтъ, предостереженъ быть отъ такихъ преткновеній благодареніемъ одного просвѣщеннаго мужа, который въ самое то время, когда модные писатели поглощались съ жадностью незрѣлыми умами, принялъ на себя благородный трудъ разсѣять сіи возстающіе мраки, и безъ всякаго иного призыва, по сему единственно возбужденію, въ партикулярномъ домѣ, открылъ лекціи новаго рода для всѣхъ желающихъ. Съ ними разбиралъ онъ Гельвеція, Руссо, Спинозу, Ламетри и пр., сличалъ ихъ съ противными имъ философиами, и показывая разность между ними, училъ находить и достоинство каждаго. Какъ будто новый свѣтъ просіялъ тогда слушателямъ! Какое направленіе и умамъ и сердцамъ далъ сей благодѣтельный мужъ! Издатель съ благодарными

¹⁾ Сіонск. Вѣстн. VII, стр. 223—224.

²⁾ Сіон. Вѣст. I, стр. 22—23.

чувствованиями воспоминаетъ сію счастливую эпоху, составляющую и понынѣ первое благо въ его жизни. Главное, и для тогдашняго времени поразительное, явленіе было то, съ какою силою простое слово его исторгло изъ рукъ многихъ соблазнительныи и безбожныи книги, въ которыхъ, казалось тогда, весь умъ заключался, и помѣстило на мѣсто ихъ святую библію“... ¹⁾). Лекціи Шварца читались сначала у него на квартирѣ, а потомъ въ болѣе обширномъ помѣщеніи, въ домѣ Новикова. Они служили приготовительнымъ курсомъ для масонства. Нѣкоторые отрывки ихъ были напечатаны Невзоровымъ, тоже его слушателемъ, въ журналѣ „Другъ Юношества“. Эти лекціи возбудили недовѣріе университетскаго начальства и московскаго духовенства и были прекращены, но вліяніе ихъ на мистиковъ осталось на всю жизнь.

ЛЕКЦІЯ ХЛІ.

Литературная дѣятельность Лабзина — Юнгъ Штиллингъ.

Литературную дѣятельность свою Лабзинъ началъ подѣ вліяніемъ того же Новиковскаго кружка, которому былъ обязанъ своимъ нравственно-религіознымъ направленіемъ и отчужденіемъ отъ идей современной философіи. Первые студенческія произведенія его были напечатаны въ періодическомъ изданіи Новикова „Вечерняя Заря“ съ нравственно-религіознымъ содержаніемъ (М. 1782 г., 3 ч.), въ которомъ участвовали всѣ воспитанники Новиковской семинаріи. Одно изъ стихотвореній Лабзина, напечатанное въ этомъ журналѣ, именно „Французская Лавка“ ²⁾, удостоилось даже перепечатки въ „Собесѣдникѣ“, издававшемся подѣ покровительствомъ Екатерины ³⁾. Оно замѣчательно въ томъ отношеніи, что показываетъ направленіе мысли Лабзина въ эту пору, выражающее нелюбовь къ французскому вліянію на русскіе нравы. Содержаніе этой небольшой пьесы то же, что и комедіи Крылова „Модная Лавка“, и осмѣиваетъ тѣхъ, которые покупаютъ за дорогую цѣну гнилой французскій товаръ. Смерть Шварца, оплакиваемая всѣми почитателями и учениками его, была почтена торжественнымъ собраніемъ единомышленниковъ, на которомъ произносились рѣчи и читались стихи въ честь его. И Лабзинъ написалъ также по этому поводу стихи,

¹⁾ Сіон. Вѣст. VII, стр. 222.

²⁾ Вечерн. Заря, ч. II, стр. 230.

³⁾ Собесѣдникъ, XI, стр. 23—26.

въ которыхъ говорить объ общемъ и своемъ собственномъ горестномъ чувствѣ. Такимъ образомъ, Лабзинъ, подобно многимъ другимъ, началъ свою литературную дѣятельность стихотвореніями. Одно изъ нихъ обратило даже на него вниманіе власти. Это была „Торжественная Пѣсь Екатеринѣ II“, написанная Лабзинимъ и поднесенная вмѣстѣ съ другими подобными одами отъ Университета, отъ благороднаго университетскаго пансіона, отъ Духовной Академіи по случаю пріѣзда императрицы въ Москву изъ ея извѣстнаго путешествія въ Крымъ (М. 1787). За эту оду Лабзинъ получилъ награду. Лабзинъ и потомъ часто употреблялъ стихи въ своихъ сочиненіяхъ, но случайно, не стараясь писать много. Тогда же для типографіи Новикова, а всего вѣроятнѣе для денегъ, онъ сдѣлалъ два перевода, въ которыхъ, однако, не было ничего общаго съ послѣдующею его литературною дѣятельностью мистическаго содержанія. То были „Фигарова женьитба“ комедія Бомарше (М. 1787) и „Судья“ комедія Мерсье (М. 1788). Лабзинъ былъ еще очень молодъ, не писалъ ничего въ масонско-мистическомъ направленіи, повидимому, не былъ въ близкихъ дружескихъ связяхъ ни съ еѣмъ изъ старыхъ мартинистовъ, когда разразилось надъ ними преслѣдованіе власти, такъ что оно нисколько не коснулось его, даже имя Лабзина не встрѣчается въ процессѣ. Лабзинъ въ теченіе долгихъ лѣтъ, до самой ссылки своей, служилъ по разнымъ вѣдомствамъ и былъ очень усерднымъ и исполнительнымъ чиновникомъ. Его служебной дѣятельности не мѣшали, однако, литературные труды, его издания и переводы въ мистическомъ родѣ, которые онъ предпринималъ въ очень значительномъ количествѣ. Это соединеніе двухъ жизненныхъ работъ, изъ которыхъ одна не мѣшала другой, можно объяснить, мы думаемъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что мистико-литературная дѣятельность Лабзина, несмотря на то, что она удовлетворяла его сердечному влеченію и соотвѣтствовала его вкусамъ и направленію, не была, однако-жъ, оригинальною, а потому и не могла всецѣло поглотить его.

Познакомившись въ университетѣ, а всего болѣе въ Новиковской семинаріи съ языками французскимъ и нѣмецкимъ, Лабзинъ, по выходѣ изъ университета, поступилъ на службу переводчикомъ въ Московское губернское правленіе, черезъ три года перешелъ къ той же должности въ конференцію Московскаго университета, а въ 1789 году перешелъ на службу въ Петербургъ, изъ котораго и не выѣзжалъ до самой ссылки своей. Здѣсь служилъ онъ сначала въ секретной экспедиціи С.-Петербургскаго почтамта (т.-е. онъ долженъ былъ слѣдить за иностранными газетами, чтобъ не проскользнуло въ русскую публику что-нибудь для нея непригодное, и, безъ сомнѣнія, перечитывать подозрительныя письма). Царствованіе Павла нѣсколько вы-

двинуло его впередъ. Въ 1799 году онъ перемѣненъ въ коллегію иностранныхъ дѣлъ и назначенъ историографомъ ордена Іоанна Іерусалимскаго, т.-е. мальтійскихъ рыцарей, гротмейстеромъ которыхъ, къ полному своему удовольствію, сдѣлался тогда императоръ Павелъ. Въ качествѣ историографа ордена, Лабзинъ надаль, вмѣстѣ съ А. Вахрушевымъ, исторію ордена (С.-ПБ. 1799—1801, 5 ч.), за что получилъ значительные подарки отъ Павла, хотя и эта исторія не была самостоятельнымъ трудомъ Лабзина, а переводомъ сочиненія Верто. Императоръ Александръ также обратилъ на него вниманіе, и Лабзинъ быстро возвышался по службѣ, получая чины, ордена и высочайшіе подарки. Въ 1804 году Лабзинъ былъ уже дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ и сдѣлался директоромъ департамента военныхъ морскихъ силъ. Еще прежде, при Павлѣ, по Высочайшему повелѣнію онъ сдѣлался конференцъ-секретаремъ Академіи художествъ и по этому званію часто приводилось ему произносить рѣчи на торжественныхъ собраніяхъ академіи. Эту должность Лабзинъ не оставлялъ до конца своей дѣятельности, а впоследствии былъ даже вице-президентомъ Академіи. До 1804 года, когда служебное положеніе Лабзина упрочилось, когда онъ сталъ пользоваться уваженіемъ и извѣстностью въ соединеніи съ достаточнымъ жалованьемъ, когда онъ завелъ знакомства и литературныя связи, мы не видимъ въ дѣятельности его, какъ писателя, ничего особеннаго. Онъ не выказывалъ ни литературнаго таланта, ни направленія, которое приобрѣло ему потомъ такую извѣстность. Въ 1804 году Лабзинъ напечаталъ переводъ съ французскаго „Диѳирамбъ на безсмертіе души“ Делиля, въ которомъ не было ничего, кромѣ обыкновенныхъ поэтическихъ фразъ. Но тогда уже началась усиленная литературная дѣятельность Лабзина въ мистическомъ направленіи, состоявшая во множествѣ переводовъ съ нѣмецкаго и въ оригинальномъ собственномъ изданіи,— дѣятельность, которая сдѣлала имя Лабзина всѣмъ извѣстнымъ, приобрѣла ему враговъ и поклонниковъ, вызвала то преслѣдованіе, то сочувствіе со стороны власти, а главное представила нѣсколько любопытныхъ страницъ изъ исторіи русскаго общества. На новыхъ переводахъ и изданіяхъ Лабзина мы не встрѣчаемъ даже его имени; оно скромно замѣняется буквами: *У. М.*

Литературная дѣятельность Лабзина въ мистическомъ направленіи удовлетворяла прежде всего его самого, человѣка, воспитаннаго и едшествовавшимъ масонствомъ, искренне преданнаго христіанству и искавшему разными способами, не разбирая ихъ сущности и содержания, удовлетворить своему религіозному исканію истины. Такъ, въ послѣдствіи, когда послѣ великихъ всемірныхъ событій, которыя пришлось пережить и русскому обществу, оно, потрясенное этими со-

бытіями, невольно впало въ мистическое состояніе, думало видѣть воочию Бога посреди громаднѣхъ волненій времени и склонялось естественно къ мистическому міросозерцанію, когда Александръ, на верху возможной человѣческой славы, сталъ прислушиваться къ голосу разныхъ пророковъ и пророчицъ, всегда появляющихся посреди великихъ историческихъ переворотовъ, когда большинство, чуждое вѣрнѣкаго умственнаго образованія и лишенное положительныхъ знаній, бросилось въ экстатическую молитву и религиозный восторгъ— и Лабзинъ сталъ искать удовлетворенія своей религиозной потребности въ пророческихъ собраніяхъ г-жи Татариновой ²⁾ Эти колебанія и эти заблужденія были совершенно естественны при сильно возбужденномъ религиозномъ чувствѣ. У Лабзина не было богословскаго образованія, да и никакое богословіе не въ состояніи удовлетворить сердечному чувству вѣры; въ официальной церкви, въ сношеніяхъ съ ея представителями, всего менѣе могло быть удовлетворено это чувство, а между тѣмъ масонское воспитаніе постоянно твердило ему о таинственномъ смыслѣ христіанства, о „внутренней“ церкви, такъ не похожей на наружную, приготовило его къ туманнымъ представленіямъ, къ неопредѣленнымъ, но говорящимъ неясному чувству символамъ и фигурамъ. и онъ нашелъ удовлетвореніе въ современныхъ ему мистическихъ писателяхъ Германіи, въ которыхъ такъ же, какъ и въ немъ, господствовало броженіе религиозной мысли, произведенное масонствомъ и иллюминатствомъ прошлаго вѣка. Эти писатели, въ противоположность ортодоксальному протестантскому богословію, обращались не къ наукѣ, а къ простому чувству народа и умѣли заинтересовать его содержаніемъ своихъ сочиненій, въ которыхъ весьма часто неподдѣльное поэтическое чувство соединялось съ экстатическими видѣніями о загробной жизни, всегда интересовавшими народное воображеніе. Къ этому содержанію произведеній тогдашнихъ нѣмецкихъ мистиковъ надобно присоединить еще свойственное имъ мистическое представленіе о современномъ революціонномъ переворотѣ, только что пережитымъ европейскимъ міромъ, представленіе о тяжелой бурѣ, въ видѣ гнѣва Божія разразившейся надъ человѣчествомъ, но произведенной *буйствомъ разума*, вышедшаго изъ опредѣленій религіи. Эта мистическая ненависть къ французской революціи, весьма ясно высказываемая въ каждомъ сочиненіи нѣмецкихъ мистиковъ, сдѣлала ихъ весьма любезными для тогдашнихъ потентатовъ Европы, и въ годы начинавшейся реакціи мистицизмъ сдѣлался однимъ изъ дѣйствительныхъ полицейскихъ средствъ для вышшаго усыпленія „мир-

²⁾ Тр. Кіев. Дух. Ак. 1863 г., III, стр. 175—176.

ныхъ народовъ“. Вотъ почему онъ и у насъ пользовался покровительствомъ правительства. Лабзинъ и нѣсколько писателей одного съ нимъ направленія, людей имъ возбужденныхъ, были главными проводниками этого рода мистическихъ идей въ нашу литературу. Оригинальная дѣятельность ихъ была крайне ничтожна. Весь трудъ этихъ людей заключался главнымъ образомъ въ переводахъ съ нѣмецкаго двухъ прославленныхъ и возвеличенныхъ ими мистиковъ, Эккартсгаузена и Юнга Штиллинга. Эти переводы наводняли русскую литературу съ первыхъ годовъ нашего вѣка до послѣднихъ годовъ царствованія Александра и представляютъ, среди другихъ болѣе жизненныхъ теченій и явленій, какой-то мутный источникъ, ни съ чѣмъ не сопривасащійся, но въ которомъ тонули умы, въ сожалѣнію, не малаго числа читателей. Эта переводная мистическая литература изъ вліятельной и преобладающей очень скоро перешла на толкучіе рынки или хранилась какъ драгоценность въ бібліотекахъ старыхъ мистиковъ, пережившихъ ея рожденіе, процвѣтаніе и смерть. Но въ свое время она шумѣла, имѣла большое общественное значеніе, а потому вполнѣ заслуживаетъ нѣсколькихъ страницъ въ исторіи умственнаго движенія нашего общества.

Эккартсгаузенъ и Юнгъ Штилингъ—вотъ два авторитета нашихъ мистиковъ, которымъ они слѣпо подчинялись, два вдохновенные небесною силою мыслителя, два христіанскіе пророка, которыхъ каждое слово было драгоценно для нихъ. О первомъ и его значеніи въ умственномъ развитіи Германіи мы уже имѣли случай говорить. Юнгъ Штилингъ гораздо болѣе оригинальная и талантливая личность; его сочиненія имѣли въ свое время большое вліяніе на читателей, а его разнообразная, исполненная самыхъ пестрыхъ приключеній жизнь, чрезъ которую постоянно проходитъ религіозно-мистическое, страстное увлеченіе, невольно приковывала къ себѣ вниманіе лучшихъ людей времени. Объ этой личности необходимо сказать нѣсколько словъ, хотя бы для того, чтобъ сравнить богатство нѣмецкой духовной жизни съ чрезвычайною бѣдностью нашей, для доказательства существенной разности между волненіями мысли въ Германіи и неподвижностію ея у насъ. Жизнь Штиллинга описана довольно подробно имъ самимъ и друзьями его по смерти; она занимательна какъ романъ ¹⁾.

Юнгъ Штилингъ былъ сынъ народа и вышелъ изъ среды его, но было бы весьма ошибочно представлять поэтому, что онъ внесъ въ литературу здоровое, крѣпкое содержаніе. Нѣмецкій народъ въ

¹⁾ Русскій переводъ — Лабзина, части 1—3. Спб. 1816—1818 г., 12°.

своей долгой исторической жизни подчинялся такимъ разнообразнымъ вліяніемъ, что въ немъ трудно искать непосредственной простоты и естественности, да и духовная сфера всякаго простаго народа окружена такимъ суевѣріемъ и такими нездоровыми вліяніями, что только сильные умы выбиваются изъ нея и то тогда, когда они попадутъ на настоящій путь развитія. Они стремятся вырваться изъ этихъ жалкихъ отношеній, возбужденные случайнымъ чтеніемъ, которое остается для нихъ на половину понятнымъ и даетъ очень смутный идеаль для жизни и дѣятельности. Почти вездѣ религиозное чувство или піетизмъ является посредствующимъ звеномъ между бѣдною грубою жизнію и образованіемъ. Ремесленники, крестьяне въ земляхъ протестантскихъ недовольны проповѣдью пастора, которая не раскрываетъ передъ ними глубокихъ божественныхъ тайнъ и не удовлетворяетъ ихъ возбужденнаго религиознаго чувства. Библия дѣлается ихъ любимымъ предметомъ чтенія, по своему истолковываютъ они ея изреченія и приходятъ въ мистическій восторгъ. Почти то же происходитъ и въ нашемъ такъ называемомъ расколѣ. Это даетъ возможность такимъ людямъ говорить о религіи съ извѣстнымъ отѣнкомъ поэзіи и не безъ нѣкотораго образованія—слѣдствія начитанности. Понемногу пріучаются они говорить, разсуждать и спорить о предметахъ религиозныхъ, получаютъ авторитетъ и слушателей. Такая духовная жизнь распространена почти во всей Германіи; въ ней суевѣріе, піетизмъ и шарлатанизмъ всякаго рода соединяются въ одно смутное цѣлое. Такая жизнь господствовала и въ той мѣстности, гдѣ родился Юнгъ Штиллингъ (деревня Грундъ, Нассау Зигенскаго великаго герцогства, въ Вестфалии). Юнгъ родился въ 1740 году въ простой семьѣ, въ которой уже давно господствовалъ такого рода мистицизмъ. Его дѣдъ съ отцовской стороны былъ угольщикъ, но былъ начитанъ и въ библии и въ народныхъ книгахъ и любилъ богословскіе споры; къ тому-жъ онъ былъ духовидцемъ; другой дѣдъ со стороны матери занимался алхиміей; дядя мечталъ о квадратурѣ круга, а отецъ, болѣзненный, робкій портной, съ ранней юности былъ знакомъ съ послѣдователями Бема и Парацельза. Такимъ образомъ Юнгъ Штиллингъ стоялъ какъ бы на распутьи между піетистами и свободными умами, чьихъ мысли проникали и въ мастерскую его отца. Но онъ рѣшительно всталъ на сторону піетизма. Движенія свободной мысли и просвѣщенія, которое наполняло Германію въ XVIII вѣкѣ, какъ бы не существовало для него, вліяніе среды и семейныхъ преданій было гораздо могущественнѣе, и Штиллингъ сдѣлался мистикомъ. Чохоточная мать Штиллинга умерла очень скоро; онъ почти не помнилъ ея, и заботы о его воспитаніи легли на отца, дѣда и бабу. Строгость отцовская пріучила мальчика ко лжи, а дѣдъ познакомилъ его съ

богословскими вопросами, такъ что пасторъ, экзаменовавшій его на девятомъ году, пораженный знакомствомъ Штиллинга съ библейскими текстами, принужденъ былъ сказать семьѣ: „Сынъ вашъ перещеголяетъ всѣхъ своихъ предковъ, продолжайте только держать его подъ розгою, и онъ будетъ великимъ человѣкомъ“. Была рѣчь и о томъ, чтобъ учить Штиллинга, но бѣдность семьи и опасенія отца и пастора, чтобъ это не было бесполезно, разрушили это намѣреніе. Пришлось ему учиться портняжному ремеслу отца, къ которому онъ не чувствовалъ никакой охоты, сознавая въ душѣ другія наклонности и стремленія и жалуясь на провидѣніе, что оно не давало возможности удовлетворить ихъ. Его беспорядочное и разнообразное чтеніе, состоявшее изъ библии, средневѣковыхъ романовъ, Фенелона, Гомера, Омы Кемпійскаго, сильно возбуждало его воображеніе; Штилингъ представлялъ себя героемъ чудесныхъ приключеній, а бѣдная мастерская портного наполнялась странными, фантастическими образами. Міръ внѣшній за ея предѣлами лежалъ въ неясныхъ смутныхъ очеркахъ для его представленія. Этотъ міръ былъ ему вовсе неизвѣстенъ; онъ казался ему нехристіанскимъ, языческимъ, — особенно большой свѣтъ.

Попалъ, наконецъ, Штилингъ и въ сельскую школу, выучился латинскому языку по собственному методу, безъ грамматики, но все ученіе его, какъ и чтеніе книгъ, шло беспорядочно. На 17 году доставили Штилингу по сосѣдству мѣсто школьнаго учителя; это былъ первый опытъ его практической дѣятельности; онъ возобновлялъ его нѣсколько разъ, но всегда безъ успѣха. То не нравилось сельской общинѣ, что онъ училъ дѣтей азбукѣ по игральнымъ картамъ, то пасторъ приходилъ въ негодованіе, что онъ посвящаетъ учениковъ въ таинства ариметики. Нѣсколько разъ лишали его должности школьнаго учителя, и Штилингъ принужденъ былъ возвращаться снова въ отцовскую мастерскую; пребываніе въ которой сдѣлалось ему невыносимо, въ особенности съ тѣхъ поръ, какъ отецъ его женился во второй разъ. Въ душѣ его затаилась глубокая печаль; ему казалось, что онъ живетъ въ чужой землѣ, оставленный всѣми. Его душевное состояніе въ ту пору, по его собственному изображенію, было чрезвычайно оригинально: когда свѣтило солнце, Штилингъ чувствовалъ, что его страданія удваивались; переměна свѣта и тѣни осенью возбуждала въ немъ самое горькое чувство; когда же, напротивъ, была ненастная, бурная погода, ему чувствовалось лучше; ему казалось, что онъ сидитъ въ глубокой горной пещерѣ, и хорошо ему было въ сознаніи полной безопасности. Такое настроеніе духа выразилъ онъ въ пѣсняхъ своихъ, въ которыхъ находилъ полное утѣшеніе. Разъ встрѣтилъ онъ умнаго пастора, который ему дока-

заль, что его страданія суть испытанія, ниспосланныя Богомъ, котораго онъ оскорбилъ своею гордостію и честолюбіемъ. Въ полномъ душевномъ сокрушеніи воскликнулъ тогда Юнгъ: „Ахъ! сердце мое есть самое живое созданіе на землѣ, созданной Богомъ. Я всегда думалъ, что у меня есть искреннее желаніе служить своими познаніями Богу и высшимъ интересамъ, но въ дѣйствительности выходитъ это неправда: я хочу сдѣлаться только великимъ человѣкомъ“.

Послѣ разныхъ неудачныхъ опытовъ на родинѣ, Юнгъ весной 1761 года, когда ему исполнилось 21 годъ, пустился въ странствіе, безъ всякой опредѣленной цѣли, просто искать счастья. Одинъ богатый человѣкъ сдѣлалъ его у себя домашнимъ учителемъ дѣтей, но въ его домѣ Юнгъ чувствовалъ себя вполнѣ несчастнымъ человѣкомъ и черезъ годъ, послѣ разныхъ колебаній и нерѣшительности, бѣжалъ изъ этого дома. Разъ, во время странствованія, Юнгъ зашелъ въ семью портного и тамъ услышалъ, какъ хозяинъ объяснялъ ученикамъ своимъ, что отъ собственной воли человѣческой зависитъ главнымъ образомъ возможность непосредственнаго дѣйствія Спасителя на душу. Глубокая радость, по разсказу Штиллинга, наполнила его душу, онъ узналъ, что находится посреди набожныхъ людей, онъ не могъ болѣе удерживаться и началъ плакать, безпрестанно восклицая: „Господи! я дома, я дома!“ Разъ на прогулкѣ посѣтила его благодать свыше. Онъ шелъ задумавшись и, нечаянно взглянувъ вверхъ, увидѣлъ легкое облако прямо надъ своею головою. Съ этимъ вмѣстѣ какая-то непонятная для него сила проникла въ его душу, ему сдѣлалось необыкновенно хорошо; онъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ и едва могъ удержаться, чтобъ не упасть. Съ этой минуты Штилингъ почувствовалъ въ себѣ непобѣдимое стремленіе посвятить всю жизнь свою для прославленія Бога и для блага людей. Любовь его къ Отцу всѣхъ людей и къ божественному Искупителю, какъ и вообще ко всѣмъ людямъ, въ эту минуту была такъ велика, что онъ охотно пожертвовалъ бы свою жизнь, еслибъ то было нужно. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ ощущалъ непреборимое стремленіе — наблюдать за своими мыслями, дѣлами и словами, чтобъ они, соотвѣтствуя божественной волѣ, были пріятны и полезны. Тотчасъ же заключилъ Штилингъ твердый и неразрывный союзъ съ Богомъ и далъ обѣтъ подчиняться съ этихъ поръ единственно его руководству, не имѣть въ душѣ никакихъ пустыхъ желаній, но, если Богу будетъ угодно, чтобъ онъ на всю жизнь остался ремесленникомъ, то онъ долженъ подчиниться этому охотно и съ полною радостію.

Въ другой разъ Штилингъ очутился въ лѣсу, безъ копѣйки въ карманѣ. „Пришелъ часъ, восклицаетъ онъ, когда великое слово Спасителя должно исполниться надо мною: „ни одинъ волосъ съ

главы вашей не упадетъ безъ воли моей“. Если это правда, то ко мнѣ должна явиться скорая помощь, ибо я до сихъ поръ на нее надѣялся и вѣрилъ этому слову. „Я такое же созданіе Божіе, какъ та птичка, которая поетъ на деревьяхъ и находитъ себѣ пищу, когда въ ней нуждается“. Богъ, въ самомъ дѣлѣ, помогъ Штиллингу. Черезъ нѣсколько времени онъ поселяется у богатаго купца и этому приходитъ въ голову однажды, что настоящее призваніе Штиллинга быть врачомъ. Это открытіе поражаетъ Штиллинга какъ молнія; онъ падаетъ въ обморокъ. „Да, восклицаетъ онъ, я чувствую въ душѣ своей, что это и есть то великое дѣло, которое постоянно было скрыто для меня, которое я такъ долго искалъ и не могъ найти. Для него небесный отецъ приготовлялъ меня тяжелыми испытаніями. Да прославится имя премилосерднаго Бога, что онъ открылъ наконецъ мнѣ волю свою; смѣло пойду я теперь впередъ по его указанію“.

Это „божеское указаніе“ подрѣпляется еще тѣмъ обстоятельствомъ для ума Штиллинга, что какой-то чахоточный старикъ заѣмаетъ ему рецептъ противъ глазныхъ болѣзней. Другое божеское указаніе такого же рода приводитъ Штиллинга довольно неожиданнымъ образомъ къ браку съ болѣзненною дочерью одного купца. Теперь рѣшается онъ изучать науку на тридцатомъ году жизни. Онъ не выбралъ еще мѣста, гдѣ учиться, и ждетъ для того указаній отъ небеснаго Отца; ибо, если онъ вздумалъ учиться изъ „искренней вѣры“, то уже ни въ чемъ не долженъ слушаться своей воли. О средствахъ онъ не заботится.

Штиллингъ разсуждаетъ такимъ образомъ: „Богъ ничего не начинаетъ, а если начнетъ, то приводитъ къ концу какъ слѣдуетъ; истина въ томъ, что онъ устроилъ мое настоящее положеніе, безъ всякаго содѣйствія моей воли, а слѣдовательно, справедливо, что онъ доведетъ до конца мое призваніе... Тотъ, кто тотчасъ же выслушиваетъ молитву человѣческую и видимымъ образомъ и чудесно руководитъ судьбою человѣческою, долженъ быть бесспорно настоящимъ Богомъ, и ученіе его есть слово Божіе. Отъ самаго дѣтства я поклонялся Иисусу Христу, какъ моему Богу и Спасителю, и молился ему; онъ слышалъ меня въ моихъ нуждахъ и чудеснымъ образомъ помогалъ мнѣ. Слѣдовательно Иисусъ Христосъ бесспорно есть истинный Богъ, его ученіе есть слово Божіе и его религія — истинная.“ Издатель автобіографіи Штиллинга, знаменитый Гете, совершенно справедливо замѣчаетъ по поводу этихъ мыслей: „Я охотно предоставляю каждому устраивать его жизнь, какъ ему кажется лучше, но все доброе, что встрѣчается намъ на дорогѣ жизни посреди различныхъ приключеній, приписывать непосредственному божественному вліянію, кажется мнѣ

довольно дерзкимъ и притязательнымъ, а представленіе—всѣ тяжелыя и дурныя послѣдствія, вытекающія изъ нашего легкомыслія и заблужденія, считать за божественное воспитательное средство, никакъ не примиряется, съ моею мыслию“.

Съ такими убѣжденіями и съ такимъ приготовленіемъ въ 1769 году Юнгъ Штиллингъ явился въ Страсбургъ изучать медицину.

Легкомысліе, съ какимъ онъ дѣлалъ здѣсь долги въ томъ убѣжденіи, что казначеемъ у него Богъ, является весьма страннымъ въ человѣкѣ тридцати лѣтъ, въ нѣмцѣ, конечно, а не въ русскомъ. Здѣсь Штиллингъ познакомился съ Гете и Гердеромъ, которые приняли въ немъ дружеское участіе. Первый рельефно нарисовалъ его фигуру на двухъ страницахъ въ своихъ „Dichtung und Wahrheit;“ ему нравились наивные рассказы Штиллинга, и онъ побудилъ его описать свою жизнь. Въ 1772 году Штиллингъ окончилъ свой экзаменъ и поселился въ Эльберфельдѣ въ качествѣ врача. Мѣсто это не приносило доходовъ; но Штиллингъ приобрѣлъ себѣ нѣкоторую извѣстность, какъ глазной врачъ, и это дало поводъ одному богатому франкфуртскому купцу въ началѣ 1775 г. пригласить его за значительное вознагражденіе сдѣлать ему операцію. Операція эта не удалась, и Гете, у котораго онъ жилъ тогда, очень наглядно описываетъ тѣ совершенно естественныя упреки совѣсти, которые мучили Штиллинга, когда онъ понималъ, какъ легкомысленно взялся безъ всякаго приготовленія за трудное дѣло. Онъ узналъ, что пребываніе его въ Эльберфельдѣ не можетъ быть продолжительно, и Богъ снова выручилъ его изъ бѣды. Чтобы поправить свое стѣсненное положеніе, Штиллингъ издалъ нѣсколько сочиненій по технологіи, по сельскому хозяйству и по лѣсоводству. На основаніи этихъ сочиненій въ 1778 году правительство Пфальца пригласило его въ качествѣ профессора камеральныхъ наукъ въ Кайзерслаутернъ: новую науку онъ зналъ такъ же мало, какъ и прежнюю. Здѣсь началась его литературная дѣятельность.

ЛЕКЦІЯ XII.

Сочиненія Штиллинга.—Журналъ «Сіонскій Вѣстникъ».—Заключеніе.

Литературная дѣятельность Юнга Штиллинга, кромѣ довольно значительнаго числа руководствъ, которыя онъ составлялъ для своихъ слушателей въ качествѣ преподавателя по лѣсоводству, сельскому хозяйству, фабричному дѣлу, наукѣ о торговлѣ, ветеринарному искусству, полицейскому праву, камеральнымъ наукамъ, а также множества статей по вопросамъ экономическимъ и статистическимъ, находилась въ довольно близкомъ отношеніи къ духовнымъ волне-

ніямъ въ Германіи, которыя онъ самъ пережилъ. Какъ спеціалистъ по камеральнымъ наукамъ, Штиллингъ не получилъ никакой извѣстности. То, о чемъ писалъ онъ, узналъ онъ самоучкою и случайно. Другія его сочиненія, которыя находились въ близкомъ отношеніи къ тому, что онъ пережилъ внутри себя, нашли ему много поклонниковъ, особенно тѣ, которыя были имъ писаны впоследствии, когда онъ сталъ самоувѣреннѣе въ своихъ убѣжденіяхъ; почти всѣ они были переведены у насъ Лабзинимъ и кружкомъ его поклонниковъ и печатались каждое по нѣскольку разъ.

Штиллингъ, несмотря на свою добродушную натуру, началъ полемику. Къ такого рода литературной дѣятельности побудили его извѣстные піетисты прошлаго вѣка—брата Якоби, и онъ выступилъ защитникомъ піетизма противъ очень извѣстнаго тогда рационалиста въ Берлинѣ, Николаи, котораго вся литературная дѣятельность посвящена была борьбѣ съ піетизмомъ. Въ этой полемикѣ противъ Николаи Штиллингъ борется съ невѣріемъ и рационализмомъ не логикою, не разумными доводами, а ссылается на чудесныя событія своей жизни, на то, что Іисусъ Христосъ видимо услышалъ его вздохи. Это было для него важнѣе всевозможныхъ доказательствъ; живая вѣра присутствовала въ его сердцѣ и онъ утверждалъ, что христіанство основывается только на историческихъ фактахъ и на собственномъ душевномъ опытѣ, а потому изъ всѣхъ доказательствъ не выдѣлеть ничего, кромѣ язычески-морально-философскаго христіанства, которое будетъ нисколько не лучше религіи Магомета, Конфуція и т. п. Это, конечно, удовлетворяло вполне нашихъ мистиковъ.

Штиллингъ не допускалъ голоса разума въ предметахъ вѣры, и вся полемика его противъ современнаго рационализма служить тому доказательствомъ: она выразилась во многихъ статьяхъ и въ особенности въ извѣстной „Великой панацеей противъ болѣзни невѣрія“ (1776). Штиллингъ писалъ очень легко и много; сочиненія его съ этимъ содержаніемъ, которое онъ сталъ считать теперь призваніемъ своей жизни, быстро слѣдовали одно за другимъ. Формою для своихъ произведеній онъ выбралъ теперь романъ. Основою этихъ романовъ всегда былъ нравственно-религіозный интересъ; въ нихъ является онъ ожесточеннымъ противникомъ философскаго атеизма, хотя самъ онъ, страннымъ образомъ, послѣ изданія своей автобіографіи былъ подозрѣваемъ жителями Эльберфельда въ свободомысліи. Для оправданія себя въ такомъ обвиненіи онъ напечаталъ „Исторію господина Моргантау“ (1779), романъ, въ которомъ онъ упрекаетъ и піетистовъ за ихъ удаленіе отъ міра и за недостатокъ общественнаго смысла. За нимъ слѣдовалъ „Флорентинъ фонъ Фаллендорнъ“ (1781—1783),— сочиненіе, во многомъ напоминающее его жизнеописаніе, которое онъ

вообще любилъ повторять, но, по выраженію Гервинуса, тутъ была только капля его прежней наивности, разведенная уже въ ведрѣ воды; тенденціозность становится на первомъ планѣ. Также точно изъ жизненнаго своего опыта Штиллингъ взялъ содержаніе для своего новаго, болѣе другихъ замѣчательнаго романа: „Ѳеобальдъ или мечтатели, истинная повѣсть“ (1784—1785) съ эпиграфомъ: „По срединѣ дороги идти всего безопаснѣе“ (русскій переводъ Ѳ. Лубяновскаго, 4 ч. М. 1819. 8^о). Цѣль этого сочиненія, по словамъ Штиллинга, заключается въ томъ, чтобъ „показать соотечественникамъ моимъ, что путь къ временному и истинному благополучію проходитъ посрединѣ между невѣріемъ и мечтаніемъ“. Разсматривая произведеніе это съ художественной стороны, мы не найдемъ въ немъ ничего, кромѣ безсвязнаго матеріала, взятаго изъ жизненнаго опыта самого автора; онъ не далъ ему почти вовсе обработки. Ему казалось, что и не стоитъ труда обрабатывать содержаніе, интересное само по себѣ. Все содержаніе „Ѳеобальда“ направлено, казалось, противъ злоупотребленій піэтизма, а между тѣмъ Штиллингъ защищаетъ здѣсь піэтизмъ, какъ поэзію жизни. „Вѣрить въ библію, со всѣмъ чудеснымъ ея содержаніемъ, говорить по поводу этого романа Гервинусъ, есть уже требованіе не критической, совершенно неспособной къ сравнительному мышленію головы, и такую бесполезную жизнь, какъ жизнь піэтиста — называть хорошею, — свидѣтельствуетъ объ умѣ, который недалеко ушелъ въ политической экономіи“. „Зачѣмъ, спрашиваетъ Юнгъ, вы считаете великимъ геніемъ того человѣка, котораго душа постоянно носится въ царствѣ фантазіи и выводитъ оттуда поэтическія созданія? Его вы не порицаете; напротивъ, если богатая фантазіей голова считаетъ религію за предметъ, достойный себя, и имѣетъ о ней *романтическія* представленія—вы осуждаете такого человѣка“. Едва ли, однако, можно согласиться съ Штиллингомъ, даже примирясь съ поэтической стороною піэтизма, что въ представленіи, напр., близкаго Страшнаго Суда заключается какое-то сладкое чувство.

Въ Кайзерслаутернѣ, гдѣ Штиллингъ никакъ не могъ освободиться отъ долговъ, онъ потерялъ первую свою жену, постоянно больную, но нѣжно имъ любимую. Не прошло, однако, года послѣ ея смерти, какъ онъ женился на другой; впоследствии Штиллингъ былъ женатъ и въ третій разъ. Въ 1787 году рескриптомъ Гессенскаго ландграфа Штиллингъ былъ переведенъ профессоромъ экономіи, финансовъ и камеральныхъ наукъ въ Марбургскій университетъ. Здѣсь сталъ онъ получать жалованье въ 1200 тал. и съ помощью второй жены своей успѣлъ выпутаться изъ долговъ и привести дѣла свои въ порядокъ. Въ Марбургѣ Штиллингъ былъ почти исключительно занятъ препода-

ваніємъ и читаль много лекцій. Здѣсь посѣтилъ его старый отецъ, попрежнему портной, который теперь съ уваженіемъ смотрѣлъ на своего ученаго сына, сдѣлавшагося между тѣмъ уже гофратомъ. Въ это же время Штиллингъ познакомился съ „Критикою чистаго разума“. Философія для нѣмцевъ въ то время была второю религіею; каждый изъ нихъ подчинялся какой-нибудь системѣ, которая навсегда опредѣляла не только образъ мыслей его, но даже и образъ жизни. Философія Канта освободила Штиллинга отъ оковъ детерминизма, господствовавшего въ Лейбнице-Вольфیانской системѣ. Въ ученіи Канта, что человѣческій разумъ за предѣлами чувственнаго міра ничего не знаетъ и что въ сужденіяхъ о предметахъ сверхъ чувственныхъ онъ всегда впадаетъ въ противорѣчіе съ самимъ собою, онъ думаль видѣть комментарий къ словамъ Ап. Павла: „Душевный человекъ не понимаетъ яже суть духа Божія“ и пр. Но другія сочиненія Канта: „Критика практическаго разума“ и „Религія въ предѣлахъ разума“ не удовлетворили, однако, Штиллинга, потому что Кантъ „источника сверхъ чувственныхъ истинъ искалъ не въ Евангеліи, а въ моральномъ чувствѣ“. Штилингъ даже переписывался съ Кантомъ по поводу христіанства.

Между тѣмъ съ Штиллингомъ произошелъ новый, по его словамъ, важнѣйшій и послѣдній нравственный переворотъ, который далъ ему новое направленіе и приготовилъ къ истинному его назначенію. Этотъ нравственный переворотъ въ немъ произвели политическія событія времени, волненія французской революціи, которыя онъ близко могъ наблюдать, живя на границѣ Франціи. Эти великія событія, по нашему мнѣнію, скорѣе сбили съ толку его мысль, и безъ того болѣзненно направленную. По его словамъ, онъ давно уже замѣчалъ существованіе какого-то тайнаго союза, цѣлью котораго было ниспровергнуть откровенную религію и монархическое правленіе. Когда началась революція, онъ сталъ сравнивать событія настоящаго времени съ библейскими пророчествами; его мысль постепенно стала наполняться апокалиптическими образами и онъ издалека предчувствовалъ приготовленіе царства „человѣка беззаконія“. Съ этихъ поръ задачею литературной дѣятельности Штиллинга сдѣлалась борьба съ этою разразившеюся грозой. Явилось нѣсколько сочиненій его въ этомъ направленіи, сочиненій, которыя одинъ историкъ нѣмецкой литературы справедливо назвалъ „Verdummungsschriften“, свидѣтельствующихъ о крайней болѣзненности мысли Штиллинга и наполненныхъ туманомъ мистицизма. Сочиненія эти очень помогли послѣдующей реакціи; они имѣли чрезвычайный успѣхъ, и къ Штилингу за нихъ со всѣхъ сторонъ, отъ престола до сохи, шли письма, выражавшія искреннюю за нихъ благодарность. Замѣча-

тельно, что эти именно сочинения и удостоились перевода со стороны Лабзина.

Первое изъ этихъ произведеній было „Heimweh—Тоска по отчизнѣ“, съ включемъ въ нему (1794—1796). Русскій переводъ этого сочиненія сдѣланъ былъ въ 1807 году Ѳ. П. Лубяновскимъ, и первыя двѣ части уже были напечатаны. Но въ то время мистицизмъ и Штиллингъ не были еще у насъ въ модѣ, за переводы подобныхъ сочиненій не давались ордена и, по воспоминаніямъ переводчика¹⁾, министръ, графъ Кочубей, у котораго онъ служилъ, нѣсколько разъ не былъ принятъ государемъ съ докладомъ по поводу этого перевода. Александръ говорилъ, что за эту книгу переводчику мѣсто въ Якутскѣ, и все напечатанное въ типографіи было истреблено. Впослѣдствіи переводъ Лубяновскаго былъ напечатанъ весь (5 ч., М., 1818).

Это сочиненіе Штиллинга по своему содержанію носитъ на себѣ слѣды вліянія тайныхъ обществъ масоновъ, иллюминатовъ, розенкрейцеровъ и пр., которыми была полна Германія во второй половинѣ XVIII вѣка, и организація которыхъ интересовала многихъ. Въ ней видѣли что-то поэтическое и чудесное. Множество современныхъ литературныхъ произведеній, особенно романовъ, имѣютъ въ основѣ своей подобныя таинственныя братства. Такъ и въ „Тоскѣ по отчизнѣ“ являются таинственные рыцари, составляющіе братство. Каждый изъ рыцарей совершаетъ путь покаянія, обращенія и освященія истиннаго христіанина. Все это заканчивается въ храмѣ Іерусалимскомъ, при чемъ рыцари подвергаются различнымъ испытаніямъ. Штиллингъ говоритъ, что на сочиненіе этого романа имѣли большое вліяніе, во первыхъ, „Жизнь Тристрама Шанди“—извѣстное сатирическое произведеніе Стерна и сочиненіе англійскаго піетиста XVII вѣка Буньяна „Путешествіе христіанина къ вѣчности“. Приключенія этихъ христіанскихъ рыцарей, тоскующихъ по отчизнѣ, такъ однообразны, что естественно думать, что и здѣсь въ основу разсказа положена собственная жизнь автора, но все это закрыто такимъ густымъ аллегорическимъ покровомъ, что чтеніе этого романа утомляетъ до крайности. Аллегорія такъ подробна, такъ мелочна, что Штиллингъ нашелъ даже необходимымъ написать къ ней объяснительный ключъ, но до того запутался, что самъ не понималъ уже себя.

„Тоска по отчизнѣ“ написана противъ современнаго просвѣщенія и пробужденнаго тогда духа свободы. Штиллингъ выставляетъ себя въ ней какимъ-то пророкомъ и борцемъ за христіанство. „Духъ ложнаго просвѣщенія, какъ въ Апокалипсисѣ лже-пророкъ, говоритъ онъ, служителю звѣря, началъ собирать воинство подъ знамена его

¹⁾ Русск. Арх. 1872 г., стр. 489—490.

чудовища“. „Чувства мои и чувства всѣхъ истинныхъ христіанъ въ дни наши весьма схожи съ естественною тоскою по родинѣ: желалось бы тотчасъ идти въ путь и возвратиться во-свояси. И поистинѣ! тяжело становится жить въ землѣ чуждой, гдѣ общая склонность, общій долгъ есть терпимость ко всему и ко всѣмъ, но только не къ христіанамъ; гдѣ каждый можетъ громко поносить Христа, но никто уже не смѣетъ явно исповѣдывать его передъ людьми, гдѣ проповѣдуются вольность, равенство, братство, и одни только христіане исключаются изъ числа братій“¹⁾). Какъ съ невѣріемъ времени, такъ очень легко раздѣлялся здѣсь Штиллингъ и съ Кантовой философій: онъ представилъ ее въ видѣ подземнаго лабиринта: „Кто не возьметъ туда съ собою масла посвященныхъ и свѣта не будетъ сохранять бережно—тотъ погибнетъ“.—„Тоска по отчизнѣ“ имѣла чрезвычайный успѣхъ и была переведена на всѣ европейскіе языки. По его словамъ, даже ученые невѣрующіе были обращены ею въ христіанство. Штиллингъ сталъ выставлять себя защитникомъ христіанства посреди господствующаго невѣрія, и сочиненія его въ этомъ направленіи слѣдовали одно за другимъ. Не упоминая о всѣхъ его сочиненіяхъ, изъ которыхъ многія и не были переведены по-русски, мы укажемъ на „Побѣдную повѣсть христіанской религіи“ (1799), которая появилась въ русскомъ переводѣ и считалась у насъ самымъ важнымъ сочиненіемъ Штиллинга. „Побѣдная повѣсть“ представляетъ апокалиптическіе взгляды на революцію, которые развились тогда въ мистически настроенныхъ умахъ. Многіе, какъ у насъ Державинъ, примѣняли мечтанія Апокалипсиса къ современности; многіе думали, что „звѣрь изъ бездны“ уже вышелъ и „человѣкъ грѣха“ уже явился, считали французскую трехцвѣтную кокарду за „знаменіе звѣря“ и т. п. Въ особенности большую извѣстность и распространеніе въ обществѣ приобрѣли его „Сцены изъ царства духовъ“ (1797—1801) и его „Теорія познанія духовъ“ (1808). Первое изъ этихъ произведеній переведено было Лабзиннымъ, подъ названіемъ „Приключенія по смерти“ (Спб. 1805, 3 ч.). „Русскій издатель перемѣнилъ сей титулъ по обстоятельствамъ того времени, говоритъ Лабзинъ въ 1817 году, неблагопріятствовавшаго духамъ и духовному, и дававшаго всему такому удивительно страннымъ толки, до того страннымъ, что, напримѣръ, одна весьма значущая особа не постыдилась и не посовѣстилась сдѣлать представленіе противъ „Угроза“²⁾, чтобы взять на замѣчаніе и книгу сію и издателя оной, у котораго есть-де какіе-то злые умыслы, ибо де самое названіе „Угрозы“ показываетъ, что онъ стращать хо-

¹⁾ Ч. V, стр. XVI—XVII.

²⁾ Угрозы—одно изъ дѣйствующихъ лицъ въ „Тоскѣ по отчизнѣ“.

чать" ¹⁾. „Приключенія по смерти“ написаны тоже противъ господствующаго невѣрія, съ полною вѣрою въ загробную жизнь, которую Штиллингъ изображаетъ сообразно своей собственной фантази. Главная мысль сочиненія заключается въ томъ, чтобъ доказать необходимость для гражданскаго общества ученія о наградахъ и наказаніяхъ по смерти и опровергнуть свободную мысль, что быть добродѣтельнымъ должно не изъ страха наказаній и не въ надеждѣ наградъ. Приключенія, придуманныя Штиллингомъ, не имѣютъ поэтическаго достоинства; но онъ убѣжденъ, что они не противорѣчатъ ни разуму, ни Св. Писанію, хотя въ сущности они противорѣчатъ и тому и другому. Штиллингъ говоритъ, что душа по выходѣ изъ тѣла, до дня воскресенія, носится надъ своимъ тѣломъ, какъ бы привлекаемая магнитомъ, а если тѣло раздроблено на части, то надъ зародышемъ или сѣменемъ будущаго тѣла, и носится до тѣхъ поръ, пока при воскресеніи не соединится съ новымъ тѣломъ — къ вѣчной жизни или къ вѣчной смерти. Штиллингъ совершенно убѣжденъ въ этомъ; онъ говоритъ, что у него есть на то даже чувственыя доказательства. На книгу свою онъ смотритъ какъ на нравственную поэмю, которая ничего не можетъ принести людямъ кромѣ добра и пользы. Въ „Теоріи познанія о духовъ“, для которой со всѣхъ сторонъ Штиллингъ собиралъ рассказы о чудесахъ и видѣніяхъ, онъ является непреложно убѣжденнымъ. Онъ снова возвращается къ той „вѣрѣ угольщика“, къ тому народному суевѣрію, которое окружало его дѣтство. Творческой фантази, какъ у Парацельза, нѣтъ у Штилинга, но за то сочиненіе полно какою-то досадою и духомъ оппозиціи противъ философіи и просвѣщенія времени, которыхъ онъ не былъ въ состояніи понять.

Революціонныя войны отозвались на границахъ Германіи большими бѣдствіями и опустошеніями. Разореніе народа, которымъ сопровождалось нашествіе французовъ, возбуждало къ нимъ сильную ненависть, идеи, проповѣдуемыя революціей, въ виду дѣйствительныхъ несчастій, производимыхъ ею, скоро потеряли для многихъ свое обаяніе. Этимъ обстоятельствомъ можно объяснить чрезвычайный успѣхъ періодическаго изданія Штилинга, писаннаго имъ для народа и посвященнаго имъ борьбѣ съ началами французской революціи и съ духомъ времени. Сочиненіе это носило названіе „Der graue Mann“—сѣрый человѣкъ, сѣрокафтанникъ (1795—1815). Въ русскомъ переводѣ (1806—1815), который имѣлъ и второе изданіе (Спб. 1815. 12^о), сочиненію этому дано было переводчикомъ его Лабзинимъ названіе „Угрозъ Свѣтостоковъ“. „Der graue Mann“, т.-е.

¹⁾ Жизнь Штилинга, II, стр. 245—246.

сѣрый, суровый и грозный человекъ есть одно изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ въ „Тоскѣ по отчизнѣ“. Это, конечно, аллегорія. Страшное и благотворное, оно наводитъ ужасъ, но помогаетъ страствующимъ въ отчизну достигать ее. Вѣроятно въ немъ Штиллингъ желалъ олицетворить совѣсть. Все сочиненіе идетъ какъ бы отъ его лица. Русское названіе, данное этому лицу, Лабзинъ объясняетъ такимъ образомъ: Угрозъ—по главному его качеству, а Свѣтостококовъ—по его происхожденію. Мы не знаемъ изъ словъ Штиллинга, какой успѣхъ имѣло это популярное изданіе въ народѣ, для котораго собственно оно писалось, но что оно понравилось различнымъ владѣтельнымъ особамъ Германіи и знатымъ лицамъ, которыя желали бы держать народъ въ рукахъ посредствомъ мыслей, проповѣдуемыхъ Штиллингомъ,—это вѣрно. И у насъ эта книга имѣла чрезвычайный успѣхъ. Говорятъ, что Лабзинъ доходы отъ нея назначалъ на благотворительныя дѣла ¹⁾. Весьма вѣроятно, что нападенія на революцію и французовъ здѣсь совпадали съ патриотическимъ настроеніемъ общества и способствовали успѣху изданія. У Штиллинга не было этого патриотическаго настроенія, его занимали болѣе общіе вопросы, но во всякомъ случаѣ книга эта весьма замѣчательна, какъ выраженіе духа того времени. Она имѣла большое вліяніе на духовные вопросы, на содержаніе духовныхъ стремленій реакціонныхъ годовъ и удовлетворяла той страсти ко всему таинственному и мистическому, которая наполняла душу современниковъ, потрясенную великими тогдашними событіями. Образы и выраженія Апокалипсиса играли въ ней главную роль, какъ и въ „Побѣдной повѣсти христіанства“.

Но между тѣмъ въ Марбургѣ Штиллингу становилось трудно жить. Студенты университета, которые шли за временемъ, проникнутые современнымъ скептицизмомъ и либерализмомъ, перестали уважать своего профессора, по мѣрѣ того, какъ въ его сочиненіяхъ высказывалась упорная борьба со временемъ и его надеждами. На него нашло раздумье, и онъ наконецъ отказался отъ профессорства и въ 1803 году переселился на службу къ новому покровителю своему, тогдашнему курфюрсту, а потомъ великому герцогу Баденскому въ Гейдельбергъ. Ему дано было здѣсь приличное содержаніе, какъ главному оператору, но Штилингъ обязанъ былъ только продолжать свое дѣло—т.-е. начатую борьбу съ духомъ вѣка. Великій герцогъ въ 1806 году взялъ съ собою Штиллинга въ Карlsruэ; онъ долженъ былъ жить въ его дворцѣ и обѣдать съ нимъ. Какъ поборникъ престоловъ и алтарей, онъ едѣлался теперь важною личностію и въ своихъ запискахъ тщеславится постепеннымъ увеличеніемъ числа своихъ

¹⁾ Русск. Арх. 1866 г., стр. 827.

знакомыхъ въ знатныхъ кругахъ. До глубокой старости Штиллингъ пользовался завиднымъ здоровьемъ, продолжалъ издавать своего „Угроза Свѣтовостокова“ и вель обширную корреспонденцію съ многочисленными поклонниками своими въ различныхъ частяхъ свѣта. Великій герцогъ баденскій, полюбившій Штиллинга и пріютившій его въ своемъ дворцѣ, былъ дѣдомъ тогдашней нашей императрицы Елисаветы Алексѣевны. Когда императоръ Александръ посѣтилъ въ Карлсруэ герцога, то онъ чрезвычайно благосклонно обращался съ Штиллингомъ и потомъ посылалъ ему значительные подарки. Съ этихъ поръ снято было запрещеніе съ его сочиненій, и они вошли у насъ въ моду. Больше и больше принималъ на себя Штиллингъ пророческій тонъ и употреблялъ въ своихъ сочиненіяхъ апокалиптическія выраженія, особенно въ томъ, что писалось имъ противъ революціоннаго духа. Онъ умеръ въ 1817 году въ полномъ убѣжденіи, что въ позднѣйшіе годы его жизни въ немъ воплотился Христосъ. Но намъ въ оригинальномъ жизненномъ поприщѣ Штиллинга гораздо привлекательнѣе личность его, когда онъ является передъ нами легкомысленнымъ и добродушнымъ подмастерьемъ портного и школьнымъ учителемъ, чѣмъ въ образѣ полного умиленія и святости придворнаго тайнаго совѣтника, официального пророка и любимца государей.

Такова была личность этого человѣка, который выставлялся у насъ за какого-то просвѣтленнаго пророка и учителя христіанскаго, и таковы были сочиненія этого новаго апостола, появлявшіяся у насъ въ переводахъ, выдерживавшихъ по нѣскольку изданій и распространявшихся въ обществѣ всѣми возможными средствами. Всякій легко можетъ составить себѣ сужденіе, здоровая ли это была пища, такъ усердно заимствуемая изъ большой среды нѣмецкаго мистицизма и піэтизма, которую обогналъ духъ времени, и годилась ли она для русскаго общества, только что сдѣлавшаго первые робкіе шаги на пути реформъ? Мы нарочно нѣсколько подробно остановились на Юнгѣ Штиллингѣ, чтобъ не ограничиваться одними именами и общими фразами, а познакомиться съ самою сущностью предмета, мало знакомаго вообще и теперь почти забытаго, а между тѣмъ этотъ кругъ идей и эти сочиненія, съ тѣхъ поръ какъ они получили у насъ официальное одобреніе, вошли въ духовную исторію нашего общества. Мы не будемъ говорить о многочисленныхъ переводахъ сочиненій Экартсгаузена, который раздѣлялъ вмѣстѣ съ Штиллингомъ почетъ и уваженіе нашихъ мистиковъ, потому что и они имѣли такое же общее содержаніе, какъ и сочиненія Штиллинга. Названія множества его странныхъ сочиненій не прибавятъ ничего къ уразумѣнію нашего мистицизма. Притомъ вообще о нихъ можно сказать, что по тяжелому

изложенію своему они не пользовались такою распространенностью и популярностью, какъ сочиненія Штилинга, хотя Лабзинъ и отдаеть имъ преимущество за глубину мыслей.

Сравнительно съ богатствомъ у насъ переводной мистической литературы въ первую половину царствованія Александра, оригинальная дѣятельность нашихъ мистиковъ была, конечно, весьма незначительна. Единственнымъ почти или, по крайней мѣрѣ, самымъ виднымъ въ ряду этихъ явленій былъ журналъ Лабзина „Сіонскій вѣстникъ“, издававшійся имъ въ 1806 году; его появилось тогда только девять книжекъ. Но и въ немъ, главнымъ образомъ, вниманіе обращалось на западные духовныя явленія, потому что въ русскомъ обществѣ этихъ духовныхъ стремленій не оказывалось, помѣщались переводы нѣмецкихъ мистическихъ статей, а изъ оригинальныхъ вошли незначительные отрывки изъ сочиненій Рѣпина, Лопухина, Сквороды и самого Лабзина. Журналъ желалъ удовлетворить своимъ содержаніемъ религіозной потребности самого издателя, который говоритъ, что у насъ не было еще подобнаго христіанскаго изданія; но едва ли онъ находилъ большое распространеніе въ русскомъ обществѣ: читали его и были имъ довольны преимущественно лица духовныя. Митрополитъ Евгений въ частномъ письмѣ къ кому-то, нападая на догматическіе промахи издателя, несоотвѣтствующіе православію, очень, однако, хвалить „Сіонскій вѣстникъ“: „Онъ многихъ обратилъ, если не отъ развращенія жизни, то по крайней мѣрѣ отъ развращенія мыслей, бунтующихъ противъ религіи, и это уже великое благодѣяніе человечеству“¹⁾. Кажется, это преувеличено. Въ нѣсколько мѣсяцевъ не могъ оказать влияния журналъ, имѣвшій главной задачей борьбу съ философійю міра сего и по направленію совсѣмъ не соотвѣтствовавшій духу времени. Притомъ „Сіонскій вѣстникъ“ былъ вскорѣ запрещенъ тѣмъ самымъ оберъ-прокуроромъ Синода, который впоследствии, когда мистицизмъ сдѣлался у насъ правительственнымъ орудіемъ борьбы съ либерализмомъ, стоялъ во главѣ самыхъ дикихъ религіозныхъ стремленій — вк. А. Н. Голицынымъ. Тогда и „Сіонскій вѣстникъ“ возродился къ жизни и не съ тою уже робостію и запуганностью мысли, какая отличала его въ первый годъ изданія. Объ этомъ самоувѣренномъ мистицизмѣ другого времени мы будемъ говорить въ своемъ мѣстѣ, а теперь мы оканчиваемъ изложеніе этого явленія въ первые годы царствованія Александра.

Россіи пришлось въ 1812 году выдержать много тяжелыхъ испытаній, изъ которыхъ она возродилась къ новой жизни и дѣятельности.

¹⁾ Москвитянинъ 1848 г., № 8.

Величайшимъ плодомъ этихъ испытаній народныхъ было измѣненіе отношеній между двумя факторами развитія, изъ которыхъ сложилась наша умственная и гражданская жизнь, отношеній между властію и обществомъ. До сихъ поръ правительство шло впереди развитія, тянуло общество, какъ бы на буксирѣ; теперь само общество, потрясенное великими событіями своей исторіи, пробудилось къ жизни болѣе сознательной, стало въ болѣе близкія отношенія къ западному развитію и заимствовало изъ него болѣе свѣжее содержаніе, а правительство заподозрило это движеніе, стало сдерживать его, противодействовать ему. Глухая борьба этихъ двухъ началъ происходитъ во всю вторую половину царствованія Александра.



О Г Л А В Л Е Н И Е.

	СТРАН.
ЛЕКЦІЯ I. Значеніе литературы въ обществѣ. — Отношеніе ея къ жизни. — Зависимое положеніе нашей литературы. — Причина непрочности литературной славы нашихъ писателей. — Взгляды славянофиловъ . . .	3
ЛЕКЦІЯ II. Вступленіе на престолъ Александра I. — Отношеніе къ нему общества. — Воспитаніе Александра. — Замѣтки Протасова. — Лагарпъ. Его юность.	9
ЛЕКЦІЯ III. Прибытіе Лагарпа въ Россію. — Дальнѣйшая судьба его — Уроки Лагарпа. — Вліяніе ихъ на Александра. — Воспоминанія Адама Чарторыскаго. — Стольновеніе Александра съ жизнью	18
ЛЕКЦІЯ IV. Двойственность характера Александра. — Борьба принциповъ на Западѣ. — Отраженіе этой борьбы въ Россіи. — Направленіе нашего общественнаго движенія. — Приближенные Александра	25
ЛЕКЦІЯ V. Роль императора Александра I въ „комитетѣ“. — Планъ организаціи народнаго образованія. — Учрежденіе Министерства Народнаго Просвѣщенія и Главнаго Правленія Училищъ. — Первый по времени министр Народнаго Просвѣщенія графъ П. В. Завадовскій и его сотрудники	32
ЛЕКЦІЯ VI. Заботы Главнаго Правленія Училищъ о развитіи просвѣщенія въ Россіи. — Уставы Университетовъ 1804 г. — Студенты и русскіе профессора въ Университетахъ Московскомъ, Харьковскомъ и Казанскомъ	41
ЛЕКЦІЯ VII. Недостатокъ въ профессорахъ. — Профессора иностранцы и ихъ просвѣтительное вліяніе. — Значеніе нѣмецкой философіи въ то время. — Отношеніе русскихъ университетовъ начала XIX в. къ обществу и народному образованію. — Характеристика профессорской среды.	49
ЛЕКЦІЯ VIII. Цензура и ея значеніе въ русской литературѣ. — Пушкинъ о цензурѣ Александровскаго времени. — Цензура при Екатеринѣ II и отзывъ о ней Радищева.	57
ЛЕКЦІЯ IX. Проектъ Бакваревича. — С.-Петербургскій журналъ. — Начало литературной дѣятельности Карамзина	65
ЛЕКЦІЯ X. Вѣстникъ Европы	74
ЛЕКЦІЯ XI. Пнинъ. — „Петербургскій Журналъ“. — „Вольное Общество любителей словесности, наукъ и художествъ“. — „Опытъ о просвѣщеніи относительно къ Россіи“.	82
ЛЕКЦІЯ XII. Цензурное дѣло Пнина. — Смерть Пнина. — С.-Петербургскій журналъ. — Мартыновъ. — Сѣверный Вѣстникъ	91

ЛЕКЦІЯ XIII. Журналы: „Лицей“, „Журналъ Россійской Словесности“, „Журналъ для пользы и удовольствія“. — Макаровъ и его журналъ	100
ЛЕКЦІЯ XIV. Безплодность сентиментальнаго направленія. — Князь Шаликовъ. — В. В. Измайловъ. — Его педагогическія идеи. — Журналъ „Патріотъ“	110
ЛЕКЦІЯ XV. Споръ о старомъ и новомъ слоgѣ. — Принципіальное значеніе этого спора. — П. И. Голенищевъ-Кутузовъ. — Его доносъ на Карамзина. — Шишковъ	119
ЛЕКЦІЯ XVI. Взглядъ Шишкова на русскій языкъ. — Полемика противъ Шишкова. — П. И. Макаровъ. — Каченовскій	128
ЛЕКЦІИ XVII и XVIII. Отвѣтъ Шишкова на критики. — И. И. Дмитріевъ. — Его литературная дѣятельность	137
ЛЕКЦІЯ XIX. Державинъ. — Его отношенія къ царствованію Александра	155
ЛЕКЦІЯ XX. Отношеніе общественнаго мнѣнія къ западно-европейскимъ событіямъ. — Первая война съ Наполеономъ. — Аустерлицкое пораженіе. — Разгромъ Пруссіи и Тильзитскій миръ	165
ЛЕКЦІЯ XXI. Впечатлѣніе отъ Тильзитскаго мира. — Удаленіе Чарторыскаго, Новосильцева и Кочубея. — Аракчеевъ. — Сперанскій. — Патриотическая литература. — „Геній времени“. — Ѳ. В. Растопчинъ. — Его дѣтство. — Служба.	174
ЛЕКЦІЯ XXII. Растопчинъ при Павлѣ. — Отставка Растопчина. — Занятія сельскимъ хозяйствомъ. — Брошюра „Плугъ и соха“. — „Мысли вслухъ“	182
ЛЕКЦІЯ XXIII. Вліяніе Растопчина на литературу. — Повѣсть „Охъ, французы“. — Комедія „Вѣсти или убитой живой“. — Отношеніе Растопчина къ Сперанскому.	192
ЛЕКЦІЯ XXIV. С. Н. Глинка. — Его дѣтство, пребываніе въ корпусѣ и служба. — Первые произведенія Глинки. — Переѣзды въ убѣжденіяхъ Глинки. — Программа „Русскаго Вѣстника“	201
ЛЕКЦІЯ XXV. Сотрудники Глинки: Растопчинъ, княгиня Дашкова. — Отношеніе публики и правительства къ „Русскому Вѣстянику“. — Содержаніе журнала. — Отношеніе къ нему журналистики. — Эпиграммы на Глинку	210
ЛЕКЦІЯ XXVI. Новые нападки Шишкова на современную литературу. — Переводъ двухъ статей изъ Лагарпа. — Д. В. Дашковъ и его критика на сочиненія Шишкова. — Отвѣтъ Шишкова	220
ЛЕКЦІЯ XXVII. Книга Дашкова „О легчайшемъ способѣ возражать на критики“. — „Разговоры о словесности“ Шишкова. — Критика Каченовскаго на первый разговоръ. — „Бесѣда“	229
ЛЕКЦІИ XXVIII и XXIX. Крыловъ. — Комедіи его „Модная лавка“ и „Урокъ дочкамъ“. — Озеровъ и его трагедіи „Ярополь и Олегъ“, „Эдипъ въ Афинахъ“, „Фингалъ“	239
ЛЕКЦІЯ XXX. „Димитрій Донской“. — Служебныя непріятности Озерова. — Намѣреніе писать трагедію изъ русской исторіи. — „Поликсена“. — Неуспѣхъ пьесы. — Его причины. — Кн. А. А. Шаховской	258
ЛЕКЦІЯ XXXI. Интриги Шаховскаго противъ Озерова. — Сумасшествіе Озерова. — Отзывъ Сперанскаго объ Озеровѣ. — Трагедіи Крыковскаго. — Записка Карамзина „о древней и новой Россіи“	267

ЛЕКЦІИ XXXII, XXXIII и XXXIV. Содержаніе „Записки“ Карамзина	277
ЛЕКЦІЯ XXXV. Масонство и мистицизм.—Новиковъ	303
ЛЕКЦІЯ XXXVI. Мистическая литература при Александрѣ I.— Судьба старыхъ масоновъ.—Лопухинъ.—Его „Разсужденіе о злоупотребленіи разума“.—Записки Лопухина.—Защита духоборцевъ	312
ЛЕКЦІЯ XXXVII. Лопухинъ въ царствованіе Павла и Александра.— Экартсгаузенъ	321
ЛЕКЦІЯ XXXVIII. Соч. Лопухина „Нѣкоторыя черты о внутренней церкви“. — Драма „Торжество правосудія и добродѣтели“. — „Отрывки“	331
ЛЕКЦІИ XXXIX и XL. Ковальковъ.—Невзоровъ.—Лабзавъ	340
ЛЕКЦІЯ XLI. Литературная дѣятельность Лабзина.—Юнгъ Штилингъ	359
ЛЕКЦІЯ XLII. Сочиненія Штилинга. — Журналъ „Сіонскій Вѣстникъ“.—Заключеніе	368

Въ книжномъ складѣ при типографіи М. М. СТАСЮЛЕВИЧА

(Спб., В. О., 5 линія, д. 28)

имѣются въ продажѣ изданія Историческаго Общества при Императорскомъ С.-Петербургскомъ университетѣ:

1. „Историческое Обзорѣніе“, издаваемое подъ редакціей *Н. И. Карьева*. Цѣна I тома 2 р. 50 к.; II, III, IV, V, VI и XI по 2 р.; VII, VIII, IX, X и XII — по 1 р. 50 к.

2. **Личные мемуары г-жи Роланъ**. Переводъ *Н. Г. Вернадской*. Цѣна 1 р.

3. **С. И. Носовичъ**. Крестьянская реформа въ Новгородской губерніи (1861 — 1863). Съ предисловіемъ *В. И. Семевского*. Цѣна 1 р. 50 к.

Изданіе помѣщается въ книжн. складѣ тип. М. М. Стасюлевича.
(Спб., Вас. Остр., 5 л., д. 28).